

Арман
де Коленкур
Мемуары

Annotation

Дипломат, адъютант и сподвижник Наполеона Арман де Коленкур в дневниковых записях подробно рассказывает о подготовке Франции к войне 1918 года, о походе в Россию, о бесславном конце нашествия и гибели Великой Армии.



Арман Огюстен Луи Де Коленкур
Поход Наполеона в Россию

ГЛАВА I
ПОСОЛЬСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Предварительные замечания. — Вопрос о назначении Коленкура послом в Санкт-Петербург. — Коленкур отказывается. — Настояния Наполеона. — Коленкур назначен послом. — Эрфурт. — Разговор Наполеона с Коленкуром: германские и испанские дела, Польша, Австрия. — Эрфуртский конгресс. — Его цель. Взаимоотношения между двумя императорами. — Зондирование почвы по вопросу о браке Наполеона с русской великой княжной. — Возвращение Коленкура в Санкт-Петербург. — Просьба об отставке. — Отставка и возвращение во Францию. — Разговор с императором: Россия, Александр, угроза войны, Польша, Ольденбургское дело. — Коленкур в немилости у императора.

События, происходившие в Европе между 1807 и 1812 гг., имели огромное влияние на события, последовавшие за ними, ибо они отдали в руки России ключ к решению европейских судеб; я счел поэтому полезным сохранить касающиеся различных фактов заметки, которые я делал в то время.

Когда я начал вести свои записи, я не преследовал другой цели, кроме желания отдать себе отчет в своей жизни, в своих впечатлениях и своих поступках. Но потом эти заметки показались мне материалами, дающими необходимое дополнение к официальной части моей посольской корреспонденции и, может быть, даже к истории этой великой эпохи, ибо все, что относится к России, имеет для этой истории существенное значение, так как Россия в мировых делах занимала тогда первое место после Франции.

Моя цель будет достигнута, если эти заметки помогут также понять характер и политические взгляды императора Наполеона.

Мне думается, что его слова, его суждения, его размышления и даже его ошибки должны быть для его сына[1] лучшим руководством, а для публики единственным достойным этого великого человека объяснением тех событий, который она обсуждает и критикует, не зная их, но почти всегда несправедливо и недоброжелательно по отношению к великим

заслугам тех, кому изменило счастье.

Конечно, читатели часто заметят, что энергичные выражения императора ускользнули из моей памяти, но те, которые знали его ближе, найдут, надеюсь, в моих записках знакомые им мысли императора и убедятся в неизменной добросовестности этих записок.

Перо человека, ведущего дневник, несомненно, не в состоянии справиться с такой темой, но намерение сохранить вместе с воспоминаниями о великих делах драгоценные материалы для истории должно снискать автору снисхождение читателя. Я до такой степени боялся быть льстецом, и мои взгляды в такой мере побуждали меня порицать политический курс и политические мероприятия той эпохи, что многие мои суждения, казавшиеся мне тогда беспристрастными, часто теперь кажутся мне скорее суровой критикой, чем рассказом дружественного повествователя. Тем не менее я с полной откровенностью передаю свои впечатления в том виде, какими они были тогда, предпочитая лучше подвергнуться нападкам, чем быть заподозренным в том, что я изменил записи, сделанные в эпоху, когда совершались эти события.

Я писал свои заметки всюду: в кабинете, па бивуаке, в любой день, в любой момент; они рождались во всякие мгновения. Я ничего не прикрашивал, ничего не замаскировывал, ибо хотя император проявлял порою человеческие слабости, тем не менее в нем чаще видели полубога. Я не раз говорил себе, что этот дневник, который я писал на глазах у императора, мог бы попасть в его руки, но это соображение не останавливало моего пера. Это — ответ тем, кто утверждал, будто в царствование Наполеона нельзя было ни думать, ни говорить, ни писать и что правдивость вызывала его непримиримую вражду. Нет спора, правдивость лишала человека благосклонности императора, но, обладая возвышенным и твердым характером, он допускал всякую добросовестную критику, и так как мои записки представляют лишь правдивое повторение того, что я говорил ему на словах, то я был уверен, что он не посмотрит на них как на прегрешение, если только при опубликовании я не придам им характера упрека его политике и его славе.

В этом дневнике имеются и некоторые подробности, относящиеся ко времени, предшествовавшему моему пребыванию в Санкт-Петербурге; все они были записаны в то время, когда происходили соответствующие события. Если не все они представляют действительный интерес, то во всяком случае они все отличаются точностью. Многие из них показались мне необходимыми для того, чтобы объяснить различные обстоятельства моей карьеры государственного деятеля.

В жизни людей, обремененных общественными делами, как и в ходе самих событий, все связано друг с другом, все сцепляется звено со звеном и сливается с историей. Подробности необходимы, потому что они часто объясняют те обстоятельства, из которых рождались события. В силу простой необходимости мне приходится поэтому говорить и о самом себе. Так как Эрфуртский конгресс происходил в то время, когда я был послом в России, то я счел, что рассказ о нем составляет необходимую часть рассказа о моем посольстве. Записи, которые я с щепетильной точностью вел после приезда императора в Дрезден в 1812 г. и вплоть до его возвращения в Париж после похода в Россию, точно так же показались мне необходимым дополнением к первой части моих записок.

Если когда-нибудь читатель увидит эти страницы и найдет меня строгим, то я надеюсь, что при оценке моих записок он учтет те события, под влиянием которых я их набрасывал.

Многое пришлось, впрочем, вычеркнуть, так как если я и стремился быть правдивым и точным, то я прежде всего старался никому не повредить.

Все, что говорил император, я записывал словно под его диктовку, и легко видеть, что этот дневник является только наброском. В тех случаях, когда император кого-либо порицал, я привожу только те его слова, которые безусловно необходимы для исторической правды и для того, чтобы оттенить ценность его похвал.

Начиная с Тильзита[2], император хотел назначить меня послом в Россию. Лишь после моего второго отказа в Кенигсберге в Петербург был послан генерал Савари[3] , который тотчас же отправился туда на время, пока не будет назначен посол[4]. Я хотел в то время найти какой-нибудь повод, чтобы выйти в отставку и жениться[5] . Император, думая, что меня легче будет уговорить после моего возвращения в Париж, когда я повидаю моих друзей, которых он считал причиной моего отказа, несколько раз вновь говорил со мной об этом посольстве, по мое решение оставалось неизменным. Я даже не скрывал от генерала Дюрока[6], которому император поручил уговорить меня, мое желание покинуть службу и отдохнуть. Дюрок в конце концов сказал мне, что его величество требует, чтобы я принял это посольство хотя бы на шесть месяцев; он говорил, что это — единственное средство осуществить мой брачный проект; мое отсутствие уладит все; император даст свое согласие, и, пока я буду в Петербурге, все устроится к лучшему. Что же касается моих проектов отставки, то они казались ему недопустимыми, пока продолжается война. Император,

говорил он, воспользуется этим как предлогом для того, чтобы расстроить то, что мне хотелось бы наладить. При всей искренней любезности Дюрока мне удалось добиться от него только обещания пользоваться всяким благоприятным случаем для того, чтобы поговорить с императором о моих брачных проектах, хотя мой отказ от поездки в Петербург отнюдь не способствовал их осуществлению.

Император, видимо, в конце концов отказался от моей кандидатуры для этого посольства, так как несколько месяцев спустя он назначил туда графа де ла Форе[7] . Граф закончил уже свои сборы и собирался выехать в Петербург в октябре, то есть в то время, когда ожидался в Париже российский посол Толстой[8], как вдруг прибытие в Фонтенбло офицера для поручений Евгения де Монтескью с депешами от генерала Савари, при котором он находился в течение двух месяцев, внезапно изменило все расчеты императора и побудило его вернуться к своему первоначальному плану.

Монтескью приехал в девять часов утра. Император беседовал с ним полчаса, а затем отправился на охоту.

Отделившись от свиты, которая следовала за ним, император возобновил со мной свои разговоры о России.

— Савари, — сказал он мне, — хочет остаться в Петербурге, но он мне там не подходит. Он нужен мне здесь!.. Он доказывает, что там нужен военный человек, который может посещать парады, человек, который своим возрастом, своими манерами, своими вкусами, своей откровенностью мог бы понравиться императору Александру и дипломатические приемы которого не подорвали бы доверия Александра. Монтескью сказал мне то же самое; мне нужен там человек хорошего происхождения, который своими манерами, своей представительностью и предупредительным обхождением с дамами и с обществом понравился бы двору. Монтескью говорил мне об этом откровенно. Дипломатическая важность де ла Форе испугала бы императора и не понравилась бы двору. Александр сохранил благосклонное отношение к вам. Вы сможете сопровождать его повсюду. Вы будете, когда это окажется нужным, генералом или адъютантом и, когда это будет необходимо, послом. Там вершатся дела всего мира. Ключ к всеобщему миру находится в Петербурге. Надо ехать.

Не давая мне вставить ни слова, он начал подробно говорить об императоре Александре, о России, о донесениях генерала Савари[9] и, не дожидаясь ответа, — так как он, по-видимому, не сомневался, что этот

ответ едва ли будет более положительным, чем предыдущие, — дал шпоры лошади и замедлил аллюр только тогда, когда, оказавшись среди своей свиты, был уже уверен, то я не смогу ему отвечать. В конце охоты император снова заговорил о России, о том, что он называл моим смешным отвращением к делам, об услугах, которые можно оказать Франции, находясь при русском дворе, о необходимости иметь там человека прямого, далекого от всякой интриги и друга мира.

— От этого зависит, — прибавил он, — сохранение европейского мира. Вас удерживает в Париже прекрасная мадам де К…[10]. Но ваши дела, если вы хотите жениться, устроятся гораздо лучше на расстоянии, чем вблизи.

Я привел несколько соображений — лучших, какие только могли прийти мне в голову, чтобы направить его выбор на других. Но он, по-видимому, меня не слушал. По возвращении во дворец император сказал, чтобы я пришел к нему в кабинет через секретарский вход немедленно после обеда. Продолжавшийся в течение часа разговор сводился к стараниям доказать мне, что я должен отдать себя на служение своей стране и своему государю, что я не могу отказаться от миссии, которая будет полезна для них и почетна для меня. Император сказал, что я проведу в Петербурге только один год, а за это время будет подготовлено все для моего брака, так что по возвращении я смогу осуществить свои желания.

Я удивлялся терпению и даже, я сказал бы, доброте императора, потому что мои упорные отказы и мои неделикатные «нет», заменявшие серьезные доводы, способны были привести его в бешенство.

На другой день[11] он вызвал меня с раннего утра и снова отчитывал, но я все-таки не дал своего согласия. Он отпустил меня раздраженный, и я думал уже, что выиграл свое дело, но через час Дюрок пришел ко мне и сказал, что император требует, чтобы я принял назначение. Я не сдался и думал, что император выберет теперь кого-нибудь другого, тем паче что накануне он рассердился на меня. Вечером у императрицы, где собирался двор, он подчеркнуто не сказал мне ни слова, но моя надежда была недолговечной.

На следующий день, во время большого «леве»[12], хотя он не сказал мне ни слова во время малых церемоний, император объявил, что избрал меня на должность посла в Петербург. Так как через четыре дня он должен был отправиться в Венецию и Италию[13] , то эта форма сообщения о моем назначении дала мне понять, к чему могли бы привести новые возражения.

Я подчинился.

Часом позже император вызвал меня; его первыми словами было обращение ко мне: «Господин посол».

— Вы упрямец, — сказал он шутливо и потянул меня за ухо.

Повторив снова то, что он говорил во время предыдущих бесед, он приказал мне составить точные и ясные инструкции по моему ведомству в связи с его поездкой, а также инструкции, необходимые для того, чтобы работа моего ведомства[14] не пострадала во время моего отсутствия. Он взял с меня слово, что я отправлюсь в Петербург через шесть дней после его отъезда, а пока приказал мне оставаться в Фонтенбло, чтобы мы могли обстоятельно переговорить о делах.

Тем временем приехал Толстой[15] . Его встретили с большой предупредительностью и обласкали, но при первом же разговоре император понял, что это человек, на которого нельзя подействовать любезностями; он сказал мне, что у Толстого есть предвзятые мнения и даже много предрассудков, хотя в то же время он обладает прямотой и известной откровенностью. Он жаловался мне также, что Толстой недостаточно умен для того, чтобы понимать и обсуждать некоторые вопросы, что он недоверчив и что при таком настроении его деловая ценность невелика. Недоверчивость, которую Толстой действительно проявлял слишком заметно, говорила, что его нелегко в чем-либо убедить. Он понимал слишком буквально все то, что было сказано и обещано в Тильзите. Мало привыкший к делам, он чувствовал себя неловко на своем посту, чувствовал смущение на той великой сцене, на которой его заставили дебютировать. Да и события, разыгравшиеся потом, а также события, происходившие тогда в Испании, могли заставить призадуматься петербургское правительство и его посла.

В Тильзите император Наполеон очень далеко пошел навстречу императору Александру. В своих словах и обещаниях он пошел гораздо дальше, чем хотел идти в политике, и был раздосадован, когда встретил педантичного человека, который принял за чистую монету все то, что ему твердили и, как говорил император Наполеон, был вырублен из одного куска.

— Этот Толстой, — добавил император, — пропитан всеми идеями Сен-Жерменского предместья и всеми дотильзитскими предубеждениями старого петербургского двора. У Франции он видит только честолюбие и в глубине души оплакивает перемену политической линии России, в особенности перемену по отношению к Англии. Быть может, он очень

светский человек, но его глупость заставляет меня пожалеть о Моркове[16]. С тем можно было разговаривать; он разбирался в делах. А этот дичится всего.

Император не ошибался насчет предубеждений Толстого.

После отъезда императора в Италию я выехал в Россию[17]. Я не успел сделать никаких приготовлений. Будучи вынужден обратиться к дельцам, я весьма дорого оплатил их услуги. По моем возвращении оказалось, что г. Д…, которому я доверил свои интересы, обокрал меня самым недостойным образом. Мне пришлось вторично оплатить счет за серебро в размере 100 тысяч франков и много других счетов, по которым он не расплатился, хотя и получил соответствующие суммы. Этот господин стоил мне 200 тысяч франков.

После года пребывания в Петербурге я сопровождал императора Александра в Эрфурт, надеясь и даже будучи уверен, что я более не возвращусь в Россию. Во время пребывания в Эрфурте император Наполеон довольно часто разговаривал со мною о делах, но обрывал разговор всякий раз, как я пытался заговорить о моем возвращении в Париж. Когда я один раз был более настойчив, чем обычно, он сказал мне:

— Мы устроим это по окончании конгресса. Когда приблизился этот момент, Дюроку снова было поручено убедить меня в необходимости вернуться в Петербург. Я напрасно ссылался на то, что мне было обещано продержать меня там только год.

Император не лишал меня надежды до самого последнего дня. А под конец в одно прекрасное утро он сказал мне, что я должен выбрать между министерством иностранных дел и моим посольством: я там полезен, надо там оставаться; при том положении, в котором находится Европа, сохранение отношении с Россией является гарантией мира, а сохранение этих отношений зависит от меня, потому что я нравлюсь императору Александру; Александр сказал ему об этом; он видит, что я внушил доверие императору Александру, и я могу покинуть свой пост лишь для того, чтобы принять на себя министерство; это единственное средство сохранить существующие хорошие отношения; Австрия проявляет враждебные намерения; только позиция петербургского правительства может поддержать мир на то время, пока он (император Наполеон) будет занят в Испании. Для этого нужно, чтобы никто не мог усомниться ни в намерениях императора, ни в сохранении союза между Францией и Россией, то есть необходимо, чтобы Европа верила в существование самого полного согласия между ними; наконец, он желает, чтобы я

возвратился в Петербург еще и потому, что я буду там особенно полезен теперь, когда в Париж должен приехать Румянцев[18] для переговоров по английским делам; если можно будет установить соглашение с английским кабинетом, то ему важно иметь при императоре Александре человека, которого Александр знает и который находится уже в курсе дела.

С самого начала эрфуртского свидания император жаловался, что император Александр не разделяет его замыслов против Австрии. Он непрестанно говорил мне, что этот монарх переменился, что у него, по-видимому, есть какая-то задняя мысль, так как единственное средство помешать Австрии воевать и снова себя скомпрометировать — это поставить ее теперь же перед угрозой и показать решимость совместно выступить против нее; для достижения этого результата необходимо в первую очередь всеми способами оживить союз; нынешняя позиция Австрии подкрепляет надежды Англии на новую коалицию и удерживает ее от заключения мира; чем больше будут ждать, тем дольше будет продолжаться то стесненное положение, которое порождается войною с Англией; надо показать зубы Австрии, которая является последней надеждой Англии.

Разговор как на эту тему, так и об общих европейских делах возобновлялся несколько раз. Император, нисколько не обижаясь на мои возражения, как бы они ни противоречили тем идеалам, которые он хотел осуществить и которые он старался мне внушить, вызывал меня на откровенный разговор. Я часто указывал ему, что его настойчивые стремления побудить Россию занять агрессивную позицию против Австрии могут заставить Россию опасаться, что он решил отомстить Австрии еще до того, как его войска будут посланы в Испанию; это опасение и даже одно только сомнение на этот счет повредит его делам, тем более что император Александр, как мне кажется, решил сделать все, чтобы помешать этому; на мой взгляд, Александр больше всего заботится о сохранении мира с Австрией.

Я добавил еще, что, как известно по опыту, его величество всегда бывает готов бросить перчатку и не в меньшей мере будет готов поднять ее; его тайных намерений и его честолюбия боятся больше, чем какой-нибудь выходки со стороны Австрии; да и Россия думает, что она служит делу сохранения мира, проводя политику крайней сдержанности; на самом деле эта политика может повредить миру, вместо того чтобы поддержать его, если Австрия окажется достаточно безрассудной и пожелает вести войну в одиночку; принимая во внимание теперешнее положение вещей в Пруссии, Россия имеет достаточно оснований страшиться нашего влияния

и даже бояться Австрии.

Я сказал еще, что наша настойчивость как раз способна увеличить это недоверие, и если император хочет оставить свои войска в Германии и в крепостях на Одере, то я его убедительно прошу не слишком останавливаться на этом вопросе, так как беспокойство Австрии может сообщиться и России, как бы она ни была заинтересована в союзе, цель которого — принудить Англию к миру. Эта цель полностью поглощает ее внимание как способ достижения прочного мира для всех; принудить Англию к миру — это и была так называемая великая идея Тильзита; эта благородная цель является основой союза, и вся политика императора Александра откровенно направлена на то, чтобы как можно скорее добиться ее осуществления, и именно для этого приносятся все те жертвы, на которые он заставил пойти свой народ; новую войну с Австрией нельзя изобразить как способ ускорить достижение этой цели, и один только призрак этой войны способен охладить пыл и повредить союзу; я прошу поэтому императора взвесить эти соображения, если он дорожит союзом, а также подумать о том, что нельзя надеяться заставить Россию желать того, чего она должна бояться; она считает, что ее соглашение с нами против Австрии, угрозы по адресу Австрии, а в особенности русская интервенция, дали бы его величеству возможность начать ту войну и разгромить Австрию, — результат, которого Россия боится больше всего.

Эти соображения, повторяемые при различных беседах, побудили меня заговорить и об испанских делах, в частности о том впечатлении, которое они произвели. Император ответил мне:

— Несомненно, там было стечение досадных, даже неприятных обстоятельств, но какое дело до этого русским? Испанские дела держат меня вдали от них: вот чего им надо; и они в восторге от этого. К тому же все интриги испанского царствующего дома не зависели от моей воли; я вмешался в их дела только тогда, когда король и его сын примчались в Байонну[19] , чтобы изобличать друг друга. Я не принуждал Карла IV приезжать туда; он отрекся вполне добровольно. Что касается Фердинанда, то я не мог положиться на него, зная, как лицемерны и он сам и его советник, это было ясно, как только я их увидел вблизи. Ошибся ли я? Время ответит на этот вопрос. Действовать иначе значило бы упразднить Пиренеи. Франция и история справедливо упрекали бы меня за это. Да и на что в конце концов обижаются в Европе? Разве Франция, Англия и Голландия не разделили Испанию при живом короле Дон Карлосе в 1698 г.[20]? Разве этот первый опыт современной дипломатии был встречен такой

же горькой критикой? Разве отвращение к таким делам, которое должно было бы со всей своей силой заклеймить этот первый пример, помешало другим разделам? Разве Польша не подверглась такой же жестокой участи? Позволили ли полякам, как байоннской хунте, дать стране конституцию и выбирать государя? Когда Людовик XIV принудил одного из наследников Карла V передать наследие этого государя династии Бурбонов, то чего только не говорили тогда. В самом деле, это наделало гораздо больше шума! Но после десятилетней войны одно сражение решило вопрос[21] . Теперешнее дело не будет продолжаться так долго. В политике все строится и все основывается па интересе народов, на потребности в общественном мире, на необходимом равновесии государств. Конечно, всякий объясняет эти великие слова на свой лад, и все же, кто сможет сказать, что я не действовал в интересах Франции и даже в интересах Испании? Может быть, скажут, что в политике только дураки не умеют приводить хороших доводов? Но на сей раз как дураки, так и добросовестные умники должны будут признать, что я сделал то, что должен был сделать при том положении, в которое интриги мадридского двора поставили эту несчастную страну.

Я говорил также с императором об осуществлявшейся им политической системе, о его позиции в Германии, о его образе действий по отношению к Пруссии, об оккупации всех крепостей на Одере и, наконец, о том направлении, в котором развивалась после Тильзита французская система в Германии. Я откровенно сказал ему, что каждый считает себя находящимся под угрозой, что страх заставляет молчать маленькие государства, а Австрия по существу прибегает к оружию лишь под влиянием того страха, который она испытывает так же, как и все; диверсия, которую представляют собой в настоящий момент события в Испании, бесспорно кажется Австрии единственным и последним моментом, остающимся ей для защиты своей независимости; война, которой она нам угрожает, при том состоянии, в котором Австрия находится, и при ее одиночестве после стольких поражений может быть только лишь войной отчаяния.

— Какой же проект мне приписывают? — спросил император.

— Быть единственным властелином, — ответил я.

— Но Франция достаточно велика! Чего я могу желать? Разве с меня недостаточно дел в Испании и войны против Англии?

— Этого бесспорно больше чем достаточно для того, чтобы занять кого угодно, кроме вашего величества. Но присутствие войск вашего величества в Германии, решение сохранить свои позиции на Одере — все

это заставляет верить, признаюсь вашему величеству, я, со своей стороны, в этом убежден, — что у вашего величества есть другие проекты и честолюбие вашего величества не удовлетворено.

Император стал шутить насчет того, что ему приписывают честолюбие. Он пытался связать это мнение с войной в Испании, которую он старался оправдать. Он говорил о глупостях испанского короля, о бесчестном образе действий принца астурийского, о предшествовавшей войне с Австрией и о той войне, которой эта держава угрожает ему теперь, как о войнах, в которых он занимал чисто оборонительную позицию и которых он хотя бы просто в своих собственных интересах стремился избежать. Он сказал, что был увлечен на тот путь, по которому пошли события в Испании, вопреки своему желанию. Он жаловался на то, что он называл глупостью великого герцога Бергского[22], которую, по его словам, можно было сравнить только лишь с глупостью испанского короля, принца астурийского и их советников. Он соглашался, что война с Испанией неприятное дело, но, говорил он, „не от меня зависело помешать этому“.

— Очень простое дело, которое со временем уладилось бы, превратилось в дело, которое осложняет все вопросы и досаждает мне гораздо больше, чем это думают. Я не мог включить в свои расчеты всего того, что сделали слабость, глупость, трусость и недобросовестность членов испанского царствующего дома.

Он говорил об отправке войск, которые покидали Германию для того, чтобы идти в Испанию, как о факте, который должен внести успокоение.

— Все очень довольны, — ответил я, — когда видят, как уменьшается численность войск; но их остается там еще слишком много для того, чтобы делать выводы, будто ваше величество изменили систему. К тому же люди не умеют правильно оценивать поступки, которые диктуются необходимостью.

Это соображение рассмешило его. Он несколько раз возвращался к вопросу об испанских делах, о враждебных намерениях Австрии, о заносчивости, которую та держава, по его словам, проявляет как раз в данный момент, так как она считает, что восстание в Испании поставило его в затруднительное положение.

— Один момент я думал, — сказал он, — что австрийский император приедет сюда. В его собственных интересах это было бы лучшее, что он мог бы сделать. Мы бы объяснились…

Я заметил императору, что австрийский император, как говорят, не был приглашен на эрфуртское свидание, о котором он узнал только из газет.

— Какое это имеет значение, если есть решимость и если знают, чего хотят? Но именно этого в Вене не знают. Венский кабинет хочет только возбуждать беспокойство; в результате вооружаются, угрожают друг другу, расходуют деньги, раздражаются, и приходится прибегать к пушкам. Спора нет, я вполне доволен, что австрийский император остался дома, так как мне пришлось бы вразумлять здесь двух противников вместо одного. Но он не приехал, потому что он готовится к войне; он не знал бы, как ему объяснить свои вооружения. Для государя всегда затруднительно лгать прямо в лицо. Он предоставил эту задачу Винценту, которому, впрочем, не придется жаловаться на мои нескромные вопросы, так как я знаю, какой линии мне надо держаться . Уверены ли вы, — спросил меня император, — что приезд Винцента не согласован с Румянцевым и что нет какого-то соглашения, уверены ли вы, наконец, что в связи с этим приездом не возникнут некоторые предложения, некоторые проекты, касающиеся Пруссии?

Эта мысль, по-видимому, сильно беспокоила императора. Я уверял, что его сомнения не имеют оснований, что русские были действительно изумлены, когда увидели здесь Винцента, что петербургский и венский кабинеты в данный момент переживали скорее период обострения отношений, чем период взаимного доверия; что же касается Пруссии, то Россия, конечно, весьма заинтересована в ее судьбе; ее собственное положение требует этого.

— Александр, — продолжал император, — заинтересован прежде всего в заключении мира с Англией. Если бы австрийский император приехал сюда, то его присутствие было бы полезно, поскольку оно придало бы больший вес тому демаршу, который мы предпримем по отношению к лондонскому кабинету; но при его проектах ему должно быть неудобно принимать на себя обязательства против тех, кто в близком будущем будет, конечно, его субсидировать…

Я сказал императору, что впечатление, произведенное в Европе похищением Фердинанда, может вызвать как в Вене, так и в Петербурге опасение, как бы император не разыграл плохой фокус с теми государями, которые приедут в Эрфурт.

— Ба! Вы думаете? — сказал император, — Австрийскому императору помешал приехать другой мотив. Он послал Винцента, чтобы разведать намерения Александра и выяснить, твердо ли он придерживается союза или же его можно отколоть от него. Надо присматривать за его демаршами. Так как австрийцы еще не готовы и так как их коалиция еще не налажена, то они хотят выиграть время. И я тоже, — оживленно

продолжал он, — хочу выиграть время. Мы, следовательно, хотим одного и того же; это будет продолжаться, пока окажется возможным.

Постоянный припев императора заключался в том, что если Александр является его другом, то Россия должна откровенно идти вместе с ним и совместно выступать против Австрии, не думая о Германии, а тем паче об Испании.

Во время последних бесед со мною император распространялся о своих умеренных и миролюбивых планах по отношению к Германии; он проявил даже большое желание успокоить Австрию и найти подходящий способ для этого. Отвечая на мои рассуждения, которые он шутя назвал критикой своих идей, он сказал:

— Но в чем же заключаются ваши идеи? Какие средства применили бы вы для успокоения этих добрых людей, которых вы считаете такими перепуганными?

Часто император напускал на себя добродушный вид, который мог бы заставить меня поверить, что он решил переменить систему и чувствует необходимость усвоить более умеренную линию. Так как на сей раз он добивался, чтобы я высказал свое мнение, и так как я никогда не заставлял себя просить, чтобы откровенно высказать то, что я считал справедливым и отвечающим интересам как императора, так и моей страны, то я сказал ему, что эти средства заключаются в финансовом соглашении с Пруссией, точно определяющем размер тех жертв, ценою которых она восстановит свою независимость и свою территорию, получив при этом гарантию, что от нее не потребуют больше того, к чему ее принудили в Тильзите.

— Удалите ваши войска из Германии, государь, — прибавил я, — удержите только одну крепость в качестве гарантии уплаты контрибуции, и мир будет сохранен.

Я указал ему, что Европу надо скорее успокоить, чем запугать; все, что он сделает, чтобы рассеять опасения по поводу его будущих проектов, упрочит его дело, умиротворив умы и устранив всякое беспокойство за будущее; такой политический оборот даст ему больше, чем армия в 100 тысяч человек и десять крепостей на Одере, а следовательно, оставит в его распоряжении все силы, чтобы справиться с Испанией и с честью ликвидировать испанский вопрос прежде, чем восстание примет там организованный характер. Я обращал его внимание на то, что испанские дела производят дурное впечатление; длительное сопротивление со стороны испанцев — опасный пример при том состоянии, в котором находится Европа; мое предложение покажется ему, быть может, требующим большой жертвы, но результаты, которые будут достигнуты

таким путем, заслуживают того, чтобы он сделал это всецело по собственной инициативе и еще до тех пор, как обстоятельства, быть может, примут такой оборот, что его вынудит к этому необходимость.

Император частично признавал справедливость моих замечаний, которые он называл, однако, „системой слабости“. Он возразил, что таким путем он потеряет плоды всех жертв, уже принесенных для того, чтобы ослабить Англию, и что надо закрыть все порты для торговли этой державы, чтобы заставить ее признать торговую независимость других держав. Я ответил, что можно удалить войска и эвакуировать несколько крепостей, не удаляя таможенников; концентрация его военных сил даст ему еще большую мощь; в слабости его никогда не заподозрят, и так как никому не хочется, чтобы он вторгся в Германию с двумя или тремя стами тысяч человек, то никто и не пожелает подвергнуться такой опасности ради минутной выгоды, связанной с сопротивлением таможенному режиму, а его интересы требуют сохранения этого режима на побережье.

Император слушал меня по большей части благосклонно, но иногда с нетерпением. Он не раз говорил мне, правда, в шутливом тоне, что я ничего в делах не понимаю.

— Именно поэтому, государь, я и прошу о назначении мне преемника.

Император не очень был доволен этим ответом и сказал мне с раздражением, повернувшись ко мне спиной:

— Господин посол, надо отдавать себя прежде всего своей стране.

В тот же день вечером Дюрок пришел ко мне по поручению императора, чтобы объявить мне его волю. Он напомнил мне, что император хотел поручить мне министерство еще при установлении империи, и напомнил также то, что ему поручено было тогда сказать мне. Он добавил, что я не должен поэтому удивляться, если император имеет виды на меня теперь, так как мое вступление в министерство успокоит и удовлетворит Россию, позволив мне в то же время возвратиться домой; впрочем, император предоставляет мне самому сделать выбор: принять министерство иностранных дел или вернуться в Петербург. Я отказался от министерства. Я рассказал Дюроку о своих беседах с императором, в частности о сегодняшней беседе и о том, как она закончилась, причем спросил Дюрока, говорил ли ему об этом император. Он уверял меня, что нет; император только жаловался, что я слишком упорно держусь моих взглядов, добавив, что если верить мне, то Европа скоро будет относиться к нему как к мальчишке.

Накануне отъезда, когда должны были быть окончательно завершены все дела, император вызвал меня снова. Разговор начался, как и в

предыдущие разы[24]. Император пустил в ход все обаяние своего гения и всю ту любезность, которой он так умел пользоваться, чтобы убедить меня в правоте его взглядов. Он сказал, чтовсецело доверяет мне, что я лучше кого бы то ни было могу сослужить ему хорошую службу и при случае я буду награжден за это. Чтобы уговорить меня ехать в Петербург, он сказал все, что только могло убедить честного гражданина. Мне не приходилось колебаться в выборе; я считал, что могу принести там пользу, а, с другой стороны, личные свойства императора Александра внушили мне привязанность к нему.

До сих пор я говорил только о моих беседах с императором, то есть о том, что так или иначе касалось меня непосредственно. Но так как я не чужд был тому, что делалось на Эрфуртском конгрессе, то мне следует рассказать и о том, что там происходило. Однако для того, чтобы читателю был понятен этот рассказ, надо начать его несколько издалека и прежде всего охарактеризовать политическое положение каждого государства в ту эпоху.

Поводом к эрфуртскому свиданию[25] — свиданию, которое составило эпоху, потому что послужило прологом к встречам монархов, правивших Европой после 1814 г., — была очевидная общая цель, а именно подлежащие согласованию меры, которые должны были принудить Англию к миру (это был вывод из того, что называли великой идеей Тильзита); эта цель требовала, чтобы государи непосредственно пришли к соглашению друг с другом и виделись ежегодно.

После Тильзита в Европе произошло столько событий и мировые интересы подвергались в некоторых отношениях такому риску, что каждый приехал на свидание, чувствуя необходимость скрывать свои затруднения, свои беспокойства и свои тайные проекты, относящиеся к будущему; но вместе с тем каждый чувствовал в неменьшей мере и стремление к всеобщему миру, который один только мог восстановить на лучшей основе Европу и привести все в порядок.

События в Испании, вместо того чтобы возродить эту страну и усилить преобладание императора Наполеона, как он рассчитывал, в действительности создали для него лишь многочисленные затруднения.

Австрия, усматривая в этой войне и в образе действий Наполеона по отношению к испанской династии посягательство на независимость всех древних династий, готовилась взяться за оружие, считая, что если Испания будет покорена, то погибнет и она сама. Ей казалось, что наступил последний момент для спасения, что она делает политическую диверсию,

выгодную для нее и диктуемую задачами ее самосохранения. Эти взгляды, хотя бы они были только лишь проектом, не могли укрыться от проницательности императора Наполеона и в настоящий момент ставили его в затруднительное положение.

Общественное мнение в Европе и даже во Франции расценивало испанские дела как политическое посягательство против слабого, обманутого и неловкого союзника. Эти события были мало известны; о них толковали лишь неблагожелательные люди, присоединявшие к своим упрекам утверждение, что эта новая война еще больше отсрочит заключение мира с Англией, которого жаждали все, так как война с Англией служила предлогом для оправдания всех жертв. При таком положении вещей императору Наполеону важно было воздействовать на общественное мнение фактом своего полного согласия с Россией; это согласие должно было, с одной стороны, произвести впечатление на Австрию и внушить Англии менее враждебные мысли, а с другой — явиться в глазах публики как бы санкцией зарубежных событий; такая санкция была весьма полезна в тот момент, когда в нашем тылу росло всякого рода недовольство. Доказать Европе, что только одна Англия отказывается от мира и продолжает проводить систему истребления континентальных государств, это значило бы расположить общественное мнение в пользу императора. Чтобы добиться этой цели, надо было сделать шаг, который показал бы, кто именно все время отказывается от мира, а чтобы придать этому шагу черты большого события, нужно было свидание монархов.

Так как испанские дела приняли дурной оборот и война в Испании не окупалась за счет этой страны, то император, принужденный порыться в своих собственных сундуках, стремился поскорее покончить с нею. Вынужденный делать новые наборы и даже отправить в Испанию большую часть войск, находившихся в Германии, он мог поддержать свое влияние в Германии лишь продолжая оккупацию крепостей и части территории. Но Россия была в такой мере заинтересована в удалении французских войск от ее границ и, следовательно, в эвакуации территории дружественной Пруссии, что это обстоятельство превращало продолжение оккупации прусских крепостей в весьма деликатный вопрос[26]. Только император Наполеон мог в данный момент дать согласие на то, чего потребуют обстоятельства, и даже отказаться от своих проектов по отношению к Испании, если бы эти соображения и пример Англии вызвали колебания у России. Какое другое влияние, кроме влияния его гения, его славы и его великих политических взглядов, могло бы добиться результата, столь

противоположного интересам России?.. Кто мог бы сделать такую попытку, не боясь внушить беспокойство русскому правительству и даже отколоть его от союза как раз в тот момент, когда его содействие было так необходимо? Именно под влиянием этих важнейших соображений император поехал в Эрфурт.

Русский же император, отправляясь туда, преследовал свои цели. Они были различны, так как и затруднения были различного рода. Это путешествие являлось выполнением обязательства, принятого им на себя в Тильзите. Для государя с его характером данное им слово являлось долгом. Различные интересы, кроме того, призывали его на это свидание. Первый из них заключался в том, чтобы всеми средствами ускорить заключение мира с Англией, война с которой разорила его внутреннюю торговлю и губила его валюту. Он хотел также, чтобы его не торопили с эвакуацией провинций на Дунае, все еще занятых его войсками (Тильзитский договор позволял ему оккупировать их лишь до заключения мира с турками и до эвакуации Францией части прусской территории)[27]. Во-вторых, — и это его интересовало не менее — национальное самолюбие России, а вместе с тем и его личное самолюбие требовало, чтобы в Москве не могли твердить, что Тильзитский мир и союз означают для России одни только жертвы. Он хотел также добиться эвакуации части крепостей и территории Пруссии, снижения контрибуции и предоставления льгот по уплате ее, а также заключения таких соглашений, при которых эта держава могла бы действительно освободиться и вновь обрести всю свою независимость; это был важный вопрос, имеющий значение для безопасности самой России.

Россия молчала об испанских делах которые император Александр обсуждал в своих беседах довольно благожелательно по отношению к своему союзнику, так как он знал все их подробности. Он к тому же отнюдь не был недоволен тем, что воинственный пыл императора был поглощен Пиренейским полуостровом. В политике интерес объясняет и даже узаконивает очень многое. А заинтересованность Англии в том, чтобы вырвать Испанию из-под нашего влияния и спасти Португалию, казалась ему мощным средством для достижения мира. С этой точки зрения события служили, таким образом, интересам России столь же, как и нашим. Только мир с Англией мог гарантировать всеобщий мир, и поэтому политика Александра отлично уживалась при данных обстоятельствах с тем, что, быть может, в глубине своей совести он оценивал менее благоприятно. Таковы были те планы, с которыми петербургское правительство явилось в Эрфурт.

Австрия была раздражена тем, что ее не посвятили в эти проекты

эрфуртского свидания, тем паче, что ее нельзя было обмануть насчет мотивов такого молчания. Этот довольно подходящий предлог к недовольству был наруку ее секретным проектам. Император Наполеон, конечно, мало беспокоился о том, чтобы император Франц принял участие в эрфуртских переговорах. Он сознавал, что контакт с северным государем сможет восстановить отношения, которые надо было немедленно завязать вновь, а вмешательство интересов других великих держав может лишь ослабить эти отношения. О свидании молчали до последнего момента, и когда Австрия узнала о нем одновременно с публикой, она поторопилась послать в Эрфурт барона Винцента, чтобы позондировать почву насчет имеющихся намерений и войти, таким образом, в курс тех решений, которые будут приняты. Неуклюжая спесь австрийского правительства и страх перед возможной нескромностью со стороны русских заставили Винцента соблюдать по отношению к русским сдержанность; его побуждала к этому и та сдержанность, которую соблюдала сама Россия из внимания к нам, но которая в такой же мере плохо служила европейским интересам, — а отстаивать их должны были бы и Россия и Франция, — в какой она делала честь лояльности императора Александра.

Как я уже говорил, намерения, которые Австрия проявляла в течение некоторого времени, должны были казаться и действительно казались, императору Наполеону более чем подозрительными. Когда приехал австрийский уполномоченный, то император думал, что под этим скрывается соглашение, существующее между Австрией и Россией, но вскоре он успокоился и этот непредвиденный приезд, который должен был бы внушить петербургскому правительству более твердый тон, имел, как мы увидим, совершенно обратный результат.

С самого начала между обоими императорами установились самые дружеские отношения, свободные от этикета. Они посещали друг друга во всякое время по преимуществу между тремя часами дня и обедом, который происходил обыкновенно у императора Наполеона. Часто они встречались по вечерам, когда не было спектакля, или же после спектакля. Эти встречи также происходили чаще у императора Наполеона. Они ездили верхом и устраивали смотры гарнизона и нескольких корпусов, отправлявшихся в Испанию.

Первые несколько дней ушли на то, чтобы взаимно позондировать друг друга, попытаться определить, выяснить предположения и проекты друг друга. Император Наполеон уже не находил своего союзника таким покладистым, как в Тильзите. Он жаловался на то, что Александр сделался недоверчивым. Проявленные Австрией враждебные намерения с самого

начала конгресса изменили характер переговоров и отвратили Россию от ее целей: чем больше император Наполеон, спешивший послать в Испанию свои войска, находившиеся в Пруссии, домогался предварительно выяснить, до каких пределов он может рассчитывать на союз и на помощь России против Австрии, чем более он настаивал в соответствии с этим, чтобы император Александр принял по отношению к этой державе угрожающий тон и занял по отношению к ней даже угрожающую позицию, что было, по его словам, единственным средством помешать ей взяться за оружие, тем больше русское правительство, усматривавшее в демонстрациях, которых от него требовали, средство довести дело до крайности, проявляло свою неохоту. Отсюда оживленные споры, которые задерживали разрешение других вопросов. В течение некоторого времени все было подчинено этой проблеме. Дело дошло даже до упреков, указывавших, что неуместная щепетильность, оставляя безнаказанными угрозы со стороны Австрии, делает союз бесплодным и убеждает Англию, что она еще может найти союзников на континенте и может обойтись, следовательно, без переговоров о мире, который-ей намеревались предложить.

Император Александр оставался непоколебимым. Ничто не могло заставить его изменить свое решение. В доводах и в настойчивости своего союзника он видел только лишнее доказательство враждебных намерений и проектов мести, в которых он его подозревал. Вопрос об интересах Пруссии и другие вопросы нелегко было затронуть в разгаре этих серьезных споров. Время проходило. Дело не двигалось вперед. Министры не могли помочь ничем, так как монархи сохранили за собой руководство делами даже в деталях.

Прошла неделя, а каждый из императоров все еще зондировал почву, стараясь выяснить, до каких пределов доходят претензии его противника, но не будучи в состоянии полностью постигнуть их. Они наблюдали друг за другом, надеясь, что завтрашний день принесет разрешение всех проблем. Император Наполеон прилагал все старания к тому, чтобы добиться обязательств, которые оказали бы воздействие на Австрию. За эту цену он, при всем своем желании сохранить в Германии существующее положение, удовольствовался бы, может быть, в принципе сохранением лишь одной крепости на Одере в качестве гарантии уплаты контрибуции. А излишек своих войск он тогда удалил бы из Германии.

Будучи лучшим дипломатом, чем его противник, он почти примирился с мыслью об этой жертве при виде той настойчивости, с которой император Александр добивался вначале эвакуации крепостей и части

прусской территории. Но когда вопрос об Австрии, который в принципе имел лишь побочный характер, сделался главной проблемой в связи с тем значением, которое ему придавал каждый из императоров, то центр тяжести переговоров переместился. Россия отклонилась от своей первоначальной цели. Все было подчинено страху перед возможностью разрыва мира с Австрией. Император Наполеон сохранил крепости, которым он придавал большое значение. А Россия считала, что она послужила интересам Европы, хотя бы в ущерб своим собственным интересам, и выиграла все, приняв на себя всего лишь условное обязательство, которое, с ее точки зрения, не могло компрометировать ни Австрию, ни европейский мир, так как из него вытекало, между прочим, что французские армии обрушатся на Испанию, где император Наполеон будет занят надолго. Россия боялась, что, настаивая слишком упорно на эвакуации крепостей, она помешает отправке французских войск в Испанию и привлечет политическое внимание завоевателя к Германии как раз в тот момент, когда оно было уже слишком сильно приковано к Австрии; она считала, что если отсрочить грозу подольше, то гроза пройдет, и события в Испании, а также потребности испанской войны приведут через несколько месяцев к эвакуации Германии, а это, по мнению России, имело самое важное значение для будущего всеобщего мира.

Неловкое притворство Австрии, как я уже говорил, разрушало доверие к ней. Откровенное обращение к императору Александру, декларирование широких и благородных взглядов по вопросу о судьбе Пруссии и о положении Германии оказало бы полезное влияние на политику этой эпохи; но Австрия, занимая столь угрожающую и столь неуклюже враждебную позицию и уже решившись столь определенно на войну, не сумела воспользоваться моментом. Она, по-видимому, думала только о себе и считалась только с Испанией, которая при наличии острой и актуальной опасности для Пруссии лишь весьма отдаленно интересовала Россию. А Россия, вероятно, не без тайного удовлетворения, видела, что военные силы Франции призываются на юг Европы и находят применение там.

Эта неловкая линия австрийского правительства повредила всем делам. Винцент был тем не менее доволен, или по крайней мере должен был быть доволен, результатами своей миссии, так как он приобрел уверенность в том, что император Александр по своей собственной инициативе отказывался от всякого обязательства, которое могло бы привести к агрессии против Австрии, и даже энергично высказался за то, чтобы против этой державы не делалось никаких посягательств. Я не знаю,

осталась ли неизвестной Винценту условная статья о сотрудничестве, а также согласие Франции на то, чтобы Россия добилась, если она сможет, уступки ей Молдавии и Валахии[28]. В день моего отъезда кто-то уверял меня, что Винцент пронюхал об этом соглашении и был, по-видимому, очень им недоволен, как будто опасность для Австрии и для Европы при тогдашнем мировом положении могла таиться в этот момент в Турции, даже если бы России удалось добиться успеха. Император Александр, оказав длительное сопротивление по вопросу об Австрии и считая, что, приняв на себя лишь условные обязательства, он отстоял величайшие политические интересы данного момента, обратил затем все свое внимание на то, что интересовало его больше всего.

И государи, и министры, и оба двора начали скучать и уставать от всех парадов, а в особенности от бесконечных споров. Споры между императорами часто принимали резкий характер. Наполеон пробовал быть ловким, уступчивым, обаятельным, порою настойчивым и, видя, что он не может ничего добиться от своего противника, все время остававшегося в очерченном им для себя круге, два раза пробовал рассердиться. Но это средство ничего не изменило в решениях Александра, а так как вспышки гнева со стороны Наполеона были скорее дипломатической хитростью, чем действительным порывом, то он быстро успокаивался и возвращался к более мирному тону.

В конце концов он удовольствовался тем, чего ему удалось добиться; по существу это было гораздо больше того, на что, по его мнению, можно было принципиально рассчитывать. В глубине души он был очень доволен, что при созданном событиями в Испании положении вещей ему удалось придать эрфуртской встрече и союзу явную антианглийскую окраску при помощи соглашения о демарше, который собирались предпринять с целью предложить Англии мир. Было условлено: государи напишут английскому королю, Румянцев приедет в Париж, и будет предпринят большой политический демарш; это было то, чего император Наполеон желал и — я повторяю — должен был желать, так как это доказывало существование большого согласия между союзниками, отвлекало внимание от испанских событий и возлагало всю ответственность за продолжение войны на Англию, ибо теперь легко было предвидеть, что осложнение событий в Испании в результате восстания, которое во всех отношениях было выгодно Англии, сделает эти предложения безрезультатными[29].

Соглашение двух императоров заставляло и Австрию насторожиться и отсрочить свои проекты.

Швеция также должна была оказаться вынужденной примкнуть к континентальной системе, то есть к единственному оружию, которым располагали против Англии; это дополняло меры, условленные в Тильзите, и являлось результатом того положения, в которое поставили Европу эгоизм Англии и проекты Питта, сводившиеся к войне не на жизнь, а на смерть. Конечно, с точки зрения прозорливой политики нелегко было отдать Швецию, а следовательно, и Финляндию, на произвол ее честолюбивого и могущественного соседа, но такова была логика фактов[30].

Континентальная система могла быть эффективной лишь в том случае, если бы она была повсеместной. Оставить для английских товаров рынок сбыта на севере значило бы парализовать все другие меры и превратить в иллюзию все уже принесенные жертвы. Уже слишком явственно ощущался ущерб, причиненный тем, что не удалось закрыть для этих товаров двери Турции, которая наводняла ими южную Германию и Польшу. Да и какая щепетильность должна была останавливать императора Наполеона? Здраво рассуждая, мог ли он предполагать, что Швеция, в случае если ей предоставят по собственному выбору закрыть свои порты перед англичанами или ввязаться в войну с Россией и Францией, предпочтет эту последнюю столь реальную и столь близкую к ней опасность временным неудобствам, вытекающим из торговых затруднений, которые испытываются к тому же всем континентом и даже Австрией, несмотря на ее враждебные намерения? Даже допуская, что король в порыве раздражения доведет дело до крайности, должен ли был император проявить к Швеции, которая была тогда его явным врагом, больше внимания, чем проявила к ней когда-то Англия, ее союзница?

Прежде чем возвратиться к рассказу о том, что происходило в Эрфурте, я считаю необходимым отметить еще некоторые подробности, касающиеся договора о согласии, договора, весьма замечательного, поскольку он разоблачал те принципы, которые отныне Англия считала нужным установить в своих интересах и которые она заставила Европу положить в основу умиротворения 1814 г.

Этот договор о. согласии, явившийся результатом предварительных шагов и предложений, сделанных 19 января, был подписан в Петербурге 11 апреля. Одна из статей договора обеспечивала за Россией Финляндию, Молдавию и Валахию. Другие статьи провозглашали независимость Голландии, объединенной в виде Нидерландского государства, независимость Швейцарии, восстановление сардинского короля в Пьемонте с расширением пьемонтской территории, эвакуацию Италии, передачу Неаполя Бурбонской династии, и, наконец, договор провозглашал

так называемый европейский статут, гарантирующий независимость всех государств и создающий преграду для всех будущих попыток узурпации.

Когда я перечитываю теперь свои заметки, чтобы привести их в порядок, я никак не могу написать эту дату, не вспомнив о другой, последующей дате (11 апреля 1814 г. — договор в Фонтенбло[31]), которая положила конец великой эпохе и дала возможность осуществить этот план, до тех пор, несомненно, казавшийся лишь мечтой, родившейся в 1805 г.

Возвращаюсь к Эрфурту. Так как положение вещей требовало, чтобы Швеция участвовала в общем деле всего континента, то было очевидно, что ввиду географического положения России на нее одну должна быть возложена задача принудить Швецию к этому. При том положении, в котором находился император, он не мог надеяться, что Россия возьмется за оружие, не потребовав всех преимуществ, которых она могла домогаться при создавшихся обстоятельствах. К тому же в интересах дела он не мог ей предложить меньше того, что предлагала ей Англия в своих собственных интересах. В этой части переговоров была некоторая особенность, заключающаяся в том, что Россия заставила себя просить и убеждать, прежде чем согласилась принять на себя обязательства против Швеции; то же самое она сделала и потом, когда надо было действовать и развертывать военные операции. Секрет этой умеренности заключался, разумеется, не столько в некоторых родственных отношениях, с которыми желательно было по внешности считаться, сколько в уверенности, что император Наполеон будет настаивать и толкать Россию достаточно энергично для того, чтобы эти родственные деликатности не нанесли никакого ущерба ее интересам.

В Эрфурте переговоры, хотя и не приблизились еще к концу, приняли, таким образом, оборот, который мог бы оказаться подходящим для императора Наполеона. Убедившись в конце концов, что ему не удастся изменить тех взглядов, к которым пришел император Александр, и что он не сможет добиться от него ничего сверх обещания действовать только в том случае, если Австрия нападет первой, он согласился удовольствоваться этим. Когда был сделан этот шаг, стало уже легче прийти к согласию по другим пунктам, так как император Александр думал, что он выиграл все, ибо Австрия никогда не будет, как он говорил, настолько безрассудной, чтобы напасть и вступить в борьбу в одиночестве. Австрийский вопрос, вызвавший столько споров, почти заставил забыть вопрос об эвакуации Пруссии и крепостей на Одере; сговориться по этому вопросу оказалось легко, и император гордился тем, что он ничего не уступил; опираясь на сильные позиции, которые он сохранял в Германии благодаря дальнейшей

оккупации крепостей (свидетельствуя о полном согласии между высокими союзниками, это должно было произвести к тому же впечатление как на Австрию, так и на всю Европу), он мог теперь располагать своими войсками для Испании. Он льстил себя надеждой, что покорит ее в течение одной кампании, а потом оставит там разве лишь несколько гарнизонов и три небольших обсервационных корпуса. Полагаясь на обещания своего союзника, он отправлял постепенно французские войска на Пиренейский полуостров еще до того, как были урегулированы все вопросы, и некоторые из полков, двигавшихся в Испанию, проходили через Эрфурт.

При тогдашнем положении императора сохранение крепостей на Одере было делом решающего значения, потому что с помощью простых гарнизонов он сохранял свои позиции в Пруссии и свой политический и военный престиж в глазах Германии. Эта оккупация имела также большое преимущество (в тот момент он придавал ему наибольшее значение), заключавшееся в том, что он сохранял кадровое ядро армии на флангах Австрии. Затем были урегулированы вопросы о Швеции и о Турции. и Россия в конце концов удовольствовалась в прусском вопросе кое-какими смягчениями и скидкой нескольких миллионов, что не имело, по существу, никакого значения, поскольку Пруссия не приобретала вновь ни политической, ни территориальной независимости. А к тому же эти денежные вопросы обсуждались только в последние минуты, когда конгресс до такой степени надоел, что каждый думал лишь о том, как бы убраться отсюда, Перед Россией была перспектива добиться уступки ей Молдавии и Валахии и даже перспектива завоевать Финляндию. Эти соображения играли, несомненно, большую роль, в особенности принимая во внимание положение императора Александра по отношению к его нации; вместе с теми соображениями, которые заставили его принести все интересы в жертву тому, что он считал спасением Австрии, эти мотивы заставили его упустить из виду последствия, к которым неминуемо должна была привести оккупация французскими войсками укрепленных пунктов в самом сердце Германии.

Император Наполеон мог послать часть своих войск в Испанию и отправиться туда сам, не уступив по существу, ничего из того, что было им оккупировано, и из того, что ему причиталось. Таким образом, и одна и другая стороны были в достаточной мере довольны. Австрия, которая угрожала императору Наполеону, когда он был в Испании, сама оказывалась под угрозой со стороны России, если бы она взяла на себя инициативу войны; император Наполеон не потерял, следовательно, времени даром.

Бесспорно, чтобы оплатить уступки России, он предложил ей немало соблазнительных для ее престижа вещей; но этой ценой он откупался от двух войн, из которых одна могла, конечно, быть приятной для его честолюбия, но зато другая — война с Англией — стоила бы ему слишком дорого, а к тому же в данный момент ни одна из них не была в его интересах. В перспективе была также и третья война, если бы Швеция отказалась примкнуть к континентальной системе. Россия оказывалась, таким образом, занятой не меньше, чем мы были заняты в Испании, и притом в такой мере, как мы только могли желать; она испытывала, кроме того, затруднения страны, богатой продуктами, которые она не может экспортировать. Молдавия и Валахия, которых она надеялась оторвать от Турции, должны были занять ее надолго, а продолжение войны против Англии, которая закрывала все рынки сбыта для ее многочисленных продуктов, могло вызвать в России большие внутренние затруднения.

Война против Швеции, ставкой в которой являлась Финляндия, была, однако, действительным возмещением за приносимые Россией жертвы. В самом деле, России не приходилось торговаться насчет цены, уплачиваемой за такое важное приобретение у самых врат ее столицы, так как этот единственный случай осуществить заветные желания предшественников Александра повториться более не мог; но следовало ли в тот момент приносить в жертву этим собственным выгодам общие интересы, которые, казалось, были более насущными и которые при дальнейшем развитии сил и могущества Франции могли оказаться и более важными? Разве нельзя было, разве не нужно было примирить эти интересы с интересами Пруссии и Германии, от которых зависело будущее спокойствие всего мира? Вот в чем главнейший вопрос.

Те, кто не присутствовал при тогдашних спорах, кто не был посвящен в различные соображения, не позволившие достичь лучших результатов, будут обвинять петербургское правительство в том, что оно не сумело лучше использовать обстоятельства. Его упрекнут в том, что оно пожертвовало интересами всего мира ради соображений данного момента. Пусть об этом выносит свой приговор история; моя задача — рассказать, каковы были результаты конгресса и какие соображения побудили Россию подписаться под ними. Перемена ею своей системы после Тильзита оскорбляла общественное мнение и привычные взгляды дворянства. Недостаток рынков сбыта разорял ее. Затруднения, испытывавшиеся ее торговлей, и падение ее валюты создавали внутреннее расстройство, порождавшее оппозицию против политического курса, которого держалось правительство. Все эти мотивы вынуждали императора Александра

добиваться от эрфуртского свидания результатов, которые могли бы произвести ошеломляющее впечатление на его нацию и привлечь ее на сторону его политического курса. Надо было оправдать в ее глазах не только союз, но также и войну с Англией и даже само эрфуртское свидание. Эта цель была достигнута. Свидание вызвало большую оппозицию в Петербурге. Императорская фамилия, вельможи и даже средний класс — все высказались против этого проекта. То, что было сделано в Байонне с членами испанского царствующего дома, дало повод для целого ряда оскорбительных предположений. Все умоляли императора не покидать Россию. Были пущены в ход все средства — просьбы, убеждения, слезы. Ему указывали, что, подвергая опасности собственную особу, он тем самым подвергает риску также и безопасность своего государства, что император Наполеон, приглашая его на свидание туда, где сам он и распоряжается и где находятся его войска, захватит его и будет держать в качестве заложника, что если уж необходимо во что бы то ни стало устроить свидание, то оно должно состояться, как это было в Тильзите, на пограничной меже. Император Александр с благородным негодованием отверг все эти предположения и отправился в Эрфурт.

Все германские государи — хотя это было допущено только из снисходительности — прибыли в Эрфурт, чтобы представиться союзникам-властелинам и образовать в некотором роде их двор. Сами властелины казались, однако, мало обрадованными этим вниманием, которое заставляло их терять много времени и мешало им обсуждать свои дела после обеда, за которым они встречались почти каждый день. Германские государи, даже короли, держали себя так скромненько, на такой равной ноге со всеми нами (если бы только мы могли забыть свой долг почтительности по отношению к ним), что положение часто становилось затруднительным. Если не считать тех моментов, когда они надеялись, что их преклонение перед властелином мира будет принято благосклонно, то можно было сказать, что они боялись быть замеченными. Русский император оказывал весьма большое внимание своей невестке принцессе Стефании Баденской[32]. Ее изящество, ее остроумие, изысканность ее манер — все это очаровывало его. Он часто с удовольствием рассыпался перед нею в комплиментах. Впоследствии он делал то же самое и в Петербурге.

На конгрессе всеми приемами распоряжался император Наполеон, как государь, который находился у себя дома. Все прошло как нельзя лучше. Я сомневаюсь все же, что германские государи, приехавшие сюда расточать свои любезности, уехали, удовлетворенными прежде всего потому, что их

присутствие, хотя оно и было, конечно, лестным, часто было в сущности стеснительным. Им давали порою заметить это. А кроме того, эти короли увидели, что с ними обращаются приблизительно так, как Австрия обращалась когда-то с германскими курфюрстами. Они могли, следовательно, убедиться, что если их новый титул избавил их от старинных функций, то, по существу, он ничего не изменил в их положении по отношению к их протектору.

Так как император вызвал из Парижа лучшие силы драматического театра, то почти ежедневно давался спектакль. Оба императора присутствовали на спектакле вместе. При этом были использованы все те возможности которые давало это единение высочайших особ. Император Александр воспользовался стихом: „Дружба великого человека — милость богов“, — чтобы в самой изысканной форме публично воздать честь своему союзнику[33] .

Императоры расстались, достаточно удовлетворенные своими соглашениями, но в глубине души недовольные друг другом. Тильзитские иллюзии полностью испарились, но так как и русский император и его министр открыто подчеркнули наряду с крайним недоверием желание сохранить союз как средство побудить Англию к миру и упрочить мир в Европе, то оба союзника продолжали идти к этой цели. Новые интересы России и преимущества, которые она рассчитывала извлечь из только что заключенных соглашений, превратили для нее эту цель в долг и в потребность.

Свою подлинную окраску дела приняли лишь в последние три дня. До тех пор даже сам министр[34] не знал всех мыслей императора Наполеона. Свое последнее слово Наполеон сказал лишь в момент подписания соглашения. Каждый день приносил перемену. Его величество жил, можно сказать, текущим днем, приспособляя свою политику и даже свои притязания к тем возможностям или препятствиям, которые встречались на его пути. В результате каждая сторона определила в точности свою позицию лишь в последний момент. Торопились кончить дело, потому что желание избежать новых инцидентов было не меньше желания поскорее уехать, и каждый закрывал глаза, чтобы не видеть того, что, может быть, потом будет справедливо поставлено ему в упрек.

Император Александр, которого в эту эпоху многие обвиняли в слепоте и слабости, проявил большой характер, что засвидетельствовал сам император Наполеон, часто жаловавшийся на это. Если бы Австрия — повторяю еще раз объяснилась тогда, как она это сделала позже через

посредство князя Шварценберга, который неуклюже изложил свои доводы лишь вместе со своим манифестом[35] , то весьма вероятно, что мы избежали бы событий 1809 г., которые окончательно потрясли Европу.

Это был один из самых благоприятных моментов для того, чтобы прийти к подлинному умиротворению, так как при том положении, которое было создано событиями в Испании, император Наполеон был готов идти на жертвы. Ему очень не хотелось отправляться в Испанию, и тем не менее он чувствовал, что только его присутствие могло ликвидировать или хотя бы сдвинуть с мертвой точки испанские дела. Немного больше согласия между великими державами, а со стороны Англии немного больше желания возвратить миру спокойствие при сохранении всех тех преимуществ, на которые она имела право, — и соглашение было бы достигнуто. Франция возвратилась бы к системе, определенной теми рамками, которые начертала для нее природа, и на которую ей давало право ее могущество и ее слава. Судя по тому, что я мог тогда подметить, император прежде всего стремился к миру. Несомненно, он хотел иметь возможность располагать своими войсками, чтобы отправить их в Испанию, но у него не было другого средства с честью выйти из этого неприятного дела, поскольку Англия отказывалась вступать в переговоры. Что касается строгого проведения континентальной системы, то в тот момент это являлось лишь выводом из основной идеи.

Заключить мир еще до того, как Россия могла извлечь все выгоды, предоставляемые ей последними соглашениями, соответствовало его политике и казалось ему действительным возмещением за принесенные им жертвы. Он, конечно, очень беспокоился о контрибуции, причитавшейся с Пруссии, но Россия считала эту претензию справедливой и ограничивалась в этом вопросе ролью ходатая. Трудность представлял лишь вопрос о сроке и характере залога, гарантирующего контрибуцию, но по тому вопросу было достигнуто соглашение. Император. по-видимому, действительно готов был идти на большие уступки, чтобы добиться общего мира. Существенная задача заключалась в том, чтобы использовать то настроение. При переговорах неминуемо было бы учтено все, так как каждый был вынужден считаться со своим соседом. Не подлежит сомнению, что всякое честолюбие сдерживалось бы великой целью — создать лучшие условия для спокойствия всего мира.

Угрозы Австрии, вместо того чтобы придать вес тем политическим взглядам, защита которых соответствовала как интересам России, так и ее проектам, затруднили и расстроили все ее комбинации и послужили только в нашу пользу.

— Могу ли я эвакуировать крепости на Одере, отказаться от моих позиций в Пруссии, словом, ослабить себя в Германии, — с полным основанием говорил император Наполеон императору Александру, — в тот момент, когда, пользуясь моими затруднениями в Испании, Австрия угрожает мне? Разве интересы союза в тот момент, когда мы намерены предпринять демарш большого значения, чтобы побудить Англию к миру, не требуют, чтобы мы казались объединенными, а я казался сильным нашему общему врагу, а также и Австрии, тоже намеренной сделаться моим врагом? Англия выскажет желание о прекращении оккупации в Пруссии, а также и в Испании, и можно будет сделать ей эту лишнюю уступку, а следовательно, будет лишнее средство для достижения мира. Может ли мой союзник, мой друг предлагать мне отказаться от единственной позиции, которая дает мне возможность угрожать Австрии с фланга, если она нападет на меня в тот момент, когда мои войска находятся на юге Европы в расстоянии 400 лье от своего отечества? То, что я готов был сделать четыре месяца назад, сегодня я уже не могу исполнить. То, что тогда служило бы интересам Пруссии, следовательно, и интересам союза, было бы теперь противоположно той цели, которую мы хотим осуществить. Дальнейшее оставление кое-каких войск в Пруссии не может беспокоить Россию, когда я удаляю все мои военные силы из Германии, чтобы перебросить их на Пиренейский полуостров. Эти меры доказывают мое доверие к вам. Имейте же и вы доверие ко мне и не разрушайте необоснованными опасениями добрый результат нашего согласия, результат, созданный моей военной политикой в тот момент, когда мы более чем когда-либо должны проявить свое единение и свою силу. Если бы вы этого потребовали, то я должен был бы на это согласиться, но тогда я предпочел бы пренебречь моими делами в Испании и незамедлительно ликвидировать мою ссору с Австрией. Если бы я эвакуировал крепости на Одере, то вы должны были бы эвакуировать крепости на Дунае. В ваших интересах остаться там, так как вы уверены, что тогда вы добьетесь уступки вам Молдавии и Валахии. Турция, видя, что она не может надеяться на какое-либо вмешательство с моей стороны, будет принуждена подписать те условия, которые вы ей продиктуете. Оккупация, которую я считаю нужной, служит таким образом, гораздо больше вашим интересам, чем моим. Вы извлечете из нее впоследствии выгоды, тогда как мне на какие-либо выгоды надеяться не приходится.

Таковы были рассуждения вызванные поведением Австрии и появлением ее представителя в Эрфурте. Что же касается результата, то французские войска остались в Пруссии, а русские — в Валахии. Австрия

только испортила дело во всех тех случаях, когда она, по общему мнению, должна была содействовать урегулированию соответствующих вопросов.

Возвращаюсь к переговорам монархов в Эрфурте. Как я уже сказал, беседы между ними были порою более чем оживленными. Однажды император Наполеон, который никак не мог добиться желаемого от императора Александра (речь шла об Австрии), попытался вспылить и, увлекшись, бросил свою шляпу или какую-то другую вещь на пол и стал топтать ее ногами; но император Александр остановился (надо заметить, что монархи почти всегда разговаривали, прохаживаясь по кабинету императора Наполеона), пристально посмотрел на него, улыбаясь, и, как только заметил, что он немного успокоился, что было делом одного мгновения, сказал ему:

— Вы вспыльчивы, а я упрям. Со мною ничего нельзя поделать при помощи гнева. Будем говорить и рассуждать или же я ухожу.

При этих словах он взялся за ручку двери и сдержал бы свое слово, если бы император Наполеон не бросился вперед, чтобы его остановить. Беседа возобновилась в спокойном тоне, и император Наполеон уступил. Подобный инцидент повторился еще раз в связи с прусскими делами, но в менее острой форме, ибо, как мне говорил много раз император Наполеон, император Александр день ото дня становился все более тверд в своих решениях.

Эти подробности рассказывал мне сам император Наполеон, сказав при этом:

— Ваш император Александр упрям, как мул. Он притворяется глухим, когда речь идет о вещах, о которых он не хочет слышать. Дорого же мне обходятся эти проклятые испанские дела!

Император, который в этот день проявлял большое доверие и даже благосклонность ко мне, заговорил со мной затем о том указании, которое он хотел получить от императора Александра в качестве дружеского совета и знака внимания, а именно об указании на то, что ему подобает заключить новый брак и необходимо иметь детей, чтобы упрочить свое дело и основать свою династию. Император хотел, чтобы Талейран[36] или я повели об этом предварительный разговор с императором Александром как о деле, которого мы лично желаем и которое соответствует и общим нашим интересам, ибо оно упрочит наше будущее, а кроме того, будет способствовать успокоению воинственного пыла императора и внушит ему любовь к пребыванию у себя дома. Эти намеки должны были быть сделаны со всеми приличествующими деликатностями. Талейран тоже говорил со мной об этом и взял с меня слово, что я первый поставлю этот вопрос.

Заметив, по-видимому, произведенное на меня тягостное впечатление, император Наполеон прибавил:

— Это для того, чтобы проверить, действительно ли Александр является моим другом, действительно ли он чувствует себя заинтересованным в счастье Франции, ибо ведь я люблю Жозефину[37]. Я уже никогда больше не буду счастлив. Но таким образом будет выяснено мнение государей об этом акте, который был бы для меня жертвой. Моя семья, Талейран, Фуше[38], все государственные деятели требуют этого от меня во имя Франции. В самом Деле, на любого мальчика больше можно положиться, чем на моих братьев; их не любят, и они не отличаются способностями. Вы укажете, быть может, на Евгения[39]? Некоторые хотели бы этого, потому что он — вполне Сложившийся человек, женат на баварской принцессе и имеет детей, но это не в ваших интересах. Новые династии не основываются посредством усыновления. У меня на него другие виды.

Император задал мне несколько вопросов о великих княжнах и спросил, что я о них думаю.

— Только одна из них, — ответил я, — достигла брачного возраста, но надо вспомнить, что произошло с вопросом о браке с принцем из шведского дома: на перемену религии они не согласятся[40].

Император возразил, что он не думает о великих княжнах, не принял еще решения и хочет лишь знать, будет ли одобрен его развод, не оскорбит ли такой акт взгляды русских и, наконец, что думает об этом император Александр. Он рассчитывал, — так мне казалось, — что эта идея может понравиться петербургскому правительству, что она окажется, может быть, увлекательной приманкой для России и что он намерен действовать в соответствии с тем, как отнесется к этому Россия.

Император, который очень легко мог бы направить разговор со своим союзником на эту тему, добивался и настаивал, чтобы император Александр первый заговорил с ним об этом. Он бесспорно надеялся, что Александр облечет этот предварительный шаг в достаточно красивые и любезные формы для того, чтобы он мог впоследствии найти в нем хотя бы косвенный намек на его сестру. Не могу умолчать, что мои замечания по поводу вопроса о религии и о Швеции встретили плохой прием. Они явно не понравились императору, который пожатием плеч и выражением лица дал мне понять, что между Тюильри и Стокгольмом не может быть никакого сравнения.

Талейран говорил с императором Александром после меня. Нам

нетрудно было добиться от него общения поговорить с императором Наполеоном о той мере, которая была в наших интересах, а вместе с тем, внося успокоение, в такой же степени соответствовала интересам Европы, как и интересам Франции. Он сделал это со всей той любезностью, которую ему внушала его приязнь к нам, но, как он мне сказал, ограничился лишь общей формулировкой тех соображений, которые политическая мудрость и интересы будущего должны были бы внушить Наполеону[41].

Надо заметить, что еще год тому назад, когда я уезжал в Петербург, вопрос о разводе усиленно обсуждался .в Фонтенбло, и полиция распространяла идею брака с француженкой, что не устраивало никого. Эту идею выдвинул герцог Отрантский, чтобы позондировать почву в общественном мнении и выяснить планы императрицы Жозефины, а также для того, чтобы приучить Францию к мысли об этой перемене.

При отъезде императора я выехал вместе с императором Александром через Веймар и Лебикау, чтобы посетить герцогиню Курляндскую. При этом посещении я устроил брак ее дочери с Эдмондом де Перигором[42] благодаря почетному содействию русского государя. Он был так добр, что вез меня в своем экипаже до Лейпцига, где я пересел в свой и поехал в Петербург, чтобы пробыть там еще один год, если император сдержит слово, которое он мне дал при отъезде.

Я опускаю все те события, которые последовали за эрфуртским свиданием, вплоть до момента, когда разразилась война с Австрией, для предотвращения которой я делал все, что мог. Об этих событиях, как и о последовавших за ними, будет речь в другом месте.

Так как заключение мира с Австрией[43] изменило политический курс императора и пролило яркий свет на эволюцию его взглядов и проектов, касающихся Польши, и так как оккупация Ольденбурга[44] , формы этой оккупации, да и все остальное расходилось с неоднократно возвещенными намерениями императора, то отныне все противоречило и моему тону и моему образу действий, от которых я не хотел отступать; я настойчиво просил поэтому о своем отозвании. Я не мог помогать обманывать. того, кто проявил такую лояльность в момент, когда наше положение в Испании было критическим, того, кто был столь искренним в своих отношениях с другими и столь верно соблюдал свое слово, когда принимал на себя какие-либо обязательства. Так как моя настойчивость не помогла мне добиться отозвания, то я притворился больным и объяснился с императором и прямо и косвенно — через моих друзей столь определенным образом, что он

вынужден был решиться заменить меня, чтобы избежать взрыва, который привел бы к дурному результату, ибо я решил во что бы то ни стало отказаться от этого посольства.

Так как я не подражал пристрастной политике министерства и не желал подлаживаться к намерениям императора, искавшего предлогов для оправдания своего охлаждения к русскому правительству и своих придирок к нему, то мои донесения не нравились ему. Ими не могли быть довольны, так как уже давно я старался избегать в своих депешах всего того, что могло быть ошибочно понято или содействовать ложным толкованиям. Я излагал факты беспристрастно и откровенно. Когда это было уместно, я воздавал должное образу действий русского правительства. Я сообщал также об его жалобах, не беспокоясь о том, не заденет ли моя откровенность императора. Министры иностранных дел и полиции наводняли Россию особыми агентами, задача которых заключалась в том, чтобы обострять настроения и попытаться собрать материалы для манифестов[45], они не могли добыть ничего подходящего. Они установили новую незашифрованную переписку по почте с генеральным консулом. От него требовали, чтобы он посылал еженедельно две депеши с сообщениями о политике, торговле и слухах. Мне тоже писали по почте в стиле, предназначенном для того, чтобы злить и раздражать.

Эти средства не имели никакого успеха. Генеральный консул Лессепс, человек добросовестный и честный, ни в каком отношении не изменил своему долгу. Как и я, он не скрывал ничего. Наше министерство не могло найти того, что оно искало в его правдивых и беспристрастных сообщениях, и его депеши, в отличие от депеш большинства. его собратьев, не содержали таких новостей и подробностей, которые могли бы заполнить бюллетени в желательном духе; он не раз получал выговоры, и, когда я приехал в Париж, я увидел, что этот доблестный человек находится на таком же плохом счету, как и я. Император собственной рукой вычеркнул ежегодную денежную награду, которую получал Лессепс от морского министерства за свои закупки. Возникал даже вопрос о том, чтобы его сместить. Его 30-летняя служба, его всем известные честность и благородные убеждения — все это было совершенно забыто в тот момент. Несмотря на скромный образ жизни, он не имел состояния, так как должен был тратиться на представительство и был отцом восьми детей; он мог поэтому с минуты на минуту оказаться без куска хлеба.

Русское правительство не поддалось на происки наших министров и не переменило ни своего курса ни даже своего отношения к нам.

Император Александр и граф Румянцев бесстрастно относились к этим атакам. Они не изменили даже своего тона.

— Мудрость государей, — не раз говорил мне император Александр, — должна сделать так, чтобы судьба управляемых ими наций не зависела от интриг и тщеславия тех или иных смутьянов. Императора Наполеона подстрекают. Но время разъяснит все это. Если он хочет воевать со мной, то первый пушечный выстрел сделает он.

Все, что мне писали из Парижа, все, что мне становилось известным, не могло оставить во мне ни малейшего сомнения по поводу раздражения, которое император Наполеон питал против меня. Не имея возможности придраться к моему поведению или к моей деятельности, он отомстил мне на моих друзьях и выслал мадам де К…[46] , которую он назначил без всякой с ее стороны просьбы придворной дамой, когда вступил в брак с императрицей Марией-Луизой. В ту пору он ее очень отличал и назначал для участия во всех поездках, желая, очевидно, доставить мне удовольствие, так как тогда я был ему полезен в России. Эта новость, которую я получил за некоторое время до отъезда из Петербурга, окончательно прояснила мне характер политических планов императора и мое собственное положение. Сообщая мне об этом, добавляли, что я должен быть готов ко всему, и если император и не сошлет меня, то наверное даст мне почувствовать свое недовольство как-нибудь иначе. Но так как мне одновременно сообщали о предстоящем выезде Лористона[47], который должен был меня заменить, то я нашел, что, поскольку речь идет обо мне, в этих известиях есть для меня компенсация: замена меня другим лицом при сложившихся обстоятельствах была мне дороже всего, ибо политическое бремя, возложенное на меня, было тягостным для моих принципов и убеждений.

Лористон действительно приехал через некоторое время[48]. Его путешествие продолжалось долго, потому что император поручил ему проехать через Данциг, чтобы ознакомиться с состоянием войск и военных приготовлений, несомненно, с той целью, чтобы придать его миссии немного враждебный характер; во всяком случае это было замечено в Петербурге и, следовательно, было вдвойне неприятно для Лористона, прямота и лояльность которого подверглись тяжкому испытанию с самого начала.

Я оставался с ним несколько дней, как это мне было приказано, и наконец отправился в путь[49]. Совесть моя была спокойна, так как я добросовестно служил императору и говорил ему правду, и я поспешил в

Париж, куда приехал 5 июня в девять часов утра. Один из моих друзей встречал меня около Шалона. Его рассказы о намерениях императора и о его раздражении против меня отнюдь не были приятными или успокоительными. Существовало, однако, мнение, что серьезные интересы, а также и положение дел в Испании, которое, согласно последним сведениям, отнюдь не было удовлетворительным, заставляет императора отложить его враждебные проекты против России, и война, которую месяц тому назад считали неизбежной, будет отсрочена. Эту перемену приписывали сообщениям из Испании и делали отсюда вывод, что император будет на публике относиться ко мне более или менее хорошо, чтобы рассеять мнение о разрыве с Россией, которого ожидали некоторое время тому назад, причем общественное мнение было достаточно встревожено этим.

У меня были, признаюсь, печальные размышления о положении человека, оскорбленного в своих самых дорогих чувствах, спокойствие которого находится под угрозой за то, что он хорошо и добросовестно служил своему государю и отстаивал, как подобает честному человеку, интересы своей страны.

В 11 часов я уже был в Сен-Клу, где находился император[50]. Его величество принял меня сухо, тотчас же с горячностью перечислил мне свои так называемые обиды против императора Александра, не делая никакого упрека лично мне. Он говорил об указе о торговле[51], о допущении в страну граждан нейтральных государств и американцев, которое, по его словам, противоречит континентальной системе. Он прибавил, что император Александр фальшивит, что он вооружается для войны с Францией и что войска, находившиеся в Молдавии, двигаются к Двине. Император повторил мне все сказки и басни, которые фабриковались в Данцинге, в Варшавском герцогстве и даже в северной Германии, чтобы доставить ему удовольствие, сказки и басни, лживость которых так часто доказывалась ему сведениями, полученными затем на месте или даже самими событиями.

Я отвечал на все фактами, уже упоминавшимися в моих депешах, которые он читал, фактами, доказывавшими, что указ явился результатом плохого состояния валюты; получать товары из-за границы в России не хотели, так как они извлекали бы из страны всю валюту, поскольку нельзя было продавать свои продовольственные продукты; внезапное запрещение ввозить даже в Германию товары, которые Россия поставляла прежде и ей и Франции, также в некоторой степени содействовало изданию указа. По

вопросу о допущении нейтральных судов я повторил то что его величество знал так же, как и я, а именно: гак как он продавал лицензии[52] и открыто допускал в течение последних полутора лет в наши порты корабли, которые имели эти лицензии и приходили прямо из Англии, то это открыло глаза всему миру, и нельзя было сделать слепыми правительство и жителей страны, которая страдала от отсутствия вывоза в такой мере, как Россия.

Я ответил, что государственный кредит пострадал от этого до такой степени, что рубль, который в момент моего приезда в Петербург стоил 2 франка 90 сантимов, упал до 1 франка 50 сантимов; трудности, переживаемые торговлей, живо ощущаются в стране, имеющей продукцию, которую она сама не может потребить и размеры которой усложняют ее вывоз; при наличии привычки к потреблению колониальных продуктов, особенно сахара, даже если бы император Александр пожелал, он не мог бы осуществить абсолютный запрет, который довел бы цену на сахар до необычайных размеров и благоприятствовал бы контрабанде; между тем всем прекрасно известно, что мы уже давно не придерживаемся этого запрета, ибо наши лицензии дошли даже до русских портов, словно для издевательства над трудностями, переживаемыми торговлей этой страны. Я напомнил ему дело с судном „Вильям Густав“ из Бордо[53].

Я обратил его внимание на то, что он не прибегнул ни к одному из возвещенных средств, не осуществил ни одной из мер обещанной помощи, что 15 миллионов, которые должны были пойти на русские морские вооружения и о которых он мне поручил объявить, до сих пор не были отпущены. Я указал ему, что, — как видно из переписки, — все меры, на которые он жаловался, были давно предвидены заранее, а он ничего не сделал для того, чтобы их предупредить; император Александр с самого начала называл монополией производимые нами конфискации всех нейтральных грузов без всякого различия и заявлял, что он не станет разорять своих подданных, чтобы обогатить свою казну. Я отметил также, что нейтральные суда допускали отнюдь не тайком, как говорил его величество; конфисковав более 60 судов, заходивших в Англию, русское правительство заранее объявило, что вследствие перемены, которую мы несколько времени тому назад внесли в нашу систему, принятую по общему соглашению и все еще действующую, оно отныне будет после тщательного обследования принимать суда, которые докажут, что они действительно являются нейтральными и не заходили в Англию. Я перечислил многочисленные грузы, конфискованные только потому, что суда делали остановку в Англии. Я рассказал о впечатлении,

произведенном сообщениями наших газет о допущении в наши порты судов из Англии, обладающих лицензиями.

Что касается характера императора Александра, то я напомнил, что Александр признал короля Иосифа в тот момент, когда наши дела в Испании были плохи и он знал, что Иосиф находится под угрозой[54]. Что же касается передвижения войск, находившихся в Молдавии, то я указал на сделанное императором Александром Лористону предложение послать своего адъютанта для объезда всей линии турецкого фронта, начиная хотя бы даже с Киева, чтобы убедиться в том, где находится каждый из полков, о которых говорили, что они посланы на границы герцогства Варшавского. По вопросу же о других передвижениях войск я просил его величество, чтобы он приказал вновь представить на его рассмотрение ту часть моей корреспонденции, которая перечисляла их. Я отметил также, что император Александр, жалуясь мне на передвижение наших войск, часто сообщал мне о тех передвижениях, которые он в связи с этим производил сам, добавляя: „Я ничего не делаю тайком. Я ничего не устраиваю на моих границах, но я принимаю меры для того, чтобы не быть во время мира захваченным врасплох передвижениями французских войск в районе, находящемся на 300 лье дальше границ их союзников“.

Я напомнил императору, что он заключил последний мир с Австрией, мало считаясь с Россией.

— Я ей дал 300 тысяч душ. Это больше, чем она завоевала[55] .

— Несомненно, государь. Но в данном случае форма спасла бы сущность дела. Лучше было бы, если бы ваше величество не дали ничего.

Я указал ему на неизбежные последствия этого дела и напомнил об отказе ратифицировать конвенцию о Польше[56] , хотя она была не чем иным, как результатом сделанного им предложения и тех распоряжений, которые он мне давал. Я говорил об явных отправках оружия и пушек в Варшавское герцогство, о которых открыто писали наши газеты, об ольденбургском деле, о встречах императора, о произведенных и возвещенных переменах в Германии, о стиле министерской переписки по почте, обострявшем положение больше, чем пушечные выстрелы, о толпе нескромных агентов, нахлынувших в Россию со всех сторон, чтобы раздражать и ссорить. Я не скрыл, наконец, от императора, что если он хочет войны, то его кабинет сделал все для того, чтобы к ней привести, и даже для того, чтобы надменно возвестить о ней, но если считают полезным сохранить союз, то я не понимаю, для чего нужны все эти булавочные уколы.

Император был очень резок со мной и сказал, что император Александр и русские оставили меня в дураках, что я не знаю о происходящих событиях, что маршал Даву лучше осведомлен, чем я, что генерал Рапп лучше, чем я, держит его в курсе дела и т. д.[57]. Я ответил, что пусть другие раздувают огонь, повторяя нелепые сказки каких-либо низших агентов, желающих оправдать свое жалованье; я убежден в точности своих сообщений и тех сведений, которые я имею честь вновь ему доложить; я готов отдаться под арест и положить свою голову на плаху, если донесения Лорисгона и сами события не подтвердят все, что я сообщал и что я ему говорю.

Не знаю, навела ли имперарора моя уверенность на какие-либо серьезные размышления, но он хранил молчание по крайней мере в течение четверти часа и расхаживал по своему кабинету, не произнося ни слова. Наконец он промолвил:

— Значит, вы думаете, что Россия не хочет войны, что она останется в союзе и примет меры для поддержки континентальной системы, если я удовлетворю ее в вопросе о Польше?

— Вопрос, — ответил я, — уже не ограничивается Польшей. Тем не менее я нисколько не сомневаюсь, государь, что там были бы весьма удовлетворены, если бы ваше величество удалили из Данцига и из Пруссии по крайней мере наибольшую часть тех войск, которые собраны там, как полагают, исключительно против России.

— Значит, русские боятся? — сказал император.

— Нет, государь, но как рассудительные люди откровенно объявленную воину они предпочитают положению, которое не является действительным миром.

— Что же, они хотят предписывать мне законы?

— Нет, государь.

— Однако требовать, чтобы я эвакуировал Данциг дая удовольствия Александра, — это значит диктовать мне свою

— Император Александр не требует ничего, очевидно, потому, чтобы не сказали, что он угрожает. Однако он учитывает все, что произошло после Тильзита, и полагает, что если армии вашего величества находятся на русской границе в 300 лье от ваших границ, то это отнюдь не согласуется с желанием сохранить союз. Я мог видеть, что возбуждает беспокойство. Я могу поэтому сказать вашему величеству, что внесло бы успокоение.

— Скоро я должен буду просить у императора Александра разрешения на устройство парада в Майнце!

— Нет, государь, но парад в Данциге задевает его.

— Я предложил ему возмещение за Ольденбург. Он презрительно отверг его. Я предложил соглашение по поводу герцогства Варшавского; но его больше не пожелали.

— Ваше величество изгнали родственника императора герцога Ольденбургского из его владений в тот момент, когда сын герцога женился на сестре императора. Мог ли он сделаться префектом вашего величества в Эрфурте[58]? Не значило ли это оскорблять все-приличия и даже создавать новый источник постоянных трений между обоими дворами? От вашего величества не могло укрыться, что благоразумие и приличие побуждали воздержаться от этого.

— Русские очень возгордились.

— На сей раз мой долг возражать вашему величеству. Я не одобряю и не порицаю; я рассказываю. Ваше величество рассудит — должны ли все эти обиды, как бы они ни были обоснованы, привести к решению об отказе от выгод союза. — Со мной хотят воевать, говорю вам.

— Та деликатность, с которой они представляют объяснения, доказывает, что они не хотят ни воевать против вашего величества, ни предписывать вашему величеству законы, но все доказывает мне также, что там не хотят принять ваше величество у себя.

— Русские хотят заставить меня эвакуировать Данциг. Они думают водить меня за нос, как водили польского короля! Я не Людовик XV[59]; французский народ не потерпел бы такого унижения.

Император повторил несколько раз с горячностью, что французский народ не потерпел бы этого унижения, потому что он не Людовик XV, потом последовало довольно продолжительное молчание, которое он нарушил, обращаясь ко мне со словами:

— Вы, значит, хотели бы унизить меня?

— Ни ваше величество, ни Францию, — ответил я. — Ваше величество спрашиваете меня о способах сохранения союза и ваших добрых отношений с Россией; я указываю эти способы.

— Вы советуете мне это унижение?

— Да, государь, я советую возвратиться к тому положению, в котором вы находились после Эрфурта. Я не вижу в этом унижения, если вы, ваше величество, хотите сохранить мир и союз. Если же ваше величество считает, что политическое восстановление Польши более соответствует вашим интересам, то, так как это восстановление несовместимо с союзом с Россией, мои объяснения и мои замечания становятся беспредметными.

Тогда надо рассуждать по-иному, и в этом случае мое мнение не может быть полезно вашему величеству.

— Я вам уже сказал, что я не хочу восстанавливать Польшу.

— Тогда я не понимаю, ради чего ваше величество пожертвовали своим союзом с Россией!

— Это Россия разорвала его, потому что ее стесняет континентальная система.

— Это уже другой вопрос. Я не могу здесь высказываться в качестве стороны, но вашему величеству хорошо известно, что в Петербурге мы все еще искренне придерживались континентальной системы и идей Тильзита, тогда как уже в течение шести месяцев французские суда, обладающие лицензиями, возвращались с грузами из Англии.

Император улыбнулся и потянул меня за ухо, говоря:

— Вы значит влюблены в Александра?

— Нет, государь, но я стою за мир!

— И я тоже, — возразил император, — но я не хочу, чтобы русские приказывали мне эвакуировать Данциг.

— Так они и не говорят. Император Александр, когда я расставался с ним, сказал мне: „Император Наполеон знает обо всем, что являлось посягательством против союза, обо всем, что беспокоит Европу, обо всем, что приобрело угрожающий и даже враждебный характер по отношению к его союзнику. Если союз еще полезен для него, то он лучше кого бы то ни было будет знать, что необходимо для его сохранения. Нынешнее положение вещей не может продолжаться, так как нужно, чтобы союз был выгоден для обеих сторон, а с тех пор, как ваши войска стоят на моих границах, в состоянии мира нахожусь лишь я один. Если я еще не потребовал объяснении по поводу всего происшедшего, то потому, что я надеюсь, что император Наполеон, лучше уяснив свои действительные интересы, возвратился к мерам, более соответствующим объединившему нас союзу. Если бы этот союз не должен был побудить Англию к миру и тем самым гарантировать успокоение всего мира, то я принял бы уже свое решение“.

— Это и есть рассуждения, при помощи которых вас надули, потому что он их пересыпает любезностями. Ну, а я — старая лисица; я знаю византийцев.

— Я, государь, если ваше величество позволит мне сделать последнее замечание…

— Говорите, — живо сказал император. Но я видел, что он порядочно возбужден, и, желая дать ему успокоиться, не спешил объясниться.

— Говорите же, — нетерпеливо сказал император.

— Что касается меня, государь, то я решаюсь повторить вашему величеству, что я вижу выбор лишь между двумя возможностями: восстановить Польшу и провозгласить ее восстановление, чтобы привлечь на свою сторону поляков, что может дать политическую выгоду, или же сохранить союз с Россией, что приведет к миру с Англией и к завершению ваших испанских дел.

— Какое решение приняли бы вы? — Сохранение союза, государь! Это решение, означающее благоразумие и мир.

— Вы всегда говорите о мире! Мир дает кое-что только тогда, если он является прочным и почетным. Я не хочу такого мира, который разрушил бы мою торговлю, как это сделал Амьенский мир[60]. Для того чтобы мир был возможным и прочным, нужно, чтобы Англия убедилась, что она не найдет больше пособников на континенте. Нужно, следовательно, чтобы русский колосс и его орды не могли больше угрожать югу вторжением.

— Значит, ваше величество склоняетесь в пользу Польши? В таком случае достоинству вашего величества и этой великой цели соответствовал бы другой язык. Ваше величество имели возможность обсудить этот шаг за то время, что вы готовитесь к нему. Предпринять его во время войн с Испанией и с Англией — великое дело.

— Я не хочу войны, я не хочу Польши, — живо возразил император, как бы испугавшись, что он обнаружил свои затаенные мысли, — но я хочу, чтобы союз был мне полезен, а он не приносит мне пользы с тех пор, как принимают нейтральных; он никогда не был мне выгоден, так как русские почти не выступали во время войны с Австрией.

— Основной вопрос для вашего величества заключался в том, чтобы они выступили и чтобы их ружья стреляли. Они сделали и то и другое, и это было много, так как я требовал от них, чтобы они защищали и охраняли Варшаву и поляков, их врагов. Политически они сделали много и доказательством служит то, что Австрия заключила мир!

— Если император Александр принимает нейтральных, то континентальная система превращается в иллюзию.

— Ваше величество не можете рассчитывать навязать русским, подобно гамбуржцам, те лишения, которые ваше величество уже не налагаете на себя сами. Если ваше величество хотите строго соблюдать принятую систему то я не сомневаюсь, что Россия последует этому примеру, если же ваше величество допускаете послабление для Франции, то положение России требует того же. Приходится это терпеть.

Император вновь перебрал один за другим все те вопросы, которые

уже подвергались обсуждению. Не имея возможности опровергнуть факты, он старался смягчить их значение или отрицать их. Некоторые из фактов были им отнесены на счет моей мнимой доверчивости, которая, по его словам, была результатом любезностей императора Александра. Когда я довольно умеренно похвалил характер этого государя, он нетерпеливо сказал мне:

— Если бы парижские дамы слышали вас, они еще больше вздыхали бы по императору Александру. Рассказы о его манерах и галантном поведении в Эрфурте вскружили им головы. Из всего этого можно сочинять прекрасные сказки для парижан.

Я не отвечал ни слова.

Хотя император и сдерживал свое раздражение, оно было весьма заметно. Так как мне казалось, что я произвел на него некоторое впечатление, и так как я считал, что настоящий момент является, быть может, единственным, когда на него в состоянии подействовать правильные, на мой взгляд, соображения, то я продолжал говорить с прежней откровенностью.

Император вновь поднял вопрос о конвенции по поводу Польши и сказал:

— Спорили только о словах. Я хотел изменить только редакцию.

Я ответил, что лучше было бы отвергнуть конвенцию. чем предлагать такие изменения, которые слишком явно доказали, что после того, как мы были готовы дать гарантию, мы в промежутке между двумя очередными отправками дипломатической почты переменили политику и остановились на других проектах.

— Александр впал в амбицию. Он уже больше нс хотел конвенции; именно от него исходил отказ, — возразил император. — Но если он считает теперь, что конвенция бесполезна, то, следовательно, он уже не думает. что я хочу воевать ради восстановления Польши?

— Он не знает, — ответил я, — будет ли это ради поляков или ради вашего величества, но он не обманывает себя насчет приготовлений вашего величества.

— Он меня боится?

— Нет, государь. Вполне воздавая должное вашим военным талантам, он часто говорил мне, что его страна велика; ваш гений может дать вам много преимуществ над его генералами, но если они не найдут случая дать вам бой при выгодных условиях, то у них имеется достаточно территории, чтобы уступить вам пространство, а удалить вас от Франции и от ваших баз значит уже с успехом сражаться против вас. В России знают, что нельзя

направлять удар туда, где находится ваше величество, но так как вы не можете находиться повсюду, то там не скрывают проекта наносить удары лишь там, где вашего величества не будет. „Эта война, — сказал император Александр, — не ограничится одним днем“. Ваше величество будете вынуждены возвратиться во Францию, и тогда все преимущества будут на стороне русских; к этому присоединяется зима, жестокий климат и — самое главное — решимость императора Александра, громогласно возвещенная им воля продолжать борьбу и не поддаваться, подобно другим государям, слабости, выражающейся в подписании мира в своей столице… Я передаю вашему величеству слова и мысли императора Александра. В этом вопросе он не скрывает ни своих взглядов, ни своей политики с тех пор, как ваше величество заняли более угрожающую позицию, и с тех пор, как дело идет, по-видимому, к последним крайностям.

— Признайте откровенно, — возразил император Наполеон, — что как раз Александр хочет воевать со мною.

— Нет, государь, — ответил я вновь, — ручаюсь вашему величеству головой, что он не выстрелит первым из пушки и не перейдет первым свою границу. Значит, между нами существует согласие, — заметил император, — так как я не двинусь к нему; я не хочу ни войны, ни восстановления Польши.

— В таком случае, государь, следует объясниться для того, чтобы они могли отдать себе отчет в целях сосредоточения войск вашего величества в Данциге и на севере Пруссии.

Император ничего не ответил на это. Он заговорил о русских вельможах, которые в случае войны боялись бы за свои дворцы и после крупного сражения принудили бы императора Александра подписать мир.

— Ваше величество ошибаетесь, — сказал я. И я повторил императору поразившие меня слова императора Александра, произнесенные им в частной беседе со мной после приезда Лористона, когда я не имел уже политических функций, — слова, которые более определенно выражали то, что он мне дал уже понять незадолго перед этим. Эти слова настолько меня поразили, что, возвратившись, я их записал, и теперь я передавал их с полной точностью, так как едва ли память мне изменила.

— Если император Наполеон начнет против меня войну, — сказал мне Александр, — то возможно и даже вероятно, что он нас побьет, если мы примем сражение, но это еще не даст ему мира. Испанцы неоднократно были побиты, но они не были ни побеждены, ни покорены. А между тем они не так далеки от Парижа, как мы: у них нет ни нашего климата, ни

наших ресурсов. Мы не пойдем на риск. За нас — необъятное пространство, и мы сохраним хорошо организованную армию. Когда обладаешь этим, то, по словам императора Наполеона, несмотря на понесенные вами потери, никто не сможет диктовать вам свою волю. Можно даже принудить своего победителя принять мир. Император Наполеон сам приводил эти соображения Чернышеву[61] в Вене после сражения при Ваграме. Он не пошел бы тогда на мир, если бы Австрия не сохранила армию. Ему нужны результаты столь же быстрые, как его мысль, ибо, находясь часто в отсутствии, он по необходимости торопится поскорее вернуться домой. Его уроки — это уроки учителя. Я не обнажу шпагу первым, но я вложу ее в ножны не иначе, как последним. Пример испанцев доказывает, что именно недостаток упорства погубил все государства, с которыми воевал ваш повелитель. Соображения, приведенные императором Наполеоном Чернышеву во время последней войны с Австрией, достаточно доказывают, что австрийцы добились бы лучших условий, если бы они были более упорными. Люди не умеют терпеть. Если жребий оружия решит дело против меня, то я скорее отступлю на Камчатку, чем уступлю свои губернии и подпишу в своей столице договоры, которые являются только передышкой. Француз храбр, но долгие лишения и плохой климат утомляют и обескураживают его. За пас будут воевать наш климат и наша зима.

Император слушал меня с большим вниманием и даже с удивлением. Он казался очень озабоченным; довольно долго он хранил молчание. Мне казалось, что мои слова произвели на него глубокое впечатление, так как его лицо и осанка все время были очень суровыми, а теперь его черты приняли открытое и благосклонное выражение. Он, казалось, и выражением своего лица и своими вопросами хотел ободрить меня. Он стал говорить об обществе, об армии, об интендантстве и даже об императоре Александре без того раздражения, с которым до сих пор упоминал его имя. Император был даже в этот момент весьма благосклонен ко мне и сказал мне какую-то любезность по поводу моей служебной деятельности. Я, со своей стороны, уверял его, что он ошибается насчет императора Александра и насчет России; не следует судить об этой стране на основании того, что говорят некоторые лица, а об ее армии — на основании того, что он видел при Фридланде; находясь под угрозой уже в течение года, там взвесили все шансы, а следовательно, и шансы нашего успеха.

Внимательно выслушав меня, император перечислил мне, какими он располагает силами и средствами. Как только он взялся за эту тему, я уже

больше не сомневался, что нет никакой надежды на мир, так как этот военный подсчет кружил ему голову. И в самом деле, он в заключение сказал мне, что хорошее сражение окажется лучше, чем благие решения моего друга Александра и его укрепления, возведенные на песке; это был намек на фортификационные работы, производившиеся в Риге и на Двине.

Он заговорил затем об испанских делах и при этом с недовольством отозвался о своих генералах и о тех задержках, которые приходилось терпеть в Испании. Он сказал, что эти новые затруднения являются результатом неловких действий короля — его брата — и генералов, но эти затруднения скоро кончатся. Он старался убедить меня в том, что мог бы добиться там конца в любой момент, но тогда англичане напали бы на него в других местах и, может быть, даже в самой Франции. Он делал отсюда вывод, что, пожалуй, лучше, чтобы они это делали в Португалии. Потом он вновь перешел к императору Александру.

— Он человек фальшивый и слабохарактерный, — повторил он.

— Он упрям, — ответил я. — Его склонный к примирению характер приводит к тому, что он легко уступает по некоторым вопросам, которым он не придает большого значения, но в то же время он очерчивает круг, за пределы которого не выходит.

— У него византийский характер, он человек фальшивый, — еще раз сказал император.

— Несомненно, — ответил я, — он не всегда говорил мне все, что думал; но то, что он благоволил мне сказать, всегда подтверждалось, а то, что он обещал через меня вашему величеству, он выполнял.

— Александр честолюбив; у него есть цель, которую он скрывает, ибо желает войны; он желает ее, говорю вам, так как он отказывается от всех предлагаемых мною соглашений. У него есть тайный мотив: неужели вы не смогли распознать этот мотив? Повторяю вам, что у него есть другие мотивы, кроме Польши и Ольденбурга.

— Одних этих мотивов и присутствия вашей армии в Данциге было бы достаточно. Кроме того, он может, бесспорно, разделять те опасения, которые внушают всем кабинетам перемены, произведенные вашим величеством после Тильзита и в частности после Венского мира. Хотя об этом со мной и не говорили определенно, я мог, однако, заметить, что эти опасения заставляли задуматься русское правительство в такой же мере, как и другие.

— Какое дело до этого Александру? Это происходит не у него. Разве я не сказал ему, чтобы он забрал Финляндию, Молдавию и Валахию, которые вполне ему годятся? Разве я не предлагал ему разделить Турцию?

Разве я не заплатил ему 300 миллионов за войну с Австрией?

— Да, государь, но эти соблазны не помешали ему, несомненно, видеть, что ваше величество наметили с тех пор вехи для других перемен и хотите заводить в Польше свои порядки.

— Вы фантазируете, как он. Еще раз повторяю, я не хочу воевать с ним, но надо, чтобы он выполнял принятые на себя обязательства и закрыл свои прилавки перед англичанами. Какие это перемены так его пугают? Какое дело до них России, находящейся на краю света?

— Об этом он не говорил со мной.

— Я не мешаю ему округлять свои владения в Азии и даже, если он хочет, в Турции, лишь бы он не прикасался к Константинополю. Он недоволен тем, что я владею Голландией[62]. Это затрудняет ему займы, в которых он нуждается.

— Присоединение ганзейских городов, организация великого герцогства Франкфуртского, которая означает, что ваше величество сохранит за собою Италию, передача Ганновера Вестфалии[63] — все эти перемены, произведенные во время мира, возвещенные в виде окончательных мероприятий, затрудняют и отдаляют мир с Англией. Они, следовательно, бьют по самым дорогим интересам России, но не заставят ее начать войну.

— Значит, для того чтобы понравиться Александру, я должен терпеть, чтобы англичане и мой брат предписывали мне законы? Румянцев знает, что я сделал все, чтобы побудить Англию к миру. Лабушер несколько раз ездил в Лондон, причем ездил даже в качестве представителя голландцев[64]. Должен ли я позволить наводнять северную Германию английскими товарами?

— Временный характер этих мер произвел бы впечатление политического шага, но их окончательный характер и продвижение на север целых армий вместо нескольких батальонов для подкрепления таможенной стражи — это вызвало испуг.

— Вы не дальновиднее Александра, который одержим страхом. Именно эти меры, которые вы порицаете, отнимают все надежды у англичан и принудят их к миру.

Этот разговор продолжался еще долго. Император перескакивал с одного вопроса на другой и после длительных перерывов вновь возвращался к тем же темам, — несомненно для того, чтобы проверить, буду ли я давать те же самые ответы. Пожалуй, он никогда еще не предавался более серьезным размышлениям, если судить по его

озабоченности и по тем долгим паузам, которые прерывали эту беседу, продолжавшуюся пять часов.

После одной из пауз он сказал мне:

— Нас поссорил австрийский брак. Император Александр рассердился на меня за то, что я не женился на его сестре.

Я должен был напомнить императору, что, как я доносил в свое время, Россия не интересовалась этим браком; император Александр не мог отказать в согласии поддержать эту идею без всяких определенных обещаний, но он никогда не уступил бы по вопросу о религии; надо было бы выжидать по крайней мере целый год, если бы императору и удалось добиться согласия своей матери; он никогда не хотел взять на себя определенное обязательство по этому вопросу, и там были скорее довольны, чем рассержены, когда неожиданно узнали о заключении брака с австрийской принцессой; хотя мы не очень деликатно аннулировали сделанные нами предложения, к счастью, еще не получившие положительного ответа, который поставил бы меня в очень затруднительное положение, если бы я его к этому моменту добился.

— Я забыл эти подробности, — сказал император, — но не подлежит сомнению, что там были рассержены сближением с Австрией.

Я ответил ему, — это была правда, и это поразило в свое время всех, — что, как доказывают разговоры императора и Румянцева во время первых предварительных шагов, предпринятых по этому вопросу, в Петербурге в первый момент почувствовали только удовольствие от исчезновения вопроса, весьма деликатного для взаимоотношений между обоими правительствами и еще более деликатного для императора Александра в области его отношений со своей матерью и со своей семьей.

Император Наполеон еще раз повторил, что он не хотел ни войны, ни восстановления Польши, но что надо прийти к соглашению по вопросу о нейтральных и по другим разногласиям.

— Если ваше величество действительно этого хотите, то это будет нетрудно, снова ответил я.

— Уверены ли вы в этом? — спросил меня император.

— Вполне, — был мой ответ, — но нужно, чтобы предложения были приемлемы.

— Но что же еще? — возразил император. Он побудил меня вновь перечислить ему возможные предложения.

— Ваше величество уже давно и столь же хорошо, как и я, знаете, в чем заключаются причины охлаждения. Ваше величество лучше меня знаете, что вы готовы были бы сделать, чтобы исправить дело.

— Но что же? Чего от меня требуют?

— Что касается торговых сношений между обеими странами, то нужны соглашения, построенные на взаимной выгоде; то же самое нужно для всей вообще морской торговли; нужно терпеть допущение нейтральных, если мы хотим, чтобы допускались и продавались грузы, имеющие лицензию. Нужно устроить принца Ольденбургского так, чтобы он не был поставлен, как в Эрфурте, абсолютную зависимость от вас; нужно заключить соглашение о Данциге, о прусских делах и т. д., и т. д.

Когда император увидел, что я перешел к политическим вопросам и что при обсуждении их он, несомненно будет вынужден сказать больше, чем хочет, он заявил, что Лористону даны поручения по этим вопросам и что я, вероятно, нуждаюсь в отдыхе.

Я просил его величество позволить мне сказать еще лишь одно слово.

— Говорите, — сказал император.

— Война и мир в ваших руках, государь. Я умоляю ваше величество подумать о своем собственном счастье и о счастье Франции, когда ваше величество будете выбирать между превратностями войны и хорошими скрытыми выгодами мира.

— Вы говорите, как русский, — ответил император.

— Скорее, как добрый француз, как верный слуга вашего величества.

— Повторяю вам, я не хочу войны; но я не могу помешать полякам желать моего вмешательства. Даву и Рапп доносят мне, что литовцы взбешены против русских; они посылают ежеминутно Даву и Раппу делегатов, чтобы торопить и убеждать нас.

— Вас обманывают, государь, — был мой ответ. Я указал императору, что из всех соучастников раздела Польши именно русское правительство благодаря политическому строю России больше всего подходило польским магнатам, что уже император Павел хорошо относился к ним, а император Александр сделал еще больше для них; я встречался со многими польскими помещиками, которые, бесспорно, сожалели о своей прежней национальной независимости, но, сомневаясь в возможности восстановить Польшу как большое независимое государство, они были мало склонны вновь поставить свою судьбу на карту; пример герцогства Варшавского, положение которого отнюдь не было счастливым, далеко не так расположил их в нашу пользу, как Думал его величество; между знатными польскими фамилиями существует соперничество, которое всегда будет мешать согласованным действиям с их стороны. Я добавил, что император не может скрывать от себя того, что теперь слишком хорошо уже знают в Европе, а именно, что он стремится владеть разными странами скорее для

себя, чем в их собственных интересах.

— Вы этому верите, сударь? — спросил меня император.

— Да, государь, — ответил я.

— Ну, вы меня не балуете, — возразил он шутя, — однако пора обедать.

И он удалился.

Так закончилась эта беседа, продолжавшаяся более пяти часов и не оставившая у меня никакой надежды на сохранение спокойствия в Европе.

Я говорил потом с герцогом Бассано[65], который, подобно императору, уверял меня, что мы не хотим войны, что в Петербурге напрасно тревожатся и что император не может теперь ничего изменить в тех мерах, которые он считал раньше необходимым принять.

Я мало надеялся теперь на то, что император склонится к другим идеям; тем не менее я не падал духом. Испанские дела шли довольно плохо и могли привести к тем или иным инцидентам, которые повлекли бы за собой переход к другим политическим идеям. В течение двух месяцев поляков подстрекали меньше и советовали больше сдержанности нашим генералам и агентам в Германии. Взгляды императора оставались, я думаю, все теми же, но, вероятно, испанские дела и те или иные размышления о последствиях решения, которое он готовился принять, по грандиозности задуманного предприятия внушали ему некоторую нерешительность. Проводимый нашим правительством курс был по внешности менее враждебным; хотели оставить себе возможность сохранить мир, если бы события сделали это необходимым или если бы благое вдохновение привело к этому мудрому решению. Тем временем продолжали, однако, пополнять вооружения и не делали ничего, что могло бы действительно помешать этой войне.

После описанной беседы я долго не имел частных разговоров с императором. Положение мое было неопределенным. В течение некоторого времени он на людях обращался со мной довольно хорошо.

Я не переставал добиваться отмены высылки мадам де К… .

Император, которого я осаждал и письмами и прошениями, избегал частных разговоров со мной. Наконец, он дал мне аудиенцию и обещал вернуть мадам де К…, но без официального разрешения. Под влиянием моих новых настояний и после того, как он выслушал Дюрока, которого я просил передать императору, что я выйду в отставку, если он не сдержит данного мне слова, его величество обещал мне, наконец, возвратить мадам де К… и любезно сказал даже, что она вернется к исполнению своих обязанностей; это было больше того, что я просил. Но назавтра же мне

нетрудно было заметить, что император молчаливо назначил цену за этот знак своей милости, ибо после того, как я отказался сказать князю Куракину[66] и подтвердить от своего собственного имени, что император не думает восстанавливать Польшу, что он не хочет этого, что он сторонник союза и вооружается только потому, что Россия производит передвижение войск, — обещанное разрешение не было отправлено, хотя его величество дважды приглашал меня к обеду и относился ко мне в течение недели как к человеку, находящемуся в большой милости. В течение этого времени его величество несколько раз долго беседовал со мной в Сен-Клу и один раз после обеда в Багателле — всякий раз о России.

Император все время повторял мне, что он не хочет войны, что в глубине души ему нет дела до поляков, которые, как он говорил, представляют собою „легкомысленную нацию и государство, которое трудно перестроить так, чтобы оно выполняло какую-нибудь полезную роль“.

— Если, — говорил он, — король, которого я им дам, не понравится им, все будет идти плохо, а сделать хороший выбор трудно. Моя семья — мне не помощники; у моих родных безумное честолюбие, расточительные вкусы и никаких талантов.

И он и я, говоря о русских делах, повторяли приблизительно то же, что мы говорили во время аудиенции, Данной мне императором при моем прибытии.

Император хотел, чтобы я убедил князя Куракина, что происходит ошибка, что отношения с обеих сторон обострились неизвестно почему, что император не думает воевать с Россией и хочет лишь сохранить континентальную систему, направленную против Англии; нужно, следовательно, разобраться в средствах поддержания этой системы и прийти к соглашению по поводу существующих разногласий. Но когда я касался самой сути этих вопросов и перечислял взаимные уступки, которые можно было бы сделать друг другу, чтобы добиться этой цели, то император менял тему разговора. После этого я не мог сомневаться, что намерения его оставались прежними, что его проекты в лучшем случае только откладывались и он хотел воспользоваться мною лишь для того, чтобы успокоить другую сторону и выиграть время; я избегал поэтому брать на себя посредничество в этом деле и просил императора поручить эти объяснения Лористону. Это, как я тотчас же мог заметить, очень ему не понравилось и привело к резкому прекращению нашей беседы.

С тех пор к строгостям, принятым против моих друзей, император прибавил все те неприятности, которые он мог причинить находящемуся

на государственной службе лицу, не останавливаясь перед нарушением прав, присвоенных его званию. Он не упускал ни одного случая, чтобы не дать мне почувствовать свое недовольство, а на мои жалобы по поводу фактов, означавших ущемление прав моего звания, он отвечал, что не подумал об этом. Что же касается моих новых настояний перед императором по вопросу о возвращении мадам де К…, то они оставались безрезультатными, делал ли я их лично, письменно или через посредство Дюрока. Я вновь заговорил тогда с обер-гофмаршалом о проекте моей отставки.

— Нынешний момент меньше всего подходит для этого, — сказал он мне, — вы погубите ваших друзей и самого себя. Потерпите, и все устроится. Император долго не сердится. Вы вызвали его недовольство, но он чувствует к вам уважение и даже питает к вам привязанность. Он относится с большим вниманием к мадам де К… . Все следовательно, уладится, если вы не испортите дело какой-нибудь выходкой, при которой будете неправы. С вашей стороны весьма безрассудно принимать так близко к сердцу русские дела; мы ничего не можем тут поделать; вы не измените проектов императора. Так зачем же его раздражать? У него есть свои взгляды и цель, которой мы не знаем. Будьте уверены, что он в своей политике более дальновиден, чем мы с вами. В конечном счете я вас по-дружески убедительно прошу отложить свои проекты насчет отставки.

Он долго еще просвещал меня па эту тему и снова подчеркнул, что если я буду слишком настаивать, то погублю своих друзей и самого себя, ничего при этом не добившись. Однако, когда он вновь затронул через несколько дней вопрос о мадам де К…, император подал ему надежду на скорую и окончательную перемену. Вестник этой доброй новости Дюрок снова убеждал меня запастись терпением, указывая, что как военный я не могу покинуть службы до заключения мира. Он вновь сказал, что император пересмотрит со временем свое решение и что он сердит на меня, но все время говорит обо мне с уважением.

Видя, что я ничего не достигну этим путем, я официально обратился к министру полиции[67]. Министр откровенно поставил вопрос перед императором, указав ему, что нет никаких мотивов для оставления в силе этого акта строгости, произведшего дурное впечатление даже с политической точки зрения; но и он пока не добился ничего.

Думаю, что именно в этот период император вызвал однажды утром в Сен-Клу одного из своих министров. После длившейся несколько минут общей деловой беседы он сказал ему:

— Пойдем, пройдемся.

Когда они дошли до террасы, где нельзя было приблизиться к ним незаметно и где никто не мог их слышать, он сказал:

— Вы нужны мне для одного дела, о котором я не говорил никому, ни одному из моих министров; впрочем, оно их не касается. Я решился на большую экспедицию. Мне нужны в значительном количестве фургоны и транспортные средства. Людей я раздобуду без труда, но приготовить транспорт трудно. Мне нужен громадный транспорт, потому что моим отправным пунктом будет Неман и я буду действовать на больших расстояниях и в различных направлениях. Именно для этого я нуждаюсь в вас и в тайне.

Министр заметил, что это потребует больших расходов и что он будет соблюдать наивозможнейший порядок и секретность, но он не сможет помешать разговорам о том, что он заказывает фургоны и т. д., и т. д.

Отвечая на его первое замечание, император с живостью сказал ему:

— Приезжайте в Тюильри, как только я отправлюсь туда в ближайшее время. Я покажу вам 400 миллионов золотом[68] . Не останавливайтесь же перед расходами, мы справимся со всем, что окажется необходимым.

Продолжая беседу, император развил перед ним свои политический план, согласно которому необходимо нанести удар Англии в лице единственной решающей державы, еще остающейся на континенте и могущей причинить ему беспокойство, присоединившись к Англии. Он говорил, что будет полезно отстранить русских от европейских дел и создать в центре государство, которое было бы барьером против нашествий северной державы; он прибавил, что теперь для этого удобный момент, а потом будет уже поздно, и нужно нанести этот последний удар, чтобы завоевать всеобщий мир и годы отдыха и благоденствия для нас и наших детей после стольких лет лишений и затруднений, хотя и полных славы.

ГЛАВА II
НАКАНУНЕ РУССКОГО ПОХОДА

Поездка императора в Голландию и Бельгию. — Зима 1811 — 1812гг. в Париже. Разговоры с императором о войне с Россией. — Недовольство Коленкура. Позиция Наполеона. — Разговоры с императором: Англия и мир, снова о русских делах. — Талейран и посольство и Вене. — Отъезд в Майнц. — Разговоры с императором о герцоге Бассано и о турках. — Прибытие в Дрезден. — Г-н де Нарбонн.

Поездка в Булонь, на побережье и в Голландию, последовавшая за поездками императора в различные дворцы, удалив нас из Парижа, положила на время конец всем тем неприятностям, которые мне приходилось терпеть. Но она не смягчила раздражения императора против меня, и он проявлял его всякий раз, когда чудеса, которые ежеминутно приходилось проделывать моему ведомству во время этих неожиданных поездок, импровизировавшихся им каждый день, не вынуждали его выражать мне одобрение, что, впрочем, он делал не всегда.

Император выехал в Компьен 16 сентября, приехал в Булонь 19-го, в Остенде 22-го, в Брескене — 23-го и вступил на борт корабля «Карл Великий» 24-го. В шесть часов вечера страшная буря разбросала все корабли эскадры, и пришлось оставаться па борту до восьми часов утра 27 сентября, когда император высадился в Флиссингене. 28-го он ездил в Миддельбург и возвратился в Флиссинген, а на следующий день в четыре часа утра выехал оттуда на катере, чтобы осмотреть авангардные суда и посетить Тернейцен. Оттуда он поднялся вверх по Шельде и прибыл в Антверпен, где его ожидала императрица, приехавшая сюда через Лэкен.

4 октября император посетил Виллемстад и Хеллевутслейс, переночевал на катере па рейде Хогплата, посетил 5-го Дордрехт, осмотрел большие плоты и отправился в Утрехт 6-го. 7 и 8-го он произвел смотр пехоты и кавалерии в Ла-Брюйере, в трех лье от Утрехта, и ездил в Амерсфорт.

9-го в два часа пополудни состоялся его въезд в Амстердам. 15-го он поехал в Гельдер, сделав часть пути в экипаже, а часть верхом. 16-го он

осмотрел новые форты и эскадру, а также посетил Тексель.

17-го он осмотрел канал, земляные укрепления и в полдень выехал из города; посетив Алькмар и Харлем, он в девять часов вечера возвратился в Амстердам.

21-го оп посетил Мейден и Наарден. 24-го он ездил в Харлем, завтракал в Катвейке, принял представителей власти в Лейдене, побывал в Шевенингене и ночевал в Гааге.

25-го он осмотрел литейный завод[69], завтракал в Дельфте и в 11 часов прибыл в Роттердам, 27-го — смотр в Утрехте; ночевал его величество в замке Лоо.

28-го он прибыл в Цволле через Девентер, произвел смотр и ночевал в Лоо.

29-го он приехал в Нимвеген, 30-го — в Везель через Грав; 1 ноября был в Дюссельдорфе, 5-го — в Кельне, 6-го — в Бонне, 7-го днем — в Жюлье, а ночевал в Льеже, 8-го — в Живе. Половодье разрушило мост через Маас, и только 9-го вечером можно было возобновить сообщение по мосту. 10-го ночевали в Мезьере, оттуда поехали в Компьен, а 11-го были в Сен-Клу.

Поездка и различные связанные с ней заботы сделали меня необходимым императору. Слишком справедливый для того, чтобы не похвалить меня за исполнение моих служебных обязанностей, он, однако, сохранял всю прежнюю резкость при сношениях со мной. По возвращении в Париж все вновь пошло привычным путем. Императора ничто уже не отвлекало от его недовольства своим обер-шталмейстером, а ходатайства обер-шталмейстера за своих друзей напоминали ему, что он может причинить ему неприятность и наказать его самым чувствительным для него образом: он не был поэтому расположен изменить к лучшему свое обращение со мной.

Речь шла о моей чести, ибо вопрос касался интереса моей страны, и о моей щепетильности, ибо я не хотел быть проводником той политики, которую осуждал; мое положение было поэтому затруднительно; но меня спасло то что в обществе я хранил молчание по всем этим вопросам.

Уважая даже несправедливую строгость государя, который не может пойти на уступки своему подданному, я не позволял себе ни малейшей жалобы, поскольку дело интересовало меня лично, но я возражал и непосредственно и через Дюрока или герцога Ровиго против той несправедливости, которая постигла моих друзей, бывших совершенно чуждыми моим политическим взглядам. Император заметил мое молчание в обществе и мою сдержанность. Судя по тому, что мне говорил Дюрок, он

одобрял мой образ действий, но пока что ни в малейшей степени не менял своего поведения.

Зимою было много празднеств, балов и маскарадов. На большом костюмированном балу я был единственным сановником, который вопреки этикету не был назначен, для участия в контрдансе с императрицей и принцессами. Желая меня уколоть, император назначил графа де Нансути, который отнюдь не имел большого придворного сана. Меня также исключили из числа приглашенных, или, вернее, я был единственным сановником, не приглашенным на ужин у императрицы. Я спокойно отнесся к неприглашению меня на ужины, ибо участие в них являлось отличием, которое можно было рассматривать как интимное. Что же касается контрданса, то участие в нем было правом, присвоенным моему званию, и так как дело происходило публично, то я счел своим долгом сделать по этому поводу представление. Император велел мне ответить, что это была ошибка, но я знал от Дюрока, которому император продиктовал список участников контрданса, что эта ошибка была весьма преднамеренной.

Дюрок добавил даже с характерным для него участием и любезностью ко мне, что он настоятельно советует Мне не возбуждать в настоящий момент вопроса о возвращении моих друзей ко двору; он, Дюрок, не знает, что именно я сделал или сказал, но император сердит на меня более чем когда-либо. Он заметил мне, что я слишком открыто высказывался против планов, относящихся к Польше, и что когда император говорил со мной о делах, то я слишком явно его порицал, и это его рассердило. Дюрок намекал, несомненно, на два разговора, которые у меня были с императором: одни — в замке Лоо во время поездки в Голландию и другой — два дня тому назад в Париже[70] . Я ограничусь лишь общим изложением наших бесед, так как за исключением нескольких фраз, которые я сейчас приведу, эти разговоры вращались вокруг тех же самых вопросов, что и предыдущие, и облекались в те же самые слова.

— Теперешняя поездка, — сказал мне император, — и те меры, которые я принимаю против английской торговли, докажут императору Александру, что я твердо держусь системы союза и более озабочен внутренним благополучием империи, чем планами войны, которые мне приписывают.

— Тем временем войска, собранные здесь вашим величеством, направляются на север, что не может внушить веры в сохранение мира.

— Поляки призывают меня, но я не думаю об этой реставрации. Хотя она была бы политически целесообразной и даже соответствовала бы

интересам цивилизованной Европы, я не думаю о ней, потому что это было бы слишком сложным делом из-за Австрии.

— Однако, государь, я не думаю, чтобы можно было принести в жертву союз с Россией иначе как за эту цену.

— Я не хочу приносить его в жертву; я оккупирую север Германии лишь для того, чтобы придать силу запретительной системе, чтобы действительно подвергнуть Англию карантину в Европе. Для этого нужно, чтобы я был силен повсюду. Мой брат Александр упрям и видит в этих мерах план нападения. Он ошибается. Лористон непрерывно объясняет ему это, но у страха глаза велики, и в Петербурге видят только марширующие дивизии, армии в боевой готовности, вооруженных поляков. Между тем именно я мог бы предъявлять претензии, так как русские пододвинули дивизии, которые они вызвали недавно из Азии.

Сделав целый ряд замечаний, которые должны были доказать императору, что в Петербурге не могли обманываться насчет его действительных планов, я прибавил, что никакой политический интерес не может оправдать войну, которая удалит его на 800 лье от Парижа, в то время когда против него еще были Испания и вся мощь Англии.

— Именно потому, что Англия занята в Испании и вынуждена оставаться там, она меня не беспокоит. Вы ничего не понимаете в делах. Вы похожи на русских: вы видите только угрозы и только войну там, где нет ничего другого, кроме развертывания сил, необходимого, чтобы заставить Англию вступить в переговоры не позже, чем через шесть месяцев, если Румянцев не потеряет головы.

Император прекратил этот разговор более чем нетерпеливо. Я снова видался с Дюроком, который уговаривал меня совершенно прекратить встречи с Талейраном[71]; по его словам, Талейран уже давно в ряде случаев вызвал недовольство императора, в частности теми рассуждениями о войне в Испании, которые он себе позволил, хотя он был один из первых, советовавших императору завладеть испанским троном. Дюрок прибавил, что мы не знаем великих проектов императора и его политических взглядов, что он рассматривает все с точки зрения необходимости принудить Англию к миру, для того чтобы Европа могла, наконец, вкусить длительное спокойствие. В своих рассуждениях Дюрок проявил ко мне чрезвычайную внимательность и участие.

Зима была в разгаре. Уже начались переговоры с Австрией об оборонительном н наступательном союзе, который предполагалось также навязать и Пруссии[72]. На все лады разыгрывалась прелюдия к соглашениям

и мероприятиям, необходимым для великого похода, к которому император готовился больше чем когда-либо к какому-нибудь другому. Мы приближались к развязке, введением к которой должно было служить предположенное свидание в Дрездене. Тем временем Париж и двор развлекались вечерами и празднествами.

В один из больших вечеров при дворе император остановил возле трона князя Куракина[73] . Между ними завязался продолжительный разговор, настолько громкий, что все, следовавшие за его величеством, сочли необходимым отойти в сторону. В этот момент я разговаривал с кем-то в амбразуре одного из окон. Император находился на противоположной стороне, по левую сторону трона. Во всех дипломатических депешах того времени сообщалось об этом разговоре. Император Наполеон жаловался на то, что император Александр хочет на него напасть н не соблюдает более союза, так как допускает так называемых нейтральных, а в России происходят крупные передвижения войск. Под конец разговора, длившегося около получаса, император сказал настолько громко, что я слышал его со своего места:

— Что бы ни говорил г-н де Коленкур, император Александр хочет на меня напасть.

Император был так уверен и говорил с такой горячностью, речь его лилась с такой быстротой, что князь Куракин хотя и открывал рот для ответа, но долго не мог вставить ни слова. Аудитория, хотя и отодвинувшись немного, напрягала слух, в особенности прислушивались члены дипломатического корпуса, находившиеся в зале.

— Господин де Коленкур, — прибавил еще император, — сделался русским. Его пленили любезности императора Александра.

Покинув князя Куракина, император сделал несколько шагов по направлению к средине зала, стараясь прочесть в глазах слушателей произведенное его словами впечатление. Заметив по пути меня, ибо я, конечно, от него не прятался, император подошел ко мне и с раздражением сказал:

— Разве не правда, что вы сделались русским?

Я ответил очень твердым тоном:

— Я хороший француз, государь, и время докажет, что я говорил вашему величеству правду, как верный слуга!

Видя, что я принимаю дело всерьез, император сделал вид, будто он пошутил, и сказал улыбаясь:

— Я хорошо знаю, что вы честный человек, но любезности императора Александра вскружили вам голову, и вы сделались русским.

А затем он начал разговаривать с другими.

На следующий день, после того как мне не удалось получить частную аудиенцию у императора, я с такой определенностью заявил Дюроку для передачи его величеству, что выхожу в отставку, и в то же время столь определенным образом переговорил с министром полиции, что мадам де К… через 24 часа получила разрешение покинуть место своей ссылки.

Я должен воздать должное герцогу Ровиго; немало других тоже обязаны ему многим. Он откровенно говорил с императором об этом акте строгости, как говорил по поводу многих, не боясь подвергнуться неприятностям. Он говорил и тогда, когда надо было предотвратить подобные меры, и тогда, когда надо было побудить императора отменить уже принятые решения. Он, бесспорно, является тем министром полиции, который более всякого другого говорил правду императору.

Дюрок, с которым я говорил тоном человека, принявшего твердое решение, пришел ко мне на следующее утро. Он заявил, что император не имел намерения сказать мне что-либо неприятное и произнес в разговоре с князем Куракиным слова, которые повторил мне потом только для того, чтобы император Александр знал, что я остался его другом; император, сказал Дюрок, относится ко мне с уважением, но я должен больше считаться с его подозрительностью в некоторых вопросах и не ломать с ним копий, как я имею обыкновение делать, когда он говорит со мной о делах; его легче уговорить при помощи некоторых уступок, чем путем прямого нападения на его взгляды; я без всякой пользы вызываю его недовольство своими рассуждениями по вопросам, которые по существу меня не касаются; таким путем я приношу вред себе, а также и моим друзьям без всякой пользы как для дела, так и для меня самого; безрассудно жертвовать собою ради этих больших проблем, когда ничего нельзя изменить и ничего нельзя противопоставить; это значит бесплодно жертвовать собой. Я тщетно пытался возражать Дюроку. Он острил над тем, что я называл выполнением долга. Однако он достаточно ясно дал мне понять, что по существу он разделяет мои мнения, но надеяться внушить императору другие политические идеи — это значит терять свое время и бесцельно жертвовать собой.

В конце зимы и весною у меня были еще две продолжительные беседы с императором, одна из них вскоре после этого разговора с Дюроком. Обе беседы касались политических вопросов. В первой из них император снова пытался убедить меня, что он не думает о восстановлении Польши, не хочет воевать с Россией и в конечном счете желает лишь принудить Англию отказаться от своих необоснованных претензий и заключить мир;

для этого нужно, чтобы Россия по-настоящему закрыла свои порты для английской торговли, а она уже в течение года получает английские товары под американским флагом.

Я возразил ему, что мы также получаем их при помощи лицензий, да еще взимаем двойной налог — с лицензий и с грузов[74]. Император смеясь ответил мне:

— Возможно. Из-за моих приморских городов я этого отменить не могу. Александру остается лишь поступать так же. Я предпочитаю, чтобы этим пользовались его подданные и его казна, а не так называемые нейтральные.

И он снова вернулся к своей старой идее о том, что, конфискуя все эти грузы нейтральных стран, император Александр собрал бы огромные суммы, и т. д., и т. д.

Конец разговора свелся снова к попытке убедить меня повидать князя Куракина и поговорить с ним в этом смысле. Я решительно отказался от этого и откровенно сказал императору, что я, как он знает, не вижусь ни с одним русским и не поддерживаю больше с ними сношений, не желая говорить или делать что-либо, противное моему долгу или же моим взглядам и моей совести: эти мотивы побудили меня прекратить всякие сношения с русскими и вообще и иностранцами, и я не могу возобновлять их для того, чтобы сказать то, во что я не верю. Я прибавил шутя, что его величество сам не пожелает заставить меня играть такую роль. Мой отказ не изменил, казалось, хорошего настроения, в котором в этот момент находился император, и он, по-видимому, был расположен к продолжению разговора и даже поощрял меня к этому, говоря:

— Вы прекрасно понимаете, что я не хочу жертвовать такими крупными интересами ради сомнительного восстановления Польши.

— Бесспорно, ваше величество хотите воевать с Россией не только из-за Польши, — ответил я, — но для того, чтобы не иметь больше конкурентов в Европе и видеть там только вассалов.

Я добавил, что это заботит его гораздо больше, чем его континентальная система, которая была бы строжайшим образом осуществлена от Архангельска до Данцига в тот самый день, когда император искренне пожелал бы подвергнуть также и самого себя тем лишениям и затруднениям. которых он требует от других. Я заметил, что это было бы, бесспорно, весьма действенным средством против Англии, но он хочет добиться этой цели лишь путем жертв, налагаемых на других, сам же не хочет а может быть в известной мере и не в состоянии принять в них участие с ущербом для собственного кошелька; он предпочитает поэтому

войну, которая, как он надеется, даст ему в результате возможность требовать в качестве повелителя то, чего в течение некоторого времени он добивался собственным примером и мерами убеждения; я сказал, наконец, что он не собрал бы столько войск на севере в ущерб для своих дел в Испании и не затратил бы столько денег на приготовления всякого рода, если бы предварительно не решил уже использовать все это либо для известной политической цели, либо для того, чтобы удовлетворить свою излюбленную страсть.

— Это какая же страсть? — спросил меня император смеясь.

— Война, государь.

Он потянул меня за ухо, довольно слабо протестуя против моего заявления, а затем предоставил мне полную возможность сказать все, что я хотел. Он слушал самым благосклонным образом все, что я ему говорил. Когда я касался какого-нибудь чувствительного пункта, он щипал меня за ухо и слегка трепал по затылку, в частности когда ему казалось, что я захожу чересчур далеко.

Я сказал ему, что он стремится если и не ко всемирной монархии, то во всяком случае к господству, которое означает более, чем "первый среди равных", и предоставило бы ему возможность требовать от других всего, не подвергая себя таким же лишениям и не оставляя за другими права жаловаться или хотя бы возражать; на Время это может казаться выгодным для Франции, но в результате уже имеются, а в будущем еще больше разрастутся враждебные настроения, враждебные чувства, зависть, и рано или поздно это будет иметь роковые последствия для нас; в нашем веке нельзя навязывать народам такое положение. Император много смеялся над моей филантропией, как он это называл, и над выражением "первый среди равных". Он был в очень хорошем настроении, смеялся по всякому поводу, совершенно не сердился и делал слабые попытки доказать мне, что я ошибаюсь. У него был такой вид, как будто он говорил мне: «Вы правы, вы угадали верно, но не говорите об этом…».

Император лишь старался доказать мне, что он вел всегда только политические войны в интересах Франции, давая мне понять, что и проектируемая им война, на которую он, по его искренним уверениям, все еще не решился, будет политической войной более, чем всякая другая, и будет служить даже интересам всей Европы и т. д., и т. д.

Он прибавил, что Франция не может сохранить положение великой державы и добиться большого коммерческого процветания и влияния, принадлежащего ей по праву, если Англия сохранит свое влияние и по-прежнему будет узурпировать все права на море, — так называл он

английские претензии.

Мы долго спорили по поводу этих вопросов, а также по поводу моего утверждения о том, что Франция уже сейчас слишком сильно территориально расширилась и все ее владения по ту сторону Рейна могут лишь быть поводом к войне и к серьезным затруднениям для ею сына; его гений и его величие охватывают весь мир, но человеческий здравый смысл, то есть обыкновенный человеческий ум, как и разумные географические очертания государств, имеет свои пределы, которых не должны переступать мудрость и предусмотрительность.

Император шутил над моей умеренностью, или, вернее, высмеивал ее, но тем не менее размышлял над моими словами. По крайней мере я мог это предположить, так как не раз во время этой части разговора он становился задумчивым и молчаливым, как человек, на которого услышанная им правда произвела впечатление. Порою даже во всем его обхождении, в тоне его голоса проявлялось настроение человека, довольного той откровенностью, с которой с ним говорят и к которой так мало привыкли государи.

Император старался убедить меня, что мир с Англией — это крайняя цель его честолюбия и той страсти к войне, в которой его упрекают, но которая является лишь результатом предусмотрительной политики, и что он гораздо более умеренный человек, чем это думают. Я согласился, что он действительно заинтересован в том, чтобы принудить Англию к миру и пойти на те жертвы, которых может потребовать эта великая цель, но сделал оговорку, что, по-моему, ее можно достигнуть путем выдержки и сохранения мира на континенте; я вижу путь к этой цели в большей умеренности и в менее угрожающей позиции по отношению ко всем державам, тогда как император видит его лишь в абсолютном подчинении всех этих держав тем мерам, которых он требует. Чем труднее было императору меня убедить, тем больше искусства и настойчивости он прилагал для достижения этой цели. Судя по его стараниям, по блеску его аргументации и по форме его речи, можно было подумать, что я был державой, а он был чрезвычайно заинтересован в том, чтобы эту державу убедить.

Я часто наблюдал в нем это стремление и эту настойчивость. Я далек от того, чтобы отнести это на мой собственный счет. Он точно так же поступал со всеми, кого хотел убедить, а он всегда хотел этого.

Я говорю обо всех этих подробностях, потому что они рисуют его характер; вот моя единственная цель. Скажу еще, что эта настойчивость объяснялась, на мой взгляд, привычкой, слишком глубоко укоренившейся

в нем благодаря его могуществу или благодаря действительному превосходству его гения и тому влиянию, которое давал ему этот гений, — привычкой внушать или навязывать другим свои взгляды. Не подлежит сомнению, что именно его успехам в этом отношении следует приписать любовь к свиданиям с другими монархами и привычку вести непосредственные переговоры о важнейших и деликатнейших делах с министрами и послами иностранных держав. Когда он хотел, то в его голосе и в манерах появлялось нечто убеждающее и соблазняющее, и это давало ему не меньше преимуществ над собеседником, чем превосходство и гибкость его ума. Когда он хотел, то не было более обаятельного человека, чем он, и, чтобы сопротивляться ему, нужно было испытать на деле, как это было со мной, все те политические ошибки, которые скрывались под покровом этого искусства. Хотя я держался настороже и даже в оборонительной позиции, но часто ему почти удавалось перетянуть меня на свою сторону, и я освобождался от его чар лишь потому, что, как все ограниченные и упрямые умы, оставался на избранной мною позиции, откликаясь только на свою идею, а отнюдь не на идею императора. Чтобы не поддаться добродушию, которое он порою подчеркнуто выказывал с целью внушить доверие, или исключительным по своей силе доводам и рассуждениям императора, которые, бесспорно, часто имели специальный характер, но всегда были чрезвычайно остроумны и изобиловали сравнениями, весьма искусно подкрепляющими его идею и прикрывающими его цель, для этого нужно было поступать так, как будто вы не понимаете того, что говорит император, и хорошенько внушить себе заранее: «Вот это справедливо, вот это хорошо, вот это служит интересам Франции, а следовательно, действительным интересам императора». Надо было замкнуться в соответствующие вашим взглядам рамки вопроса и не выходить из начертанного вами для себя круга, а в особенности не следовать за императором в его диверсиях, так как он никогда не упускал случая передвинуть вопрос в другую плоскость, если встречал оппозицию. Горе тому, кто допускал какие-либо отклонения, ибо искусный собеседник вел его тогда от уступки к уступке и приводил к своей цели, противопоставляя его доводам, если он пробовал защищаться, сделанную им первую уступку и извлекая из нее вывод, неотвратимо порождаемый ею, тот вывод, который вы хотели отвергнуть. Ни одна женщина не обладала таким искусством убеждать и добиваться согласия, как он, когда ему было нужно или он прости хотел уговорить кого-нибудь. Эти размышления напоминают мне одно крылатое словечко, которое он произнес в разговоре со мной по аналогичному поводу и которое лучше

всякой другой фразы показывает, какую цену он придавал успеху:

— Когда мне кто-нибудь нужен, — сказал он мне, — то я не очень щепетильничаю и готов поцеловать его в…

Когда императору приходила в голову какая-нибудь мысль, которую он считал полезной, он сам создавал себе иллюзии. Он усваивал эту мысль, лелеял ее, проникался ею; он, так сказать, впитывал ее всеми своими порами. Можно ли упрекать его в том, что он старался внушить иллюзии другим? Если он пытался искушать вас, то он сам уже поддался искушению раньше, чем вы. Ни у одного человека разум и суждение не обманывались до такой степени, не были в такой мере доступны ошибке, не являлись в такой мере жертвой собственного воображения и собственной страсти, как разум и суждения императора, когда речь шла о некоторых вопросах. Он не жалел ни трудов, ни забот, чтобы добиться своей цели, поступая так и в мелочах и в крупных вопросах. Он был всегда, так сказать, всецело поглощен своей идеей. Он сосредоточивал всегда все свои силы, все свои способности и все свое внимание на том, что делал, или на том вопросе, который обсуждал в данный момент. Он все делал со страстью. Отсюда его огромное преимущество над противниками, ибо лишь немногие бывают в тот или иной момент полностью поглощены одною-единственною мыслью или одним-единственным действием. Да простят мне эти размышления… Возвращаюсь к моему разговору с императором.

Старания императора доказать мне, что все его войны имели политический характер, что его единственная цель — мир с Англией, что все его проекты ограничиваются пока рамками этой системы и этой цели, побудили меня снова заговорить о больших политических вопросах в связи с проектами войны, о которых я подозревал.

Казалось, император был слегка раздосадован, и он сказал мне, как это бывало всякий раз, когда затрагивали тему, которая ему не нравилась:

— Я не спрашиваю вашего мнения.

Однако он не оборвал разговора. Он еще раз подробно подверг обсуждению русские дела и перечислил все свои жалобы, как если бы он хотел аннулировать свои шаги по отношению к русскому правительству и найти способы объясниться и договориться с ним. Я вновь повторил его величеству, что для того, чтобы побудить императора Александра к новым коммерческим жертвам и убедить его обождать с удовлетворением принца Ольденбургского, на мой взгляд, нужно официальным образом обязаться восстановить прежнее положение на севере Германии при установлении всеобщего мира, а в данный момент нужно не выдавать лицензий и не

делать того, что император Александр называет монополией правительства за счет подданных, если мы непременно желаем, чтобы он совершенно не допускал нейтральных.

Я напомнил, что именно лицензии на право захода в Англию, данные нашим судам, побудили Россию принимать нейтральных; император Александр хотел, чтобы мы подвергали себя тем же лишениям, что и других, и чтобы он мог быть спокоен насчет наших будущих планов.

Так как император, по-видимому, все еще желал, Чтобы я повидал князя Куракина, то я сказал ему, что не стану помогать обманывать кого бы то ни было, а тем паче императора Александра, путем дипломатического шага, равносильного плутовству, так как я не имею больше полномочий на ведение деловых переговоров; все то, что сейчас приготовляется, будет несчастьем для Франции, предметом сожаления и причиной затруднений для императора, и не хочу впоследствии упрекать себя в том, что я этому содействовал. Император повернулся ко мне спиной, сухо ответив мне, что я ничего не понимаю в делах, и удалился.

Я продолжал жить уединенно и соблюдать величайшую сдержанность. Я не видался ни с кем из русских и избегал даже случайных встреч с князем Куракиным. Когда император снова беседовал со мной, незадолго перед своим отъездом, прошло уже больше месяца, как я не встречал никого из них. Император вновь говорил о нанесенных ему якобы обидах. На этот раз его разговоры показались мне как бы его манифестом. Император не мог больше скрывать свои планы отъезда, но он все еще старался убедить меня, что он никоим образом не хочет ни восстановления Польши, ни войны; он надеется, что можно будет объясниться и уладить дело, не прибегая к драке.

Спор между нами происходил в той же плоскости, что и раньше, и каждый из нас приводил те же самые доводы. Я добавил к ним свои соображения о неудобствах и даже об опасностях столь далекого похода, который в течение такого долгого времени мог задержать его вдали от Франции. Его всегда будут упрекать — говорил я — за то, что он подвергается такому риску и ставит на карту такое прекрасное и великое будущее, в то время когда он может осуществлять столь сильное и столь мощное влияние из своего кабинета в Тюильри. Я говорил о том впечатлении, которое произведет во Франции риск, угрожающий молодежи, принадлежащей, вопреки прежним примерам и примерам других стран, не только к низшим классам общества. Я указывал ему, что в связи с этим его уже упрекают за войну в Испании и опасно уезжать до того, как эта война будет окончена. Я подчеркивал, что именно там надо

нанести удар прежде всего, если он настойчиво желает этой несчастной войны с Россией.

Я говорил ему о стране, о климате, о том преимуществе, которое получат русские, не принимая сражении и предоставив ему продвигаться и исчерпывать свои силы . в походах. Я напомнил ему слова императора Александра, которые я уже приводил. Вместе с тем я напомнил ему о лишениях и о недовольстве войск во время последней кампании в Польше. Он отвечал на все, что я сделался русским и ничего не понимаю в делах.

— Но, государь, если я ничего во всем этом не понимаю возразил я ему шутя, — то почему же ваше величество делаете мне честь беседовать об этом со мной? Во всем этом я могу полагаться лишь па мою привязанность своей стране и мою преданность вашей особе. Столь благородные чувства не могут вовлечь меня в ошибку и держать под ее властью так долго. Ваше величество не слишком балуете тех, кто не разделяет взглядов вашего величества, чтобы заподозрить кого бы то ни было в том, что он ради развлечения противоречит вашему величеству. Моим друзьям и мне не слишком повезло для того, чтобы поощрить меня к этому. Очевидно, здесь — вопрос совести и убеждения. На ваше величество подействовали ложные донесения. Ваше величество обманываете себя и строите иллюзии, не учитывая опасностей принятого вами решения. Ваше величество думаете, что идете к великой политической цели, а я считаю, что ваше величество ошибаетесь.

Император с горячностью ответил мне, что именно русский император хочет воевать с ним; об этом ему сообщает Лористон; все русские войска передвигаются, даже войска, стоящие на границе с Турцией; любезности императора Александра ослепили меня, и он узнал о его враждебных намерениях лишь после того, как послал в Петербург другого посла; посол с каждой почтой доносит ему, что англичане открыто торгуют в Петербурге; там хотели даже похитить у адъютанта де Лонгрю депеши, которые послал с ним Лористон.

Император, очевидно, не знал, что я уже видел молодого де Лонгрю и был осведомлен об его приключении.

Этот молодой офицер ехал в качестве курьера в тяжелом закрытом экипаже, медленно продвигавшемся через пески, и поссорился с русским курьером, легкая почтовая кибитка которого обогнала его. Француз думал, что он имеет право, как и во Франции, запретить русскому обгонять его; русский, пользуясь своим правом правительственного курьера и преимуществами своей легкой повозки, продолжал торопить ямщика и без труда обогнал экипаж де Лонгрю, наполовину застрявший в грязи. Де

Лонгрю, окончательно рассердившись, начал стрелять русского из своих пистолетов, но русский не обратил внимания ни на эту пальбу, ни на угрозы. В Риге в это Дело вмешался губернатор, который указал молодому французу на его неподобающее поведение, и хотя разрешил огорошенному молодому человеку продолжить путь из уважения к его должности дипломатического курьера, по в то же время сделал доклад своему двору. Лористон до такой степени был недоволен поведением слишком пылкого адъютанта, что отчислил его. Вот что император изображал мне в виде нападения на одного из наших курьеров с целью похищения его депеш.

Во время разговора с императором я мог заметить, что он был более задумчив, чем обычно. Некоторые из моих рассуждений, как мне казалось, даже произвели на него большее впечатление, чем он хотел показать. Прибытие герцога Бассано, о котором было доложено, что он явился с депешами из Вены, прервало беседу, которую император, как мне казалось, хотел продолжить. Он отпустил меня и, занявшись разговором с другим, вновь, бесспорно, вступил на путь неотвратимо увлекавшего его рока.

Решение императора в этот период было уже принято, Австрия почти согласилась сделаться его пособником, а Пруссии оставалось лишь заставить нарезать розги для собственной порки.

Через несколько дней после моего последнего разговора с императором он отправил в дорогу часть своего двора. Лошади и экипажи были уже на пути в Дрезден, якобы для подготовки встречи с императором австрийским.

Следует напомнить события начиная с несколько более раннего момента, по крайней мере те, в которых я принимал участие или в которых меня принудили играть известную роль.

К концу зимы император стал лучше обращаться с Талейраном. Он даже несколько раз беседовал с ним. Однажды вечером он задержал его у себя до очень позднего времени, что весьма обеспокоило мадам Бассано, которая видела в Талейране преемника своего мужа. Император, которому было известно ее беспокойство, а также и беспокойство, возбужденное этим у его министра, рассказал ему о предложении, которое он несколько дней назад сделал Талейрану (отправиться в Варшаву для руководства польскими делами во время его похода и для наблюдения за Веной и Германией; Талейран принял это поручение). Император добавил (впоследствии он мне это подтвердил), что Талейран сослужил бы ему прекрасную службу в Польше и даже в Курляндии через посредство матери своей племянницы[75], если бы кампания имела успех, на который он надеялся.

Я считаю, что Талейран, который был очень рад возвратиться к делам, не говорил никому о проекте, доверенном ему императором в секретном порядке; но он открыл себе кредит на 60 тысяч франков в Вене, потому что, как он потом объяснял, не существует прямых банковских переводов из Парижа в Варшаву, а он не хотел испытывать задержек или затруднений сейчас же по приезде. Император, когда его первый гнев против Талейрана остыл, впоследствии в согласии с общественным мнением объяснял этот шаг желанием Талейрана тайно довести до сведений венской почты, что он возвращается к делам, но в первый момент, когда он через парижскую почту или через полицию узнал о поступке Талейрана, а вдобавок еще оказалось, что об этом назначении говорят в салонах, то сочетание светской болтовни с посылкой извещения в Вену привело его в бешенство против Талейрана, которому он приписывал эту нескромность.

Если бы не герцог Ровиго, Талейран был бы сослан, так как приказ об этом был отдан дважды.

Император рассказывал мне тогда об этой так называемой нескромности Талейрана, не слишком подробно говоря о своих проектах, относящихся к нему. Он говорил мне об истории открытия кредита в Вене и о распространившихся в Париже слухах, как об интриге Талейрана с целью придать себе вес, и сказал мне, что он его сошлет. Эта буря была умиротворена не без труда. Император прибавил затем:

— Талейран поступил безрассудно, покинув министерство, так как он продолжал бы вести дела до сих пор, а теперь его ничтожество убивает его. В глубине души он жалеет, что он больше не министр, и интригует, чтобы заработать деньги. Его окружение всегда нуждается в деньгах, как и он, и готово на все, чтобы добыть их. Он хотел внушить всем, что я не могу обойтись без него, а между тем мои дела шли не хуже с тех пор, как он в них больше не вмешивается. Он слишком скоро позабыл, что договоры, которые он подписывал, были продиктованы битвами, выигранными французами. Никто в Европе не обманывается на этот счет. Мне нравился ум Талейрана. У него есть понимание, он глубокий политик, гораздо лучший, чем Маре, но у него такая потребность в интригах и вокруг пего вертится такая шваль, что это мне никогда не нравилось.

Я заступался за Талейрана. Я заметил императору, что желание возвратиться к делам, которое он ему приписывает, лучше всего доказывает, что Талейран не совершил той нескромности, в которой его упрекают; он не такой человек, чтобы даже ради соображений, связанных с семейными отношениями его племянницы, заранее хвастать поездкой в Варшаву, так как он слишком хорошо знает императора, чтобы быть

нескромным, и слишком умен, чтобы его можно было заподозрить в том, что он сделал глупость или допустил бесцельную нескромность. Я добавил, что тут есть, наверное, какая-то интрига, которой император не знает, и что он разберется в ней, если вызовет Талейрана.

— Я не хочу его видеть, — сказал император, — я дам приказ об изгнании его из Парижа. А вам я запрещаю посещать его и говорить ему об этом.

Император спросил меня затем, кем бы можно было его заменить. Так как я не указал никого, то он сам назвал несколько человек и в том числе аббата де Прадта[76].

Необходимо рассказать, как в действительности обстояло дело, ибо именно этот случай довел Талейрана до крайности, быть может, с некоторым основанием.

Бассано, которому император сообщил о своих видах на Талейрана, не скрывал от себя, что ум и деловые методы Талейрана очень нравятся императору; он не сомневался в том, что не пройдет и трех месяцев, как Талейран будет возвращен на свой прежний пост, если только ему удастся вновь приобрести хотя бы малейшее влияние. Удрученный этими мыслями, он, вернувшись домой, рассказал обо всем своей жене. Она не стала терять времени и попросила одного из общих знакомых разболтать сведения о миссии Талейрана, полученные якобы от близких к нему лиц.

Настроение императора по отношению к Талейрану давало легкую возможность погубить его. Камергер императора Рамбюто пустил сплетню в ход. Император, осведомленный своей полицией о салонных слухах, пришел в бешенство против князя. А новость о кредите в Вене, сообщенная секретным отделом почты, показалась императору лишним доказательством нескромности Талейрана и окончательно его разозлила. Бассано торжествовал, а Талейран, который, можно сказать, лишь чудом избежал ссылки, оказался в большей немилости, чем когда-либо.

Все хорошо знали, что император руководится своими первыми впечатлениями, и если бы Талейрану даже удалось оправдаться, император, раз произнеся свое суждение, не скоро откажется от него. А через несколько дней предстоял уже отъезд императора. Таким образом достигалось то, чего хотели. Не довольствуясь этим успехом, в салоне герцога Бассано изобразили Талейрана на сцене. Остряки из будуара прекрасной герцогини старались высмеять его так называемую любовь к миру. На сцене ставили живые карикатуры, и я также имел честь быть изображенным в одной из наиболее веселых. Меня изобразили в виде некоего автомата, манекена, который хромой волшебник заставляет

повторять по всякому поводу:

"Мир дает счастье народам".

Интимных завсегдатаев салона министра иностранных дел в течение нескольких дней угощали этими фарсами, которые были прекращены лишь потому, что общественное мнение было настроено не в пользу шутников из этого салона, и потому, что до императора также дошли кое-какие сведения о них через полицию. Именно эта интрига была причиной того, что Талейран перестал стесняться; она же привела к тому, что выбор окончательно остановился на де Прадте, и так как этот выбор не остался без влияния на наши дела, то я и счел необходимым разъяснить все эти подробности.

Император покинул Париж 9 мая, приехал 11-го в Майнц и провел там два дня. Однажды вечером он вызвал меня и долго разговаривал со мной на ту же тему, что и раньше. Как и в Париже, он все еще с особенным старанием пытался убедить меня, что не хочет войны, что напрасно бьют тревогу и что все уладится. Я давал такие же ответы, как и раньше, а император без гнева слушал рассуждения, которые больше всего могли вызвать его недовольство. Ему недостаточно было могущества власти и могущества силы. Он хотел еще обладать могуществом убеждения.

Поговорив о России, он, по обыкновению, вновь повторил, "что не хочет войны, что можно прийти к соглашению и договориться, если император Александр желает этого".

Потом он начал разговор о турках и о шведах. Он очень жаловался на герцога Бассано. Он обвинял его в отсутствии предусмотрительности. Он говорил, что ему не служат и министерство иностранных дел действует лишь постольку, поскольку он сам его толкает; Бассано не думает ни о чем; нужно, чтобы все исходило от него самого; еще три месяца назад Швеция должна была бы мобилизоваться, чтобы воспользоваться случаем отвоевать обратно Финляндию; турки должны были бы держать 200 тысяч человек на Дунае; всякий другой на месте Бассано заставил бы их развернуть знамя Магомета еще два месяца назад, и в настоящий момент из-за этой ошибки Бассано император лишен своевременной помощи с их стороны; Бассано будет нести за это ответственность перед Францией; в настоящем случае его министр иностранных дел должен был бы осуществить половину всей задачи похода, а между тем он еле-еле подумал об этом, да и то потому, что император распек его.

Император был, по-видимому, в очень плохом настроении и очень недоволен герцогом. Я возразил ему, что у нас не привыкли действовать без его приказаний и он не одобрил бы таких действий; так как еще и в

настоящий момент он повторяет, что не хочет войны, то шведское и турецкое правительства могли бы бояться скомпрометировать себя, забегая слишком вперед; его министр, очевидно, не осмелился действовать слишком откровенно из страха преждевременно разоблачить проекты, которые он все еще продолжает отрицать; наконец, для наследного принца шведского[77] ставка в этой игре слишком высока, и поэтому из личных интересов он должен быть чрезвычайно осторожным. Я заметил еще императору, что мир между Россией и турками уже давно зависит лишь от петербургского правительства; я убежден, что Россия подписала бы его, если бы захотела, и она сделает это, когда захочет, а так как еще нет сведений о том, что она это сделала, то — вопреки всему, что ему могли доносить, — я вновь повторяю, что император Александр не хочет воевать с ним и, может быть, даже все еще сомневается насчет того, окончательно ли решил император Наполеон начать враждебные действия. — Эти соображения, — прибавил я, — не могли ускользнуть от вашего величества. Они неопровержимо доказывают, что проекты императора Александра являются оборонительными и никогда не были наступателььми, так как если бы он хотел войны, то он не преминул бы начать с заключения мира с турками, хотя бы для того, чтобы иметь возможность свободно располагать своими войсками.

В течение нескольких минут император хранил молчание как человек, который размышляет и находит мои рассуждения справедливыми. А затем он с горячностью сказал мне, что уверен в турках, что они, быть может, и не произведут мощной диверсии, но наверное не подпишут мира, турки вполне в курсе того, что подготовляется, и как бы ни были они неискусны в политике, они отнюдь не слепы, когда речь идет о вопросах такого огромного значения для них; кроме того, не было недостатка и в соответствующих внушениях.

— Что касается Бернадота, то он вполне способен забыть, что он француз по рождению, но шведы — люди слишком энергичные и неглупые, чтобы упустить этот случай отомстить за обиды, наносившиеся им со времен Петра Великого.

Император несколько раз возвращался к вопросу о том, чего он ждет от турок.

— Андреосси их разбудит, — сказал он, — его прибытие произведет большую сенсацию[78]. Я возразил ему, что Андреосси только сейчас отправился в путь.

— Это ошибка Маре, — сказал он, — не могу же я делать все.

Он снова повторил то, что говорил мне о герцоге Бассано, добавив, что герцог будет отвечать перед Францией за все то зло, которое может явиться результатом его непредусмотрительности.

В Дрезден приехали через Бамберг, чтобы избежать, как говорили, встречи с мелкими германскими владетельными особами. В действительности император хотел избежать посещения Веймара[79]. Он продолжал повторять — и двор повторял вслед за ним, — что войны не начнут. Распространяли слухи о предстоящем свидании с императором Александром, а чтобы сделать эти слухи правдоподобными, указывали на миссию де Нарбонна, который был послан к Александру.

Приехали в Дрезден 16-го. Ночевали 13-го в Вюрцбурге, 14-го — в Байрейте и 15-го — в Плауэне. Император и все лица, принадлежавшие к правительственным кругам, старались придать нашему поведению, нашим намерениям и нашим демаршам оттенок умеренности, который внешним образом говорил бы в нашу пользу и мог бы произвести впечатление на Австрию. С этой целью особые заботы прилагались к тому, чтобы показать свою умеренность и уступчивость; таким путем старались внушить ложное чувство безопасности и усыпить тех, па кого собирались напасть.

Император путешествовал с императрицей. Всю страну заставили работать в течение шести недель, чтобы починить ту дорогу, по которой мы ехали. Саксонская королевская чета выехала навстречу их величествам в Плауэн. Въезд в Дрезден совершился при свете факелов. Австрийский двор прибыл туда через два дня. Не принимая никакого участия в делах, я не был осведомлен достаточно определенным образом о том, что происходило при этом свидании, и не могу поэтому говорить о нем со всеми подробностями.

Император пустил в ход все средства, чтобы обойти Меттерниха, в частности он хотел создать слух о своей умеренности и о своем желании получить через де Нарбонна те объяснения, в которых русский император отказал Австрии, дабы примирить всех, не прибегая к враждебным действиям. Император тогда в первый и, пожалуй, в последний раз — отзывался очень хорошо о Меттернихе. Я жил очень замкнуто и тщательно избегал всяких разговоров о делах, так как я не мог вести эти разговоры в желательном для императора духе. Я встречался с австрийцами только на вечерах. Как и все придворные сановники, я имел честь обедать с их величествами. После обеда австрийский император обходил обычно салон и разговаривал с каждым из присутствующих по нескольку секунд. Однажды до меня дошла очередь, когда я стоял в амбразуре окна с

герцогом Истрийским[81]. Император Франц заговорил об императоре Александре и сказал мне: "Этот государь напрасно не дал объяснений; таким путем можно было бы избежать разрыва. Я сделал все, что мог, чтобы объясниться по поводу существующих разногласий, но русские не захотели. Судя по тому, что мне сказал император Наполеон, он готов прийти к соглашению и даже склоняется к тому, чтобы примирить все разногласия. На предложение венского правительства о посредничестве Россия не ответила, точно так ж, как она не ответила Франции. Это молчание производит дурное впечатление; из него можно сделать вывод, что в Петербурге склонны подвергнуться всем опасностям войны и даже хотят ее. Именно таким путем государства вовлекаются в войну, тогда как ее можно было бы избежать". Он добавил, что я "должен хорошо знать императора Александра, которого характеризовали ему как нерешительного, подозрительного и поддающегося влияниям государя; между тем в вопросах, которые могут повлечь за собою такие огромные последствия, надо полагаться только на себя и в особенности не приступать к войне прежде, чем будут исчерпаны все средства сохранения мира". В Дрезден приехал де Нарбонн[82], который был послан в Вильно к императору Александру. Император поручил ему посетить Меттерниха, а также рассказать австрийскому императору то, что ему следовало знать о поездке де Нарбонна.

Император считал, что роль, которую играл де Нарбонн в его браке с эрцгерцогиней Марией-Луизой, его репутация умного человека и его связи с князем Шварценбергом[83] обеспечивают ему благосклонность австрийского двора, и он нарочно выбрал его для этой миссии, думая, что все, что скажет де Нарбонн, произведет больше впечатление на его тестя. Де Нарбонн посетил меня и рассказал о том, что говорил ему император Александр и что он заметил сам. По его словам, он добросовестно доложил это императору Наполеону, который поручил ему частично повторить свой рассказ австрийскому императору и Меттерниху.

Я передаю рассказ де Нарбонна почти его собственными словами, потому что немедленно записал его; так как он много раз повторял мне свой рассказ, то я мог проверить точность моих записей. Император Александр принял его хорошо. Он встретил хороший прием у всех. В Петербурге занимали позицию, подобающую данному случаю: достойную и без чванства. Он присутствовал на двух смотрах. Войска, как ему показалось, находятся в прекрасном состоянии. Румянцева не было в Петербурге во время его приезда.

Император Александр с самого начала откровенно сказал ему:

— Я не обнажу шпаги первым. Я не хочу, чтобы Европа возлагала на меня ответственность за кровь, которая прольется в эту войну. В течение 18 месяцев мне угрожают. Французские войска находятся на моих границах в 300 лье от своей страны. Я нахожусь пока у себя. Укрепляют и вооружают крепости, которые почти соприкасаются с моими границами; отправляют войска; подстрекают поляков; поднимают крик и жалуются, что я принимаю нейтральных, что я допускаю американцев; в то же время император продает лицензии во Франции и принимает суда, которые пользуются лицензиями, чтобы грузиться в Англии. Император обогащает свою казну и разоряет отдельных несчастных подданных. Я заявил, что принципиально не хочу действовать таким же образом. Я не хочу таскать деньги из кармана моих подданных, чтобы переложить их в свой карман. Император Наполеон и его агенты утверждают, что я покровительствую англичанам, что я не стремлюсь выполнять правила континентальной системы. Если бы это было так, то разве мы конфисковали бы 60 или 80 судов за нарушение этой системы? Что же вы думаете, что англичане не стучались в мою дверь на всяческий лад? У меня было бы здесь вдесятеро больше английских агентов, если бы я только захотел; но я до сих пор ничего не хотел слышать. 300 тысяч французов готовятся перейти мои границы, а я все еще соблюдаю союз и храню верность всем принятым на себя обязательствам. Когда я переменю курс, я сделаю это открыто. Спросите у Коленкура, что я говорил ему, после того как император Наполеон отклонился от линии союза, и что я сказал ему, когда он уезжал. Он честный человек, не способный лицемерить. Таким я был тогда, таким я остаюсь и сейчас, что бы ни делал с тех пор император Наполеон для того, чтобы порвать все добрые отношения. Он только что призвал Австрию, Пруссию и всю Европу к оружию против России, а я все еще верен союзу, — до такой степени мой рассудок отказывается верить, что он хочет принести реальные выгоды в жертву шансам этой войны. Я не строю себе иллюзий. Я слишком высоко ставлю его военные таланты, чтобы не учитывать всего того риска, которому может нас подвергнуть жребий войны; но если и сделал все для сохранения почетного мира и политической системы, которая может привести ко всеобщему миру, то я не сделаю ничего, несовместимого с честью той нации, которой я правлю. Русский народ не из тех, которые отступают перед опасностью. Если на моих границах соберутся все штыки Европы, то они не заставят меня заговорить другим языком. Если я был терпеливым и сдержанным, то не вследствие слабости, а потому, что долг государя не слушать голоса

недовольства и иметь в виду только спокойствие и интересы своего народа, когда речь идет о таких крупных вопросах и когда он надеется избежать борьбы, которая может стоить стольких жертв. Может ли император Наполеон добросовестно требовать объяснений, когда именно он во время полного мира захватил весь север Германии и именно он нарушил обязательства союза и принципы своей собственной континентальной системы? Не он ли должен объяснять свои мотивы? Я передал через князя Куракина откровенную ноту[84]. Мои обиды известны всей Европе. Желать внушить веру в существование тайных обид — значит насмехаться над всем миром. Я все еще готов договориться обо всем в целях сохранения мира, но нужно, чтобы это было сделано письменно и в той форме, которая установит, на чьей стороне добросовестность и справедливость.

Император Александр сказал де Нарбонну, что в настоящий момент он не принял еще на себя никакого обязательства, противоречащего союзу, что он уверен в своей правоте и в справедливости своего дела и будет защищаться, если на него нападут. В заключение он раскрыл перед ним карту России и сказал, указывая на далекие окраины:

— Если император Наполеон решился на войну и судьба не будет благосклонной к нашему справедливому делу, то ему придется идти до самого конца, чтобы добиваться мира.

Потом он еще раз повторил, что он не обнажит шпаги первым, но зато последним вложит ее в ножны.

Де Нарбонн сказал мне еще, что император Александр говорил с ним в этом духе всякий раз без возбуждения и без раздражения; даже лично об императоре Наполеоне во время своего пребывания в Вильно он говорил без горечи; обо мне он говорил ему с большим уважением и благосклонно. Как мне казалось, де Нарбонн был очень доволен всем, что ему сказал государь, и был убежден в правдивости всего того, что он подчеркивал. Он добавил, что император Наполеон был по-видимому, поражен его докладом, хотя по-прежнему распространялся о так называемом лицемерии императора Александра и по-прежнему перечислял свои обиды против него.

В Дрезден приехали король и кронпринц прусские, которых император хотел принять здесь, чтобы скрепить в глазах публики нечто вроде примирения, гарантирующего ему к тому же добросовестное и искреннее сотрудничество прусского корпуса. Некоторые думали, что император не очень хорошо будет обращаться с королем, так как он не любил его и всегда говорил о нем: "Он фельдфебель и дурак". Но император распределял свою благосклонность сообразно своим интересам,

а в данный момент он был реально заинтересован в том, чтобы убедить прусского короля, что он искренне включает его в рамки французской политической системы и ничего больше не замышляет против него. Король и кронпринц уехали из Дрездена очень довольные оказанным им приемом.

ГЛАВА III
НА МОСКВУ

Отъезд из Дрездена. — Данциг. — Неаполитанский король. — Переход через Неман. — Разговоры с императором: его мысли о новой кампании. — Ковно. Вильно. — Балашев. — Бурная сцена с императором. — Витебск. — Раздражение императора. — Смоленск. — Валутина гора. — Москва. — На подступах к Москве.

Император выехал из Дрездена 29 мая; императрица была в Праге, где она хотела провести некоторое время с австрийским двором. Император Наполеон остановился в Глогау только на одну ночь. До 1 июня он оставался в Позене, от 2 до 6-го — в Торне, от 7 до 10-го — в Данциге, 11-го — в Мариенбурге, от 12 до 16-го — в Кенигсберге, 17-го — в Инстербурге, от 18 до 21-го — в Гумбиннене, 21-го — в Вильковишках, 22-го — в Новогрудках, 23-го — в палатке на берегу Немана.

Остановлюсь на пребывании императора в Данциге, так как там была крупная база войскового снабжения, — тот пункт, где в течение двух лет все организовывалось и приготовлялось, пункт, которому император уделял наибольшее внимание, так как эта надежная крепость должна была снабжать его всем необходимым. Неаполитанский король[85], которому не было разрешено приехать в Дрезден — якобы из внимания к австрийскому императору, — ожидал там императора Наполеона; Наполеон, считая, что Италия все еще была предана его тестю, не хотел портить ему радость встречи со своей дочерью видом государя, который вызовет у него тягостные воспоминания. На самом деле этот мотив был только деликатным предлогом, и император, как он говорил это в частных беседах, просто не хотел, чтобы между Мюратом и австрийцами завязались связи, слишком тесно завязанные уже королевой и Меттернихом[86]. "Если австрийский император, — говорил он, — отнесется к нему хорошо, то у Мюрата закружится голова, и он наверняка наговорит много глупостей и т. п."

Отношения между императором и Неаполитанским королем были более чем холодные, и отказ в разрешении приехать в Дрезден мог лишь

усилить недовольство Мюрата. Император справедливо упрекал его в том, что он часто нарушал континентальную систему на побережье Неаполитанского королевства, и метал по этому поводу громы и молнии и в письмах и на словах. Но так как он нуждался теперь в короле для своего похода, то надо было поправить отношения. Король был обижен, но он был человеком слабохарактерным. Он любил императора, который знал свою власть над ним. При первом же разговоре была восстановлена полная гармония, хотя император всего лишь утром повторял то, что он говорил перед выездом из Парижа, а именно, будто король забыл, что он француз по рождению и что император сделал его королем. Со своей стороны, король громко жаловался на то, что он является государем только по имени и должен жертвовать тем, что считает интересами своих народов, ради того, что император называет интересами континента и Франции (когда императору были доложены эти выражения короля, они рассердили его еще больше, чем контрабанда).

Первыми словами, с которыми император Наполеон обратился к губернатору Данцига генералу Раппу, были:

— Что делают ваши купцы со своими деньгами? Начинается война. Я теперь займусь ими.

Во время послеобеденного разговора он сказал Раппу, Неаполитанскому королю и еще нескольким другим лицам, что пруссаки и даже австрийцы действуют с нами заодно, что Александр не ожидал этого и очень озадачен; в конце концов он сам этого хотел, а если он все же не хочет войны во что бы то ни стало, то он еще может ее избежать; это выяснится через несколько дней. Легко догадаться, что это говорилось для того, чтобы политические слухи разнесли повсюду слова императора. А его действительная воля была выражена в первых словах, с которыми он при мне и нескольких других лицах обратился к Раппу.

Вечером и на следующий день император очень жаловался мне на Неаполитанского короля, говоря, что он более не француз и забыл все то, чем он обязан своей родине и своему благодетелю. Король, со своей стороны, жаловался Бертье[87], Дюроку и мне на то, что император сделал из него всего лишь вице-короля и орудие для того, чтобы выжимать соки из его народа, и т. д., п т. д. При приеме местных гражданских властей, которые жаловались на чрезмерные налоги, император сказал им, что он сохранит Данциг за собой и присоединит его к великой империи, думая, что он этим их утешит, или, скорее, для того, чтобы его слова были повторены в Берлине и в Петербурге.

Император на людях встретил короля довольно хорошо, но затем,

отведя его в сторону — бесспорно для того, чтобы помешать ему жаловаться, — начал его бранить и сердиться. Он жаловался на его неблагодарность и под конец "разыграл сцену гнева и чувствительности, так как, — сказал мне император, — с этим итальянским Панталоне[88] приходится пускать в ход такие средства. У него доброе сердце; в глубине души он любит меня больше, чем своих лаццарони. Когда он меня видит, он мой, но вдали от меня он, как все бесхарактерные люди, поддается тому, кто ему льстит и подлаживается к нему. Если бы он приехал в Дрезден, то его тщеславие и его личные интересы заставили бы его сделать миллион глупостей, чтобы подделаться к австрийцам. Его жена честолюбива и вбила ему в голову тысячу безумных затей: он хочет владеть всей Италией. Это — его мечта, из-за которой у него нет желания сделаться польским королем. Я посажу туда Жерома[89] , создам ему прекрасное королевство, но нужно, чтобы он сделал что-нибудь, так как поляки любят славу. А Жером любит только роскошь, женщин, парады и празднества. Мои братья не помогают мне. Они заимствовали от царствующих династий только глупое тщеславие и не отличаются никакими талантами, не обладают ни малейшей энергией. Мне приходится править за них. Не будь меня, они разорили бы бедных вестфальцев, чтобы обогатить своих фаворитов и любовниц, чтобы давать празднества и строить дворцы. Мои братья думают только о себе. А между тем я показываю им хороший пример. Я народный монарх, так как я трачу деньги лишь на поощрение искусств, на то, чтобы оставить после себя славное и полезное для нации наследство. Никто не скажет, что я одаряю фаворитов и любовниц. Я вознаграждаю оказанные родине услуги, и больше ничего".

В Торне мы нагнали обоз и главную квартиру; на следующий день после прибытия все это, а также и гвардия, было направлено в Инстербург. Император нагнал гвардию в Инстербурге и следовал за нею в направлении на Ковно по линии Тумбиннен — Сталлупенен — Вильковишки, а затем по лесной дороге, оставляя Мариамполь направо. Войска, охранявшие путь, были великолепны и приветствовали императора с неподдельным энтузиазмом. Войска 1-го корпуса особенно выделялись своей прекрасной выправкой и обученностью. Взятые из хороших гарнизонов и побывавшие в руках полководца, который долго занимался ими, они могли соперничать с гвардией. Вся эта молодежь была полна здоровья и пыла. Солдаты 1-го корпуса имели в ранцах продовольствие на две недели.

Князь Экмюльский[90], который находился уже на берегах Немана, построил там пекарни, где заготовляли хлеб по мере прибытия корпусов. К

авангарду были прикомандированы печники.

Император прибыл в штаб князя, находившийся в расстоянии одного лье от Немана и Ковно[91]. Время близилось к рассвету. Он немедленно приказал произвести рекогносцировку на берегах реки и во всех окрестностях. Возвратился он только вечером, в течение двух часов отдавал приказы и снова сел на лошадь, чтобы при свете луны подробнее обследовать берег реки и определить место переправы. Все без исключения должны были оставаться на некотором расстоянии оттуда, чтобы не привлекать внимания русских конных дозоров, которые могли находиться на другом берегу. Император объехал берег в сопровождении саперного генерала Аксо. Утром ему пришлось накинуть на себя шинель одного из польских солдат, чтобы не привлекать внимания.

По окончании рекогносцировки он подъехал к группе чинов штаба, чтобы снова обсудить вопрос о различных пунктах, где войска могли бы занять позиции. Когда император скакал галопом по полю, из-под ног его лошади выпрыгнул заяц, и она слегка отскочила вбок. Император, который очень плохо ездил верхом, упал наземь, но поднялся с такой быстротой, что был на ногах прежде, чем я подоспел, чтобы его поднять. Он вновь сел на лошадь, не произнеся ни слова. Почва была очень рыхлая, и он лишь слегка ушиб нижнюю часть бедра. Я тогда же подумал, что это — дурное предзнаменование, и я, конечно, был не единственным, так как князь Невшательский тотчас же коснулся моей руки и сказал:

— Мы сделали бы гораздо лучше, если бы не переходили через Неман. Это падение — дурное предзнаменование.

Император, который в первые моменты хранил глубокое молчание и, очевидно, предавался не более веселым мыслям, чем мы, начал затем нарочно шутить по доводу своего падения с князем Невшательским и со мною, но вопреки его стараниям можно было заметить его дурное настроение и мрачные мысли. При других обстоятельствах он жаловался бы на лошадь, сделавшую глупый скачок, и на обер-шталмейстера. Но на сей раз он старался выказать хорошее настроение и делал все, что мог, чтобы рассеять те мысли, которые — он чувствовал — могли прийти в голову каждому из нас, так как вопреки самим себе люди бывают суеверными при таких решающих обстоятельствах и накануне таких великих событий. Каждый думал об этом падении, и на лицах некоторых чинов штаба можно было прочесть, что римляне, верившие в предзнаменования, не перешли бы через Неман. Император, который обычно был таким веселым и таким оживленным в те моменты, когда его войска осуществляли какие-либо крупные операции, был в течение всего

дня очень серьезным и очень озабоченным.

О том, что делается на другом берегу реки, не было никаких сведений: связь была прервана уже в течение нескольких дней.

Князь Экмюльский, генеральный штаб и все остальные жаловались на то, что не удалось до сих пор получить никаких сведений и ни один разведчик еще не вернулся с того берега. Там, на другом берегу, видны были лишь несколько казачьих патрулей. Император произвел днем смотр войск и еще раз занялся рекогносцировкой окрестностей. Корпуса нашего правого фланга знали о передвижениях неприятеля не больше нашего. О позиции русских не было никаких сведений. Все жаловались на то, что ни один из шпионов не возвращается, что очень раздражало императора. Лишь из Мариамполя поступили сведения о том, что русская армия отступает и перед нами находятся только казаки. Император решил, что русские сосредоточиваются в Троках, чтобы защищать Вильно.

После обеда император вызвал меня и спросил, как это он упал с лошади; по его словам, он не очень ушибся и поднялся с такой быстротой, что думал, так как дело было ночью, — что никто не заметил происшествия. Он спросил, говорят ли об этом происшествии в ставке. Затем он снова стал задавать мне различные вопросы, касающиеся России: об образе жизни жителей, о запасах, имеющихся в городах и деревнях, о состоянии дорог. Он спросил меня, отличаются ли русские крестьяне энергией, способны ли они взяться за оружие, как испанцы, и организовать партизанские отряды, а также думаю ли я, что русская армия отступила и сдаст ему Вильно без боя. По-видимому, он очень хотел сражения. Он приводил ряд аргументов, чтобы доказать мне, что русская армия вопреки сообщениям из Мариамполя не могла отступить и тем самым сдать столицу Литвы, а следовательно, и русскую Польшу без боя: она не могла этого сделать хотя бы потому, чтобы не обесчестить себя в глазах поляков. Он добивался, чтобы я высказал свое мнение об этом отступлении.

Я ответил ему, что не верю в правильные сражения и думаю, как я ему всегда говорил, что у русских не так уж мало территории, чтобы они не могли уступить ему порядочный кусок хотя бы для того, чтобы удалить его на большее расстояние от Франции и принудить его раздробить свои силы.

— Но в таком случае, — с живостью возразил император, — я получаю Польшу, а Александр в глазах поляков бесповоротно опозорит себя тем, что отдает ее без боя. Уступить мне Вильно — значит потерять Польшу.

Он много говорил об этой оккупации, о развертывании его сил и их быстрых передвижениях и пришел к выводу, что русские корпуса не могут

спасти свой обоз и свою артиллерию. Он думал даже, что многие из них придут в расстройство и не смогут уйти от его быстрого наступления. Он подсчитывал, сколько часов понадобится ему, чтобы дойти до Вильно, и забрасывал меня вопросами, как будто я ездил по этой дороге и как будто вопрос заключался в том, чтобы доехать туда на почтовых.

— Меньше чем через два месяца, — сказал император, — Россия запросит мира. Крупные помещики будут перепуганы, а многие из них разорены. Император Александр будет в большом затруднении, так как русским, по существу, весьма мало дела до поляков и они вовсе не хатят терпеть разорение из-за Польши.

Чтобы не встречать противоречий с моей стороны, император быстро задавал вопросы и столь же быстро сам давал желательные для него ответы на них, делая все время вид, что он торопит меня с ответом, и ежеминутно спрашивал меня, неужели я не разделяю его мнения, но не давал мне вставить ни слова. Когда он кончил говорить, я молчал, и это его рассердило. Он хотел получить ответ, который подтверждал бы его взгляды. Я сказал ему, что могу лишь напомнить то, что говорил мне император Александр, а именно, "что он воздает должное великим военным талантам императора и будет избегать до пределов возможного мериться силами с ним в открытом бою; если русские будут побиты, то они возьмут пример с испанцев, которые часто бывали разбиты, но не были, однако, ни побеждены, ни покорены; недостаток выдержки погубил другие государства; он не будет стрелять первым, но он скорее отступит до Камчатки, чем уступит свои губернии или будет приносить жертвы, которые не приведут ни к чему, кроме передышки". Император выслушал меня и отпустил, ничего не ответив.

Ночью дивизия Морана перешла через Неман[92]. За нею последовали другие, так как понтонные парки заранее были стянуты к реке. Операция была выполнена в несколько часов без всяких помех даже со стороны казаков, которые в небольшом числе находились на другом берегу и стали отвечать на ружейные выстрелы, направленные против них, лишь тогда, когда наши части вступили в первую деревню по ту сторону Немана, находившуюся в некотором расстоянии от реки.

Император переправился через реку утром[93], как только первая дивизия заняла позицию на другом берегу, переходов из-за усталости, холода и лишений.

Начальники хотели, чтобы эта молодежь соревновалась со старыми воинскими частями, сумевшими перенести столько трудностей, лишений и

опасностей; молодежь пала жертвой этого неуместного пыла. Князь Экмюльский, подкреплявший авангард неаполитанского короля, сообщил, что генерал-лейтенант Балашев — генерал-адъютант русского императора — прибыл в его штаб с миссией к императору[96]. Он получил приказ задерживать его под разными предлогами. Император дозволил ему приехать в Вильно лишь через два или три дня после своего прибытия. Наш авангард имел довольно оживленную стычку в нескольких лье от Вильно, а потом вторую вблизи города. Нашей кавалерии не повезло. Капитан легкой кавалерии де Сегюр попал в плен[97].

Император проехал по городу без предварительного оповещения. Город казался опустевшим. Несколько евреев и несколько человек из простонародья — вот все, кого можно было встретить в этой так называемой дружественной стране, с которой наши войска, изнуренные и не получающие пайков, обращались хуже, чем с неприятельской. Император не остановился в городе. Он осмотрел мост, окрестности и подожженные неприятелем склады которые еще горели. Он приказал поскорее починить мост, отдал распоряжение о некоторых оборонительных работах под городом, вернулся обратно и заехал во дворец. Хотя о его возвращении было объявлено, хотя двор, штаб, гвардия и все, что указывало на его присутствие, обосновались там, население ровно ничем не проявляло любопытства, никто не выглядывал из окон, не наблюдалось никакого энтузиазма, не видно было даже обычных зевак. Все выглядело угрюмо.

Император был поражен этим и, входя в кабинет, не мог удержаться от слов:

— Здешние поляки не похожи на варшавских. Это объяснялось некоторыми беспорядками, имевшими место в городе и напугавшими жителей, а также тем, что здешние поляки, довольные русским правительством, были мало расположены к перемене. К тому же русские находились еще очень близко[98], и никакого решительного сражения до сих пор не было.

Император получил достоверные сведения об отступательном движении русских. Он был удивлен тем, что они сдали Вильно без боя и успели вовремя принять решение и ускользнуть от него.

Потерять надежду на большое сражение перед Вильно было для него все равно, что нож в сердце. Он льстил себя надеждой, что князю Экмюльскому больше повезет в его движении против Багратиона и что корпуса, которые двинутся к Двине, настигнут левый фланг русских. Всех

офицеров, прибывающих из разных корпусов, он прежде всего спрашивал: "Сколько взято пленных?" Он хотел трофеев, чтобы поднять дух поляков, но никто их не присылал. Герцог Бассано и князь Сапега[99] старались организовать страну и вдохнуть в нее польский дух. Но жители были, по-видимому, не очень склонны откликнуться на призыв к их патриотизму. Грабежи и беспорядки всякого рода, производимые армией, разогнали все деревенское население. В городе видные лица сидели по домам. Приходилось вызывать их от имени императора, так как никто не представлялся, не стремился выдвинуться вперед, как ни старались об этом поляки, прибывшие вместе с армией.

Беспорядки, производимые армией, немало увеличивали всеобщее недовольство. В Вильно ощущался недостаток во всем, и через четыре дня необходимое продовольствие надо было искать уже очень далеко. Число отставших от своих корпусов было уже довольно значительно. Военные суды и несколько случаев примерного наказания запугали их и побудили часть из них возвратиться, но пока продолжалась переправа, порядок был восстановлен слабо.

Император решил вызвать Балашева в Вильно. Его величество, говоря о миссии Балашева, превращал его поездку в свой трофей и для поощрения поляков демонстрировал этот трофей как доказательство затруднительного положения русского правительства. О приезде Балашева я узнал только тогда, когда мне сообщил об этом князь Невшательский. Он рассказал мне все, что знал об этой миссии, и с тех пор мы не ждали уже от нее ничего благоприятного для дела мира. Император Наполеон говорил:

— Мой брат Александр, который так надменно держал себя с Нарбонном, хотел бы уже уладить дело. Он боится. Мои маневры сбили русских с толку. Не пройдет и месяца, как они будут у моих ног.

Он был слишком доволен тем, что находится в Вильно, ему слишком хотелось поздравить себя с желанным успехом, на который он, быть может, уже не надеялся чтобы он мог пойти на соглашение. Но в то же время он был серьезен, озабочен, можно даже сказать мрачен. Несколько вырвавшихся у него слов доказывали, что отступление без боя, продолжавшееся после переправы через Неман, потери во время перехода до Вильно и еще больше — облик страны навели его на размышления, мало похожие на те иллюзии, которые он так долго лелеял. Но император не был человеком, способным отступить перед трудностями; они лишь возбуждали, а не обескураживали этого великого человека. Он говорил во всеуслышание, — очевидно для того, чтобы объяснить любопытствующим глупцам тот прием, который он приготовлял для Балашева и который был

весьма неожиданным после его шуток насчет предполагаемой цели миссии Балашева, — что он ведет против России политическую войну и, не имея личных обид против императора Александра, хорошо примет его адъютанта.

Балашев привез письмо от императора Александра, и ему было поручено сделать на словах заявления, соответствующие содержанию письма, а именно запросить о мотивах этого нашествия среди полного мира, без всякого объявления войны и предложить, — так как России неизвестен ни один обоснованный повод к недоразумению между двумя странами, — объясниться и предотвратить войну, если император Наполеон согласен в ожидании исхода переговоров возвратиться на свои позиции за Неман. Некоторым, посвященным в тайну этого предложения, показалось, что быстрота нашего движения сразу привела в замешательство и расстройство военные планы русских, что, попав в затруднительное положение и сомневаясь в возможности соединиться до Двины с корпусом Багратиона, император Александр решил испробовать это средство, чтобы попытаться остановить наше наступательное движение при помощи каких-нибудь переговоров. Я повторяю то, что говорилось, так как у меня в то время не было никакого ясного представления об этом. Я знал только, что император Наполеон открыто сказал при мне, при князе Невшательском, герцоге Истрийском и, кажется, Дюроке:

— Александр насмехается надо мной. Не думает ли он, что я вступил в Вильно, чтобы вести переговоры о торговых договорах? Я пришел, чтобы раз навсегда покончить с колоссом северных варваров. Шпага вынута из ножен. Надо отбросить их в их льды, чтобы в течение 25 лет они не вмешивались в дела цивилизованной Европы. Даже при Екатерине русские не значили ровно ничего или очень мало в политических делах Европы. В соприкосновение с цивилизацией их привел раздел Польши. Теперь нужно, чтобы Польша в свою очередь отбросила их на свое место. Уж не сражения ли при Аустерлице и Фридланде или Тильзитский мир освящают претензии моего брата Александра? Надо воспользоваться случаем и отбить у русских охоту требовать отчета в том, что происходит в Германии. Пусть они пускают англичан в Архангельск, на это я согласен, но Балтийское море должно быть для них закрыто. Почему Александр не объяснился с Нарбонном или с Лористоном, который был в Петербурге и которого царь не пожелал принять в Вильно[100] ? Румянцев до последнего дня не хотел верить в войну. Он убеждал Александра, что наши передвижения — только угрозы и что я слишком заинтересован в сохранении союза с Россией, чтобы решиться на войну. Он считал, что

разгадал меня и что он более проницательный политик, чем я. Теперь Александр видит, что дело серьезно, что его армия разрезана; он испуган и хочет помириться, но мир я подпишу в Москве. Я не хочу, чтобы петербургское правительство считало себя вправе сердиться на то, что я делаю в Германии, и чтобы русский посол осмеливался угрожать мне, если я не эвакуирую Данциг. Каждому свой черед. Прошло то время, когда Екатерина делила Польшу, заставляла дрожать слабохарактерного Людовика XV в Версале и в то же время устраивала так, что ее превозносили все парижские болтуны. После Эрфурта Александр слишком возгордился. Приобретение Финляндии вскружило ему голову. Если ему нужны победы, пусть он бьет персов, но пусть он не вмешивается в Дела Европы. Цивилизация отвергает этих обитателей севера. Европа должна устраиваться без них.

Балашев был хорошо принят императором, который пригласил его на обед вместе с князем Невшательским, герцогом Истрийским и мною[101] . Я был более чем удивлен этой милостью, которая, впрочем, не могла относиться лично ко мне, так как император давно уже отучил меня от всех милостей. Император прекрасно отнесся к Балашеву и много разговаривал с ним. Во время послеобеденной беседы его величество сказал, обращаясь ко мне:

— Император Александр хорошо обращается с послами. Он думает, что своими любезностями делает политику. Из Коленкура он сделал русского.

Это был обычный упрек. Так как он не мог меня задеть перед моими соотечественниками, которые достаточно хорошо знали меня, чтобы разделить мое отношение к мотивам этих упреков, то я обычно не обращал на него внимания.

Но на сей раз он был намеренно повторен как титул, под которым меня хотели рекомендовать императору Александру. Я обиделся и не мог удержаться от ответа императору, которому я с оскорбленным видом сказал:

— Именно потому, конечно, что моя откровенность слишком хорошо доказала вашему величеству, что я — прекрасный француз, ваше величество хотите сделать вид, что сомневаетесь в этом. Знаки благоволения, которыми императору Александру часто угодно было меня почтить, были направлены по адресу вашего величества. Будучи вашим верным слугой, государь, я никогда их не забуду.

Император, заметив, что я был возбужден, заговорил на другие темы и вскоре отпустил Балашева.

Перед обедом император поручил мне повидать этого генерала и сообщить, что он даст ему своих лошадей для возвращения в расположение русской армии; он приказал мне также согласовать с начальником штаба маршрут В вопрос о его эскорте. Я говорил с Балашевым не больше минуты и просил повергнуть мое почтение к стопам его повелителя.

Когда Балашев вышел от императора, его величество шутя сказал мне, что я напрасно рассердился на его слова о том, что я сделался русским; с его стороны это была лишь любезность с целью доказать императору Александру, что я не забыл знаки его благосклонности.

— Вы огорчаетесь, — прибавил император, — тою неприятностью, которую я намерен причинить вашему другу. Его армии не смеют дожидаться нас; они уже не спасают ни чести своего оружия, ни чести правительства.

Не пройдет и двух месяцев, как русские вельможи принудят Александра просить у меня мира.

К своим обычным обвинениям он прибавил еще и другие, чтобы доказать князю Невшательскому, герцогу Истринскому и, вероятно, двум-трем присутствовавшим адъютантам, что я против этой войны и порицаю его систему. Он несколько раз повторил, что эта война самая политическая из всех, которые он когда-либо предпринимал, что Россия после Тильзита ничего не сделала для союза и очень мало или даже вовсе ему не помогла во время австрийского похода. Он упрекал Россию в том, что она покровительствует английской торговле. Он старался показать, что Австрия довольна этой войной, надеясь, что война вернет ей ее морские провинции взамен Польши, которой она не придает большого значения.

Я был так оскорблен упреком "вы русский", что не мог сдержаться. Я ответил императору, что я в большей мере француз, чем те, кто подстрекал к этой войне, так как я всегда говорил ему правду, между тем как другие сочиняли сказки, чтобы его подстрекать, надеясь угодить ему этим; я знаю свой долг почтения к моему повелителю, и терпел его шутки в присутствии моих соотечественников, уважение которых мне обеспечено, но подвергать сомнению мою верность и мои чувства француза в присутствии иностранца — это значит оскорблять меня; раз уж его величество говорит об этом публично, то я горжусь тем, что я против этой войны и сделал все, чтобы предотвратить ее; я горжусь даже теми неприятностями и огорчениями, которые мне пришлось из-за этого перенести; я вижу уже давно, что мои услуги ему более не угодны, и прошу уволить меня; так как я не могу с честью возвратиться домой, пока продолжается война, то прошу его дать мне какую-нибудь командную должность в Испании и

разрешить отправиться туда завтра же.

Император ответил мне очень спокойно:

— Кто же сомневается в вашей верности? Я отлично знаю, что вы честный человек. Я ведь только шучу. Вы слишком щепетильны. Вы хорошо знаете, что я отношусь к вам с уважением. Сейчас вы говорите вздор. Я не стану отвечать на все, что вы мне только что сказали.

Признаюсь, я был до такой степени вне себя, что вместо того чтобы успокоиться, был готов наговорить императору еще более неуместные вещи.

Герцог Истрийский потянул меня за одну полу, князь Невшательский — за другую; оба они уговаривали, умоляли меня не отвечать. Император, по-прежнему сохранявший терпение и говоривший с прежней добротой, видя, что меня не удается привести в рассудок, удалился в свой кабинет, оставив меня с этими господами, которые тщетно пытались увести и успокоить меня. Я потерял голову. Наконец, я ушел к себе, твердо решившись уехать. Я лег спать лишь после того, как привел все в порядок и приготовился к отъезду. На другой день с самого утра я обратился к Дюроку с просьбой принять на себя исполнение моих обязанностей и испросить соответствующие распоряжения от императора. Он уговаривал меня, но безрезультатно.

Через некоторое время ко мне пришли один за другим .князь Невшательский и Дюрок, оба по поручению императора, который, заметив мое отсутствие на выходе, поручил передать мне, что он желает, чтобы о происшедшем не было больше никакой речи. Я по-прежнему настаивал на своем желании уехать. Император, не видя меня, когда он садился на лошадь для прогулки верхом, дважды посылал за мной. Меня не нашли. Я не хотел попасть в неловкое положение и объясняться с людьми, с которыми не подобало входить в рассуждение о мотивах моего отказа.

Видя, что я не появляюсь, император, проехавшись по городу и остановившись у моста, велел отыскать меня и передать его приказание явиться для разговора с ним. Я не мог отказать в повиновении и подъехал к нему, когда он осматривал работы, производившиеся под Вильно. Как только я явился, он тотчас взял меня за ухо (это был его обычный ласковый жест, выражавший благосклонность) и сказал:

— С ума вы сошли, что хотите меня покинуть? Вы знаете, что я отношусь к вам с уважением и совсем не хотел вас обидеть.

Он поскакал галопом, но вскоре остановился и начал говорить о разных делах. Ни мне, не Дюроку не оставалось ничего другого, как признать, что я не уеду…

Герцог Бассано и некоторые другие лица, которым было поручено организовать страну, разглагольствовали о ее мнимом энтузиазме. Я жил, по обыкновению, очень замкнуто. Мой спор с императором сделал меня еще более осмотрительным. Должен сказать, однако, что он ничем больше не напоминал мне о случившемся. О том, что происходило, рассказывали мне все. А к тому же достаточно было иметь уши, когда вы находились в служебных помещениях или участвовали в поездках императора, чтобы быть в курсе всех событий. Все ясно видели, что представляют собою литовцы: они очень холодно относились к польскому делу, были мало склонны к жертвам и очень недовольны стеснениями, связанными с войной, и беспорядками, неизбежными при таких быстрых передвижениях войск. Несомненно, они были бы довольны восстановлением Польши, но они сомневались в том, что это — единственная цель императора, а в особенности в том, что они получат такую форму правления, которая соответствовала бы их притязаниям, интересам и обычаям. Тем не менее удалось организовать правительственную комиссию.

Варшавский сейм, собравшийся 24 июня в качестве генеральной конфедерации[102], призвал всех поляков к оружию, убеждая их покинуть знамена угнетателей, которым они служили, и послал в Вильно депутацию, чтобы представить императору свои пожелания и надежды, а также чтобы побудить литовцев к действиям. Ответ императора на речи участников депутации показал, что Галиция не включается в состав Польши, и был настолько уклончивым, что обдал холодом и разочаровал даже самых увлекающихся людей.

Отсюда можно сделать вывод и о впечатлении, которое он произвел на тех, кто не увлекался. Каждый пытался найти в этом ответе то, что ему было желательно. Благоразумные люди нашли в нем признаки нерешительности, а следовательно, доказательство того, что император еще не принял определенного решения по поводу Польши и что при той обстановке, которая может создаться в результате военных действий, восстановление Польши не будет непременным условием и не явится препятствием к заключению мира. Из ответа императора заключали также, что он заметил, как мало воодушевлены литовцы, и не хочет связывать себе руки, ибо те методы, которыми русские начали эту кампанию, могут отдалить разрешение вопроса за пределы того срока, на какой он рассчитывал. Эти взгляды были по душе всем благоразумным людям, можно сказать, очень многим, потому что уже в самом начале этого несчастного похода было много людей, не одобрявших его. Во время своего пребывания в Вильно император проявлял невероятную активность.

Ему не хватало не только дней, но и ночей. Адъютанты, офицеры для поручений, штабные офицеры носились по всем дорогам.

По-прежнему он с нетерпением ожидал донесений из корпусов, двинувшихся в поход. Всех приезжающих он прежде всего спрашивал:

— Сколько взято пленных?

К его великому сожалению, стычки оставались безрезультатными. Он вполне основательно надеялся, что у князя Экмюльского дело дойдет до боя с князем Багратионом, и радовался, что этому генералу, правой руке старика Суворова, придется схватиться с самым доблестным из его соратников. Он был очень недоволен стычкой авангарда Неаполитанского короля с неприятельской кавалерией[103]. Генерал де Сен-Женье и довольно много солдат попали в плен. Тем временем наше левое крыло продвигалось. Маневры императора приняли определенный характер, и 17 июля он выехал из Вильно, чтобы присоединиться к своей гвардии в Свенцянах.

Там император получил донесения Неаполитанского короля, подробно сообщавшего ему о неудаче, постигшей его кавалерию. Одновременно он ему сообщил, что укрепленный Дрисский лагерь[104] был эвакуирован русскими 18 июля и русская армия, оставив все позиции и укрепления, возводившиеся в течение двух лет, начала общее отступление. Багратион был бы отрезан от Барклая и от южных губерний, если бы он не поторопился начать отступление. Так как император давно предсказывал этот неминуемый успех, то он явился хорошим предзнаменованием. Он вскружил императору голову и воспламенил даже людей, наиболее холодно относившихся к "этому польскому делу", как называли кампанию в ставке.

Император тотчас же решил направиться в Глубокое.

Гвардия немедленно была двинута в этом направлении. Император оставался на месте еще часов двенадцать, рассылая приказы, а затем продолжал наступательное движение в течение всей ночи, надеясь, что быстрота маневра позволит ему настигнуть русскую армию; в Глубокое он приехал утром[105]. Это — красивый монастырь в очень плодородном районе. Изумительный марш от Вильно до Глубокого доказал, что при хорошем уходе лошади могут совершать поразительные переходы, так как они, верховые и вьючные, нагруженные большими тюками, выйдя в шесть часов утра из Вильно, пришли в Свенцяны в восемь часов вечера, а назавтра в полдень были в Глубоком, сделав 48 лье. Упряжные лошади сделали переход из пункта, находящегося в шести лье от Свенцян, в 18

часов, причем ни одна из них не заболела.

Неаполитанский король, командовавший авангардом, стоял на Двине. За неудачной рекогносцировкой, которая стоила нам генерала де Сен-Женье и многих офицеров, следовало несколько кавалерийских стычек с переменным успехом. Так как русской армии удалось скрыть от короля свое отступление, то она осуществляла его без помехи, но маршал князь Экмюльский быстрым движением на Могилев отрезал отступление князю Багратиону, который завязал под Салтановкой оживленный, но безуспешный авангардный бой с целью освободить свою коммуникационную линию[106].

Это ему не удалось, и после бесплодных усилий, стоивших ему 4 — 5 тысяч человек, выбывших из строя, он должен был решиться на новое отклонение в сторону, чтобы пойти на соединение с главными силами армии, которые он мог догнать лишь в Смоленске. Это сражение было кровопролитным, особенно много потерь несли русские, но пленных мы взяли очень мало.

Одновременно было получено сообщение, что император Александр несколько дней тому назад покинул армию, выехал 18 июля из Полоцка и отправился в Москву, чтобы призвать народ к оружию. Решили, что он покинул армию, не желая, чтобы на него падала ответственность за последующие результаты военных действий, так как первые операции были неблагоприятны для русских: они разрезали армию и заставили эвакуировать укрепленный лагерь, который считался в России непобедимой преградой при наличии достаточно многочисленной армии. Одновременно стали известными указ о рекрутском наборе — по одному рекруту на каждые 100 человек — и два манифеста императора Александра, один из которых был обращен к русскому народу, а другой — к городу Москве; эти манифесты не оставляли сомнений в том, что он хочет превратить войну в национальную. Печатные листки за подписью Барклая[107] , подброшенные на наши аванпосты, доказывали, что он не очень щепетильно разбирался в применяемых средствах, так как в этих листках французов и немцев призывали покинуть свои знамена, обещая устроить их в России. Император Наполеон был, по-видимому, этим удивлен.

— Мой брат Александр не считается больше ни с чем, — сказал он, — я тоже мог бы объявить освобождение его крестьян; он ошибся в силе своей армии, не умеет руководить ею и не хочет заключать мира; это не очень последовательно. Когда вы не являетесь более сильным, то надо

быть лучшим дипломатом, а дипломатия Александра должна заключаться в том, чтобы покончить с войной.

Император был страшно рад, когда узнал об эвакуации Дрисского лагеря, над укреплением которого русские работали в течение двух лет. Отъезд Александра из армии также казался ему успехом. Он с полным основанием приписывал его своим быстрым передвижениям, которые, помешав соединению главных сил русской армии, принудили Александра эвакуировать без боя свой лагерь, чтобы искать в более глубоком тылу тот пункт, где может произойти соединение. По словам императора, он мог теперь выбирать между Москвой и Петербургом, если Россия не запросит мира. Он надеялся своими быстрыми маневрами принудить русскую армию принять сражение, которого он желал, или же деморализовать и изнурить ее непрерывным отступлением без боя. Он говорил также, что корпусу Багратиона не удастся соединиться с главными силами армии, что он будет захвачен или разгромлен, по крайней мере частично, и это произведет большое впечатление в России, так как Багратион был одним из старых соратников Суворова.

Император вскоре решил двинуться на Витебск, надеясь заставить русскую армию принять бой для защиты этого города, а может быть, с целью подстеречь Багратиона, которого продолжал теснить князь Экмюльский. Его величество выехал из Глубокого 21-го и ночевал в Камене 23-го. Русские гвардейские гусары жестоко пострадали в столкновении с нашим авангардом возле Бешенковичей[108]. Именно по прибытии в этот городок 24-го числа император впервые обратил внимание на то, что мы наблюдали уже в течение двух дней: все жители бежали из города, дома были абсолютно пустыми, и все доказывало, что эта эмиграция осуществлялась систематически, согласно распоряжениям, недавно изданным правительством.

После Бешенковичей и до того, как мы миновали Витебск, мы останавливались на бивуаках и разбивали палатки.

Император, который так желал сражения, пускал в ход всю свою энергию и весь свой гений, чтобы ускорить движение. Он добивался сражения и тем больше мечтал о нем, что, по слухам, в Витебске находился император Александр. Сражение под Островным, последовавшее за сражением под Бешенковичами, было достаточно кровопролитным и окончилось в нашу пользу, но это был не больше как арьергардный бой, при котором неприятель, по существу, добился желательного для него результата, ибо он задержал наше движение, принудил нас занять позиции

и, следовательно, остановил нас на несколько часов[109].

Русских отбросили к Лучесе, маленькой речке, впадающей в Двину, недалеко от Витебска. Ночью было ускорено движение всех корпусов и всех артиллерийских резервов; были пущены в ход все средства в надежде, что завтра или самое позднее послезавтра состоится генеральное сражение — предмет всех желаний и упований императора. Его величество часть ночи оставался на лошади, подгоняя и ускоряя движение воинских частей и ободряя войска, которые были полны воинственного пыла. Неаполитанский король уверял, что все маневры неприятеля указывают на подготовку к сражению. Император и вся армия слишком сильно желали этого сражения и поэтому тешили себя надеждой, что великий результат близок.

Император еще до рассвета был уже в седле; разведка, дошедшая до Лучесы, обнаружила крупный неприятельский кавалерийский отряд, занимавший боевые позиции. Наша пехота подходила; два полка уже перешли мост, но еще ожидали на равнине, выдвинувшись немного вперед и направо, чтобы артиллерия и кавалерия присоединились к ним. Неприятель развернул значительные массы кавалерии, которые напали на слабые полки легких войск нашего авангарда, построившихся в две линии слева от дороги и впереди оврага. Подоспели наши кавалерийские полки, но они не могли построиться достаточно быстро, чтобы дать отпор неприятельским силам, завязавшим уже бой с нашим слабым авангардом, над которым неприятель сначала одержал некоторую легко доставшуюся ему победу.

Как раз в это время рота вольтижеров, направленная на наш левый фланг, чтобы поддержать нашу малочисленную кавалерию, доказала, что в состоянии сделать решимость этих замечательных пехотных частей, даже когда они изолированы. Разместившись вдоль реки, а также в кустарниках и домах перед оврагом, эти храбрецы, окруженные в сто раз более сильной кавалерией, вели с ней перестрелку, чтобы поддержать наши слабые эскадроны; они стреляли без перерыва и все время выводили из строя неприятельских кавалеристов, причиняя противнику такой урон (причем сами они почти не имели потерь), что им удалось удержать его на достаточном расстоянии от фланга наших эскадронов, которые без этой ценной подмоги попали бы в начале боя в большую опасность. Много раз мы видели, как пять-шесть вольтижеров стоят группой в 50 шагах от неприятельских эскадронов под обстрелом целой тучи всадников и держатся против них, прислонившись спиной друг к другу, экономя свои патроны и выжидая неприятеля с таким расчетом, чтобы можно было

стрелять в упор. Они привели даже нескольких пленных. Эта рота держалась там значительную часть дня. Многим из них, приводившим к императору пленных и просившим у него за это крест Почетного легиона, он говорил: "Вы все храбрецы, и все заслуживаете этот крест". В самом деле, никогда еще не приходилось наблюдать, чтобы маленький отряд маневрировал с такой находчивостью и такой отвагой. Вся армия восхищалась этими храбрецами. Несколько человек были убиты, многие были ранены, но раненые, если только они не оказывались окончательно лишенными возможности участвовать в бою, не желали покидать своих товарищей. Я не могу выразить, до какой степени сожалею о том, что при отступлении я потерял вместе с другими различными заметками список офицеров и унтер-офицеров, этих храбрецов, с обозначением номера полка.

После боя, который снова сильно задержал наши маневры, армия двинулась вперед, и на другой день мы оказались перед фронтом неприятеля, занимавшего высоты, окаймляющие большую возвышенность перед Витебском. Нас отделяла от него только Лучеса; наши аванпосты стояли у подножия возвышенности. День прошел в маневренных передвижениях, артиллерийской перестрелке и мелких стычках, целью которых было нащупать и выяснить позиции друг друга, а также подготовиться к большому сражению, которого с надеждой ждали назавтра император и очень многие французы. Император был весел и уже сиял лучами славы, — до такой степени он верил в то, что померяется силами со своими врагами и добьется результата, оправдывающего поход, который завел его уже слишком далеко. Он провел весь день на лошади, обследовал территорию во всех направлениях и притом на довольно далеком расстоянии и возвратился к себе в палатку очень поздно, после того как, можно сказать, лично все осмотрел и во всем удостоверился.

Нельзя представить себе всеобщего разочарования и в частности разочарования императора, когда на рассвете стало несомненным, что русская армия скрылась, оставив Витебск. Нельзя было найти ни одного человека, который мог бы указать, по какому направлению ушел неприятель, не проходивший вовсе через город.

В течение нескольких часов пришлось подобно охотникам выслеживать неприятеля по всем направлениям, по которым он мог пойти. Но какое из них было верным? По какому из них пошли его главные силы, его артиллерия? Этого мы не знали, не знали в течение нескольких часов, так как следы имелись повсюду; поэтому в первый момент император бросил вперед только авангарды. Весьма тщательно и по нескольку раз он

объехал все закоулки неприятельской позиции, в частности те, где был лагерь и бивуаки неприятеля, чтобы составить точное представление о его численности. Он сам затем участвовал в разведке перед Витебском и вернулся в город в 11 часов, чтобы попытаться получить там какие-нибудь данные о численности, передвижениях и планах неприятеля, но ему не удалось добыть никаких удовлетворительных сведений. Он быстро объехал улицы и окраины города, а затем присоединился к своей гвардии, которая вместе со всеми войсками уже выступила по Смоленской дороге. Император надеялся, что удастся настигнуть русский арьергард, и поэтому торопил все передовые войсковые части, причем приказал передать Неаполитанскому королю, чтобы он во что бы то ни стало захватил нескольких пленных и послал их к нему. Но наш авангард неудачно попал в засаду возле Ложесны; мы потеряли несколько человек, и обе стороны заняли позиции. Войска были изнурены. Многие лошади не в состоянии были выдержать аллюра авангардных атак, и это послужило причиной гибели всадников. Император расположился на бивуаке у Ложесны вместе со всей гвардией и оставался там часть дня, а также и на следующий день, чтобы выждать донесений[110].

Местных жителей не был видно; пленных не удавалось взять; отставших по пути не попадалось; шпионов мы не вмели. Мы находились среди русских поселений, и тем не менее, если мне позволено будет воспользоваться этим Сравнением, мы были подобны кораблю без компаса, затерявшемуся среди безбрежного океана, и не знали, что происходит вокруг нас. Наконец, от двух захваченных нами крестьян мы узнали, что русская армия ушла далеко вперед и что она начала свое движение еще четыре дня тому назад. Император раздумывал больше часа.

— Возможно, — сказал он, — русские хотят дать бой в Смоленске. Багратион еще не присоединился к ним. Надо их атаковать.

Он принял, наконец, решение и счел нужным дать армии необходимый отдых. Часть кавалерии уже изнемогала; артиллерия и пехота были очень истомлены; дороги были полны отставшими, которые разрушали и грабили все. Было необходимо организовать наши тылы, выждать результата операций наших корпусов, оставшихся на Двине. Не сомневаясь более, что русская армия ускользнула от него и что в настоящий момент он не добьется желанного сражения, император был чрезвычайно мрачен. В конце концов он решил возвратиться в Витебск.

Как я уже сказал, наши кавалерия и артиллерия терпели большие лишения. Пало очень много лошадей. Многие лошади еле тащились, отстав от своих частей и блуждая в тылу, другие тащились за корпусами, для

которых они были обузой, не приносящей никакой пользы. Пришлось побросать много артиллерийских зарядных ящиков и обозных телег. Не хватало трети лошадей; в строю оставалось никак не больше половины того числа, которое было налицо в начале кампании.

В Ложесне — вечером, после схватки нашего авангарда с казаками, — я услышал от императора его первые рассуждения о новой манере войны, усвоенной русскими. Он жаловался в особенности на то, что стычки, происходившие ежедневно, не давали никаких пленных, что лишало его возможности получить определенные сведения о русской армии. За исключением иезуитов, все состоятельные жители бежали. Дома были пусты. Немногочисленные жители, оставшиеся в Витебске, ничего не видали, ничего не знали и принадлежали к низшему классу. В тот же вечер на бивуаке командиры корпусов, созванные императором и получившие от него нечто вроде выговора за непринятие мер для захвата нескольких пленных в небольших авангардных стычках, откровенно заявили ему то, что все мы уже знали, о чем князь Невшательский и мы уже говорили императору, но чему он отказывался верить, а именно, что кавалерийские лошади слишком утомлены и не могут идти галопом, а люди вынуждены бросать лошадей и спасаться в пешем порядке, если их эскадронам приходится отступать при атаке.

Неаполитанский король знал это лучше всех и говорил об этом с нами. Он рискнул даже сказать несколько слов в этом смысле императору, но его величество не любил рассуждений, расстраивавших его планы, и пропустил замечание мимо ушей. Император заговорил о других вопросах, и Неаполитанский король сохранил свои благоразумные соображения при себе, так как он больше всего стремился угождать императору (это давало удовлетворение как его привязанности к императору, так и привязанности императора к нему). Он высказывал эти соображения только нам, но, когда он выступал во главе стрелков и красовался под носом у казаков в своем фантастическом костюме с развевающимся султаном, он тотчас же забывал, что довершает развал кавалерии, губит армию и ставит Францию и императора на край бездны. Был, однако, случай, когда генерал Бельяр, начальник штаба короля, сказал в его присутствии, отвечая на вопрос императора:

— Надо сказать правду вашему величеству. Кавалерия сильно тает. Слишком длительные переходы губят ее, и во время атак можно видеть, как храбрые бойцы вынуждены оставаться позади, потому что лошади не в состоянии больше идти ускоренным аллюром.

Император не обратил никакого внимания на это благоразумное

замечание; он надеялся настигнуть свою добычу, а эта выгода была, конечно, неоценимой в его глазах, и он жертвовал всем, чтобы добиться ее.

Пока в рядах великой армии происходили эти события, Вестфальский король[111] , назначенный для поддержки корпуса князя Экмюльского, отдал герцогство Варшавское на разграбление своим войскам и вызвал недовольство этой преданной им страны, которой он к тому же мечтал править; считая, как и многие другие, что Польша, которую император хочет возродить, эта буферная держава, которую он хочет создать, предназначена ему, он счел ниже своего достоинства служить под командой победителя при Ауэрштедте и Экмюле и, покинув армию, возвратился со своей гвардией в Кассель. Вот как в трудных обстоятельствах помогали императору его братья, которых он сделал королями! По словам императора, король своими действиями помешал операциям князя Экмюльского и был повинен в том, что Багратион ускользнул от князя и таким образом был потерян результат начального периода кампании. Я передаю то, что неоднократно слышал в то время от императора; это повторил мне и князь Невшательский, а потом подтвердил князь Экмюльский.

Император оставил маршалу князю Экмюльскому только часть его корпуса; 1, 2 и 3-я дивизии, которыми командовали генералы Моран, Юден и Фриан, после переправы через Неман были отданы под начальство Неаполитанского короля для преследования неприятеля и поддержки кавалерии. У маршала оставались только Дивизии Компана и Дезэ, причем половину дивизии Дезэ маршал должен был оставить в качестве обсервационного отряда в Минске. Как только император узнал о передвижениях русских и о том, что корпус Багратиона оторвался от главных сил, он направил маршала против этого корпуса с тем небольшим количеством войск, которые были у него под рукой (полторы дивизии), но предупредил его в то же время, что он предоставляет в его распоряжение и отдает под его команду Вестфальского короля с его корпусом, а также поляков Понятовского[112], которые шли следом за ним. Маршал, сознавая всю важность операции, которую ему поручил император, ускорил свои переходы, ибо знал, что Багратиону придется пройти длинные и трудные дефиле между огромными болотами, и решил подойти раньше его к выходу из этих дефиле, хотя бы только с головными частями своей колонны. Он предупредил короля о своем движении, об имеющихся у него сведениях и о своих планах и предписал ему осведомить об этом Понятовского и теснить Багратиона, который потерял три дня в Несвиже, а

кроме того и время, требовавшееся на обратный переход; цель заключалась в том, чтобы поставить Багратиона меж двух огней. Но король был недоволен тем, что он оказался под начальством маршала, и не хотел считаться ни с обстоятельствами, ни с достоинствами человека, который был победителем в стольких сражениях и которому он был даже обязан своей короной; раздосадованный, он не исполнил приказа, не заботясь о последствиях неповиновения своему брату и маршалу, и даже не уведомил о полученном приказе Понятовского, который мог бы выполнить его хотя бы частично. Он плохо принял офицера, привезшего приказ, позволил себе даже неуместные замечания и, как я уже сказал, покинул армию вместе со своей гвардией. Маршал, как он и предвидел, настиг обозы и парки, шедшие впереди корпуса Багратиона, захватил значительную их часть, а также несколько человек пленных и продолжал свое движение, не заботясь о захваченных трофеях, чтобы находиться уже на позициях, когда русские выйдут на дефиле.

Не обладая после отъезда короля достаточными силами, чтобы сразиться с русскими в открытом поле, он занял позиции перед Могилевом; к этому пункту направлялся Багратион, которого неповиновение короля спасло, дав ему возможность изменить свой маршрут. Зная, что ему придется иметь дело лишь со слабым корпусом, наспех собранным маршалом, и что никто его не теснит, Багратион послал к князю Экмюльскому адъютанта, чтобы передать ему, что он в течение нескольких дней обманывал Багратиона своими активными маневрами, но теперь Багратион знает, что маршал может противопоставить ему лишь головные части колонны, а потому во избежание бесполезного боя предупреждает его, что будет завтра ночевать в Могилеве. Маршал, не отвечая на эту похвальбу, сделал все возможное для укрепления своей позиции. Вначале бой развивался с переменным успехом. Подвергшись ожесточенному нападению, маршал мужественно оборонялся, вывел у Багратиона из строя 4 — 5 тысяч человек и принудил его отступить и переменить в течение ночи свое направление[113]. Когда подумаешь о том значении, которое имели бы для всего хода дел разгром корпуса Багратиона и достижение такого результата в самом начале кампании благодаря первому же маневру императора и прекрасным распоряжениям маршала, то нельзя не почувствовать горечь при виде того, как великому полководцу изменили его близкие еще до того, как ему изменила судьба.

По возвращении в Витебск император прежде всего посвятил свои заботы продовольственному снабжению и госпиталям. Мне было поручено осмотреть госпитали, раздать деньги раненым, успокоить и ободрить их. Я

выполнил, как мог, эту миссию, скорбную и опасную, ибо всюду были заразные. Эти несчастные терпели самые жестокие лишения, спали просто на полу, большая часть даже без соломы; все они находились в самом неблагоприятном положении. Очень многие из них, в том числе даже офицеры, не были еще перевязаны. Церкви и магазины — все было переполнено: больные и раненые в первый момент были смешаны в одну кучу. Врачей и хирургов было слишком мало, и их нехватало. К тому же у них не было необходимых материалов — ни белья, ни медикаментов. За исключением гвардии, которая сохранила кое-что, перевязочные пункты всех других войсковых частей не имели даже ящиков с набором инструментов; они остались позади и погибли вместе с повозками, которые пришлось бросить на дорогах из-за падежа лошадей. Витебск, где надеялись найти кое-какие материалы, оказался почти совершенно пустым. А кроме того, русские губернские города нельзя было даже и сравнивать с самыми маленькими германскими городками. Мы слишком привыкли находить там запасы всякого рода и рассчитывали встретить то же самое в России.

Велико было разочарование, жестоко отозвавшееся на несчастных страдальцах, и не было никаких средств облегчить их муки. Нельзя представить себе те лишения, которые приходилось испытывать в первые моменты. Отсутствие порядка, недисциплинированность войск в том числе даже среди гвардии, губили и те немногие возможности, которые еще оставались. Для тех, кто умел мыслить и кого не ослеплял ложный престиж славы и честолюбия, положение было таким прискорбным а зрелище таким душераздирающим, как никогда. За исключением высших начальников администрация была беззаботной как нельзя больше. Наши больные и раненые погибали из-за отсутствия хотя бы малейшей помощи. Многочисленные ящики, огромные запасы всякого рода, которые собирались в течение двух лет ценою таких затрат, исчезли — были разграблены или потеряны из-за отсутствия перевозочных средств. Ими была усеяна дорога; быстрота переходов, нехватка упряжных и запасных лошадей, отсутствие фуража, недостаток ухода — все это, вместе взятое, губило конский состав. Эта кампания, которая без реального результата велась на почтовых от Немана до Вильно и от Вильно до Витебска, уже стоила армии больше чем два проигранных сражения и лишала ее самых необходимых ресурсов и продовольственных запасов.

Желая обеспечить себя от нескромной болтовни, император не советовался ни с кем. В результате наши ящики и все наши транспорты были приспособлены для шоссированных дорог, для обыкновенных

переходов и расстояний; они отнюдь не годились для дорог той страны, по которой нам предстояло проходить. Первые же пески привели в негодность транспорт, так как, вместо того чтобы уменьшить нагрузку в соответствии с весом повозки и с тем расстоянием, которое предстояло пройти, ее, наоборот, увеличили, считая, что она будет в достаточной степени уменьшаться с каждым днем по мере потребления запасов. Император из-за этого предположения о ежедневном облегчении нагрузки не хотел учестъ в своих расчетах то расстояние, которое надо было пройти, прежде чем достигнуть пункта, где могло начаться потребление. Прибавьте к этому тяжелый вес нашего снаряжения, нехватку продовольствия, форсированные марши, недостаток наблюдения и ухода, неизбежные результаты похода по разграбленной дороге, где отсутствуют склады и где человек, сам лишенный всего, не в состоянии заботиться о своих лошадях и без сожаления видит как они гибнут, потому что в гибели порученной ему работы он видит конец своих собственных лишений, — представьте все это, и вы поймете секрет и причину наших первых бедствий и наших последних превратностей.

Беспорядок был повсюду: в городе, как и в окрестностях все терпели нужду. Гвардия испытывала такие же лишения, как и другие корпуса. Отсюда недисциплинировнность и все ее последствия. Император сердился, суровее обычного бранил начальника штаба, командиров корпусов и интендантов, но это ничему не помогало, так как все еще не удавалось организовать раздачу пайков. Император думал, что при таком положении вещей он сможет бороться с дезорганизацией корпусов, если будет требовать непосредственных донесений от них. Как он проектировал еще в Дрездене и Торне, где он говорил мне об этом, император учредил две должности помощников начальников штаба, одного для пехоты и одного для кавалерии; на эти должности он назначил графов Лобо и Дюронеля, и они приступили к исполнению обязанностей. Корпуса должны были сноситься с ними, каждая отдельная дивизия или бригада должна была иметь при них своего офицера и направлять донесения непосредственно им. Он считал также, что восстановит порядок в штабе, если поручит командование главной квартирой офицеру, который сможет давать отпор гвардейским командирам. Опасная честь назначения на этот пост досталась моему брату[114] ; затянувшаяся на шесть недель болезнь заставила брата покинуть Испанию, после чего император назначил его начальником пажей, для того чтобы он смог отдохнуть. Подобно своим предшественникам по этой должности он исполнял обязанности адъютанта при императоре. Император знал его твердость и любовь к порядку. По

этим соображениям он и решил доверить ему новые трудные обязанности, хотя мой брат и проявлял крайнюю неохоту к занятию этого поста. Он особо возложил на него восстановление порядка, в частности водворение порядка в гвардии, и наблюдение за госпиталями, складами и продовольствием. Брат проводил дни и ночи над улучшением состояния госпиталей, над обеспечением работы хлебопекарен. Склады и пайки часто приходилось охранять со шпагой в руке. Он ничего не скрывал от императора. С гвардией, против которой никто не решался сказать ни слова, он стеснялся не больше, чем с другими корпусами. Император принял некоторые показательные меры; порядок восстановился, и в конце концов пайки стали выдаваться регулярно. В этот период времени император со свойственной ему энергией реорганизовал все: он жил в губернаторском доме и приказал расширить площадь перед домом. На этих работах была занята гвардия. Жара стояла тогда нестерпимая, и для армии было бы большим счастьем воспользоваться некоторым отдыхом в эти дни. Каждый день в шесть часов утра устраивался большой парад. На парадах присутствовали начальники всех ведомств, и император громко выражал свое недовольство теми из них, за которыми были погрешности, но часто также и тем, кто, можно сказать, делал невозможное.

— Надо добиться успеха, — говорил император тем, которые, рассчитывая оправдаться, говорили о своих стараниях.

Что же касается тех, которые говорили о своей преданности и своем усердии, то он отвечал им:

— Я учитываю это только тогда, когда результатом является успех.

Император притворялся в этом отношении более строгим, чем он был на самом деле, так как хотя он этого и не показывал, ибо принципиально не хвалил никого, но отмечал и высоко ценил людей, ревностно преданных своему долгу.

Из-за необъяснимой и непростительной скупости материальная часть перевязочных пунктов была недостаточна. Даже их персонал был слишком малочисленным. Все транспортные средства армии, даже в артиллерии, также были недостаточны. Император всегда стремился добиться наибольших результатов с наименьшими затратами, и при отправлении в путь крупных складов были пущены в упряжь почти все наличные лошади, так как, по примеру других кампаний, рассчитывали пополнить упряжки и заменить убыль реквизированными лошадьми, которых обычно находили на месте; но в России ничего подобного не было. Лошади и скот — все исчезло вместе с людьми, и мы находились как бы среди пустыни; все ведомства оставили большую часть своего имущества на дорогах.

Никогда еще подчиненные органы администрации не проявляли такой беззаботности. И никогда еще потерпевшие несчастье храбрецы не получали такого плохого ухода. Врачи и административные начальники, талантливые и энергичные, были в отчаянии, видя положение, в котором находились госпитали. Они тщетно старались возместить все недостатки своей работой. Мы были всего лишь в Витебске, и у нас еще не было сражения, а корпии уже нехватало!

Император был очень озабочен и часто так раздражен, что не выбирал выражений по отношению к лицам, вызывавшим его недовольство, чего обычно с ним не случалось. Он был поражен отъездом городских жителей и бегством деревенского населения. Эта система отступления, быть может, открывала ему глаза на возможные последствия этой войны и показывала, как далеко от Франции она могла его завлечь. Но все многочисленные соображения, которые должны были бы осветить ему положение, тотчас рассеивались при самом незначительном событии, которое вновь оживляло его надежды. Эти надежды подогрел один русский офицер, взятый в плен и доставленный в ставку. Он уверял, что русские должны были дать сражение под Витебском, что это сражение было лишь отсрочено и русские удалились без боя только потому, что 27-го числа было получено письмо от князя Багратиона, в котором он писал, что сможет присоединиться к главным силам лишь в Смоленске. В результате император стал мечтать, что русская армия нападет на него, когда Багратион соединится с ней.

Полный надежд, он вновь пришел в хорошее настроение. Неаполитанский король, подобно императору, думал все время, что, делая 10 — 12 лье в день, он вот-вот нагонит русских, причем надежда на завтрашний успех всякий раз мешала ему учитывать сегодняшние потери, вызванные форсированными маршами. Он стал подсчитывать свои потери, когда остановился на позициях, и с ужасом увидел, как ослабели его полки, численность большинства которых сократилась больше чем вдвое. Под давлением генерала Бельяра он донес об этом императору. Нехватало фуража и вообще всего, потому что войска все время были сосредоточены вместе и держались настороже. Распределение пайков в первые дни производилось беспорядочно, а из-за казаков уже нельзя было отдаляться в поисках продовольствия от занимаемых пунктов. Лошади не были подкованы; оборудование находилось в самом дурном состоянии, кузницы вместе с обозами остались позади. Большинство их было даже брошено и пропало. Не было гвоздей, не было рабочих, не было подходящего по качеству железа, чтобы сделать из него подкову. Так как ничего не было

предусмотрено, то нехватало самых необходимых вещей. Несколько дней уже занимались перемалыванием зерна и работали хлебопекарни, устроенные по приказу императора. Он старался заразить своей энергией всех, но все делалось с прохладцей.

У императора было два плана: один — не отдаляться от Витебска и принять бой в его окрестностях; другой, который он предпочитал, — наступать и напасть на неприятеля, так как он считал, что будет иметь больше преимуществ, если сам принудит русских принять сражение. И в том и в другом случае он рассчитывал отбросить неприятеля достаточно далеко, чтобы остаться хозяином страны и распоряжаться ею, как ему заблагорассудится. После этого он рассчитывал усилить корпуса, стоявшие на Двине, разбить Витгенштейна[115], занять более растянутые позиции и расположиться более широко раскинутыми лагерями, дать отдых войскам и воспользоваться временем, чтобы все организовать, собрать местные ресурсы, вызвать подкрепления и вытребовать материалы, в которых он испытывал настоятельную нужду.

Он мог также, предоставив корпуса на Двине их собственным силам до прибытия к ним подкреплений, угрожать своей армией одной из русских столиц и вынудить таким образом русскую армию либо сдать ему Петербург или Москву, либо с целью спасти находящуюся под угрозой столицу подвергнуться риску сражения, которое он рассчитывал выиграть и за которым последовали бы предложения мира. В этом духе он беседовал с князем Невшательским и два раза разговаривал со мной. Казалось, что он склоняется — но во всяком случае после того, как он выиграет первое сражение — оставаться в Витебске, чтобы подкрепить корпуса на Двине и оттеснить Витгенштейна[116]. В этом случае он занялся бы организацией страны, дал бы отдых армии, выждал бы подкреплений и располагал бы всем нужным для второй кампании, если бы эти демонстрации не привели к предложениям мира, в которых он был уже уверен. Император непрестанно твердил нам, что русская армия, которая могла и должна была быть такой многочисленной и, как его уверяли, была укомплектована полносгью, в действительности насчитывала не больше 150 тысяч человек, считая в том числе войска Витгенштейна и маленькие корпуса. Император Александр был обманут своими генералами и чиновниками, и в его распоряжении был только кадровый состав вследствие чрезмерного избытка нестроевых солдат. Он часто повторял это мне, прибавляя, что мы — он уверен в этом — обманули его насчет русского климата, как и насчет всего остального, и что эта страна подобна Франции, но только зима здесь

длится дольше и те холода, которые у нас бывают в течение 12 — 15 дней, держатся здесь шесть-семь месяцев. Эти упреки он повторял по всякому поводу, часто с раздражением. Напрасно я возражал императору, что ничего не преувеличивал и обо всем говорил ему правду, как самый верный из его слуг. Мне не удавалось убедить его. Как-то раз, однако, во время пребывания в Витебске он оказал мне честь беседовать со мною без малейшего раздражения, хотя по-прежнему находился под властью все тех же иллюзий. Он верил в сражение, потому что желал его, и верил, что выиграет его, потому что это было ему необходимо. Он не сомневался, что русское дорянство принудит Александра просить у него мира, потому что такой результат лежал в основе его расчетов. Ни доводы, ни опыт, приобретенный после перехода через Неман, ничто не могло открыть ему глаза на роковое будущее. Вид солдат, их энтузиазм, когда они замечали его, смотры, парады, а в особенности донесения — часто напыщенные Неаполитанского короля и некоторых других генералов кружили ему голову.

Несмотря на некоторые здравые идеи, являвшиеся результатом его размышлений или тех соображений, которые ему высказывали в удобные моменты, он по-прежнему находился в опьянении.

Все же во время пребывания в Витебске были моменты, когда Россия могла бы заключить мир без всяких жертв, предоставив императору устраивать по своему усмотрению север Германии и Польшу в составе герцогства Варшавского и Галиции.

У него вырвалось несколько слов на эту тему, когда он жаловался на жителей Литвы и Волыни, которые, как он говорил, забыли, что родились поляками и сделались русскими.

— Не стоит, — прибавил он, — долго сражаться за дело, о котором эти люди мало беспокоятся сейчас.

Если временами император прозревал свое действительное положение и последствия этой войны, если он порою беспристрастно говорил об этом, то уже через мгновение раздавались другие речи. Император вновь попадал во власть своих старых иллюзий и вновь возвращался к своим грандиозным проектам. Самая незначительная схватка, прибытие каких-либо подкреплений, каких-либо материалов, какое-нибудь донесение Неаполитанского короля, крики "да здравствует император" на параде, а в особенности письма из Вильно[117] , — этого было достаточно, чтобы снова вскружить ему голову.

Князю Невшательскому за его откровенность, невероятную энергию и преданность постоянно влетало, и ему приходилось выслушивать

неприятные вещи. Раздражение императора против него дошло до того, что он часто советовал ему уехать в Гробуа и говорил, что он более ни на что не годен. В самом деле, многое делалось плохо. Штаб командования не был готов ни к чему: так как император желал сам все делать и всем распоряжаться, то никто, даже начальник штаба, не осмеливался брать на себя ответственность за самое ничтожное распоряжение. Администрация, лишенная, как мы уже сказали, транспорта и других средств для выполнения своих задач, не могла дать того, чего император желал и приказывал добиться, не заботясь о том, как могут быть выполнены его приказы. Бесспорно, он мог с полным основанием жаловаться на все ведомства, которые почти ничего не делали, но и все ведомства могли, со своей стороны, жаловаться на императора; он привез их в страну, где они не нашли никаких средств, на которые его величество несомненно рассчитывал, потому что привык находить их в Германии или в Италии. Все были недовольны, и нужна была вся твердость императора и то мнение, которое сложилось о ней, чтобы дело продолжалось.

Несмотря на всю суровость и даже жестокость императора по отношению к князю Невшательскому, как только князю представлялся какой-нибудь случай, он говорил ему о Франции, об ослаблении нашей кавалерии, состоянии артиллерии, о последствиях, к которым могли бы привести малейшие неудачи, и о том недовольстве, которое существовало в Германии. Его рассуждения редко выслушивались благосклонно, но это не препятствовало ему вновь возвращаться к той же теме. Император просто говорил, что это Коленкур вбил ему такие мысли голову и сделал его русским. Мне также частенько приходилось страдать от его дурного настроения, в особенности когда я пользовался случаем, чтобы отвечать императору в его собственном тоне. Дело дошло до того, что император был разозлен даже на лиц, состоявших в штабе под начальством князя. Бальи де Монтион, который был душой штаба, граф Дюма — энергичный и преданный начальник интендантства, и Жуанвилль[118] постоянно служили объектом придирок его величества. Он стал чувствовать антипатию к ним. Мы никогда еще видали его в таком раздражении, которое делало эту кампанию еще более тягостной для нас. Князь Невшательский, как и мы все, не был, однако, обескуражен. По всякому поводу мы пытались разъяснить его величеству действительное положение и умерить ту стремительность, которая направляла нас на путь полнейшей авантюры. Графы Лобо и Дюронель, также многие другие генерал-адъютанты императора не менее откровенно говорили ему о состоянии, в котором находится армия, когда для этого представлялся удобный случай;

они даже сами создавали эти удобные случаи. Еще никогда истина не звучала столькими голосами перед каким-либо государем, но увы, все было безрезультатно. Надо, однако, сказать, что если император отнюдь не поощрял такие речи, потому что они шли вразрез с его желаниями, то во всяком случае не отвергал их резко. В глубине души он не слишком сердился на тех, кто имел мужество высказать правду, быть может, потому, что он совершенно не считался с их словами. Иногда император, когда ничто не вызвало его гнева, оказывал мне честь очень спокойно беседовать со мной, позволял мне всякие замечания и даже соглашался, что уже зашел довольно далеко и для него было бы выгоднее дожидаться мира, сохраняя нынешние позиции, чем отправляться на поиски его в глубь России. Но такие настроения длились недолго.

На лиц, имевших доступ к императору, тяжелое впечатление производила раздражительность, вызванная неприятностями этой кампании, а также опьянение, поддерживаемое в нем иллюзиями, которые поощрялись лишь весьма немногими людьми, все еще продолжавшими разделять их. Каждый удваивал свою энергию, чтобы бороться с трудностями положения, становившегося день ото дня все более тяжелым. Назвать в числе тех, кто не пропускал ни одного случая, чтобы открыть глаза императору, князя Невшательского, герцога Фриульского, графов Дарю, Лобо, Дюронеля, Тюренна, де Нарбонна, герцога Пьяченцского[119] — значит лишь воздать справедливость возвышенному и благородному характеру этих людей. Хулители этой великой эпохи могут говорить, что хотят, но никогда еще ни один государь не был окружен более способными людьми, которые выше всего ставили общее благо и ни в малейшей мере не были льстецами, как бы ни было велико их восхищение великим человеком и их привязанность к нему. Необычайная обстановка, в которой мы находились, будила не столько честолюбие, сколько усердие и преданность. В различной форме в соответствии с характером и привычками каждого, но в какую бы дверь ни постучал император, он мог не сомневаться, что найдет там, если пожелает, истину, хотя бы и неприятную, но отнюдь не лесть. Слава уже не опьяняла никого, быть может, потому, что ею пресытились, а может быть, потому, что разум побуждал не доверять ее престижу. Прежде всего люди оставались добрыми французами и сохраняли сдержанность.

К чести императора надо сказать, что его принципы, его беспристрастие и прочность его доверия, предотвращавшая интриги, не в малой степени способствовали возникновению и сохранению этих благородных чувств. Все знали, что государь не любит перемен, и это

давало каждому уверенность в своем положении, а такая уверенность укрепляла правдивость. Твердость императора направляла в одну сторону все взгляды и все честолюбивые стремления. Отечество и император сливались в свете единой славы, которая сделалась их общей славой. Он покорил все умы и увлек всех, заставляя волю каждого помогать без колебаний осуществлению его воли. Кто не был очарован влиянием этого высшего гения, выдающимися качествами государя, его добродушием, которое в интимном кругу было добродушием частного лица? Кто не восхищался в нем великим полководцем, законодателем, восстановителем общественного порядка, наконец, человеком, которому родина была обязана своим внутреним процветанием и окончанием гражданской войны? Наша промышленность выросла во стократ, финансы процветали, — разве все это не напоминало нам каждый миг, чем мы обязаны императору и чего мы еще можем ждать от него? Если в ту пору, когда такой успех и слава могли внушить добросовестные иллюзии огромнейшему большинству, иные предвидели также и те потери, которых надо было бояться, то их прозорливость объяснялась лишь их особым положением. Император изменил национальный характер.

Французы сделались серьезными; они приобрели солидную осанку, всех волновали великие вопросы современности; мелкие интересы примолкли, все чувства были, можно сказать, проникнуты патриотизмом; всякий покраснел бы, если бы проявил другие чувства. Люди, окружавшие императора, считали, для себя вопросом чести абсолютно не льстить ему. Некоторые даже выставляли напоказ свое стремление говорить ему правду, рискуя вызвать его неудовольствие. Таков был характер эпохи. Это не могло укрыться от тех, кто наблюдал ее. Оппозиция, которую замечал император, не ослабляли ничьей преданности и усердия. Он обращал на нее мало внимания и приписывал ее обычно узости взглядов, считая, что лишь немногие умы в состоянии охватить всю совокупность его великих планов. Не подлежит сомнению, что эта оппозиция, если судить хотя бы по мне, проистекала лишь из стремления оберегать интересы славы самого императора. Кто мог тогда предвидеть то, что случилось потом? Какое личное чувство, какой личный интерес могли бы игратъ руководящую роль среди этого хора всеобщей преданности? Можно утверждать, что люди руководствовались лишь интересами Франции и интересами сохранения чудодейственной славы императора. Тогда лишь этот двойной интерес и можно было противопоставить гигантским замыслам этой славы, об опасностях которых, казалось, предупреждал уже некий тайный инстинкт.

Несомненно, увлекающийся характер и честолюбие императора,

заставлявшие его подвергаться такому риску на столь далеком расстоянии от Франции, гораздо больше бросались всем в глаза, когда события породили сомнения в успехе. Конечно, каждый в отдельности порицал его, но мир, неизменно отвергаемый Англией, мир, который император выдвигал как мотив всех своих замыслов, оправдывал эти замыслы в глазах нации, ибо действительные и воображаемые возможности еще долго будут пользоваться большим влиянием и даже большей властью над нашей нацией, чем разум и опыт.

Через десять дней после нашего прибытия в Витебск, чтобы раздобыть продовольствие, приходилось уже посылать лошадей за 10 — 12 лье от города. Оставшиеся жители все вооружились; нельзя было найти никаких транспортных средств. На поездки за продовольствием изводили лошадей, нуждавшихся в отдыхе; при этом и люди и лошади подвергались риску, ибо они могли быть захвачены казаками или перерезаны крестьянами, что частенько и случалось.

Генералы корпусов, не стоявших в первой линии, а также и административные начальники приезжали один за другим в Витебск. Как и чины штаба, они являлись на парады, после которых император беседовал с ними. Каждый день он садился на лошадь, чтобы производить большие разведки в окрестностях; несколько раз в течение дня посещал кухни и хлебопекарни. Много раз он осматривал прежние лагери и бивуаки русской армии, чтобы составить представление о ее численности; постоянно говорил, что ее численный состав был ниже той цифры, в которую он оценил его в начале кампании.

7 или 8 августа неприятель произвел глубокую разведку, направленную против корпуса генерала Себастиани[120] , который вынужден был отступить. Некоторые части понесли потери. При первом известии об этом император обрадовался. Он думал, что вся русская армия принимает участие в этом маневре и пробил, наконец, час долгожданной битвы. Но эта надежда была недолговечной. Император тотчас же узнал, что это была только рекогносцировка. Впрочем, она могла быть прологом к общему наступлению армии, и вплоть до следующего дня он лелеял эту мысль. Судя о планах своего противника по его предыдущим операциям, он отчаялся в возможности дождаться его наступления, когда узнал, что атака не имела последствий и неприятель отступил.

Не надеясь более, что на него нападут, как он мечтал с того момента, когда узнал, что князь Багратион присоединился 4 августа к главным силам, и не имея возможности дать армии необходимый отдых, поскольку неприятель со всеми своими силами находился так близко от него,

император 10-го числа принял решение идти против неприятеля и повел движение правым флангом, чтобы перейти Днепр у Расасно, тогда как русские с той же целью производили такой же маневр, чтобы атаковать нас на правом берегу. Император выехал из Витебска 12-го в 11 часов вечера. 13-го утром он был в Расасно, на левом берегу Днепра; гвардия прибыла туда днем. В Витебске остались больные, раненые и очень маленький гарнизон. Император осуществлял свой план — дать большое сражение, чтобы отбросить неприятеля, предоставить отдых войскам, организовать страну и устроиться на зимние квартиры. Одновременно то же самое должны были сделать и корпуса на Двине. Твердо преследуя свою первую цель, он хотел все реорганизовать, для того чтобы в следующую кампанию иметь возможность двинуться походом на столицы, если только намеченные им меры и вызванные ими затруднения русского правительства не побудили бы Россию заключить мир зимою и даже раньше, — результат, о котором император мечтал более чем когда-либо, так как эта война ему надоела, и он, по его словам, не был бы требователен в вопросе об условиях мира.

По прибытии в Расасно император сел на лошадь, осмотрел проходившие корпуса, произвел очень далекую разведку за Лядами и возвратился на свой бивуак в Расасно только ночью. Назавтра с рассветом он был уже на лошади. Он поехал по берегу Днепра, принял донесения и ожидал рапорта от нескольких разведочных отрядов, составленных из поляков; этим отрядам было приказано объехать оба берега реки. Гвардия получила приказ выступить по дороге на Красный. Император также выехал в этом направлении. По пути он получил сведения, что завязался бой между кавалерией и русской дивизией, которой, как полагали, было поручено прикрывать Красный[121]. Он помчался туда галопом, но вскоре узнал, что бой уже кончен, и встретил неприятельские орудия, отбитые нашими войсками и сопровождаемые храбрецами, захватившими их. Каждый из них получил значительную денежную награду, а орудия были переданы гвардии, которой поручалось хранить эти первые трофеи кампании. Согласно донесениям, полученным императором, русская дивизия, подкрепленная несколькими казачьими сотнями, отнюдь не ожидала, что ей придется выдержать всю силу удара нашей кавалерии. Однако она держалась хорошо, образовала несколько каре и доблестно защищала свои орудия и позиции. Прорвать каре не удалось, но так как при каждой атаке их углы расстраивались, то некоторые солдаты оказывались в промежутках между каре и были изрублены, а при отступлении дивизия потеряла семь орудий. Выдержка ее была такова, что она дождалась вечера

и воспользовалась дефиле, которые и спасли ее от полного разгрома.

Ночью император вернулся на гвардейский бивуак возле Ляд. Сведения, полученные от нескольких раненых русских, взятых в плен, положили конец всяким сомнениям императора и подтвердили ему факт передвижений генерала Барклая-де-Толли на правом берегу; он подозревал это уже с полудня на основании донесения одной из разведок. Всем корпусам было приказано ускорить свое движение на Смоленск. Император отправился вместе с гвардией еще до наступления дня, надеясь подойти к Смоленску раньше русской армии, мимо которой мы прошли, сами того не зная, когда двигались в Расасно через Бабиновичи.

15-го с раннего утра император помчался галопом к авангарду, подошедшему к воротам Смоленска. Обложив город, он быстро произвел разведку во всех окрестностях. Неприятель, казалось, обладал достаточными силами. Наши войска подходили.

День прошел в артиллерийской перестрелке и небольших атаках с целью исправления позиций, а также с целью продвинуться как можно ближе к городу. Назавтра город обложили еще теснее; мы захватили кладбище и несколько домов, господствовавших над возвышенностью, на которой построен город. Один из адъютантов, которого генерал Дальтон поместил на наблюдательный пост в ветряной мельнице, заметил утром, что русские выводят войска из города. Генерал отправился на мельницу и убедился, что под стенами города уже построились два или три полка и к ним присоединяются другие. Император приказал теснее сжать кольцо вокруг города, отбросить эти войска и даже постараться захватить их в плен. Атака была жаркой. Генерал Дальтон и все полковники его бригады были ранены, когда мужественно оттесняли русские корпуса к стенам города. Дальтон ворвался в город справа из-за соляных складов, находившихся между городом и загородными домами, но его ранение замедлило движение бригады, ее операции не дали новых результатов. Русские умирали храбро[122].

Вечером император приказал поставить несколько орудий для бомбардировки моста, который был достаточно виден, так что мы могли заметить передвижение войсковых частей: одни из них входили в город, другие покидали его. Вскоре мы узнали, что это были последние корпуса Барклая, которые только что прибыли и уже сменили часть гарнизона. В чем заключалась цель этой замены? Не было ли это прологом к новому отступлению? Император не знал, что думать, и заранее злился при мысли, что придется идти еще дальше, чтобы настигнуть эту армию, которую он принудил бы к сражению, если бы атаковал ее 48 часами раньше. Он

спросил меня, что я думаю об эти передвижениях. Император добивался, чтобы я ответил, что русские будут держаться и дадут ему бой, к которому он стремился. Он был похож на человека, нуждающегося в утешении. Я, наоборот, думал, что так как русские выпустили из своих рук инициативу нападения и не могут, следовательно, выбирать свои позиции, то они предпочтут отступить. Я откровенно сказал ему это.

— Если это так, — ответил мне император тоном человека, внезапно принявшего решение, — то, отдавая мне Смоленск, один из своих священных городов, русские генералы бесчестят свое оружие в глазах своих солдат. Это даст мне выгодное положение. Мы их отбросим немного для нашего спокойствия. Я укреплю свои позиции. Мы, отдохнем, опираясь на этот пункт, организуем страну и тогда посмотрим, каково будет Александру.

Я займусь корпусами на Двине, которые ничего не делают, и моя армия будет более страшна, а моя позиция еще более грозна для России, чем если бы я выиграл два сражения. Я обоснуюсь в Витебске. Я поставлю под ружье Польшу, а потом решу, если будет нужно, идти ли на Москву или на Петербург. Я был счастлив видеть, что у императора такие здравые и мудрые намерения; я приветствовал их. Он казался мне возвышенным, великим и прозорливым, как в день своей самой прекрасной победы. Я ответил ему, что такой маневр действительно даст ему мир, так как он укрепит его дальнейшее продвижение. Вместе с тем он не заставляет гнаться за слишком далекими перспективами: маневры русских достаточно доказывают, что они хотят завлечь его внутрь страны, отдалить от спорных пунктов, запереть в своих льдах; не следует играть им в руку и т. д. Его величество, казалось, весьма одобрял мои рассуждения и принял окончательное решение. Я поспешил рассказать о моем разговоре князю Невшательскому, чтобы он постарался поддержать в императоре эти мудрые намерения, но он, по-видимому, сомневался, что они удержатся .после взятия Смоленска. Увы, он был более чем прав. Намерения императора так меня обрадовали, что и я начал строить иллюзии.

17-го русские должны были эвакуировать все позиции, находившиеся вне города. Император приказал подвезти осадные батареи и поставить 30 орудий, чтобы разрушить мост, который был прекрасно виден теперь, когда мы приблизились к городу. Эта батарея до такой степени беспокоила русских, что их колонны проходили по мосту бегом. Больше нельзя было сомневаться, что неприятель полностью отступает. Император, желая штурмовать город, отправил саперных офицеров и офицеров генерального штаба на разведку. Они вплотную подошли к городской ограде, но лестниц

у них не было. Наконец, полученные донесения заставили императора отказаться от этого проекта. К вечеру отступательное движение неприятеля явно усилилось. Уже с утра город был в огне. Пожар, разжигаемый самим неприятелем, не прекратился, но еще более усилился за ночь. Это было ужасное зрелище — жестокое предвестие того, что нам предстояло увидеть в Москве. Я не мог заснуть и прогуливался по лагерю (было два часа ночи). Я был полон печальных размышлений о последствиях, к которым может привести эта война, если император не последует тем здравым побуждениям, которые были у него накануне. Ужасное зрелище разрушения рождало во мне, я думаю, предчувствие тех печальных событий, свидетелем которых я впоследствии оказался. Я беспрестанно вспоминал недавний разговор с императором, и это воспоминание меня немного успокаивало, но тотчас же мне приходили на память рассуждения князя Невшательского, а мой личный опыт мог лишь заставить меня разделить его мнение и его опасения. Ночь была холодная. Я подошел к одному из костров — перед императорскими палатками со стороны города — и задремал у огня, как вдруг вышел его величество с князем Невшательским и герцогом Истрийским. Они смотрели на пламя пожара, озарявшее весь горизонт, освещенный огнями наших бивуаков.

— Это извержение Везувия! — воскликнул император, хлопнув меня по плечу и разбудив. — Не правда ли — красивое зрелище, господин обер-шталмейстер?

— Ужасное, государь.

— Ба! — возразил император. — Вспомните, господа, изречение одного из римских императоров: труп врага всегда хорошо пахнет.

Это рассуждение ошеломило всех. Что касается меня, то я тотчас же вспомнил соображения князя Невшательского. Его слова и слова императора еще долго звучали в моих ушах. Я посмотрел на него. Мы переглянулись, как люди, понимающие друг друга без слов и слишком хорошо сознающие, что нельзя больше рассчитывать на те здравые мысли, которые так обрадовали меня накануне.

В четыре часа утра несколько мародеров, давно выжидавших момента, проникли в город через старые бреши, которые неприятель даже не потрудился заделать, в пять часов утра император узнал, что город эвакуирован. Он приказал, чтобы войска входили туда только корпусами, но солдаты уже проникали в город через различные проходы, которые им удалось открыть. Император сел на лошадь, осмотрел городскую стену с восточной стороны и вступил в город через старую брешь. Он проехал затем по городу и отправился к мосту. Там он провел целый день, чтобы

ускорить его восстановление.

Все казенные здания на городской площади и все лучшие дома лишь незначительно пострадали от огня. Арсенал, в котором мало что оставалось, не был затронут пожаром. Пострадали все кварталы; жители бежали Вслед за армией; в городе осталось лишь несколько старух, несколько мужчин из простонародья, один

священник и один ремесленник. Они рассказали о том, что произошло в городе. От них нельзя было добыть никаких сведении об армии, даже о ее потерях. Император казался очень довольным и даже торжествующим.

— Не пройдет и месяца, — сказал он, — как мы будем в Москве; через шесть недель мы будем иметь мир.

Этот пророческий тон был, однако, убедительным не для всех, по крайней мере поскольку речь шла о мире.

Проект похода на Москву, каков бы ни был его результат, обещаемый императором с такой уверенностью, не улыбался никому. Наше отдаление от Франции и в особенности невзгоды всякого рода, которые являлись результатом новой русской тактики, сводившейся к разрушению всего, что приходилось оставлять нам, вплоть до жилищ, лишали славу всякого обаяния.

Маршал Ней[123] приготовил все для перехода через Днепр на расстоянии одного лье от города и для преследования русских, последние арьергарды которых были еще видны; перейдя реку, он направился следом за неприятелем и застал его на позициях у Валутиной горы. Генерал Боррелли, прикомандированный к штабу Неаполитанского короля, приехал, чтобы предупредить об этом императора, который не хотел верить, что готовится сопротивление и что неприятель занял эти позиции еще и иными войсками, кроме арьергарда. Но ряд донесений убедил его, что там находится более значительный корпус, и он тотчас же отправился туда и немедленно послал несколько офицеров к герцогу д'Абрантес[124] и даже к князю Невшательскому с приказом выступить, захватить русский корпус целиком и не дать ускользнуть ни одному неприятельскому солдату. Тем временем маршал Ней со свойственной ему неустрашимостью напал на неприятеля и опрокинул его, но гренадерская дивизия, прибывшая на подкрепление неприятельского арьергарда, держала позиции, несмотря на повторную атаку дивизии Юдена. Этот генерал один из наиболее выдающихся генералов нашей армии — был смертельно ранен в начале боя и прожил недолго после ранения. Это событие не помешало нашим войскам завладеть первой линией

неприятельской позиции, но неприятель получил ряд подкреплений, а герцог д'Абрантес, который должен был обойти левый фланг русских, не прибыл вовремя; в результате русские до ночи сохранили свои главные позиции. Император, осмотрев местность с господствовавшей над ней возвышенности, снова послал герцогу д'Абрантес приказ действовать с должной энергией.

— Барклай сошел с ума, — сказал он. — Этот арьергард будет взят нами, если только Жюно ударит на него.

Узнав об исходе боя еще до своего прибытия к Валутиной горе, император возвратился в Смоленск очень сердитый на герцога д'Абрантес, который не действовал на сей раз с той энергией, какую он проявил во многих других случаях. Князь Невшательский, герцоги Истрийский и Эльхингенский упрекали его в том, что движения его были недостаточно быстрыми. Со своей стороны герцог д'Абрантес, корпус которого состоял из иностранных войск, возражал, что он был вынужден двигаться сомкнутой колонной, дабы не подвергаться риску, а кроме того, движение было замедлено препятствиями, вынудившими его уклониться вправо. Как уверяли князь Невшательский и Неаполитанский король, этих препятствий в действительности не существовало. (Я напоминаю здесь разноречивые доклады, которые были сделаны императору.) При первых же пушечных выстрелах Неаполитанский король лично отправился к герцогу д'Абрантес, корпус которого стоял впереди его войск. Задумав выгодную и блестящую диверсию, он настаивал, чтобы герцог ускорил свое движение.

— Ты обижаешься, — говорил он ему, — что ты не маршал. Вот прекрасный случай. Воспользуйся им. Ты наверняка заработаешь жезл.

Поджидая, чтобы подошла его кавалерия, король стал во главе вюртембержцев, составлявших авангард герцога, чтобы поскорее начать операции, и добился от герцога обещания, что он его поддержит. Эта кавалерия, которую король повел в атаку, отличилась в бою и отбросила русских, но корпус герцога д'Абрантес не последовал за королем, и он должен был замедлить свои операции, чтобы не испортить дела, и поджидать свою кавалерию, которая все еще находилась на некотором расстоянии отсюда, хотя и шла на рысях. Легко представить себе, как был недоволен император этими донесениями, которые он заставил повторить несколько раз.

— Жюно, — повторял он с горечью, — упустил русских. Из-за него я теряю кампанию.

В первый момент он добавлял к этому упреку суровые выводы и угрозы; но, по обыкновению, воспоминание о прежней хорошей службе

Жюно взяло верх над мыслью о его теперешних ошибках, и недовольство императора осталось без последствий.

Император старался сделать из Смоленска, как он говорил, ось и надежный узловой пункт своих коммуникаций на случай, если он будет вынужден против своей воли идти дальше. День и ночь он работал с графом Дарю[125], чтобы уладить во всех подробностях административные вопросы и в частности вопрос о продовольствии и снабжении госпиталей.

По его приказу производилось много рекогносцировок в районе города и его окрестностей. Когда генерал де Шасслу явился к нему с отчетом об этих рекогносцировках, он сказал ему шутя:

— Уж не хотите ли вы устроить мне здесь новую Александрию и слопать у меня еще 50 миллионов?

Генерал де Шаслу не предлагал ничего подобного; он говорил лишь о некоторых работах по устройству оборонительного пункта на Днепре. Назавтра[126] император отдал приказ о производстве работ, как будто по-прежнему не желал идти далее Смоленска.

Отступление русских, не позволявшее предвидеть, где они остановятся, уверенность в том, что они сами подожгли свои здания в Смоленске, и весь характер этой войны, в ходе которой обе стороны взаимно губили друг друга и мы не достигали другого результата, кроме выигрыша территории, чего мы вовсе не хотели, — все это заставляло императора сильно задумываться и укрепляло его желание не идти дальше и попытаться завязать переговоры. Вот факты, которые не оставляют сомнений в том, что у него было такое намерение, о котором к тому же он открыто говорил князю Невшательскому и князю Экмюльскому. По прибытии в Смоленск император велел навести справки, не осталось ли здесь какого-нибудь легко раненного офицера или какого-нибудь более или менее видного человека из русских. Нашли только одного русского офицера[127], который прибыл сюда, кажется, в качестве парламентера и был по некоторым соображениям задержан здесь. Император принял его и после нескольких незначительных замечаний спросил, состоится ли сражение. Он добавил, что честь русских требует, чтобы они не сдавали свою страну без боя, не померявшись с нами силами хотя бы раз; после этого легко будет заключить мир — подобно двум дуэлянтам, которые примиряются после поединка. Война, сказал он, является чисто политической. Он не сердится на императора Александра, который, в свою очередь, не должен чувствовать обиды против него. Затем император сказал офицеру, что он отправит его обратно с тем условием, чтобы он

передал императору Александру то, что он ему только что сказал, а именно, что он хочет мира и лишь от императора Александра зависело объясниться до того, как война началась. Офицер обязался передать эти слова, но заметил, что не верит в возможность мира до тех пор, пока французы остаются в России.

Поручив Неаполитанскому королю преследование русских, император подчинил ему князя Экмюльского и дал ему специальное указание непрерывно теснить врага, чтобы не дать ему времени собрать свои силы для боя, так как его цель — отбросить врага подальше, дабы предоставить отдых армии. На всякий случай император приказал мне приготовить сменных лошадей, чтобы он Мог тотчас же выехать к авангарду, если случится что-нибудь важное. Согласно инструкциям, полученным Неаполитанским королем, князь Экмюльский был ему подчинен; но инструкции, данные князю Экмюльскому, обязывали его лишь поддерживать короля в случае надобности, ничем не рисковать и не завязывать генерального сражения, то есть за исключением поддержки в случае надобности инструкции делали князя Экмюльского самостоятельным. Император на словах дал ему такие же указания и объяснил, в чем заключается его цель. Кроме того, он назавтра же, а потом и на следующий день писал в том же духе маршалу, требуя от него сведений о происходящем, добавляя, что он не хочет полагаться на донесения Неаполитанского короля, который легко может увлечься, тогда как он, император, не хочет ввязываться во что-либо.

Русская армия двигалась в порядке и без большой поспешности, как люди, которые ничего не хотят упустить и в случае надобности могли бы защищать свою территорию. Из того, что их движение совершалось в порядке, король сделал вывод, что они намерены дать сражение. Ему пришло даже в голову, неизвестно почему, что Барклай занял позицию за Ужей и возводит укрепления под Дорогобужем, чтобы дать сражение.

Это сражение было предметом желаний императора на тот случай, если бы ему пришлось продвигаться дальше вперед, и, если бы мы выиграли его, оно могло бы обеспечить армии длительный отдых и зимние квартиры, не вынуждая нас заходить слишком далеко. Наше численное превосходство и привычка к успехам могли позволить нам надеяться на торжество. Неаполитанский король доложил о своих мечтах и надеждах императору. Я называю это мечтами потому, что русские не в состоянии были дать сражение, так как подкрепление под командой Милорадовича еще не прибыло к ним[128].

Надежды эти были слишком соблазнительны и слишком сходились с

планами императора, чтобы не увлечь его. Он спешно покинул Смоленск[129]. Гвардия, заранее двинутая вперед эшелонами, чтобы в случае надобности поддержать короля, получила приказ ускорить свое движение, и, таким образом, император снова пустился в авантюры — до известной степени против собственной воли. Он прибыл в Дорогобуж 25-го и оставался там 26-го.

Перчатка снова была брошена, а император был не из тех людей, которые отступают. Вид войск и все эти воинственные маневры кружили ему голову. Мудрые размышления, которым он предавался в Смоленске, уступали свое место обаянию славы, когда он попадал в эту обстановку. "Враг будет настигнут завтра же, — говорил он теперь. — Его теснят. Он не может все время ускользать, если учесть темпы преследования. На настоящий отдых можно рассчитывать только после сражения. Без этого пас все время будут беспокоить". Словом, в пользу движения вперед он находил теперь столько же разумных доводов, сколько 48 часов тому назад в пользу того, чтобы оставаться в Смоленске; мы все еще гнались за славой или, вернее, за роком, который упорно мешал императору следовать своим собственным здравым намерениям и мудрым планам. Все эти факты, которые я узнал от князя Невшательского, были потом подтверждены мне князем Экмюльским.

Император был, однако, в эти дни скучен; ему надоела война, конца которой он не видел. Он жаловался на поляков. С самого начала кампании он дал понять князю Понятовскому, что недоволен им за то, что князь просил у него помощи и жалованья для своих солдат. Корпус Понятовского давно уже не получал жалованья и испытывал много лишений. Точно так же император каждый день жаловался, что в Варшаве ничего не делают. Литва держится холодно, рекрутские наборы не удаются и от него требуют денег, как будто поляки не должны приносить никаких жертв для восстановления своей родины. В этот период резкого недовольства польскими делами он, не ограничиваясь собственными сетованиями перед своими министром и послом, велел 22 августа князю Невшательскому написать Биньону[130], с которым князь находился в переписке: "В результате всего этого правительство делает мало; организация не двигается вперед, администрация обладает скудными ресурсами, и, наконец, страна дает мало".

Сообщение об успехе, который одержал над русскими князь Шварценберг[131], оживило надежды императора.

— Это дает, — сказал он, — жизнь союзу. Эхо этой пушки прозвучит

в Петербурге, в тронном зале моего брата Александра. Это хороший пример для пруссаков. В них проснется, быть может, дух чести.

Он спросил меня, хорошо ли известен князь Шварценберг в Петербурге, связан ли он с горячими головами петербургского двора. Он приказал немедленно выдать ему вторично сумму в 500 тысяч франков на секретные расходы и поручил князю Невшательскому послать чек на эту сумму.

24-го император приказал просить в Вене о почетных наградах для этого корпуса независимо от обычного производства по службе.

В Дорогобуже император жил в большой усадьбе — нечто вроде замка, стоявшего на возвышенности. Там нашли немного муки. Это была тем более удачная находка, что неприятель ничего не оставил в Смоленске, а первых запасов продовольствия, которые мы добыли, едва хватило бы на покрытие нужд госпиталей и на текущие потребности. Несколько корпусов получили хлеб в Дорогобуже, — от этого они уже отвыкли! Там же, в Дорогобуже, были получены сообщения, подтверждающие, что Александр приехал в Москву 24 июля; первые сведения об этом и притом неполные мы получили только после нашего прибытия в Смоленск. Мы узнали теперь, что он созвал дворянство и купечество, не скрыл того положения, в котором находится государство, и запросил подкреплений у всех губернии. Московская губерния предложила ему 80 тысяч человек, а другие — в соответствующей пропорции; Малороссия выставила 18 тысяч казаков; частные лица выставили целые батальоны, эскадроны и роты с полным снаряжением. Чтобы придать этому ополчению национальный и религиозный характер, митрополит Платон вручил императору чудотворный образ св. Сергия, который император передал московскому ополчению; против французов проповедывали священный поход. Мы узнали также, что император Александр послал из Полоцка в Петербург великого князя Константина, чтобы успокоить умы и ускорить рекрутские наборы, а также для того, чтобы ничто не мешало отныне генералу Барклаю, на которого таким путем взвалили всю ответственность за события.

Хотя император Наполеон, оставив на Немане герцога Беллюнского[132], покинул Витебск с намерением остаться в Смоленске, он решил теперь двинуться вперед и послал из Дорогобужа герцогу Беллюнскому распоряжение направиться в Смоленск. Вскоре герцогу были посланы и подробные инструкции об оказании в случае надобности поддержки корпусам, которые до тех пор прикрывали наш фланг, в частности корпус маршала Сен-Сира на Двине.

После Дорогобужа армия двигалась почти одной колонной: кавалерия Неаполитанского короля, гвардия, 1-й корпус и корпус маршала Нея — по дороге, поляки — справа, вице-король — слева.

Мы находились на самой высокой русской возвышенности — на той, где берет свое начало Волга, впадающая в Каспийское море, Днепр, впадающий в Черное море, и Западная Двина, впадающая в Балтийское море. Пески после перехода через Днепр утомляли армию и артиллерию, но так как подозревали, что Барклай намерен дать сражение, и продолжали еще верить в это, войска были сконцентрированы до пределов возможного. В бою под Валутиной горой мы захватили нескольких пленных; при преследовании пленных не удалось захватить; не удалось также захватить ни одной повозки. Русские отступали в порядке и не оставляли ни одного раненого. Жители следовали за армией; деревни опустели. Несчастный город Дорогобуж, который русские оставили нам нетронутым, загорелся от костров наших бивуаков, расположенных слишком близко от жилых домов. Многие деревни в эти дни постигла та же участь. Пожар Смоленска, устроенный русскими, ожесточил наших солдат, впрочем, у нас и так было мало порядка.

27-го главная квартира переехала в маленький замок в Славково, 28-го во второй половине дня — в Рыбки; оттуда по приказу императора князь Невшательский послал письмо генералу Барклаю, воспользовавшись как предлогом отсылкой Орлова, прибывшего к нам в качестве парламентера, чтобы осведомиться о генерале Тучкове, который был захвачен в плен во время одной из схваток в Валутинском лесу[133].

Император, которому хотелось завязать переговоры, — этого он желал больше всего, — воспользовался случаем, чтобы вставить в письмо несколько любезных слов, предназначенных для императора Александра. Он старался подчеркнуть, что не питает никакой личной вражды, что эта война является всецело политической, а поэтому ничто не помешает в любой момент прийти к взаимному соглашению.

Молчание, хранимое петербургским правительством и даже русским главнокомандующим после поездки Балашева, император объяснял тем, что ему приписывают враждебность, которая якобы побудит его отвергнуть всякое предложение и всякое соглашение, не построенное на основе восстановления Польши и отторжения этой части России. Император часто говорил в этом смысле князю Невшательскому. Со мной он говорил об этом дважды.

— Александр прекрасно видит, что его генералы делают только глупости и что он губит свою страну; но он предался в руки англичан, а

лондонский кабинет подстрекает дворянство и мешает ему прийти к соглашению с нами. Его убеждают, что я хочу отнять у него все его польские провинции, что он получит мир лишь этой ценой, а он не может заключить такой мир, потому что если он уступит, то русские дворяне, которые все владеют поместьями в Польше, через год задушат его, как его отца. Напрасно он не доверится мне, так как я не хочу ему зла; пойду даже на жертвы, чтобы спасти его из затруднительного положения. Если бы не этот страх, он написал бы мне, он послал бы ко мне кого-нибудь, ибо он не заинтересован в том, чтобы продолжать эту войну.

В одном из разговоров, происходивших в Смоленске, император прибавил к этому:

— Я тоже не заинтересован в том, чтобы продолжать войну, так как поляки не в состоянии поддержать эту борьбу; наборы не осуществляются; они не делают ровно ничего ради собственного дела; ежедневно они просят денег, а в Литве из-за оккупации России у них есть только бумажные деньги. Поляки хотели бы получить Галицию; что им за беда, если я поссорюсь с Австрией? Я ожидал большего от обещанных ими преданности и усердия. Я не хочу разорять Францию ради них. Если бы Александр послал мне какое-нибудь доверенное лицо, то мы быстро пришли бы к соглашению. Никогда он не получит таких хороших условий и никогда у него не будет лучшего случая. Я придаю Польше не больше значения, чем чему-либо другому. Есть много способов уладить дело. Пусть он выскажется против Англии, и тогда все уладится. Турки заключили мир. Андреосси не сумел помешать его ратификации[134]. Бернадот забыл, что он родился французом, он вступил в союз с русскими[135] . Эта ошибочная политика будет поставлена ему в вину; из-за этого в один прекрасный день его свергнут. Неслыханная вещь: две державы, которые должны потребовать все обратно у русских, являются их союзниками как раз тогда, когда представляется прекрасный случай вновь завоевать потерянное. Никогда больше не представится такой случай. Армия, стоявшая в Финляндии, пойдет на подкрепление Витгенштейна. Армией, находившейся в Молдавии, Россия также сможет располагать, потому что турки не переходят от мира к наступательной войне с такой быстротою, чтобы нельзя было своевременно заметить их наступление. Министерство иностранных дел должно было обеспечить мне шведов и турок, но никто теперь не умеет делать политику. Мне не служат; я сам должен делать все. Франция вечно будет упрекать в этом Маре. Эта бездарность причиняет мне большой вред. Это расстраивает все. Кто мог

бы ожидать, что эти государства будут действовать против своих собственных интересов? Их политика была такой очевидной, их путь был начертан так ясно!

Я напомнил его величеству, что герцог Бассано не мог отправить Андреосси без его распоряжения, а что касается Швеции, то его требование о соблюдении континентальной системы, захват шведских кораблей и в особенности разоружение полков, отосланных затем в качестве пленных во Францию, оскорбили самолюбие этой в высшей степени гордой нации. Эти рассуждения вызвали досаду императора, который выразил ее в своих обычных словах.

— Вы ничего не смыслите в делах, вы не понимаете, — таковы были слова, положившие конец этому разговору.

Новые сведения о неприятеле побудили императора выехать вечером. 29-го мы были в Вязьме, где к его величеству явился Лористон. Император долго беседовал с ним. Назавтра, как только мы выступили, император сказал мне:

— Ну, Коленкур, так вы говорили, что ваш друг Александр не хотел воевать?

— Ваше величество получили доказательство этому, — ответил я, — в то время, когда он заключил мир с Турцией; много других событий, как мне кажется, подтвердили то, что я имел честь говорить вашему величеству.

— Лористон говорит иначе, — возразил император. — Александр может быть доволен тем, что завел дело так далеко. Его священный город сожжен; его страна находится в хорошеньком состоянии. Ему лучше было бы прийти к соглашению. Он предпочел еще раз предаться в руки англичан. Восстановят ли они ему его сожженные города? Лористон говорит, что император Александр давно уже вел переговоры с англичанами.

— Но не в мое время, государь, — ответил я, — так как он конфисковал у них 80 кораблей, часть из них продана, а часть еще находится под секвестром.

— Вас провели, господин обер-шталмейстер, — возразил император, любезности вскружили вам голову.

— Если бы мне было позволено поставить под сомнение то, что утверждает ваше величество, то я вновь сказал бы, что, по моему убеждению, император Александр начал переговоры с англичанами лишь после того, как прозвучал наш первый пушечный выстрел. Дата мира с турками, дата соглашения с Англией, действительная конфискация

английских судов, в которой ваше величество хотите сомневаться, — все эти факты выяснятся со временем и послужат в мое оправдание. Не пройдет и шести месяцев как ваше величество воздадите должное моей искренности.

Император воспользовался этим случаем, чтобы вновь заговорить о Турции и о Швеции. Он говорил с раздражением против герцога Бассано, которого считал виновным в том, что эти державы не сотрудничают с нами. Он соглашался, что дата заключения мира между Россией и Турцией может говорить в пользу моих утверждений.

— Но, — прибавил он с иронией, — ваш друг Александр не делается от этого в меньшей степени византийцем и фальшивым человеком. Впрочем, я на него не сержусь. Мне даже обидно за него, что его страна так страдает. Когда можно будет поговорить друг с другом, мы быстро придем к соглашению, так как я веду против пего только политическую войну, и есть много способов уладить дело так, чтобы русские не остались слишком недовольны и не убили его, как его отца.

Неприятель не оставлял за собою ни одного человека, разрушал свои склады, сжигал свои казенные здания и даже большие частные дома. Многие думали, что пожары в городах, местечках, в которые мы входили, были результатом беспорядков как в нашем авангарде, так и в казачьем арьергарде; я первый, признаюсь, разделял это мнение, не понимая, какой был русским интерес уничтожать все здания гражданских учреждений и даже частные дома, которые не могли сослужить нам большую службу. Император, которому многие говорили об этих пожарах, приказал моему брату взять на следующий день большой гвардейский отряд, поближе подойти к неприятелю и вступить в Вязьму, когда там еще будет неприятельский арьергард, чтобы лично установить, что именно происходит и действительно ли русские поджигают. Он дал ему указание поддерживать порядок.

Неприятельский арьергард занимал свои позиции, но после довольно оживленного боя эвакуировал их. Отряд моего брата вступил в Вязьму вперемежку с егерями. Город уже горел в нескольких пунктах. Брат мой видел, как казаки зажигают горючие материалы, и нашел эти материалы в различных местах, где пожар начался до того, как из города ушли последние казаки. Он пустил в ход наши войска, чтобы локализовать пожар. Все усердно взялись за дело, и удалось спасти несколько домов, зерно, муку, водку. В первый момент все это было спасено от разграбления. Но ненадолго. На основе показаний, полученных от некоторых жителей города, оставшихся в своих домах, в частности от

одного в высшей степени толкового пекаря-подмастерья, мы убедились, что все меры для поджога и распространения пожара были приняты казачьим отрядом арьергарда задолго до нашего прихода, и поджог был сделан, как только показались наши войска. Действительно, в разных домах, особенно в тех, где имелось продовольствие, оказались горючие материалы, методически приготовленные и разложенные для поджога. Словом, мы получили доказательство того, что в данном случае имело место выполнение мер, предписанных свыше и подготовленных заранее, — доказательство, подобное тем, какие мы уже имели раньше и получали впоследствии.

Эти факты, о которых сообщали уже раньше некоторые жители других городов и местечек, но которым мы отказывались верить, подтверждались затем на каждом шагу. Все были поражены, и император в такой же мере, как и армия, хотя он и делал вид, что смеется над этим новым типом войны. Он часто в беседе с нами шутил над людьми, которые, по его выражению, сжигали свои дома, чтобы не дать нам переночевать там одну ночь. Он хотел предотвратить порождаемые этим страшным приемом борьбы серьезные опасения о последствиях и продолжительности войны, во время которой неприятель с самого начала шел на такие жертвы. Император, несомненно, размышлял об этом в том же духе, как и мы, но не делал вывода из своих размышлений.

Несмотря на эти пожары, головные части после Дорогобужа в изобилии находили продовольствие, водку и даже вино. Печальная картина ужасного разрушения в меньшей степени действовала на людей, которым удавалось наполнить свой желудок и у которых были хорошо упакованные ранцы и хорошо снабженные маркитантские лавочки. Мы испытывали столько нужд, столько лишений, мы были так истомлены, Россия показалась нам такой неприступной страной, что термометр чувств, Мнений и размышлений очень многих людей надо было искать в их желудке.

В Польше мы испытывали недостаток во всем; в Витебске с большими трудами и заботами удавалось раздобыть кое-какую пищу попроще; в Смоленске, когда мы рыскали по деревням, мы находили нескошенный урожай, зерно, муку, фураж, даже скот, но ни капли водки, ни капли вина. После Дорогобужа все было в огне, но в складах и погребах были прекрасные, иногда, пожалуй, даже роскошные запасы. В домах быстро находили многочисленные тайники, где было спрятано в изобилии все что угодно. Солдаты занимались мародерством; нельзя было этому противодействовать, так как им не раздавали пайков, да и не могли

раздавать, ибо жили изо дня в день и совершали переходы без обозов. Большинство солдат устраивалось хорошо, пожалуй, даже очень хорошо. Роскошное убранство домов, их обширные размеры и внутреннее расположение все говорило о том, что близко находится большая столица. И солдаты снова сделались неутомимыми.

Неаполитанский король, командовавший авангардом, часто делал дневные переходы в 10 и 12 лье. Люди не покидали седла с трех часов утра до 10 часов вечера. Солнце, почти не сходившее с неба, заставляло императора забывать, что сутки имеют только 24 часа. Авангард был подкреплен карабинерами и кирасирами; лошади, как и люди, были изнурены; мы теряли очень много лошадей; дороги были покрыты конскими трупами, но император каждый день, каждый миг лелеял мечту настигнуть врага. Любою ценою он хотел добыть пленных; это было единственным средством получить какие-либо сведения о русской армии, так как их нельзя было получить через шпионов, сразу переставших приносить нам какую-либо пользу, как только мы очутились в России. Перспектива кнута и Сибири замораживала пыл наиболее искусных и наиболее бесстрашных из них; к этому присоединялась действительная трудность проникновения в страну, а в особенности в армию. Сведения получались только через Вильно. Прямым путем не доходило ничего. Наши переходы были слишком большими и быстрыми, а наша слишком истомленная кавалерия не могла высылать разведочные отряды и даже фланговые патрули. Таким образом, император чаще всего не знал, что происходит в двух лье от него. Но какую бы цену ни придавали захвату пленных, захватить их не удавалось. Сторожевое охранение у казаков было лучше, чем у нас; их лошади, пользовавшиеся лучшим уходом, чем наши, оказывались более выносливыми при атаке, казаки нападали только при удобном случае и никогда не ввязывались в бой.

К концу дня наши лошади уставали обычно до такой степени, что самое ничтожное столкновение стоило нам нескольких храбрецов, так как их лошади отставали. Когда наши эскадроны отходили, то можно было наблюдать, как солдаты спешиваются в разгаре схватки и тянут своих лошадей за собой, а иные вынуждены даже покинуть лошадей и спасаться пешим порядком.

Князь Невшательский, графы Дюронель и де Лобо, а также некоторые другие доблестные люди, находившиеся в окружении императора, постоянно рисовали перед ним картину происходящего и уговаривали его беречь остающиеся средства, раз уж он хотел, по его словам, во что бы то ни стало добиться сражения или идти на Москву. Император слушал нас,

но, одержимый надеждой получить завтра то, чего он не мог добиться сегодня, помимо своей воли увлекался все дальше и делал 12 лье, хотя сам имел в виду сделать только 5. Как и всех, его удивляло это отступление 100-тысячной армии, при котором не оставалось ни одного отставшего, ни одной повозки. На 10 лье кругом нельзя было найти какую-нибудь лошадь для проводника. Нам приходилось сажать проводников на наших лошадей; часто даже не удавалось найти человека, который служил бы проводником императору. Бывало, что один и тот же проводник вел нас три-четыре дня подряд и в конце концов оказывался в районе, который он знал не лучше нас. Авангард был в таком же положении.

В то время как мы следовали за русской армией, не будучи в состоянии раздобыть хотя бы самые ничтожные сведения о ее передвижениях, там происходила большая перемена. Генерал Кутузов[136], который под влиянием русского дворянства был назначен главнокомандующим, 29-го прибыл к армии в Царево-Займище, между Гжатском и Вязьмой, а император Наполеон еще не знал об этом.

Подкрепления прибывали в русскую армию со всех сторон, и Милорадович как раз в это время присоединился к главным силам. В Петербурге, как и в Москве, раздавались воинственные клики и призывы к истреблению врага, а император Наполеон лелеял мечту, что его мирные слова приведут к переговорам. Мы угрожали древней столице; священный город был сожжен, и французы заняли его; мы были у врат Гжатска, а император Александр, в свое время пославший Балашева в Вильно, не отвечал на предварительные шаги, предпринятые нами из Смоленска.

Перемена в позиции и в политике петербургского правительства должна была бы открыть императору глаза. Гордость побежденных по отношению к победителю должна была бы раскрыть перед ним .опасности этого нашествия, но рок, в который верил император Наполеон, преследовал его; он думал, что его звезда воссияет новой славой, когда он заставит ее взойти над этой полярной землей, но ей пришлось, в свою очередь, уплатить жестокому климату ту дань, которую до сих пор она налагала на славу тех же самых русских и всех других народов. Армия, как я уже говорил, была очень утомлена; кавалерия и артиллерия находились в самом плохом состоянии, а численность легких войск до такой степени сократилась, что для подкрепления авангарда надо было пустить в ход карабинеров и кирасиров.

31-го главная квартира расположилась в помещичьем доме в Величеве; там же поместился Неаполитанский король. Тем временем неприятель отступал от этапа к этапу, пользуясь для прикрытия своего

движения только казаками или иногда одним-двумя драгунскими полками. Вся наша кавалерия и часть пехоты днем и ночью были в боевой готовности и всегда подвигались форсированным маршем в надежде настигнуть врага, но нагнать его не удавалось. Армия могла питаться лишь тем, что добывали мародеры, организованные в целые отряды; казаки и крестьяне ежедневно убивали много наших людей, которые отваживались отправиться на поиски. Чем больше мы продвигались вперед, тем более полным было бегство населения. Не оставались даже старики и инвалиды. Дело доходило до того, что даже авангард не мог раздобыть себе проводника, который был бы в состоянии назвать местность и дать какие-нибудь сведения о соответствующем районе. Возникали настоящая путаница и затруднения всякого рода.

Наконец, в двух лье перед Гжатском авангард захватил в плен казака, под которым только что была убита лошадь, и вскоре затем негра, заявившего, что он повар атамана Платова[137]. Негр был захвачен при выходе из деревни, где он занимался мародерством. Неаполитанский король отослал обоих пленников к императору, который задал им множество вопросов. Их ответы показались мне довольно пикантными, и я тотчас же записал их.

Негр сообщил подробности об образе жизни своего генерала, которому он всегда прислуживал за столом. При этом он слышал разные разговоры и рассказы о соперничестве между некоторыми генералами, но он не знал ничего насчет передвижения армии. Каждую секунду с самыми забавными гримасами и ужимками он спрашивал, с кем именно он говорит, перед кем он находится. Напрасно ему повторяли, что его допрашивает император; он не хотел верить, что это был император Наполеон.

Когда ему снова подтвердили, что он находился перед императором, то он поклонился, потом несколько раз простерся ниц и принялся прыгать, танцевать, петь и выделывать самые невообразимые гримасы. Это негр уверил Неаполитанского короля, у которого не было проводника, что он знает весь окрестный район, поэтому его величество послал за ним, и его отправили к императору.

Император велел подойти казаку, которого держали в стороне, пока допрашивали негра. Это был брюнет пяти футов ростом, с живыми глазами, открытым и неглупым лицом, серьезный на вид; ему можно было дать от 30 до 36 лет; казалось, он был очень огорчен тем, что попал в плен, а в особенности тем, что потерял свою лошадь. Император приказал мне дать ему лошадь из императорской конюшни.

По словам казака, русские открыто жаловались на Барклая, который,

как они говорили, помешал им драться под Вильно и под Смоленском, заперев их в стенах города. Два дня назад в армию прибыл Кутузов, чтобы сменить Барклая. Он не видел его, но один молодой штабной офицер приезжал вчера, чтобы поговорить с казачьим офицером, его командиром, и сообщил ему эту новость, добавив, что дворянство принудило Александра произвести эту перемену, которой армия была очень довольна. Это известие показалось императору весьма правдоподобным и доставило ему большое удовольствие; он повторял его всем.

Медлительный характер Барклая изводил его. Это отступление, при котором ничего не оставалось, несмотря на невероятную энергию преследования, не давало надежды добиться от такого противника желанных результатов.

— Эта система, — говорил иногда император, — даст мне Москву, но хорошее сражение еще раньше положило бы конец войне, и мы имели бы мир, так как в конце концов придется ведь этим кончить.

Узнав о прибытии Кутузова, он тотчас же с довольным видом сделал вывод, что Кутузов не мог приехать для того, чтобы продолжать отступление; он, наверное, даст нам бой, проиграет его и сдаст Москву, потому что находится слишком близко к этой столице, чтобы спасти ее; он говорил, что благодарен императору Александру за эту перемену в настоящий момент, так как она пришлась как нельзя более кстати. Он расхваливал ум Кутузова, говорил, что с ослабленной, деморализованной армией ему не остановить похода императора на Москву. Кутузов даст сражение, чтобы угодить дворянству, а через две недели император Александр окажется без столицы и без армии; эта армия действительно будет иметь честь не уступать свою древнюю столицу без боя; вероятно, именно этого хотел император Александр, соглашаясь на перемену; он сможет теперь заключить мир, избежав упреков и порицаний со стороны русских вельмож, ставленником которых является Кутузов, и он сможет теперь возложить на Кутузова ответственность за последствия тех неудач, которые он потерпит; несомненно, такова была его цель, когда он пошел на уступку своему дворянству.

Император продолжал расспрашивать казака, все ответы которого и по форме и по содержанию были очень умны для простого солдата. Вот что он говорил:

— Если бы русские солдаты Александра, а в особенности его генералы, походили на казаков, то вы с французами не оказались бы в России. Если бы Наполеон в своей армии имел казаков, то он давно уже был бы китайским императором. Французы дерутся хорошо, по

неосторожны. Они любят грабить; чтобы рыскать по домам, они удаляются от своей армии, а казаки пользуются этим, чтобы каждый день захватывать в плен много французов, и отнимают у них добычу. Не будь казаков, французы были бы уже в Москве, в Петербурге и даже в Казани. Именно казаки все время задерживают их. Казакам нравится Неаполитанский король, который носит большой султан, потому что он храбр и всегда первым кидается в бой. Они дали себе слово не убивать его, но хотят захватить в плен.

Он признал, что в Вязьме казаки приготовили все, что нужно, для поджога моста, складов и различных домов. Он сказал, что таков был приказ их начальника.

Когда мы вступили в Гжатск, часть города была сожжена и еще дымилась. Но в Гжатске мы взялись за дело более своевременно, чем в Вязьме. Мы постарались остановить огонь. Император приказал произвести усиленную разведку во всех окрестностях города. Он посетил госпиталь, расположенный у выхода из города; госпиталь не был сожжен. Император торопил всех, чтобы ускорить восстановление мостов и прохождение войск. Возвратился он очень поздно. В Гжатске оставалось еще меньше жителей, чем в Вязьме. Дома на той улице, где остановился император, и на улицах, расположенных по другую сторону реки, которые не были подожжены, были переполнены продовольствием всякого рода; там оказалась прекрасная мука, много яиц и масла, которого мы давно уже были лишены. Император получил определенные и подробные сведения о русской армии. Кутузов прибыл к ней 29-го. На пути к армии и потом, при отступлении, он проезжал через Гжатск. Милорадович, как говорили, присоединился к армии с 50 тысячами человек и большим количеством орудий. Император исчислял это подкрепление в 30 тысяч человек[138]. Русские офицеры были, по-видимому, очень довольны прибытием Кутузова и не сомневались, что он вскоре даст большое сражение. Армия продолжала свое отступление для того, чтобы соединиться с другими подкреплениями, которые подходили к ней из Москвы.

На основании этих сведений, которые подтверждались всеми данными, император не сомневался больше, что мы приближаемся к моменту, когда состоится желанное для него сражение. Он с удовольствием рассказывал эти сведения, прибавляя к ним следующие соображения:

— Новый главнокомандующий не может продолжать эту систему отступления, которую осуждает общественное мнение России. Он поставлен во главе армии с условием. сражаться. Та система войны,

которой они придерживались до сих пор, должна, следовательно, измениться.

Все эти соображения побудили императора привести и свои войска в боевую готовность. Для этого он оставался в Гжатске 2 и 3-го, чтобы сконцентрировать все силы и дать немного отдыха кавалерии и артиллерии. Здесь стало достоверно известно, что генерал Латур-Мобур, о котором император очень беспокоился, прибыл со своей дивизией в Ермаково 1 сентября.

Сознавая необходимость привести в порядок обозы, загромождавшие дороги, и дать возможность артиллерии выехать вперед, когда начнется сражение, которое, по его мнению, предстояло в ближайшие дни, император отдал приказ сжигать все экипажи, которые оказались бы впереди артиллерийских парков.

— Я прикажу сжечь мой собственный экипаж, — сказал он мне на следующий день, — если он окажется не на своем месте.

Передвигаясь верхом, император встретил много экипажей, которые ехали отдельно от своих колонн, рядом с артиллерийским обозом. Он приказал егерям из своего конвоя задержать их, потом сошел с лошади и велел сжечь первый из них. За экипаж вступились. Де Нарбонн обратил его внимание на то, что из-за этого может лишиться всего необходимого офицер, которому, быть может, оторвет завтра ногу.

— Мне обойдется гораздо дороже, — ответил император, — если я окажусь завтра без артиллерии.

Пришлось разыскать солому, дрова и развести костер. Тем временем коляску разгрузили. Следующая была осуждена на такую же казнь. Когда огонь охватил их, император поскакал прочь галопом, и я думаю, что кучера спасли из огня свои экипажи, хотя и обгоревшие немного.

— Я хотел бы, чтобы это был ваш экипаж, — сказал император князю Невшательскому, — это произвело бы больше впечатления, и вы этого вполне заслуживаете, потому что я все время встречаю ваш экипаж.

— Позади экипажа вашего величества — ответил князь.

— Это — вина Коленкура, — возразил император. — Впрочем, я обещал ему сжечь и мой экипаж, если я его встречу. Так что не сердитесь на мою угрозу, потому что я окажу своему экипажу не больше милости, чем другим. Я здесь главнокомандующий, и я должен подавать пример.

4-го главная квартира была на бивуаке у Прокофьева, а 5 и 6-го — у Бородина. Де Боссе[139] прибыл туда 6-го во второй половине дня. Он привез письма императрицы, которую провожал в Прагу из Дрездена, и

прекрасный портрет Римского короля, написанный Жераром[140]. Когда император вернулся с разведки, которую он производил для выяснения неприятельских постов, он нашел этот портрет в своей палатке. Одновременно приехал адъютант герцога Рагузского с сообщениями о неудачах в Испании[141]. Эстафета из Парижа уже несколько дней тому назад принесла императору первое сообщение об этом, но русские дела в данный момент были слишком серьезны, для того чтобы его заботили неудачи герцога Рагузского в Испании.

— Англичане заняты там. Они не могут покинуть Испанию, чтобы схватиться со мной во Франции или в Германии. Вот что важно для меня, — сказал он мне на следующий день.

Император оставался лишь один момент в своей палатке, находившейся, по обыкновению, в центре гвардейского каре, а затем поспешил туда, где наше правое крыло атаковало два редута, поддерживающих левый фланг неприятеля. Эта атака была проведена с такой силой, что мы овладели редутами меньше чем в течение часа[142]. Войска получили приказ оставаться в боевой позиции, а пехота — сохранять каре. Хорошо, что император проявил эту предусмотрительность, так как через полчаса после наступления вечерней темноты, когда бой давно уже был окончен, русские кирасиры, поддержанные пехотой, энергично атаковали наше каре, направляясь к этим редутам; они, бесспорно, надеялись в сумятице ночного сражения принудить нас эвакуировать редуты и отбить их обратно[143] . Первое каре, захваченное врасплох, потеряло несколько человек и орудий, но остальные, предупрежденные пальбою первого каре, держались твердо. Русские кирасиры потерпели большой урон от нашего артиллерийского и ружейного огня, а к тому же их атака была плохо поддержана, и они должны были отступить и отказаться от обладания этими редутами, которые служили ключом к русским позициям. Наши войска выиграли даже некоторое пространство, преследуя кирасиров в темноте, и мы утвердились на опушке леса, которую для врага было бы весьма важно сохранить за собой хотя бы для того, чтобы задержать наши атаки и следить за нашими передвижениями.

Император в течение ночи объехал наши бивуаки, побывал на взятых редутах, несколько раз проехал по всей линии, для того чтобы по собственному впечатлению составить суждение о позициях неприятеля, о его численности в каждом пункте. В то же самое время он побывал и в своих воинских частях, как он это обыкновенно делал накануне сражения.

Еще во второй половине дня он побывал в различных корпусах, частично определил свою окончательную диспозицию и отдал распоряжения, но не был уверен, придется ли ему начать атаку завтра утром, до такой степени он боялся, как бы неприятель снова не ускользнул от него.

С рассветом[144] император вновь побывал на главном редуте, и под прикрытием леса, находившегося впереди редута и окончательно захваченного нами в ночном бою, он вместе со мною и с князем Невшательским очень близко подъехал к неприятельским позициям. Он объехал затем всю линию и особенно подробно осмотрел центр и левый фланг, которые он обследовал вплоть до сторожевых постов. Потом еще раз вернулся к центру вместе с вице-королем, чтобы объяснить ему все диспозиции на месте. После этого он отправился на крайний правый фланг, которым командовал князь Понятовский, добившийся накануне со своими поляками значительного успеха и выигравший большое пространство[145]. Сопротивление русских в этом пункте было не совсем таким, каким оно должно было бы быть и каким оно было в других местах. Император колебался, произвести ли глубокий маневр правым флангом, чтобы обойти позицию неприятеля и частично оставить в стороне его редуты, или же занять такие позиции — это облегчалось взятием двух редутов, — чтобы иметь возможность атаковать неприятельский центр с фронта и с тыла, начав атаку правым крылом. Он опасался, что побудит русских к новому отступлению, если примет первый вариант, который угрожал бы их тылу, тем паче что потеря редутов, отнятых у неприятеля накануне, сильно ослабила уже его позицию. Эти соображения склонили императора к принятию второго варианта.

Видя, что неприятель держится спокойно на своих позициях, император решил предоставить этот день армии для отдыха и для того, чтобы успели подтянуться артиллерийские резервы и все другие немного отставшие части. Он думал также — и это последнее соображение окончательно определило его решение, — что неприятель, который с наступлением ночи пытался отбить редуты, столь необходимые для поддержки своего левого фланга, днем постарается вновь захватить эту позицию или по крайней мере ту территорию, которую он уступил полякам. Император надеялся, что таким путем завяжется бой, который, по его мнению, должен дать ему весьма выгодные результаты, но с обеих сторон день прошел во взаимном наблюдении, если не считать поляков, которые вновь выиграли небольшое пространство, что дало весьма выгодную исходную позицию для завтрашней атаки на неприятельском

фланге. Видя, что неприятель не двинулся с места, император счел, что он возводит новые укрепления взамен потерянных вчера редутов. Около трех часов дня был даже момент, когда думали, что неприятель отходит, и император, который все время был начеку, уже готов был отдать приказ об атаке, но, произведя наблюдения с более близких пунктов, которые позволяли правильно судить о передвижениях русских, мы удостоверились, что они сохраняют прежние позиции. Вечером император возвратился в свою палатку.

7-го числа еще до рассвета император побывал на редуте на правом фланге, а затем вместе с князем Экмюльским, Бертье и со мною поехал на опушку леса, находившегося впереди редута. Как только рассвело, войскам прочли прокламацию императора, краткую и энергичную, как все, что он писал в подобных случаях накануне больших событий.

Поляки, Неаполитанский король со своей кавалерией, стоявшей на левом крыле поляков, а также войска князя Экмюльского выступили еще до рассвета. Их атака была стремительной, но оборона была упорной. Князь Багратион, стоявший против них, защищался с силой и отвагой, но наши солдаты были полны такого пыла, что ничто не в состоянии было их остановить. Генерал Компан, раненный при первых атаках, был заменен генералом Раппом, которого вскоре постигла такая же судьба, когда он шел во главе тех же самых храбрецов. Замена раненых или убитых генералов происходила без малейшего шума, и передвижения войск не испытывали ни малейшей задержки, даже когда был ранен князь Экмюльский[146].

Маршал Ней со своей обычной отвагой ударил, как молния, по выдвинутым корпусам неприятельского центра и опрокинул их. В семь часов в этом пункте раздавалась такая канонада и ружейная пальба, какие редко можно услышать. Тем временем Неаполитанский король поддержал со своей кавалерией стремительный натиск пехоты правого фланга и пехоты князя Экмюльского, и оба укрепления, оставшиеся в руках русских на их левом фланге, были взяты.

В восемь часов императору донесли, что дивизионный генерал Монбрен, командовавший первым кавалерийским корпусом, состоявшим из трех дивизий, убит. Император вызвал моего брата, которого послал к производившему атаку правому флангу; через несколько минут мой брат возвратился, чтобы доложить ему о взятии обоих редутов и о достигнутых после этого успехах.

— Отправляйтесь, — сказал ему император, — и берите на себя командование 1-м кавалерийским корпусом. Действуйте, как при Арсобиспо.

Князь Невшательский дал ему письменный приказ, для того чтобы дивизионные генералы подчинились ему. Брат пожал мне руку и сказал:

— Дело такое жаркое, что я, наверное, тебя больше не увижу. Мы добьемся торжества, или же я буду убит.

Способствовали ли возникновению этого печального предчувствия его обычные недуги, которые часто заставляли его желать смерти, или же оно было порождено ожесточенным характером боя? Не знаю, но я не мог забыть это трагическое прощанье вплоть до того самого момента, когда роковое событие свершилось и я узнал о несчастье, которое предчувствовал заранее.

Маршал Ней, подкрепленный частью корпуса вице-короля, поддерживал правый фланг, и к 10 часам неприятель потерял всю территорию, находившуюся впереди большого редута в центре. Он потерял, следовательно, позицию своего левого фланга и деревню[147], на которую опирался центр, но его резервы подходили. Один момент успехи в районе нашего правого крыла сделались переменными; это крыло должно было даже оттянуть свои передовые части к центру боевого расположения и отойти к захваченным укреплениям.

Страшная артиллерийская канонада изрыгала смерть повсюду; русская пехота делала новые усилия, чтобы отбить потерянную территорию. Большой редут обстреливал наш центр адским огнем. Маршал Ней и вице-король тщетно вели комбинированные атаки для захвата этого редута; атаки были отражены. Двинувшись вторично в атаку, они достигли не большей удачи, и Ней даже несколько отступил. Часть гвардии, следовавшая эшелонами за движениями корпуса, связывающего центр с правым флангом, заняла позиции с таким расчетом, чтобы поддержать его в случае надобности, если усилилось бы отступательное движение, к которому он один момент был принужден. Но наша артиллерия остановила наступательный порыв неприятеля, который тщетно в течение долгого времени старался удержаться на месте под огнем убийственнейшей канонады. В конце концов он должен был уступить нам территорию, которую мы захватили у него при предыдущих атаках.

Император в течение всего этого времени наблюдал за операциями центра. Он подъехал к последнему из взятых редутов, и всюду он давал приказ ограничиться пока удержанием занимаемых позиций, чтобы, как он говорил, дать артиллерии время разбить оставшиеся неподвижными массы неприятельской пехоты. Было около 11 часов. Незадолго до этого к нему доставили генерал-лейтенанта Белычева[148], захваченного вместе с 15

другими пленными при взятии редута. Офицер, приведший его, сказал императору, что он доблестно оборонялся. Император принял его хорошо. Видя, что он без шпаги, император выразил неудовольствие тем, что его обезоружили.

— Я слишком почитаю, сударь, отвагу, потерпевшую неудачу, — сказал он, чтобы лишить себя удовольствия возвратить вам оружие храбреца.

И он дал ему свою шпагу. Затем он задал ему несколько вопросов и приказал расспросить других пленных, а также распорядился, чтобы позаботились обо всех взятых в плен и чтобы как к генералу, так и ко всем остальным отнеслись со всем подобающим уважением.

Этот трофей доставил большое удовольствие императору, но ему казалось непонятным, как могло случиться, что захвачено так мало пленных, когда редуты были взяты с такой стремительностью и окружены были со всех сторон кавалерией Неаполитанского короля. Он выразил неудовольствие по этому поводу и задал в связи

Его величество немедленно поскакал галопом к головным рядам кавалерии, чтобы найти там Неаполитанского короля и осуществить те маневры, которые он считал необходимыми для закрепления и развития этого успеха. Маршал Ней и вице-король поддержали решающий маневр генерала Коленкура. Неприятельская атака с целью отбить большой редут осталась тщетной, и русские должны были отступить на всех пунктах.

У них оставался еще один редут и небольшое укрепление, прикрывавшее Московскую дорогу; по-видимому, они хотели держаться там. Редкий лесок прикрывал их переход и скрывал от нас их движения в этом месте. Император надеялся, что русские ускорят свое отступление, и рассчитывал бросить на них свою кавалерию, чтобы попытаться разорвать линию неприятельских войск. Части молодой гвардии и поляки двигались уже, чтобы подойти к укреплениям, оставшимся в руках русских. Император, чтобы лучше рассмотреть их передвижения, отправился вперед и прошел вплоть до самой линии стрелков. Пули свистели вокруг него; свою свиту он оставил позади. Заметив, что я нахожусь возле него, император сказал мне, чтобы я удалился.

— Дело кончено, — сказал он, — ждите меня в главной квартире.

Я поблагодарил и остался возле него. Император находился в этот момент в большой опасности, так как пальба сделалась настолько жаркой, что Неаполитанский король и несколько генералов примчались уговаривать и умолять императора удалиться.

Император отправился тогда к подходившим колоннам. За ним

следовала старая гвардия; карабинеры и кавалерия шли эшелонами. Император, по-видимому, решил захватить последние неприятельские укрепления, но князь Невшательский и Неаполитанский король указали ему, что эти войска не имеют командующего, что почти все дивизии и многие полки также лишились своих командиров, которые были убиты или ранены; численность кавалерийских и пехотных полков, как может видеть император, весьма сильно уменьшилась; время уже позднее; неприятель действительно отступает, но в таком порядке, так маневрирует и отстаивает позицию с такой отвагой, хотя наша артиллерия и сокрушает его войсковые массы, что нельзя надеяться на успех, если не пустить в атаку старую гвардию; при таком положении вещей успех, достигнутый этой ценой, был бы неудачей, а неуспех был бы такой потерей, которая зачеркнула бы выигрыш сражения; наконец, они обратили внимание императора на то, что не следует рисковать единственным корпусом, который еще остается нетронутым, и надо приберечь его для других случаев. Император колебался. Он снова выехал вперед, чтобы самому наблюдать за движениями неприятеля.

Неаполитанский король и князь Невшательский подъехали с противоположных сторон к этим редутам и присоединились к императору, который удостоверился, что русские занимают позиции и что многие корпуса не только не отступили, но сосредоточиваются вместе и, по всей видимости, собираются прикрывать отступление остальных войск. Все следовавшие одно за другим донесения говорили, что наши потери весьма значительны. Император принял решение. Он отменил приказ об атаке и ограничился распоряжением поддержать корпуса, еще ведущие бой, в случае, если бы неприятель попытался что-нибудь сделать, что было маловероятно, ибо он также понес громаднейшие потери. Сражение закончилось только с наступлением ночи. Обе стороны были так утомлены, что на многих пунктах стрельба прекратилась без команды. Бойцы ограничивались тем, что наблюдали друг за другом. Ночью император перенес свою ставку в тот пункт, где он остановился в начале сражения, — перед редутами.

Еще никогда мы не теряли в одном сражении столько генералов и офицеров. Успех оспаривался с таким упорством и огонь был такой убийственный, что генералы, как и офицеры, должны были платить своей жизнью, чтобы обеспечить исход атак. И днем во время сражения, и ночью для раненых делали все, что могли, но большинство жилых помещений вблизи поля битвы загорелось во время боя, и поэтому многие перевязочные пункты провели ночь под открытым небом. Пленных было

мало. Русские проявили большую отвагу; укрепления и территория, которые они вынуждены были уступить нам, эвакуировались в порядке. Их ряды не приходили в расстройство; наша артиллерия громила их, кавалерия рубила, пехота брала в штыки, но неприятельские массы трудно было сдвинуть с места; они храбро встречали смерть и лишь медленно уступали нашим отважным атакам. Еще не было случая, чтобы неприятельские позиции подвергались таким яростным и таким планомерным атакам и чтобы их отстаивали с таким упорством. Император много раз повторял, что он не может понять, каким образом редуты и позиции, которые были захвачены с такой отвагой и которые мы так упорно защищали, дали нам лишь небольшое число пленных. Он много раз спрашивал у офицеров, прибывших с донесениями, где пленные, которых должны были взять. Он посылал даже в соответствующие пункты удостовериться, не были ли взяты еще другие пленные. Эти успехи без пленных, без трофеев не удовлетворяли его. Несколько раз во время сражения он говорил князю Невшательскому, а также и мне:

— Русские дают убивать себя, как автоматы; взять их нельзя. Наши дела не подвигаются. Это цитадели, которые надо разрушать пушками.

Ночью было явно заметно, что неприятель начал отступление: армии был отдан приказ двигаться следом за ним. Назавтра[149] днем можно было обнаружить уже только казаков и притом лишь в двух лье от поля битвы. Неприятель унес подавляющее большинство своих раненых, и нам достались только те пленные, о которых я уже говорил, 12 орудий редута, взятого моим несчастным братом, и три или четыре других, взятых при первых атаках.

С утра император объехал все поле сражения. Он приказал заботливо подобрать и перенести на перевязочные пункты всех раненых, как французов, так и русских. Никогда еще земля не была в такой мере усеяна трупами. На возвышенности за деревней, которая находилась в центре атаки, земля была покрыта трупами солдат Литовского и Измайловского гвардейских полков, на которых обрушился удар нашей артиллерии. Император тщательно обследовал все уголки поля сражения, позиции каждого корпуса, передвижения всех корпусов и те затруднения, которые им приходилось преодолевать. Он приказал подробно доложить ему обо всем, что происходило, хвалил, ободрял и был с обычным энтузиазмом встречен войсками.

Не могу не рассказать об одном факте, который показывает, чего стоила эта кровавая битва французской армии. Подъехав ко второму редуту, который только что был взят, император нашел там 60 — 80

человек пехоты с четырьмя или пятью офицерами, которые продолжали стоять в боевом порядке перед редутом согласно приказу, полученному от начальства. Император, удивленный тем, что эта часть оставалась здесь, тогда как все другие уже прошли дальше, спросил офицера, командовавшего ею, зачем они здесь.

— Мне приказано здесь оставаться, — ответил он.

— Присоединитесь к вашему полку, — сказал ему император.

— Он здесь, — ответил офицер, — указывая на вали и рвы редута.

Император, не понимая, что он хочет сказать, повторил:

— Я спрашиваю, где ваш полк. Присоединитесь к нему.

— Он здесь, — ответил офицер, снова указывая туда же, как бы раздосадованный тем, что император не понимает его.

Молодой офицер, стоявший возле, выдвинулся тогда вперед и объяснил императору, что полк, которому удалось взять редут лишь при второй атаке, ринулся туда с такой стремительностью и был встречен таким картечным и ружейным огнем, что от двух батальонов остался только этот отряд, а остальные, как он может видеть, выведены из строя. В самом деле, храбрецы, начиная с полковника, лежали все вокруг редута, на парапете и внутри редута, куда они проникли при первой атаке, но где не смогли удержаться.

Император подробно обследовал все укрепления, возведенные русскими. Не могу выразить, что я испытывал, проходя по этому месту, орошенному кровью моего несчастного брата. Если бы почести, возданные всей армией храбрецу, могли меня утешить, то я должен был бы почувствовать облегчение.

По окончании этой рекогносцировки император галопом направился к авангарду. Согласно донесениям, получавшимся с утра от Неаполитанского короля, он видел только казаков. Было подобрано весьма незначительное число отставших. Неприятель не оставил ни одной повозки.

Король рассчитывал пройти через Можайск; он убеждал императора расположить там к вечеру свою главную квартиру, но когда он прибыл к городу, то оказалось, что неприятель держится там твердо и располагает пехотой и многочисленной кавалерией. Мы отправились поздно. День клонился уже к вечеру. Так как мы не могли произвести разведку позиции, то пришлось остановиться. Император устроился в деревне под Можайском; ночью неприятель эвакуировал город. Наши войска вступили в Можайск на следующий день на рассвете[150] . Император прибыл туда к полудню. Он был очень озабочен. В этот момент, когда дела в России,

несмотря на выигранное сражение, отнюдь нельзя было назвать удовлетворительными, ему невольно приходили в голову испанские дела. Состояние корпусов, которые он видел, было более чем прискорбным. Численность всех корпусов сильно сократилась. Слава стоила ему дорого. Остановленный вчера вечером неприятелем, который в своем отступлении не оставлял за собой ничего, он был теперь уверен, что это кровопролитное сражение не будет иметь других результатов, кроме того, что даст ему еще некоторую территорию. Ему улыбалась, однако, перспектива вступления в Москву, но этот успех не завершал ничего, если оставалась непоколебимой русская армия. Все замечали, что император был очень озабочен, хотя он много раз повторял:

— Мир ждет нас в Москве. Когда русские вельможи увидят, что мы — хозяева их столицы, то они хорошенько задумаются. Если бы я дал свободу крестьянам, то это был бы конец всем крупным состояниям этих вельмож. Сражение откроет глаза моему брату Александру, а взятие Москвы — его сенату.

Эти громкие речи императора были, по-видимому, предназначены скорее для того, чтобы создать определенное настроение и отвлечь мысли от понесенных нами потерь, а не являлись результатом его действительных убеждений. В самом деле в своих беседах с князем Невшательским — единственным лицом, с которым он говорил после сражения, — он, судя по тому, что говорил мне князь, казался очень озабоченным и несколько раз повторял, что обе стороны убивают друг у друга много народа, но это не приводит ни к каким результатам. Никаких пленных, никаких трофеев — вот что больше всего раздражало императора, и он часто жаловался на это. Зная, что неприятеля должны подкрепить новобранцы и ополченские корпуса, которые не могли еще присоединиться к армии, он лелеял надежду, что Кутузов еще раз даст сражение, перед тем как сдать столицу, а сам он будет иметь под ногами тем более твердую почву, что в одной руке он будет держать шпагу, а в другой сделанные неприятелем предложения мира.

По словам князя Невшательского, император был настолько склонен тогда принять эти предложения или вступить в переговоры о них, что подумал бы еще, идти ли дальше Можайска, если бы не надежда и желание подчеркнуть свою победу именем того места, где будет заключено соглашение. В иные минуты он определенно собирался идти на Москву, пробыть там неделю и затем отойти к Смоленску. Не допуская, однако, чтобы неприятель сдал свою столицу без нового сражения, и не сомневаясь, что он попытается спасти ее путем демонстративных

оборонительных боев и путем переговоров, император всего лишь один раз коснулся гипотезы о том, что он силой откроет двери Москвы, до такой степени он был убежден, что его теперешнее продвижение приведет его если не к предварительному мирному договору, то по крайней мере к своего рода перемирию, которое быстро повлечет за собою и мир. Он говорил:

— Мы скрестили шпаги: честь спасена в глазах всего мира, и русские наделали себе достаточно бед, для того чтобы я стал требовать от них другого удовлетворения. Они не будут гнаться за тем, чтобы я нанес им второй визит, как и я не гонюсь за тем, чтобы снова побывать в Бородине.

Признаюсь, мне трудно было поверить, чтобы император даже ради своих подлинных интересов мог рассчитывать тогда остановиться перед Москвой, к которой он подошел так близко. Когда мы с князем вспоминали наши разговоры в Витебске и других местах, а также беседы, которые были у нас с императором, князь сказал мне, что если бы надо было все начинать сначала, то император не подошел бы так близко к Москве; он действительно проявляет мирные намерения, и если поступят предложения мира, то они быстро будут приняты; он хочет выпутаться из этого дела, но с честью.

Князь Невшательский не закрывал глаза на возможные последствия этого похода. Смерть моего злосчастного брата могла лишь обострить мои печальные предчувствия, которые князь разделял; теперешние намерения императора являлись лишь отзвуком затруднений данного момента и исчезали вместе с ними или под влиянием любых мелких успехов. Неудачи в Испании, прискорбные результаты последней битвы всецело объясняли умеренность, которую проявил тогда император. Что же касается нас, то мы все считали, что нет другого средства окончить эту войну, как покинуть Москву через 48 часов после вступления в нее (если только неприятель сдаст Москву) и возвратиться в Витебск.

Император оставался в Можайске 11-го и 12-го. Он был болен[151], озабочен и принимал только проезжавших через Можайск маршалов. Никого из нас он не принимал. Город не был подожжен, но жителей там оставалось очень мало. Император надеялся, что русские отказались от своей системы поджигательства и разрушения. Он тотчас же усмотрел в этом доброе предзнаменование для будущих событий. По его мнению, это подтверждало его мысль о том, что соглашение состоится. Русские отступали по-прежнему в таком же порядке, забирая своих раненых и не оставляя ни гвоздя за собой. Император затратил эти два дня на то, чтобы как можно лучше организовать госпиталь, куда было перенесено

большинство раненых.

Как я уже говорил, материалов было мало, но преданность и воодушевление санитарных и интендантских офицеров сделали на сей раз больше, чем можно было надеяться. Однако много раненых в течение некоторого времени оставалось в окрестностях поля сражения в скверных бараках. Те, которые выжили, терпели большие лишения, до такой степени велика была нужда, Которую легко себе представить, если вспомнить, в каком состоянии были наши перевязочные пункты еще в Витебске.

Так как мы все время находились в походе, то наше Положение, несмотря на все принимаемые меры, не могло Улучшиться. Правда, император приказал министру военного снабжения прислать хирургов и продовольствие, решившись, наконец, согласиться на расходы, которые этот министр предлагал в свое время, но от которых император рассчитывал избавиться за счет ресурсов неприятельской страны, как это было при других кампаниях. В результате прибыли несколько хирургов, но перевязочных материалов, которых нам недоставало, не было, и они не могли прибыть так быстро, потому что дорога после Немана не была обеспечена какими бы то ни было транспортными средствами. Весь Можайск превратился в огромный госпиталь. Генералы, офицеры, солдаты — все направлялись туда в поисках медицинской помощи, которую никто не в состоянии был оказать им. По деревням рассыпались отряды, чтобы раздобыть хлеба и хоть немного скота.

Армия продолжала движение до 11-го. Маршал Ней, который шел в авангарде, находился в пяти лье за Можайском на Московской дороге. Неаполитанский король продвинулся немного дальше. Отступление неприятеля дало нам лишь несколько пленных. Император задержал свои передвижения, чтобы дать отдых войскам и закончить сосредоточение сил на случай, если произойдет второе сражение. Когда 13-го все опять пришло в движение, император снова остановил все свои колонны. Наша кавалерия была так истомлена, что не могла производить далеких разведок, и мы в этот момент так мало знали о движениях неприятеля, что, сомневаясь, какое именно направление выбрал Кутузов, о котором не было у нас никаких сведений, император счел целесообразным остановиться. Он не имел никаких донесений от князя Понятовского, войска которого составляли наш правый фланг, и некоторое время беспокоился по этому поводу, считая, что русские могли воспользоваться нашим отдыхом, чтобы броситься в этом направлении и поставить под угрозу наш фланг и тыл с целью предотвратить или по крайней мере оттянуть наше вступление в Москву до тех пор, пока они получат указания из Петербурга. Он по-

прежнему делал отсюда вывод, что неприятель хочет предложить соглашение, дав одновременно бой.

Офицеры сновали по всем направлениям. Неаполитанскому королю было приказано направить сильную разведку по Калужской дороге. Наконец, император успокоился, и армия выступила. С большой радостью он узнал, что неприятель, обремененный ранеными и обозами, шел по Московской дороге, где согласно некоторым донесениям возводились укрепления, чтобы дать второе сражение; однако к вечеру император уже не верил в это сражение под Москвой, когда узнал, что его авангард находится так близко от этого великого города, ибо близость Москвы могла лишь способствовать расстройству русской армии и полностью дезорганизовать ее. Он не мог, однако, объяснить себе, зачем вся армия движется на Москву, если она не дает сражения.

12-го главная квартира была перенесена в Зверево. 13-го она находилась в красивом дворце в Малой Вяземе, который занял накануне вместе с авангардом Неаполитанский король. Как сказал мне князь Невшательский, император был очень удивлен тем, что Неаполитанский король не получил еще никакого предложения от неприятеля и что он не принял никаких оборонительных мер, тем паче что ополченцы и новобранцы, как известно, присоединились к русской армии. Отсюда он заключал, — он сказал это нам, — что русская армия потерпела значительно большие потери, чем думают в Москве, и не в состоянии будет выдержать кампанию этого года. После Бородинскою сражения император очень мало говорил со всеми окружающими; он казался очень озабоченным.

Когда 14-го в 10 часов утра император был на возвышенности, называемой Воробьевыми горами, которая господствует над Москвой, он получил коротенькую записочку Неаполитанского короля, сообщившую ему, что неприятель эвакуировал город и что к королю был послан в качестве парламентера офицер русского генерального штаба просить о приостановке военных действий на время прохождения русских войск через Москву. Император согласился на это, но предписал королю следовать за неприятелем по пятам и оттеснить его как можно дальше, как только наши войска подойдут к заставам; он предложил ему также избегать вступления в город и, если будет возможно, обойти его. Он предписал также королю как можно скорее прислать ему к воротам, к которым он направлялся, депутацию от властей. Вскоре после этого он приказал генералу Дюронелю, которого назначил губернатором Москвы, вступить в город с тем количеством отборной жандармерии, которое ему удастся

собрать, чтобы установить там порядок и занять казенные здания. В особенности он наказывал ему поддерживать в городе порядок, охранять Кремль и посылать ему сообщения. В частности, он поручил ему ускорить присылку депутации от властей, которую Неаполитанский король должен был собрать и которая, как он сказал, послужит для жителей города лучшей гарантией их безопасности.

Теряясь в догадках, почему эта депутация не прибывает и почему он не получает никаких сообщений (что было вполне естественно, принимая во внимание расстояние от города), император в полдень подъехал к заставе и сошел с лошади. Его нетерпение росло. Каждую минуту он посылал все новых и новых офицеров и справлялся о депутации или об именитых гражданах. Наконец одно за другим прибыли донесения Неаполитанского короля и генерала Дюронеля. Они не только не нашли никаких властей в городе, но и не могли отыскать там ни одного жителя из видных лиц. Все бежали. Москва была пустыней, где можно было встретить лишь нескольких бедняков из низшего класса населения.

ГЛАВА IV
МОСКВА

Вступление в Москву. — Пожар. — Император переезжает в Петровское. — Мюрат в авангарде. — Тутолмин. — Император возвращается в Москву. — Характер оккупации. — Останемся ли мы в Москве? — Театр в Москве. — Наполеон хочет послать Коленкура в Санкт-Петербург. — Отказ Коленкура. — Миссия Лористона. — Колебания Наполеона. — Зима в России. — Бой под Винковом. — Московская администрация.

В ожидании этих сведений император объездил по разным направлениям холмы, которые господствуют над Москвой с запада. Возвратившись к заставе, он приказал мне написать великому канцлеру[152] в Париж и герцогу Бассано в Вильно, что мы находимся в Москве, и пометить письма Москвой. Он поставил патрули, чтобы ни один солдат не мог войти в город, но проникнуть туда было так легко, что эта предосторожность не очень помогала. В городе была небольшая перестрелка с вооруженными крестьянами, отставшими солдатами и казаками. Пленные были переданы в корпус князя Экмюльского, который стоял на позициях перед городом. Офицеры штаба Неаполитанского короля и штаба главного командования, которым было поручено раздобыть сведения, прибывали один за Другим и подтверждали полученные уже ранее сообщения.

Король преследовал по пятам арьергард неприятеля, продолжавшего свое отступление[153]. Русский офицер, командовавший арьергардом, превозносил храбрость короля, но порицал его неосторожность. "Мы до такой степени восхищается вами, — сказал он ему, — что наши казаки дали себе слово не стрелять по такому храброму государю, но в один прекрасный день с вами может все же случиться несчастье". Он уговаривал короля умерить свою благородную отвагу. Так как эти комплименты позволяли русским выиграть время, то их щедро расточали королю, тем паче что он явно был чувствителен к ним. Он одалживал у всех различные драгоценности, чтобы сделать подарки таким любезным неприятелям. Офицер для поручений Гурго[154], последовавший за королем, чтобы

выполнить некоторые распоряжения императора, предложил королю свои часы с боем, которые тот поспешил преподнести казачьему офицеру.

Когда авангард почти прошел через весь город, граф Дюронель и Гурго, ехавшие вместе с королем, покинули его, чтобы отправиться во дворец и в арсенал, где Гурго захватил 60 казаков.

В Кремле, точно так же как и в большинстве частных особняков, все находилось на месте: даже часы шли, словно владельцы оставались дома. Отставшие русские солдаты совершали кое-какие бесчинства; их арестовывали каждую минуту, но так как небольшого числа жандармов, находившихся в распоряжении Дюронеля, было недостаточно для всего города, то он занялся Кремлем и Воспитательным домом и сохранил их в неприкосновенности. Он отправил императору просьбу о присылке каких-нибудь воинских частей и предупредил его, что все дома полны отставших неприятельских солдат и императору нечего и думать о вступлении в город до тех пор, пока не удастся обыскать часть домов и организовать патрульную службу по кварталам; такие патрули необходимы, так как город занимает огромное пространство. Император предписал ему обратиться к герцогу Тревизскому[155] , корпус которого должен был занять город; но численность корпуса сильно сократилась, а кроме того, маршал считал, что нельзя распылять свои силы в первые моменты, тем паче что приближалась ночь; он предоставил поэтому Дюронелю лишь слабые и недостаточные отряды. Как я уже сказал, состоятельные жители бежали. Все власти оставили город, и он .походил на пустыню. Не было даже возможности образовать какую бы то ни было администрацию. Оставались только учителя (гувернеры-французы), несколько торговцев-иностранцев и отдельные жители из низших слоев населения, а также прислуга в некоторых особняках.

Трудно передать впечатление, которое произвели эти известия на императора. Я никогда не видел, чтобы он находился под таким сильным впечатлением. Он был очень озабочен и проявлял нетерпение после двухчасового ожидания у заставы; а новые донесения навели его, очевидно, на весьма серьезные размышления, так как его лицо, обычно столь бесстрастное, на сей раз ярко отражало его разочарование.

Граф Дюронель, которого император назначил комендантом города, ревностно и энергично занимался восстановлением порядка. Он посылал императору сведения, которые ему удавалось собрать и которые целиком подтверждали то, что он уже сообщил. Московский губернатор Ростопчин[156] покинул город только в 11 часов утра, после того как он

эвакуировал все учреждения и население. Весьма незначительное число представителей имущих слоев и несколько тысяч жителей из низших слоев населения остались только потому, что не принадлежали к числу вельмож и их положение не давало им возможности разузнать, куда же надо ехать. Большинство домов были столь же пустынны, как и улицы. Губернатор скрывал от жителей проигрыш сражения и даже проект эвакуации города вплоть до последнего момента. Нам удалось захватить лишь небольшую часть архивов и драгоценностей. В арсенале оставалось немного оружия; отставшие солдаты и ополченцы прятались в домах; они были вооружены. Дюронель снова поэтому просил императора не вступать в город. С оставшимися было трудно объясняться; трудно было даже найти проводников или толковых осведомителей; для этого требовалось много времени.

Все эти сообщения еще более усилили озабоченность императора. Некоторое время он прохаживался у заставы взад и вперед, потом, сев на лошадь, подъехал к находившемуся поблизости князю Экмюльскому; все вместе мы проехали по деревне, расположенной возле города. Император произвел рекогносцировку окрестностей на Довольно большом расстоянии; он предложил князю Экмюльскому следить за тем, чтобы ни один из пленных не мог бежать. Князь Невшательский, присутствовавший при этом, сказал мне, что "маршал, наверное, в точности выполнит приказ, который он заранее предвидел, так как предписал своим войскам стрелять по порученным им пленным, если они попытаются бежать".

Император вернулся обратно и проехал по предместью до моста, часть которого была разрушена; так как река в этом месте была глубиною всего в два фута, то мы перешли ее вброд. Император доехал до конца улицы на противоположном берегу, а затем вернулся и стал торопить с починкой моста, чтобы можно было по нему перевозить снаряжение. Он велел расспросить нескольких жителей, но они, как оказалось, не знали ни о том, что происходило в городе, ни даже об отступлении русской армии до самого момента эвакуации города в день нашего вступления в Москву.

Император оставался у моста до самой ночи. Его главная квартира была устроена в грязном кабаке — деревянном строении у въезда в предместье. Неаполитанский король, преследовавший неприятеля, доносил императору, что он захватывает много отставших; неприятельская армия двигается, по их словам, по Казанской дороге. Он подтверждал то, что мы узнали в городе, а именно, что Кутузов скрывал проигрыш сражения и свое движение на Москву вплоть до вчерашнего дня; власти и жители бежали из города в прошлую ночь, а частью даже сегодняшним утром; губернатор

Ростопчин узнал о проигрыше сражения лишь за 48 часов до нашего вступления в Москву; до тех пор Кутузов говорил только о своих успехах, своих маневрах и о тех потерях, которые он, по его словам, причинил нам. Неаполитанский король надеялся отбить у неприятеля часть его обозов и, по-видимому, был уверен в том, что отрежет его арьергард, так как ему казалось, что у русских крайний упадок духа. Он повторял эти сообщения во всех своих донесениях.

Все эти сведения были приятны императору, и он вновь развеселился. Правда, он не получил никаких предложений у врат Москвы, но нынешнее состояние русской армии, упадок ее духа, недовольство казаков, впечатление, которое произведет в Петербурге весть о занятии второй русской столицы, — все эти события, которые Кутузов, бесспорно, скрывал до последнего момента как от губернатора Ростопчина, так и от своего государя, должны были, говорил император, повлечь за собою предложение мира. Он не мог только объяснить себе движение Кутузова на Казань.

К 11 часам вечера было получено сообщение, что горят Торговые ряды. Герцог Тревизский и граф Дюронель отправились туда; этот ночной пожар нельзя было прекратить, так как под рукой не было никаких противопожарных средств, и мы не знали, где достать пожарные насосы. Жители и солдаты грабили лавки, в которые они успели проникнуть.

В течение ночи было еще два небольших пожара в предместьях, далеких от того предместья, где остановился император; их приписали неосторожности солдат на некоторых бивуаках, и был отдан приказ усилить меры охраны. Так как эти несчастные происшествия не имели особых последствий, то им не придали никакого значения. Гвардия получила приказ выставить посты в различных учреждениях. Герцог Тревизский и Дюронель, ни на минуту не покидавшие седла, делали все, что могли, чтобы обеспечить спокойствие в этом огромном городе. Дюронель, не располагая достаточными средствами для поддержания порядка, утром лично явился с докладом к императору и предложил ему передать управление городом герцогу Тревизскому, войска которого занимали город и который, следовательно, обладал необходимыми силами. Император согласился с этим предложением, и Дюронель сам отвез герцогу Тревизскому приказ взять на себя управление Москвой.

В полдень[158] император отправился в Кремль. Город без жителей был объят мрачным молчанием. В течение всего нашего длительного переезда мы не встретили ни одного местного жителя; армия занимала позиции в окрестностях; некоторые корпуса были размещены в казармах. В три часа

император сел на лошадь, объехал Кремль, был в Воспитательном доме, посетил два важнейших моста и возвратился в Кремль, где он устроился в парадных покоях императора Александра.

Только тогда мы узнали о воззвании к армии, которое Кутузов выпустил накануне сражения.

Некоторые донесения утверждали, что накануне эвакуации между Кутузовым и Ростопчиным состоялось совещание, во время которого Ростопчин предлагал разрушить город, но Кутузов этому воспротивился; он с таким негодованием отверг это предложение губернатора и другие меры, которые тот хотел принять, что собеседники расстались весьма недружелюбно. Наоборот, по другим сведениям, обе эти персоны, не любившие друг друга, встретились лишь на короткий миг, и Кутузов вплоть до последнего момента оставлял как Ростопчина, так и императора Александра в неведении, ибо в Москве, как и в Петербурге, было отслужено благодарственное молебствие по случаю победы Кутузова. Мы узнали, что первый транспорт раненных в последнем сражении прибыл в Москву 12-го; 13-го по городу распространились было слухи о какой-то неудаче, но затем эти слухи рассеялись; в этот день и на следующий из Москвы отправляли ополченцев в армию; даже видные лица были осведомлены о случившемся лишь накануне нашего вступления. Императору сообщили также много сведений о зажигательном воздушном шаре, над которым долго работал под покровом тайны некий англичанин или голландец по фамилии Шмидт. Этот шар, как уверяли, должен был погубить французскую армию, внести в ее ряды беспорядок и разрушение. Тот же изобретатель изготовлял много гранат и горючих материалов. Большая часть горючих материалов, найденных во многих учреждениях и приготовленных для поджога, действительно была изготовлена по определенной системе.

Многие сведения противоречили друг другу и доказывали, что те, кто покинул город, даже в последний момент не посвятили остающихся в свои планы. Одна старая французская актриса рассказывала стольким лицам о разговоре, который она якобы имела с генералом Бороздиным[159] , что император пожелал ее видеть. По словам Бороздина (или этой актрисы), недовольство против императора Александра и против нынешней войны из-за Польши достигло крайних пределов; русские вельможи хотят мира во что бы то ни стало и принудят к этому императора Александра, так как опасность угрожает их главным поместьям и наиболее ценной части их состояния. Кутузов обманул петербургский двор, общественное мнение и московскую администрацию. Считали, что он одерживает победы.

Внезапная эвакуация Москвы разорит русское дворянство и принудит правительство к миру. Дворянство взбешено против Кутузова и против Ростопчина, которые усыпили его лживыми успокоениями.

В восемь часов вечера начался пожар в одном предместье. Туда послали людей и забыли об этом пожаре, так как его приписали неблагоразумию каких-либо солдат или офицеров.

Император удалился к себе рано; все были утомлены и отправились по его примеру спать. В половине одиннадцатого мой лакей, дельный человек, который был со мною в Петербурге во время моего посольства, разбудил меня и сказал, что вот уже три четверти часа, как город в огне. Как только я открыл глаза, я не мог в этом сомневаться, ибо зарево пожара давало такое освещение, что можно было бы читать в глубине комнаты, не зажигая света. Я вскочил с постели и послал лакея разбудить обергофмаршала, а сам начал пока одеваться. Так как пожар был в одной из наиболее отдаленных от Кремля частей города, то мы решили послать за справками к губернатору, привести гвардию в боевую готовность и дать императору поспать еще некоторое время, ибо он был сильно утомлен после событий предыдущих дней. Я вскоре поехал верхом, чтобы посмотреть, что происходит, отправить подмогу, которую можно было бы собрать, и удостовериться, что имущество моего ведомства, — а оно было разбросано по всему городу, — не подвергается никакому риску. Ветер был северный и довольно сильный, как раз с той стороны, где был виден пожар в двух местах; он гнал пламя к центру, что придавало огню необычайную свирепость. К половине первого ночи вспыхнул третий пожар[160], немного западнее, а вслед за тем и четвертый, в другом квартале, по направлению ветра, который несколько повернул на запад. К четырем часам утра пожар распространился повсюду, и мы сочли необходимым разбудить императора, который послал офицеров разузнать, что происходит и как это могло случиться.

Войска были в боевой готовности. Немногие оставшиеся в городе жители выбегали из домов и собирались в церквах; повсюду слышны были только стоны. Часть пожарных насосов, которые мы искали со вчерашнего дня, была увезена неприятелем; оставшиеся были приведены в негодность. Офицеры и солдаты привели захваченных в разных домах будочников (полицейские стражники на перекрестках) и мужиков (русские крестьяне), которых они, по их утверждению, застали, когда те хотели поджечь приготовленные в домах горючие материалы. Поляки донесли, что они арестовали уже таких поджигателей и убили их; по их словам, эти люди и некоторые жители признались, что русский губернатор дал агентам

полиции приказ поджечь ночью весь город. Мы отказывались верить этим сообщениям; арестованных было приказано оставить под стражей; был отдан также приказ произвести новые обыски и соблюдать величайшую осторожность. Во все кварталы, не охваченные пожаром, были отправлены патрули; мы добрались до источников всех тех сведений, которые только что были получены, и они подтвердились одно за другим. Император был очень озабочен.

В первые моменты он объяснял пожар беспорядками в войсках и той небрежностью, с которой жители покинули дома. Он не мог поверить, что русские сжигают свои дома, чтобы помешать нам спать в них. В то же время он предавался серьезным размышлениям о тех последствиях, которые могли иметь эти события для армии, и о тех ресурсах, которых они нас лишали. Он не мог убедить себя в том, что это являлось результатом великой решимости и великой добровольной жертвы. Донесения, следовавшие одно за другим, не позволили ему больше сомневаться, и он снова приказал принять все меры, которые могли бы прекратить это бедствие и привести к розыску исполнителей этих жестоких мероприятий.

Он вышел пешком из Кремлевского дворца около девяти с половиной часов; в этот момент привели еще двух поджигателей, захваченных на месте преступления. Они были в мундирах будочников. Подвергнутые допросу в присутствии императора, они повторили то, что заявляли уже раньше: от своего начальника они получили приказ поджигать все; дома были помечены, и все было приготовлено для поджога в различных кварталах по приказу, как им сказали, губернатора Ростопчина; офицеры распределили их по различным кварталам небольшими отрядами; приказ приступить к поджогу был дан им вчера вечером и вновь повторен утром одним из начальников. Они отказывались назвать имя этого начальника, но в конце концов один из них все-таки назвал его: это был какой-то незначительный унтер-офицер. Они не могли или не хотели объяснить, где он находится или как его можно найти. Они давали свои показания, которые тут же переводились на французский язык, в присутствии императора и сопровождавших его лиц. Много других показаний полностью подтвердили их слова. Все эти поджигатели были взяты под стражу и находились под тщательным надзором, некоторые из них были преданы суду, а восемьдесят человек казнены.

Пожар по-прежнему распространялся от окраинных предместий, где он начался, к центру. Огонь охватил уже дома вокруг Кремля. Ветер, повернувший немного на запад, помогал огню распространяться с

ужасающей силой и далеко разбрасывал огромные головни, которые, падая, как огненный дождь, в расстоянии более ста туазов[161] от горящих домов, зажигали другие дома и не позволяли самым отважным людям оставаться поблизости. Воздух был так накален, горящие сосновые головни летели в таком количестве, что балки, поддерживавшие железную крышу арсенала, загорелись. Кровля кремлевских кухонь была спасена только потому, что там поставили на крыше людей с метлами и ведрами с водой, чтобы сбрасывать головни и смачивать кровлю. Лишь при помощи неслыханных усилий удалось потушить пожар в арсенале. Там был император, а в его присутствии гвардия была способна на все.

Я отправился в дворцовые конюшни, где стояла часть лошадей императора и где находились коронационные кареты царей. Потребовалась вся энергия и все мужество берейторов и конюхов, чтобы спасти их; одни из конюхов взобрались на крыши и сбрасывали горящие головни, другие работали с двумя насосами, которые по моему распоряжению были починены днем, так как они тоже были испорчены. Можно без преувеличения сказать, что мы стояли там под огненным сводом. С помощью тех же людей мне удалось спасти также прекрасный дворец Голицына и два смежных дома, один из которых уже загорелся. Людям императора ревностно помогали слуги князя Голицына, проявившие большую привязанность к своему господину. Каждый делал, что мог, чтобы поддержать принятые меры и остановить этот разрушительный огненный поток. Но воздух был раскален. Люди дышали огнем, и даже на обладателях самых здоровых легких это сказывалось потом в течение некоторого времени. Мост к югу от Кремля был до такой степени нагрет раскаленной атмосферой и падавшими на него головнями, что загорался каждое мгновение, хотя гвардия и в частности саперы считали для себя вопросом чести спасение этого моста. Я оставался там с генералами гвардейских частей и адъютантами императора; нам пришлось оставаться под огненным градом, чтобы поддержать энергию людей, боровшихся с огнем. Более минуты нельзя было оставаться на одном месте; меховые шапки гренадеров тлели на их головах.

Пожар распространился до такой степени, что весь север и большая часть западной стороны города, через которую мы вступили в Москву, прекрасный театральный зал и все крупные здания этой части города были совершенно уничтожены. Мы находились среди моря огня, а западный ветер продолжал дуть по-прежнему. Пожар усиливался, и нельзя было угадать, где и когда он остановится, потому что не было никаких средств локализовать его. Огонь перекинулся за Кремль. Но река должна была

спасти восточную часть города.

К четырем часам дня пожар еще продолжался, и император думал, что эта катастрофа могла быть частью комбинации, связанной с какими-либо маневрами неприятеля, хотя частые донесения Неаполитанского короля и утверждали, что неприятель продолжает свое отступление по Казанской дороге; ввиду этого император отдал приказ о выступлении и запретил оставлять что бы то ни было в городе. Для ставки был предназначен дворец в Петровском на Петербургской дороге — увеселительный дворец, где останавливались императоры перед своим торжественным въездом в Москву, когда они приезжали для коронации. Из-за огня и ветра нельзя было проехать туда прямым путем. Пришлось кое-как среди обломков, пепла и даже среди пламени проехать через сожженную уже западную часть города, чтобы добраться до окраинных предместий. Мы достигли дворца лишь глубокой ночью и оставались там также и на следующий день.

Тем временем пожар продолжался с новой силой. Часть района, простирающегося от Кремля до Петровского, в котором разместились генеральный штаб и гвардия, была, однако, спасена. Император был очень задумчив: он не говорил ни с кем и вышел лишь на полчаса, чтобы осмотреть дворец изнутри и снаружи. Во время пребывания в Петровском он принял только князя Невшательского; князь воспользовался случаем и изложил все те соображения, которые ему внушил пожар, пытаясь убедить императора сделать выводы и не оставаться долго в Москве. Кому это жестокое зрелище не внушило бы предчувствия других несчастий!

В различных казенных и частных зданиях были заложены фитили, изготовленные на один и тот же лад; это факт, которому я был свидетелем наряду со многими другими лицами. Я видел эти фитили там, где они были приготовлены; многие из них были принесены и показаны императору. Фитили были найдены также и в предместье, через которое мы вступили в город, и даже в спальной в Кремле. Дюронель, герцог Тревизский, граф Дюма и многие другие видели их при въезде в город и были настолько удивлены, что призадумались, но в конце концов они не придали этому особого значения.

Показания полицейских солдат, признания полицейского офицера, которого задержали в день нашего вступления в Москву, — все доказывало, что пожар был подготовлен и осуществлен по приказу графа Ростопчина. Полицейский офицер, которого барон Лелорнь[162] нашел в городе, когда искал там депутацию, о которой спрашивал всех его величество, оказался человеком простодушным; он знал все подробности и

был весьма искренен в своих признаниях, которые подтвердились во многих отношениях; обо всех приготовлениях к пожару он сообщил такие подробности, которые не оставляли больше никаких сомнений насчет приказов, отданных губернатором. Эти признания пролили тогда самый яркий свет на все дело.

Из нескольких поджигателей, которых предали суду, одни были казнены, а другие оставлены в тюрьме, по выражению императора, — как несчастные жертвы своего повиновения начальникам и приказам взбесившегося безумца. Полицейский офицер, которым в первый момент за отсутствием лучшего источника Лелорнь пользовался для разнообразнейших справок, был вначале так напуган, что казалось, будто он слегка тронулся. По крайней мере так можно было подумать, судя по его сообщениям. Его признания казались бредом сумасшедшего; на них не обратили тогда внимания. Несчастный довольно долго прозябал на гауптвахте, куда его посадили, когда надобность в нем миновала. После пожара вспомнили, что он предвещал его в первый же день; вспомнили также, что, когда начался в первую ночь небольшой пожар, который приписали неосторожности на бивуаках, расположенных слишком близко от деревянных домов предместья, этот офицер воскликнул, что очень скоро будет много других пожаров, а когда начался большой пожар, он стал кричать, что будет уничтожен весь город и что на этот счет даны соответствующие распоряжения. Другими словами, все его предсказания, которые, как казалось, объясняются умственным расстройством этого человека, оправдались; тогда его допросили снова. К тому, что он уже сказал и что говорили также различные поджигатели, которых полицейские офицеры собирали накануне отъезда губернатора Ростопчина в определенном месте (захваченный нами офицер указал это место, а другие допрошенные подтвердили его указание), он прибавил, что они получили приказ приготовить все для пожара; им предписали держаться наготове, чтобы быть в состоянии осуществить поджог, как только они получат соответствующее распоряжение; затем начальники каждый раз, то есть при каждой встрече, назначали своим унтер-офицерам новые свидания для получения от них отчетов; в день исполнения приказа в определенный час (указанный допрошенным нами офицером) каждый начальник получил распоряжение и передал его дальше унтер-офицерам своего участка; пожарные насосы были эвакуированы вместе с пожарными, а те, которые нельзя было увезти, были приведены согласно полученному приказу в негодность и поставлены подальше.

Еще до вступления в Москву у императора возникала мысль не

оставаться там. Пожар и его последствия, то есть гибель части продовольствия, должны были как будто побудить императора последовать этому намерению. Вполне естественная мысль, что русские не пожертвовали бы своей столицей, если бы собирались вести переговоры о мире, также должна была разъяснить ему положение. Одно время казалось, что этот довод, как и ряд других, приводившихся ему немногими лицами, с которыми он говорил тогда о своих делах, а также соображения, бесспорно приходившие в голову ему самому и без нас, побудят его принять соответствующее решение; это было во время пребывания в Петровском и даже в первые моменты по его возвращении в Кремль. В самом деле, все было готово для отступательного движения, и князь Невшательский один момент надеялся на это. Но постоянные донесения Неаполитанского короля об упадке духа в русской армии и его обещания, которые он надеялся осуществить, быстро внесли изменения в намерения императора. Король по-прежнему считал, что русская армия бежит по Казанской дороге, что солдаты дезертируют, армия разлагается, казаки готовы ее покинуть, а многие из них склонны даже присоединиться к победителю.

Казачьи начальники продолжали все время расточать комплименты Неаполитанскому королю, который, в свою очередь, не переставал выказывать им свою щедрость. Авангарду не было надобности сражаться; казачьи офицеры являлись к королю за указаниями, чтобы осведомиться, до какого пункта он намерен продолжать переход и где он хочет расположиться со своим штабом. Дело доходило до того, что они охраняли назначенный им пункт до прибытия его отрядов, чтобы там ничего не случилось. Они настоящим образом кокетничали, чтобы понравиться королю, которому были весьма приятны эти знаки почтения. Император из-за этого с меньшим доверием относился к его донесениям. Эти любезности казались ему подозрительными. Он видел, что короля оставляют в дураках; он советовал ему не доверять так называемому движению Кутузова на Казань. Император не мог найти объяснения этому движению, а в утонченных вежливостях по адресу короля и в преувеличенном подчеркивании так называемого упадка духа и недовольства казаков он видел признаки какого-то надувательства. Хотя все эти сообщения разжигали его собственный пыл, он все же заключал из них, что от короля хотели скрыть какой-то маневр или завлечь его в какую-то ловушку.

18 сентября император возвратился в Кремль. Его отъезд из Москвы послужил сигналом к самым серьезным беспорядкам. Спасенные от пожара дома были разграблены. Несчастные жители, оставшиеся в городе,

подвергались избиениям. Двери лавок и погребов были взломаны, и отсюда — все эксцессы, все преступления пьяных солдат, не желавших больше слушать своих начальников. Подонки населения, пользуясь этими беспорядками, также занимались грабежом и в расчете на свою долю добычи показывали солдатам погреба и вообще все места, где, по их мнению, могло быть что-нибудь спрятано. Армейские корпуса, стоявшие вне города, посылали туда отряды, чтобы не упустить своей части продовольствия и другого добра. Можно представить себе результаты этих поисков! Находили все, в том числе обильнейшие запасы вина и водки. Склады зерна, муки и сена, находившиеся на набережных, уцелели от пожара. Лошади терпели такой недостаток в фураже от Смоленска до Гжатска и от последнего сражения до вступления в Москву, что каждый из солдат стремился захватить больше сена и запастись им на несколько месяцев. Эти грабежи происходили 15 и 16-го. Часть продовольствия была истреблена тут же, на месте, но остатки его обеспечили нам изобилие на все время нашего пребывания в Москве и даже дали возможность кормить людей и лошадей в течение некоторого времени при отступлении[163] .

Тотчас же по возвращении в Москву император занялся изысканием способов снять с французской армии в глазах Петербурга ответственность за пожар Москвы, для прекращения которого мы сделали все возможное; нельзя было заподозрить французскую армию в поджигательстве, если принять во внимание хотя бы ее собственные интересы. Он поручил Лелорню отыскать какого-нибудь русского, который мог бы рассказать в Петербурге подробно об этом событии и передать то, что ему поручат. Директор Воспитательного дома Тутолмин[164], подобно доблестному отцу семейства мужественно оставшийся во главе этого учреждения в Москве, хотя значительная часть детей была эвакуирована, был, по-видимому, пригоден для намеченной цели, тем паче что в качестве представителя одного из учреждений вдовствующей императрицы он пользовался бы доверием в обоих лагерях петербургского общества. Его позвали к императору. Лелорнь служил переводчиком. Император сказал ему, что ведет эту чисто политическую войну без всякого чувства враждебности; его главным желанием является мир; он выражал это желание по всякому поводу; он дошел до Москвы вопреки собственной воле; в Москве, как и в других местах, он сделал все для охраны имущественных ценностей и для прекращения пожаров, устраиваемых самими русскими. Когда Тутолмин изготовил свои письма, то одному из его служащих дали паспорт и средства передвижения, и Тутолмин отправил его в Петербург.

Вся армия за исключением корпусов Неаполитанского короля была расквартирована в городе или недалеко от него. Погорельцы укрывались в церквах и на кладбищах, где они считали себя в безопасности от притеснений со стороны военных; церкви в большинстве случаев находились на площадях и были изолированы от других строений, а потому уцелели от опустошений, произведенных пожаром. Многие из этих несчастных явились в Петровское. Для них делали все, что было возможно. Я поместил 80 погорельцев в доме Голицына. В их числе был шталмейстер императора Александра Загряжский[165], который остался в Москве, надеясь спасти свой дом, заботы о котором составляли смысл всей его жизни. Я поместил там также одного генерал-майора, немца по рождению, который вышел в отставку после долголетней службы при императрице Екатерине. Эти несчастные потеряли все, и у них остались только солдатские шинели, в которые они кутались.

Наше возвращение в Москву было отнюдь не более веселым, чем наш выезд из Москвы. Я не в силах выразить, что я переживал после смерти моего брата. Зрелище последних событий окончательно меня доконало. Весь тот ужас, который окружал нас, еще более усугублял мою скорбь об убитом брате. Если человек, видя вокруг себя столько страданий и бедствий, не в состоянии ограничиться переживанием только своего личного горя, то он чувствует себя лишь еще более несчастным. Я находился в подавленном состоянии. Счастливы те, кто не видел этого ужасного зрелища, этой картины разрушения. Значительная часть города была превращена в пепел; северная часть, более близкая к Кремлю, уцелела, потому что ветер повернул на запад; некоторые обособленные районы, находившиеся в стороне, противоположной пожару, совершенно не пострадали. Прекрасные дворцы, окружающие Москву, были спасены от разрушительных замыслов; только дворец губернатора Ростопчина был сожжен дотла его владельцем, который выставил напоказ свою решимость он считал ее несомненно весьма патриотической, — объявив о ней в афише, прибитой на дорожном столбе в его подмосковном имении Воронцове. Афишу принесли императору, который высмеял этот поступок. Он много говорил о ней в этом духе и послал ее на посмешище в Париж, но там, как и в армии, результат был совершенно противоположный. Афиша произвела глубокое впечатление на всех мыслящих людей и — по крайней мере поскольку речь шла о поступке Ростопчина, пожертвовавшего своим домом, — она встретила больше одобрения, чем критики. Вот ее текст: "В течение восьми лет я украшал эту деревню, жил здесь счастливо в лоне семьи. Жители этой земли, числом 1720 душ, покидают ее при вашем

приближении, а я поджигаю мой дом, дабы он не был запятнан вашим присутствием. Французы, я оставил вам два моих дома в Москве с обстановкой стоимостью в полмиллиона рублей; здесь вы найдете только пепел".

Через несколько дней по возвращении в Кремль император во всеуслышание заявил, что он принял решение и останется на зимних квартирах в Москве, которая даже в ее нынешнем состоянии дает ему больше приспособленных зданий, больше ресурсов, больше средств, чем всякая другая позиция. Он приказал в соответствии с этим привести в оборонительное состояние Кремль и монастыри, окружающие город, а также приказал произвести разнообразные рекогносцировки в окрестностях, чтобы разработать систему обороны в зимнее время.

Император принял также много других мер предосторожности. Он сообщил, что отдал приказ о новых наборах во Франции и Польше, а также подготовляет организацию польских казаков (польскую легкую кавалерию Наполеон ошибочно называл "казаками"), о чем, по его словам, "уже отдано было раньше распоряжение". Резервы получили приказ присоединиться к нам, а все шедшие к нам пополнения, двигавшиеся эшелонами, должны были обеспечивать и охранять наш тыл, наши обозы и наши коммуникации. Здания почтовых станций были укреплены; эстафетная служба, которую я организовал еще в начале кампании, была предметом особого внимания. Сумка с депешами для императора и его штаба регулярно прибывала ежедневно из Парижа в Москву, пробыв в пути неполных 15 дней, а часто лишь 14. От Парижа до Эрфурта службу несли сменные почтальоны, от Эрфурта до Польши — курьеры бригадами по четыре человека, сменявшиеся через каждые 30 лье, в части Польши — снова сменные почтальоны, в пограничной полосе и в России — французские почтальоны, которых граф Лаваллет[166] сам отобрал, снабдил нашими лучшими почтовыми лошадьми и передал в мое распоряжение. В каждую смену "входили четыре почтальона; смена производилась через каждые пять — семь лье. Аккуратность эстафетной службы была поистине изумительной[167].

Император всегда с нетерпением ожидал эстафеты; задержка на несколько часов озабочивала его и даже вызывала беспокойство, хотя с эстафетной службой пока ничего еще не случалось. Парижский портфель, варшавский и виленский пакеты определяли степень хорошего или плохого настроения императора. То же самое было и с нами, так как счастье каждого таилось в известиях, получаемых им из Франции. Прибывали

небольшие обозы с вином и другими предметами. Приезжали также в армию офицеры, хирурги, интендантские чиновники.

Донесения комендантов главных пунктов нашей коммуникационной линии были успокоительными. Из Парижа в Москву ехали так же просто, как из Парижа в Марсель. Однако всем было тяжело примириться с мыслью, что придется провести зиму так далеко от той самой Франции, к которой обращались все наши взоры. Мы были избалованы предыдущими походами императора; мир всегда доставался ценою лишений, длившихся всего лишь несколько месяцев; за исключением прусской и польской кампаний, зиму всегда проводили во Франции, а воспоминания об Остероде и Гутштадте, а также о снегах Пултуска и Прасница могли лишь навести на серьезные размышления.

Некоторые, в том числе и я, сомневались, что император действительно намерен провести зиму в Москве. Огромное расстояние, отделяющее нашу армию от Польши, давало неприятелю слишком много возможностей беспокоить нас; казалось, что множество соображений по-прежнему говорит против этого проекта. Однако император так тщательно и так подробно занимался осуществлением его, говорил о нем так определенно и, казалось, считал его столь необходимым для успеха нашего похода (если не удастся добиться мира до зимы), что даже самые недоверчивые должны были в конце концов поверить. Обергофмаршал и князь Невшательский тоже, по-видимому, убедились, что мы останемся в Москве. В соответствии с этим каждый делал разные запасы, собирал покинутую хозяевами мебель и другие вещи, которые могли понадобиться для пополнения его обстановки. Запасались дровами и фуражом. Словом, каждый запасался так, как если бы ему надо было провести в Москве все восемь месяцев, остающиеся до наступления весны.

Что касается меня, то, признаюсь, в том подчеркивании, с которым говорил император об этом проекте, а также и в принимаемых им мерах я видел лишь желание направить наши мысли в другую сторону и активизировать собирание продовольствия, а прежде всего желание, объявив о своем проекте, тем самым подкрепить предпринятые им предварительные шаги. О них не было известно никому. Тутолмин честно хранил их в тайне, как и Лелорнь, которому было поручено отправить второго нарочного. Император сказал, однако, князю Невшательскому несколько слов о характере этих шагов.

Император считал (впоследствии он подтвердил это в разговоре со мной), что его демарш (предпринятый помимо всего прочего с целью принципиально установить, что французы ни в какой мере не причастны к

пожару Москвы и даже сделали все возможное для его прекращения) доказывает его готовность к соглашению, а потому из Петербурга последует ответ и даже предложение мира. Пожар Москвы заставил императора серьезно призадуматься, хотя он и старался скрыть от себя те последствия, к которым должна была привести такая решимость; он точно так же пытался скрыть от себя, как мало надежды на то, что правительство, принявшее такое решение, будет склонно заключить мир. Он по-прежнему хотел верить в свою звезду, верить в то, что Россия, истомленная войной, ухватится за всякую возможность положить конец борьбе. Он думал, что вся трудность только в том, чтобы найти способ завязать переговоры с соблюдением всех приличий; по его мнению, Россия приписывала ему большие претензии; но взятая им на себя инициатива, доказывая императору Александру, что сговориться об условиях будет легко, несомненно, приведет к предложениям мира. Я думаю, что император Наполеон в самом деле был бы очень сговорчив в отношении условий в этот момент, так как мир был единственным средством выкарабкаться из затруднений. Он изображал предпринятые им шаги как акт великодушия, словно можно было надеяться, что в Петербурге по-новому взглянут на его мотивы. Император старался внушить мысль, что предложения мира со стороны русских задерживаются их боязнью, как бы он не оказался слишком требовательным. Он надеялся таким путем выбраться из того затруднительного положения, в которое попал. Именно с этой надеждой на мир он и продлил свое злополучное пребывание в Москве.

Прекрасная погода, долго продержавшаяся в этом году, помогала ему обманывать себя. Быть может, до того как неприятель стал тревожить его тыл и нападать на него, он действительно думал, как он это говорил, расположиться на зимние квартиры в России. В этом случае, по его выражению, "Москва по самому своему имени явится политической позицией, а по числу и характеру своих зданий и по количеству еще сохранившихся здесь ресурсов лучшей военной позицией, чем все другие, если мы останемся в России".

В кругу приближенных император говорил, действовал и распоряжался, исходя из предположения, что он останется в Москве, и притом с такой последовательностью, что даже лица, пользовавшиеся его наибольшим доверием, в течение некоторого времени не сомневались в этом.

Так обстояли дела через 10 или 12 дней после нашего вступления в Москву, и это мнение держалось до тех пор, пока артиллерийские обозы не стали подвергаться нападениям[168] , а эстафеты стали запаздывать. Одна из

эстафет была перехвачена; то же случилось с двумя ящиками писем из армии во Францию.

Видя, что осень приближается к концу, а никаких приготовлений к отъезду не делается, я в конце концов тоже стал сомневаться в добровольной эвакуации Москвы. Мне казалось невозможным, чтобы император мог думать об отступлении во время морозов, тем паче что не было принято никаких предосторожностей для того, чтобы уберечь людей от холода, а также для того, чтобы лошади могли передвигаться по льду, хотя можно было составить себе представление о зиме в России на основании опыта зимы в Остероде и в Польше[169]. Впрочем, воспоминание об этой зиме могло дать также и представление об упорстве императора.

Каждый день мы находили скрытые склады и погреба, в которых были спрятаны материи, одеяла, меха, и каждый покупал все, что ему казалось необходимым на зиму. Те, кто проявил эту предусмотрительность, обязаны ей своим спасением.

Я выплатил жалованье всем служащим моего ведомства и распорядился подбить шинели мехом или по крайней мере поставить меховые воротники всем, кому не удалось раздобыть достаточно меха на подкладку. Я приказал также запастись меховыми перчатками и шапками. Мне удалось спасти находившихся под моим начальством честных и храбрых слуг императора именно благодаря этой предусмотрительности, проявленной в первый же момент, когда было еще достаточно легко достать меха, а также благодаря стараниям и энергии начальника обоза Жи, который был со мной в Петербурге и познакомился с русским климатом.

Когда мы вступили в Москву, я организовал многочисленные мастерские с целью увеличить транспортные средства для перевозки сухарей и сена. Я приказал изготовить в кузницах побольше подков на шипах. Словом, я принял все необходимые меры предосторожности, чтобы не попасть в трудное положение, если мы будем передвигаться зимой, и я был рад, что благодаря этим мерам обозы и больные из моего ведомства благополучно доехали до Вильно.

Немедленно по возвращении в Москву император отдал распоряжение об устройстве парадов в Кремле; была устроена хлебопекарня; шла энергичная работа по постройке многочисленных кухонь. Стремительно развертывались оборонительные работы; часть корпуса князя Экмюльского разместили в казармах в самом городе. Была произведена тщательная уборка овощей, в частности капусты, на огромных огородах вокруг города. В районе двух-трех лье от города убрали также картофель и сено, сложенное в многочисленных стогах; транспорт был непрерывно занят

перевозкой этих продуктов. Для снабжения императорского двора я отобрал людей, которые должны были пустить в ход мельницу; она давала нам муку, начинавшую уже становиться редкостью. Я приказал также заготовить большой запас сухарей и соорудить сани. Словом, я приготовлял все необходимое как на тот случай, если наше пребывание здесь затянется, так и на случай отступления. Воинские отряды обходили сельские местности, чтобы раздобыть скот, который, как и мука, становился большой редкостью. Удалось организовать регулярную раздачу пайков.

Госпитали были организованы довольно хорошо; в одной из боковых построек Кремля я устроил госпиталь для императорского двора. Там был безупречный уход за людьми. Надо воздать должное гг.Serминье, Жуану и Рибу[170]: их заботливость и редкостная самоотверженность спасли многих несчастных, ослабевших после перенесенных ими чрезмерных лишений и заболевших нервной лихорадкой.

Пока предварительные запросы, направленные через Тутолмина, шли в Петербург, где в них не усматривали ничего, кроме доказательства наших затруднений, о которых там уже подозревали, император Наполеон, как я уже говорил, занимался своей обычной деятельностью: реорганизовывал корпуса, устраивал госпитали и обеспечивал снабжение, в том числе и снабжение на зиму. Ночь была для него вторым днем. Все его помыслы были посвящены Парижу и Франции. Эстафеты отправлялись туда полные разных декретов и распоряжений, датированных Москвой.

Война в Испании также поглощала его внимание[171]. Все те вопросы, которые были отодвинуты на задний план трудностями нашего похода, подготовкой войны и ведением ее в тяжелых условиях, вскоре снова стали в порядок дня, но заботы об Испании не отвлекали императора от того огромного дела, которое занимало и удерживало его в Москве.

Привыкнув диктовать мир тотчас же по прибытии во дворец государя, столицу которого он завоевывал, император был удивлен молчанием, которое хранил на сей раз его противник. Чем больше это молчание показывало ему, что нынешний противник и его нация полны воодушевления и отчаянной решимости, тем более он. убеждал себя, что мир можно заключить только в Москве. Его умеренность должна была примирить все; он снял с себя всякие обвинения в поджоге; он даже сделал все, чтобы остановить это бедствие. Он "не видит поэтому, говорил он, — никакого особого повода к враждебности, которая помешала бы прийти к соглашению. Поскольку мы вошли в древнюю столицу России, оставить ее,

не подписав предварительного мира, это значило бы создать видимость политического поражения, каковы бы ни были военные преимущества какой-либо другой позиции. Европа, — продолжал император, — смотрит на него, и положение, которое обеспечивает нам успех весною, она в настоящий момент расценивала бы все же как неудачу, а это могло бы повлечь за собой серьезные последствия".

Он торопился поэтому покончить с делом, не отправляясь на поиски позиции, более близкой к нашим флангам и грозной для противника, но могущей лишь в отдаленном будущем принудить его к миру, о котором мечтал император; он пошел бы сейчас на самые легкие условия, лишь бы они немедленно положили конец борьбе; и он говорил об этом как для того, чтобы создать определенное настроение в армии, так и для того, чтобы дать неприятелю почувствовать те опасности, которым тот может подвергнуться. Он все время повторял, что его позиция в Москве была весьма тревожной и даже угрожающей для России, если учесть те последствия, к которым могла бы привести малейшая неудача Кутузова, и те меры, которые он сам мог принять, чтобы воздействовать на население. Однако характер, который приняла война, а также молчание его противников показали императору не менее реальные опасности его собственной позиции, и он был готов эвакуироваться из России и удовольствоваться кое-какими мерами против английской торговли, чтобы спасти честь своего оружия. Он ограничивался тем, что соглашался осуществить свою цель только по видимости; но так как он не видел, чем можно заставить русских принять эти жертвы, если не предложить их сразу же в качестве вынужденных уступок, то придавал большое значение тому, чтобы завязать переговоры, которые привели бы ко взаимным объяснениям и, как он думал, к быстрому примирению.

По его словам император Александр не мог рассчитывать на такие условия соглашения, и он думал соблазнить его, предложив их в качестве своей добровольной жертвы, предназначенной оправдать Александра в глазах его нации. Увлекаясь этой идеей и не желая думать об уже сделанных шагах, он решил непосредственно написать императору Александру; Лелорню было поручено поискать в госпиталях или среди русских пленных какого-нибудь офицера высокого чина, чтобы послать его в Петербург. Он нашел брата одного из русских дипломатических агентов в Германии[172].

Император имел с ним такой же разговор, как и с Тутолминым. Он точно так же говорил ему о своих стремлениях к примирению и миру, но офицер почтительно высказал свои сомнения насчет возможности прийти к

соглашению до тех пор, пока французы остаются в Москве. Император не обратил внимания на эти замечания ни тогда, ни потом; он отправил этого офицера со своим письмом, по-прежнему льстя себя надеждой, что молчание петербургского правительства объясняется только тем, что ему приписывают чрезмерные притязания, и рассчитывал, что Петербург ухватится за представляющийся ему случай воспользоваться возвещенной императором Наполеоном умеренностью. Именно эта роковая уверенность, именно эта несчастная надежда заставили его оставаться в Москве и бросить вызов зиме, которая подкосила нас быстрее, чем могла бы это сделать чума. Этот шаг, о котором в данный момент знали только князь Невшательский, Лелорнь и я, долго оставался в секрете согласно желанию императора.

Возвращаюсь к рассказу о Неаполитанском короле, который с такой доверчивостью следовал за русской армией по Казанской дороге. Один раз он приехал переночевать в Москву, видел императора и возвратился назавтра в авангард.

Во время его пребывания в Москве, когда вице-король, князь Невшательский и князь Экмюльский были у императора вместе с ним, император поднял вопрос, не требует ли здравая политика, чтобы мы немедленно двигались на Петербург, так как русские, по словам короля, находятся в состоянии полной дезорганизации и упадка духа, а казаки готовы покинуть армию. Действительно ли император думал об этой экспедиции? Рассчитывал ли он, что успеет закончить ее до больших морозов? Думал ли он, что армия в состоянии осуществить этот поход? Судя по тому, что перед тем и после того он говорил князю Невшательскому, для меня ясно, что у него никогда не было этого плана, неосуществимого при том состоянии, в котором находились наши артиллерия и кавалерия, да еще в то время, когда Кутузов стоял очень близко от нас с хорошо организованной армией и многочисленной кавалерией.

Вице-король и маршалы предавались меньшим иллюзиям, чем король, по поводу так называемой дезорганизации русских. Они подчеркивали, что армия нуждается в отдыхе и необходимо как можно скорее обеспечить ей хорошие зимние квартиры, чтобы реорганизовать ее.

Император хотел внести перемену в настроение армии, отвлечь ее мысли от понесенных потерь, убедив ее, что она еще в состоянии предпринять все, что угодно. Он хотел запугать оставшихся в Москве осведомителей Петербурга и прощупать настроение армии. Больше об этом проекте вопроса не поднималось, и мы остались в Москве. Тем не менее

речи короля произвели большое впечатление на императора, который с большим удовольствием повторял все, что он ему рассказывал, писал и продолжал ежедневно писать после возвращения в авангард, а именно, что русские потеряли всякое присутствие духа, что офицеры проклинают Польшу и поляков, а в Петербурге не придают значения этой стране, и даже высшие офицеры открыто заявляют, что там желают и требуют мира; это желание откровенно высказывают также и в армии; уже написали императору Александру и ожидают его ответа, и, наконец, Кутузов также настроен очень сильно в пользу мира.

Русские развлекали короля этими разговорами, парализовали своей предупредительностью его активность, и авангард, обмениваясь с неприятелем только любезностями, мало продвигался за день, что было по вкусу нашим войскам, так как они с неохотой покидали московские погреба и те удовольствия, которыми, как они знали, пользовались воинские части, оставшиеся в Москве, и в которых они еще продолжали принимать участие благодаря близости города и тому, что пока еще легко было посылать туда каждый день за припасами.

Император, продолжая с большим удовольствием рассказывать о том, что доносил ему король, тем не менее подвергал сомнению его сообщения о передвижениях русских:

— Они провели Мюрата. Не может быть, чтобы Кутузов оставался на этой дороге; он не прикрывал бы тогда ни Петербурга, ни южных губерний.

Император повторял это по всякому поводу и шутил над маневром Кутузова, в котором он, по-видимому, сомневался. Тщетно он предписывал королю настойчиво теснить неприятеля, тщетно он советовал ему не доверять русским и высылать крупные рекогносцировочные отряды, чтобы разузнать, что проектирует неприятель и по каким направлениям он продвигается. Напрасно также он заставил его выехать из Москвы раньше, чем король хотел; он сделал это из опасения, что без короля его генералы будут действовать недостаточно решительно.

Король, не желая отходить слишком далеко или не понимая, вероятно, всего значения приказов императора, действовал вяло, совершал очень небольшие дневные переходы и ограничивался как бы простой переменой места (я рассказываю то, что слышал тогда от императора). Чтобы оправдать свою медлительность, король заявлял, что он бережно относится к казакам, так как они не хотят больше сражаться против нас; если бы он даже и атаковал их, они, по его словам, не стали бы стрелять по нашим войскам; одним словом, они уже не обороняются и, по-видимому, не

сегодня — завтра покинут русскую армию; с другой стороны, король замечал, что крестьяне очень недовольны своим положением и многие из них поговаривают уже об освобождении. Князь Невшательский показал мне два таких письма, а император три или четыре: во всех письмах были одни и те же соображения. Император спросил меня, что я об этом думаю.

— Что над Неаполитанским королем издеваются, — ответил я.

Император и князь думали то же самое.

Видя, что он безрезультатно приказывает королю энергично теснить неприятеля, производить разведки в различных направлениях, чтобы установить, где находится Кутузов, и не доверять его маневрам, император образовал корпус из пехоты Даву и гвардейской кавалерии, к которой он присоединил дивизию ла Уссэ, и отдал этот корпус под командование герцога Истрийского.

Предполагая по-прежнему, что русские постараются прикрывать Калугу, император отправил герцога на Десну с приказом двигаться вперед до тех пор, пока его авангард не нападет на действительный след русской армии. Кроме того, нужно было отбросить неприятельские отряды, которые находились всего лишь в расстоянии одного перехода от Москвы и беспокоили нас, перехватывая даже наших фуражиров. Бессьер подошел к Десне 25-го, то есть в тот самый день, когда Понятовский вступил в Подольск, где к нему присоединился Неаполитанский король, освободившийся от своего заблуждения и поддерживавший операции, производившиеся по приказу императора в калужском направлении. До сих пор он все время вел переговоры с казачьими начальниками. Он подарил им свои часы, драгоценности и охотно отдал бы свою рубашку, если бы не открыл, что, пока эти милые казаки ублажали его и удерживали на Казанской дороге, русская армия под прикрытием их маневров уже пять дней тому назад перешла на Калужскую дорогу, совершив этот переход ночью при свете огней московского пожара.

19-го Кутузов занял позиции у Десны и укрепился там. Но в результате всех описываемых обстоятельств император только 26-го узнал, что неприятель действительно произвел маневр, о котором он подозревал. Пришлось примириться с тем, чему не удалось помешать. Император жаловался на короля и не щадил его ни в своих разговорах, ни в депешах, по должен был примириться с тем, что на его фланге находятся русские, движение которых по казанскому направлению он никак не мог себе объяснить.

Император рассказывал и раньше с различными подробностями, как казаки держали себя по отношению к Неаполитанскому королю. Теперь он

прибавил новые подробности, говоря при этом, что он "посоветовал бы своим послам быть столь же проницательным и ловкими, как эти дикие казачьи офицеры".

Как только король хотел двинуться вперед, к нему, по словам императора, тотчас являлся казачий полковник и уговаривал его не завязывать бесполезного сражения. "Мы вам больше не враги, — говорил он, — мы хотим мира, мы ждем лишь ответа из Петербурга". А если король упрямился, то полковник спрашивал его, до какого пункта он хочет дойти, чтобы сообразоваться с его желаниями. Короля спрашивали даже, где он хочет расположиться со своим штабом. А если мы атаковали, то русские отступали без сопротивления. В последние два дня условились даже, что казаки не будут разрушать тех деревень, которые король должен занять, и не будут ничего увозить с собой оттуда. Если король жаловался, что нет жителей и дома пусты, в тот же день в деревне, где он располагал свой штаб, он находил жителей на месте; все там было в порядке, все было приготовлено. А тем временем другие казаки, менее вежливые или неосведомленные об уговоре, захватывали лошадей, обозы и все продовольствие, которое король и его штаб выписывали из Москвы. Это сердило короля. Ему обещали удовлетворение.

Получив приказ поддерживать операции герцога Истрийского, король, рассерженный казаками, организовал разведку и в конце концов увидел, что перед ним только завеса; эти учтивые казаки, которые якобы собирались действовать вместе с нами, разыграли его, а русская армия, которая, как он думал, шла по Казанской дороге, уже занимала позиции в Калужском направлении и прочно утвердилась там. Доверчивость короля могла бы оказаться для нас роковой, если бы неприятель в ночь перехода с одной дороги па другую стремительно ударил по Москве; но так как эта доверчивость не имела таких прискорбных результатов, то император ограничился насмешками над ней. Если бы неприятель действовал смело, то это повлекло бы за собой неисчислимые последствия, так как он захватил бы нас врасплох среди беспорядка, вызванного грабежами и спокойной уверенностью в том, что русская армия — согласно донесениям короля — непрерывно отступает.

Император видел, что русская армия, разбитая под Москвой и, по словам короля, дезорганизованная и деморализованная взятием Москвы, в действительности занимала позиции достаточно близко от нас для того, чтобы наши войска не могли надеяться па отдых; император решил поэтому атаковать ее, если наступательное движение короля и герцога Истрийского, который вместе с поляками должен был поддержать короля,

окажется недостаточным для того, чтобы заставить неприятеля отойти. Он отдал приказ о выступлении. 27-го казалось, что неприятель хочет защищать свои позиции, и это побудило императора распорядиться, чтобы все было приведено в боевую готовность; но 29-го он узнал, что Кутузов, как он и ожидал, отступил к укреплениям, возведенным по его приказу за Нарой[173]. Бессьер возвратился к Москве. При этих передвижениях было несколько боев, окончившихся в нашу пользу; один из них принес большую честь польскому корпусу и князю Понятовскому.

23 сентября наши обозы были уже потревожены. Переговоры между казаками и нашими аванпостами еще продолжались, но император был этим недоволен и запретил их. Слухи разносили по Москве все, что говорилось при переговорах, и эти слухи доходили до императора. Дело показалось ему достаточно серьезным, чтобы обратить на него тщательное внимание. С особенным недоверием он отнесся к тому, что русские рассказывали во время переговоров с корпусом генерала Себастьяни.

— Единственная цель этих сообщений, — говорил император, — в том, чтобы напугать армию рассказами о морозах и расстоянием, отделяющим ее от Франции. Я знаю, эту воину изображают несправедливой и неполитической, а мое нападение — незаконным. Моих солдат пичкают миротворческими пожеланиями, рассказами об умеренности Александра о его особенной любви к Франции. Своими сладкими словами русские стараются превратить наших храбрецов в изменников, парализовать отвагу мужественных людей и завербовать для себя сторонников. Мюрат оказался в дураках, его провели люди, более ловкие, чем он. Его опьяняют знаки внимания и почтения со стороны казаков, что бы ему ни твердил Бельяр[174] и другие здравые люди. После того как он ошибся насчет движения Кутузова, он совершил бы еще новую, гораздо более серьезную ошибку, если бы я не навел порядок; но я прикажу расстрелять первого же, кто вступит в переговоры, хотя бы на нем был генеральский чин.

И в самом деле, в приказе было опубликовано запрещение вести переговоры с неприятелем под страхом смертной казни, но во внимание к обидчивости короля это запрещение было адресовано генералу Себастьяни.

Дело доходило до того, что возникло нечто вроде перемирия между аванпостами по молчаливому согласию; неприятель воспользовался этим, чтобы усыпить нашу бдительность и направить свои отряды к Смоленску, где они сожгли у нас 15 зарядных ящиков, не будучи в состоянии увезти их

с собой. Эти отряды задерживали эстафеты, тревожили тыл и были для императора одной из самых больших неприятностей, испытанных им в течение этой кампании. Мания переговоров заразила даже войска, находившиеся под командой герцога Истрийского. Император считал это в высшей степени нежелательным и сделал герцогу выговор даже за то, что он принял двух парламентеров; для предотвращения разговоров с неприятелем он запретил допускать новых парламентеров и приказал, чтобы письма, которые могли бы быть нам посланы, принимались патрулями.

— Все эти переговоры, — сказал он Бертье при мне, — приносят пользу только тому, кто их начинает, и всегда оборачиваются против нас.

Он предписал Бертье подчеркнуть это маршалу.

Император почти каждый день объезжал верхом различные районы города и посещал окружающие его монастыри, высокие стены которых делали их похожими на маленькие крепости. Он часто распространял эти разведки па довольно далекое расстояние. Монастыри были заняты сильными гарнизонами или же служили казармами для наших войск. Император приказал устроить в монастырских стенах бойницы с таким расчетом, чтобы оборону могли вести небольшие отряды, — на случай, если армия выступит из Москвы, чтобы дать сражение неприятелю.

Особое внимание император уделял продовольственным запасам не только для настоящего момента, но и на зиму, как если бы он решил оставаться в Москве. Он очень заботился о солдатах и их быте, а также об оборонительных работах, о которых он отдал распоряжение. Он работал весь день и часть ночи. Он управлял Францией и руководил Германией и Польшей так, как если бы находился в Тюильри. Каждый день с эстафетами приходили донесения и отправлялись приказы, дававшие направление Франции и Европе. Эстафетная служба достигла такой регулярности, что почта приходила по расписанию с точностью до двух часов.

После обеда император принимал маршалов, вице-короля и тех дивизионных генералов, которые могли в данный момент отлучиться от своих корпусов. Три-четыре раза в неделю он собирал за обедом вместе с маршалами нескольких дивизионных генералов. Во время послеобеденных разговоров император настраивал в подходящем для него духе своих собеседников и сообщал им те политические сведения, которые согласно его желанию должна была знать и обсуждать армия.

Французские актеры[175] , итальянские певцы, в том числе знаменитый обладатель сопрано Тарквинио, и иностранные ремесленники оставались в

Москве, так как они не знали, куда им деваться, когда началась эвакуация, о которой они узнали лишь в самый последний момент. Они потеряли все во время пожара и грабежей; Тарквинио едва удалось спасти один из своих костюмов. Император приказал помочь им. В них приняли участие все, но что могли сделать деньги там, где нечего было больше покупать? Люди нуждались в хлебе, в пище; подавляющая часть продовольствия стала собственностью тех, кому посчастливилось найти магазины и тайники, где были скрыты запасы; каждый из них хранил найденное для самого себя и для своих друзей. За деньги нельзя было получить ни хлеба, ни мяса. То, что оставалось в распоряжении администрации, было предназначено для госпиталей и для выздоравливающих; корпуса питались тем, что им удавалось раздобыть самим, и они старались ежедневно пополнять свое снабжение. Все пришли на помощь артистам и певцам; всем пришлось также кормить несчастных жителей, так как русские, подобно оставшимся в Москве иностранцам, погибли бы от голода, если бы мы не пришли им на помощь. Польские офицеры из гвардии, как, например, граф Красинский[176], зная русский язык, могли лучше, чем мы, идти навстречу нуждам несчастных русских. Своей гуманностью они приобрели большое уважение со стороны всех порядочных людей. Император хотел поставить во главе городской администрации в Москве более или менее видного русского, хотя бы в интересах оставшихся здесь несчастных людей. Он приказал разыскать подходящее лицо; но не нашли никого, кроме Тутолмина, который был слишком необходим во главе своего учреждения, для того чтобы возлагать на него другие функции.

Император давно уже не беседовал со мной, а князь Невшательский лишь в общих чертах знал о тех переговорах, которые собирался завязать император; поэтому я только позднее узнал о них. Император, встречая всегда с моей стороны оппозицию его взглядам, слишком часто показывал мне свое раздражение, и я даже не решался встретиться с Тутолминым. Что касается Загряжского и других русских, которых я приютил в это ужасное время, то я просил обергофмаршала предупредить об этом императора, дабы мои действия не были ложно истолкованы. Все эти люди были, впрочем, стариками и малозначащими лицами, давно уже не имевшими никакого отношения к русскому правительству. Император хотел использовать их в городской администрации. Несколько позже он даже намекал, что хочет их видеть, но они отказались от всяких должностей и отклонили честь, которую его величество хотел им оказать, сославшись с полным основанием на то, что им нечего надеть. Нельзя себе даже представить, до какой степени они были оборваны!

Некоторые из артистов решили, что они смогут организовать спектакль, который принесет им большие доходы, так как в Москве находится много скучающих от Праздности военных. Идея была одобрена, так как спектакль собрал бы людей вместе и доставил бы им развлечение. Император поручил де Боссе организовать и открыть спектакль, приказав ему купить старые занавеси и разные награбленные вещи, словом, всякие лохмотья, чтобы актерам было во что одеться. Тарквинио настойчиво желал петь для императора. Он пел два раза перед ним. Это происходило в совершенно домашней обстановке и продолжалось не более получаса; присутствовали только офицеры из свиты императора. Я считал, что могу позволить себе не являться на эти концерты, так как выходил из дому только для того, чтобы сопровождать императора во время его поездок верхом. Я много читал, и в книгах у меня недостатка не было, хотя особняк Голицына, где я устроил своих людей и свои экипажи, был разграблен сверху донизу в ту ночь, когда мы находились в Петровском. Я занимал в Кремле две маленькие комнаты, выходящие на южную террасу. За исключением больших покоев, мебели не было нигде, но мы покупали по дешевке мебель, спасенную из сгоревших домов или из мебельных складов, покинутых своими владельцами. За несколько наполеондоров я купил также портреты всех членов русской царской фамилии; из этих портретов солдаты устраивали себе шалаши на бивуаках.

Император все время жаловался, что не может раздобыть сведения о происходящем в России. И в самом деле, до нас не доходило оттуда ничего; ни один секретный агент не решался пробраться туда. Всякое прямое сообщение было очень трудно, даже невозможно. Ни за какие деньги нельзя было найти человека, который согласился бы поехать в Петербург или пробраться в русскую армию. Единственные неприятельские войска, с которыми мы приходили в соприкосновение, были казаки; как ни желал император раздобыть нескольких пленных, чтобы получить какие-либо сведения об армии, нам при стычках не удавалось их захватить. Единственные сведения о России, которые получал император, приходили из Вены, Варшавы и Берлина через Вильно. Эти сведения проделывали, таким образом, большой крюк, прежде чем доходили до императора.

Неаполитанский король по-прежнему повторял то, что — вне всякого сомнения, по указанию Кутузова — говорили казачьи офицеры, а именно, что "война надоела, русские желают мира, надо прийти к соглашению и нет никаких оснований продолжать борьбу". Король по-прежнему утверждал, что русская армия пала духом, офицеры, в особенности

генералы, изнурены, устали от войны и желают вернуться домой в Петербург, откуда все еще ожидают ответа. Таким способом подогревались надежды или, вернее, желания императора. Только вице-король и князь Невшательский говорили другим языком. Несмотря, однако, на прекрасные речи русских, император не получал никакого ответа на свои предложения. Но молчание русского правительства не вразумляло его насчет того, чего можно ждать от переговоров; ничто не могло его убедить. Россказни Неаполитанского короля, хотя он постоянно высмеивал их, поддерживали те надежды, которые он хотел сохранить вопреки соображениям, несомненно приходившим ему в голову так же, как и нам.

Погода стояла настолько хорошая, что местные жители удивлялись. Можно было сказать, что природа тоже вступила в заговор, чтобы обмануть императора. Его величество каждый день повторял, а когда я при этом присутствовал, то он говорил это с особенным подчеркиванием, что "в Москве осень лучше и даже теплее, чем в Фонтенбло". Император почти ежедневно ездил верхом, и едва ли хоть одна прогулка обошлась без нескольких иронических замечаний с его стороны по поводу погоды и температуры в Москве по сравнению с Францией, а к этим замечаниям он прибавлял на мотив одной из старых песенок, которым часто пользовался, чтобы подчеркнуть некоторые фразы или какие-нибудь меткие стихи, вставляемые им в разговор: "Легко соврать тому, кто прибыл из далеких стран". Но вслед за этим, опасаясь, как бы эти слова не обернулись против него самого, он иногда говорил, указывая на ярко светившее солнце:

— Вот образец ужасной русской зимы, которой г-н де Коленкур пугает детей.

Прошло уже три недели, как мы находились в Москве, а император до сих пор еще не сказал мне ни слова по поводу гибели моего брата, хотя он помянул его весьма почетным отзывом в бюллетене армии. — Что я могу сделать для адъютантов вашего брата? Таковы были его первые слова по поводу столь тяжкой для меня потери. И он прибавил:

— Они, должно быть, хорошие офицеры, потому что их генерал был храбрец. Он пошел бы далеко. — Я ответил, что представлю ему, как только он позволит, разные предложения о повышениях в чине и о наградах для них, а также для всех офицеров штаба главного командования и офицеров, состоящих при нем, для которых он пока еще ничего не сделал. — Представьте эти предложения сегодня, — таков был ответ императора, молчание которого о моем брате объяснялось лишь его раздражением против меня, так как он очень хорошо отзывался о нем в разговорах с князем Невшательским и Дюроком. Вечером после сражения,

в котором погиб мой брат, он сказал о нем князю Невшательскому:

— Он был лучшим из моих кавалерийских офицеров. Он отличался находчивостью и отвагой. Он заменил бы Мюрата в конце кампании.

Император согласился на все предложения, которые я сделал, в частности на предложения, касавшиеся адъютантов моего брата, но не сказал мне больше ни слова о нем.

Император был очень озабочен в эти дни полученным тогда сообщением о том, что в первых числах сентября русская армия, находившаяся в Молдавии, перешла Днестр[177] , а также донесениями о событиях, разыгравшихся на Двине. Русские захватили там инициативу. Хотя они были отброшены от Полоцка, когда атаковали его 18 октября, однако 19-го раненый маршал Сен-Сир[178] вынужден был эвакуировать город. Хотя он произвел прекрасный маневр, завершившийся всецело в нашу пользу, но возможные последствия этого дела беспокоили императора. Маршал герцог Тарентский[179] также имел жаркую схватку с русскими еще в конце августа, и одновременно с нападением на Полоцк русские атаковали также и Динабург (Двинск).

Финляндская дивизия генерала Штейнгеля[180] численностью в 10 тысяч человек, как и предвидел император, прибыла на русский фронт и поступила под командование Эссена, который подкреплял Витгенштейна. В командовании прусскими войсками Йорк[181] заменил Граверта.

Все получавшиеся императором донесения были серьезны; все должно было заставить его почувствовать трудности своего положения; но чем труднее оно ему казалось, тем более твердо и решительно он шел наперекор всему, считая, что может восторжествовать над всеми затруднениями и даже опасностями, угрожавшими ему со всех сторон, если будет проявлять уверенность в себе и сделает новые мирные предложения, так как они приведут если и не сразу к переговорам, то во всяком случае к перемирию, а оно повлечет за собой и переговоры, поскольку мы начнем разговаривать с русскими.

Мы в Москве находились не в лучшем положении, чем наши тылы. Госпитали и жители не сегодня — завтра должны были остаться без продовольствия. Герцог Тревизский требовал продовольствия, но администрация берегла спасенные ею небольшие запасы для более важных надобностей. Корпуса имели по большей части свои продовольственные запасы, но те ведомства, которые должны были получать снабжение от интендантства, так как они сами не имели ни солдат, ни транспортных средств, чтобы добывать продовольствие, находились в бедственном

положении. Император думал, что можно будет, как и в других странах, организовать здесь компании, которые делали бы поставки за деньги, точнее — за бумажки. Но там, где не удавалось организовать администрацию, нельзя было найти и поставщиков. Император не отступал перед трудностями и старался перешагнуть через них, как всегда, когда он не мог их преодолеть; он думал, что сможет использовать жителей, среди которых нужда сильно давала себя знать, и что казаки, мешавшие нашему снабжению, снизойдут к положению своих соотечественников; таким путем можно будет удовлетворять нужды жителей, а частично и наши собственные. Он приказал поэтому образовать русскую компанию, которая производила бы закупки в деревнях, но, хотя было объявлено, что расчет будет производиться наличными деньгами, никто не решался вступать в эту компанию, ибо никто не сомневался, что казаки будут церемониться с жителями Москвы не больше, чем с ее гарнизоном.

2 или 3 октября император, который уже очень давно не беседовал со мной о делах, спросил меня, как я думаю, готов ли будет император Александр заключить мир, если он сделает ему предложения. Он тогда еще ничего не говорил мне о тех предложениях, которые уже сделал. Я откровенно высказал ему свое мнение: принесение Москвы в жертву свидетельствует о не слишком мирных намерениях, а по мере того, как будет надвигаться зима, шансы все больше будут склоняться в пользу России; словом, нельзя считать вероятным, что русские сожгли свою столицу для того, чтобы потом подписать мир на ее развалинах.

— Хотите ехать в Петербург? — спросил меня император. — Вы повидаете императора Александра. Я передам через вас письмо, и вы заключите мир.

Я ответил, что эта миссия совершенно бесполезна, так как меня не примут. Тогда император с шутливым и благосклонным видом сказал мне, что я "сам не знаю, что говорю; император Александр постарается воспользоваться представившимся случаем вступить в переговоры с тем большей готовностью, что его дворянство, разоренное этой войной и пожаром Москвы, желает мира; он (император) не сомневается в этом. Этот пожар, — прибавил он, — безумие, которым безумец мог хвастать в тот день, когда зажег огонь, но в котором он назавтра же раскаялся; император Александр хорошо видит, что его генералы бездарны и самые лучшие войска ничего не могут сделать, когда ими командуют такие начальники".

Он настаивал, приводя еще новые доводы, чтобы убедить меня в своей правоте и уговорить принять это поручение.

Напрасно я приводил все те возражения, о которых говорил выше. Император ответил, что я ошибаюсь; он получает в настоящее время сообщения из Петербурга; там упаковывают вещи с величайшей спешкой; самые драгоценные предметы отправлены уже внутрь страны в даже в Англию[182] , император Александр не тешит себя иллюзиями; он видит, что его армия сильно уменьшилась и пала духом, тогда как французская армия в состоянии тотчас же двинуться на Петербург; погода стоит пока хорошая; если осуществится этот поход. Российская империя погибла; потерпев поражение, император Александр находится в очень затруднительном положении и ухватится обеими руками за предложение, сделанное нами, так как оно даст ему почетный выход из скверного положения, в которое он попал.

Видя, что ему не удается меня уговорить, император прибавил, что все побывавшие в России, начиная с меня, рассказывали ему всяческие сказки о русском климате, и снова стал настаивать на своем предложении. Быть может, он думал, что мои отказ объясняется лишь тем, что мне неловко явиться в Петербург, где ко мне так хорошо относились, как раз в тот момент, когда Россия подверглась такому разорению; основываясь на этом предположении, император сказал мне:

— Ладно. Отправляйтесь только в штаб фельдмаршала Кутузова.

Я ответил, что эта поездка увенчалась бы не большим успехом, чем другая. Я добавил еще, что помню все, что император Александр когда-то говорил мне; я знаю его характер и отказываюсь от поручения, которое император хочет па меня возложить, потому что я уверен, что Александр не подпишет мира в своей столице; так как этот шаг с нашей стороны оказался бы безрезультатным, то целесообразнее не делать его.

Император резко повернулся ко мне спиной и сказал:

— Хорошо. Я пошлю Лористона. Ему достанется честь заключить мир и спасти корону вашего друга Александра.

И действительно, вскоре император возложил это поручение на Лористона.

Лористон выехал в русскую главную квартиру 4 или 5 октября, был там прекрасно принят и получил обещание, что привезенное им письмо[183] будет переслано императору Александру.

Хотя Кутузов отказался пропустить его в Петербург, но, по впечатлению Лористона, все желали положить конец этой борьбе, которая изнурила русских, по-видимому, еще более, чем нас. Говорили, что вскоре получится ответ из Петербурга, и император был в восторге, так как он

возлагал свои надежды па приостановку военных действий, во время которой можно было бы вести переговоры. Он считал, что останется лишь, как это бывало в подобных случаях, наметить демаркационную линию для противников на время переговоров.

Как говорили мне князь Невшательский и Дюрок, император объяснял молчание императора Александра по поводу предложений, посланных ему из Смоленска[184] и из Москвы, только лишь тем, что русские после отъезда Балашева из Вильно убеждены, мол, что он не пойдет ни на какое соглашение, которое не было бы в известной мере построено на принципе восстановления Польши. Однако он начинал допускать, что события и пожары могли вскружить русским голову и что пожар Москвы вызвал среди них воодушевление, по крайней мере на некоторое время. Он стал даже сомневаться, что они пожелают принять его уполномоченного, и в ночь перед отъездом Лористона приказал написать Неаполитанскому королю, чтобы он сообщил русским, что император посылает одного из своих генерал-адъютантов, и заранее точно осведомился, примут ли его. В глубине души он по-прежнему лелеял надежду, что переговоры состоятся; по крайней мере так он говорил, и можно было ему верить, ибо он оставался в Москве, несмотря на то что до сих пор не было получено ответа ни на одно из его предложений, а между тем, и время, истекшее после его первых шагов в этом направлении, и голос рассудка воочию доказывали, что Александр не хочет вступать в переговоры. А он упорно собирался все же предпринимать новые шаги.

Император чувствовал, как и все остальные, что его повторные послания разоблачают затруднительность его положения и лишь укрепляют враждебные планы неприятеля. И, однако, он отправлял новые послания. Какая слепая вера в свою звезду и, можно сказать, в ослепление или слабость противников должна была быть у этого столь здравого и расчетливого политика!

Неаполитанский король, который, несмотря на запрещение, продолжал вести переговоры, по-прежнему доносил, что казаки не хотят больше воевать, а русская армия желает мира и считает, что она находится в достаточно хорошем положении, чтобы заключить выгодный мир, так как к ней пришли подкрепления; Кутузов и все генералы писали об этом императору Александру и убеждали его выслушать наши предложения.

Эти рассказы слишком соответствовали желаниям императора Наполеона и потому давали пищу надеждам, которые погубили его. Русские офицеры действительно занимали короля подобными сказками. Казаки, научившись распознавать короля по пышному костюму и

различать его в рядах стрелков как самого храброго из бойцов, обычно переставали стрелять по тому направлению, где он показывался. А офицеры приезжали, чтобы говорить ему комплименты, и по-прежнему уверяли, что, восторгаясь его отвагой, они дали себе слово никогда не стрелять в него, но постараться захватить в плен. Как-то раз, однако, один казак, по-видимому, плохо посвященный в тайны этой новой политики аванпостов, выстрелил в короля из пистолета почти в упор, когда его величество, рассчитывая на состоявшийся уговор, прогуливался, с кем-то беседуя. К счастью, пуля его не задела. Казачьи офицеры тотчас же явились принести ему извинения и заверить, что недобросовестный противник будет наказан. Этот случай принес пользу. Король стал менее доверчивым и отныне меньше верил в мирные намерения этих господ.

То, что я теперь расскажу, было подтверждено мне князем Невшательским и герцогом Фриульским и доказывает, что император, которого удерживали в Москве надежды на мир, не обманывался насчет своего положения, хотя он и старался внушить иллюзии многим лицам, в том числе и мне. Он, правда, говорил нам, что "позиции в Москве с ее развалинами и сохранившимися в ней запасами предпочтительнее всяких других позиций в России; мир можно заключить только в Москве; погода превосходна, насчет климата мы ошибались, и осень в Москве еще лучше, чем в Фонтенбло". Но с первых же дней своего прибытия в Москву в разговорах с людьми, которые в это время имели честь пользоваться его особым доверием, он говорил, что "Москва — плохая позиция, и надо оставаться здесь лишь в течение времени, необходимого для переформирования войск; австрийцы и пруссаки — наши союзники, на которых возложена задача защищать наши тылы, — сделаются самыми опасными врагами при малейших наших неудачах".

Хотя он ясно оценивал положение, но был так увлечен и до такой степени любил тешиться собственными иллюзиями и надеждами, что по-прежнему убаюкивал себя ожиданием ответа от императора Александра или по крайней мере ожиданием переговоров с Кутузовым о перемирии, которые привели бы к соглашению также и по другим вопросам. Можно сказать, что именно затруднительность положения мешала ему видеть опасности, хотя последующие события помогли ему открыть глаза и побудили пойти навстречу опасностям, которые ему угрожали.

В самом деле, князь Невшательский получил в те дни от князя Шварценберга вместе с донесением записку, которая заставила его призадуматься, а когда он показал ее Дарю, Дюроку и мне, она поразила нас не менее, чем его.

Всем известные лояльность и благородные чувства князя Шварценберга придавали большое значение полученному от него сообщению. Вот приблизительный смысл этого сообщения: "Положение и сейчас затруднительно, но может сделаться еще более серьезным; впрочем, каковы бы ни были события, князь Шварценберг заверяет князя Невшательского, что он может полагаться на его личные чувства и на то, что он всегда высоко ценил и будет ценить всякие отношения с ним". Император, разговаривая с Бертье по поводу этой записки, сказал ему:

— Это возвещает подготовку к отпадению при первом же удобном случае, если только оно не началось уже. Австрийцы и пруссаки — враги, находящиеся у нас в тылу…

Он замолчал, подумал несколько мгновений и добавил:

— Жребий брошен. Таков высший закон судьбы, решающий все…

Бертье заметил императору, что необходимо как можно скорее осуществить его первый проект: покинуть Москву и отойти поближе к Польше, так как это поставит преграду всяческим злым умыслам и удвоит наши силы.

— Вы хотите съездить в Гробуа, хотите повидать Висконти, — ответил ему император[185].

Заметив, что Бертье обиделся, он добавил:

— Это письмо — сентиментальная чепуха. Шварценберг сентиментальничает с вами, потому что он предпочел бы охотиться на фазанов у вас в Гробуа или у себя в Богемии, чем терпеть каждое утро неприятности от Тормасова. Маре, со своей стороны, очень доволен Шварценбергом. Маре вполне в курсе дела. В Вене все в порядке, и даже пруссаки прекрасно сражаются. Если бы что-нибудь было, то Маре, в руках которого все источники информации, знал бы об этом. А он доволен; он доносит мне, что все в порядке, и мы будем ожидать в Москве ответа от Александра; со своим сенатом и Кутузовым, которого ему навязали, он находится в гораздо более затруднительном положении, чем я.

Тогда как в нашем штабе мечтали о переговорах и о мире, казаки нападали на наших фуражиров и каждый день захватывали их почти у самых ворот города. Они появились также между Можайском и Москвой. Несколько человек, ехавших в одиночку, подверглись преследованию, а некоторые были захвачены казаками; один раз эстафета опоздала на 15 часов, что крайне взволновало императора. Каждые четверть часа он посылал за мной и за начальником штаба, чтобы спросить, не узнали ли мы чего-нибудь насчет причин этого опоздания. Я воспользовался случаем, чтобы возобновить просьбу об эскорте для эстафет хотя бы из двух

человек, с которой обратился к нему после нашего прибытия в Москву; но, для того чтобы организовать такой эскорт на всех перегонах, понадобились бы довольно значительные силы, а так как численность кавалерии уже сильно сократилась, то император счел. возможным разрешить вопрос заявлением, что такая предосторожность является излишней, ибо путь вполне безопасен.

Через три дня почтальона, ехавшего с эстафетой в Париж, обстреляли за Можайском и преследовали на протяжении двух лье. Тогда император срочно послал отряды, о которых я его просил.

В Можайске, окруженном неприятельскими отрядами, находился большой госпиталь; город был занят корпусом герцога д'Абрантес; вдоль дороги, по которой ежедневно прибывали из Франции большие воинские части и обозы, были расположены эшелонами другие войска. Как я уже сказал, малейшее запоздание парижской почты раздражало и беспокоило императора не потому, что неприятель мог извлечь какую-либо действительную выгоду из захвата депеш (все сколько-нибудь значительные депеши были зашифрованы), — ему было неприятно, что коммуникационные пути, связывающие его с Францией, находятся под угрозой, и он знал, какое впечатление во Франции и в остальной Европе должно было произвести сообщение, что неприятель находится у нас в тылу.

Император был очень озабочен и начинал, без сомнения, сознавать затруднительность положения, тогда как до сих пор он старался скрывать это даже от себя. Ни потери, понесенные в бою, ни состояние кавалерии и ничто вообще не беспокоило его в такой мере, как это появление казаков в нашем тылу. При беседах во время прогулки, а также вечером после обеда, когда собирались обычно приглашенные им маршалы, генералы и видные лица из числа придворных, император по-прежнему говорил о хорошей погоде, о том, как мы проведем зиму в Москве, о блокгаузах, которые он построит, чтобы обеспечить безопасность тех пунктов, где расквартированы войска, и таким образом охранять эти пункты, не утомляя солдат и не заставляя их мерзнуть, о своем проекте оттянуть кавалерию за линию фронта, о польских казаках, которых он ожидал и собирался противопоставить русским. Император говорил также во всеуслышание о своем плане немедленного наступления на Кутузова, чтобы отбросить его и дать, наконец, отдых армии. Он говорил также, что, по сообщениям Бассано, в Польше произведены большие рекрутские наборы и вскоре прибудут 6 тысяч польских казаков.

Он перечислял французские дивизии, которые уже шли на

подкрепление корпусов, стоявших на Двине, а также называл несколько дивизий, предназначенных для прикрытия нашей коммуникационной линии, на которой они должны были расположиться эшелонами. Император намеревался организовать новую коммуникационную линию, связывающую нас с Францией и проходящую через менее истощенные области. Он говорил князю Невшательскому, что ждет лишь результатов движения против Кутузова и ответа на свои мирные предложения. Нам он говорил, что ожидает результатов операций, которые должны быть осуществлены корпусами, стоящими на Двине. При общих беседах император говорил об Австрии как о государстве, которое питает наилучшие намерения и искренно желает нам успеха, рассчитывая вновь получить приморские провинции и увидеть в центре Европы буферную державу, заинтересованную в том, чтобы сдерживать русского колосса, пугающего Австрию.

В этот период император приказал собрать транспортные средства для эвакуации раненых генералов и офицеров, которые не могли в ближайшее время возвратиться в строй. Вместе с ними должны были отправиться перенесшие ампутацию солдаты и отобранные во всех полках унтер-офицерские кадры для новых корпусов, организуемых во Франции. В доставке лошадей и экипажей должны были участвовать все. Император показал пример. Так как санитарное управление армии существовало только на бумаге, то его начальник генерал-лейтенант де Нансути, тоже раненный, был назначен начальником этого транспорта; транспорт перешел через Неман еще до наступления жестоких морозов и благополучно прибыл во Францию. В связи с этой эвакуацией император затребовал от главного интенданта сведения о том, сколько времени ему понадобится, чтобы дойти до Немана, и был очень недоволен его вычислениями: быть может, он не хотел признать, что находится так далеко от своего исходного пункта, а может быть, он подумал, что когда другие произведут такие же вычисления, то они им не понравятся. Он выразил сомнение в правильности этих расчетов и был очень рассержен ими, как будто от графа Дюма[186] зависело сократить расстояние до Немана.

На предложение о мире по-прежнему не было никакого ответа, а казаки продолжали беспокоить нас в окрестностях Москвы. Дело дошло до того, что они захватили в предместьях города людей и лошадей, отправленных за продовольствием. Пришлось отправлять вместе с транспортами, едущими за продовольствием, большой кавалерийский и пехотный конвой. Почтальоны с эстафетами часто подвергались

преследованию. Некоторым из них лишь с трудом удавалось спастись, да и то потому, что казаки не отдавали себе отчета в значении этой корреспонденции, доставка которой была один раз прервана в течение 48 часов. Часто эстафеты были обязаны своим спасением только лишь выносливости лошадей и мужеству отважных французских курьеров, которых не могла остановить никакая опасность, ибо спасение и доставка депеш по назначению были для них делом чести. Задержки и опасности, грозившие нашей почте на каждом шагу, производили большое впечатление на императора.

Хотя он даже князю Невшательскому не давал никаких поводов подозревать что-либо о его планах отступления, я лично думаю, что именно в это время император решил эвакуировать Москву и перебраться в Витебск, чтобы вновь занять ту линию, на которой он раньше хотел остановиться, и расположить войска на зимних квартирах. Уже приняв такое решение, он, к несчастью, откладывал его исполнение, хотя и понимал всю срочность дела, так как дороже всего была для него вера в желанный успех. Он не мог поверить, что судьба, которая так часто ему улыбалась, совершенно отвернулась от него как раз в тот момент, когда он должен был просить у нее чуда. Он по-прежнему хотел надеяться, что предпринятые им шаги приведут к переговорам. Повторяю еще раз, что в жертву этой надежде он принес драгоценнейший момент, и мы все еще оставались в Москве, а между тем в этот момент можно было бы спасти армию, так как если бы она выступила тогда, она успела бы прийти в Вильно, еще до наступления зимних холодов.

Вместо того чтобы улучшаться, наше положение с каждым днем все более усложнялось из-за новых задач, навязанных нам близостью неприятеля и нападениями его многочисленных легких отрядов.

Мы все время должны были держаться настороже; артиллерия, очень изнуренная и сильно поредевшая, не знала ни минуты отдыха; ее лошади, кроме дежурных, точно так же как и кавалерийские лошади, отправлялись за дровами или за фуражом, а люди — за продовольствием. Неприятель все время тревожил наши коммуникации за Гжатском и часто прерывал их между Можайском и Москвой. Недалеко от помещичьего дома в Малой Вяземе, где император ночевал накануне своего прибытия в Москву, подвергся нападению наш артиллерийский обоз, и несколько зарядных ящиков были захвачены. В этих прелюдиях все видели предвестие новой системы, цель которой — изолировать нас. Нельзя было придумать систему, которая была бы более неприятной для императора и поистине более опасной для его интересов. Мы говорили ему об этом — князь

Невшательский, вице-король и я (если я смею назвать самого себя наряду с такими военными авторитетами).

Обстоятельства казались мне столь серьезными, что я счел своим долгом выйти из рамок замкнутости, которые я сам установил для себя уже с давних пор. Я попросил императора об аудиенции. Так как я видел его и сопровождал при поездке верхом каждый день, то он, казалось, был удивлен этим торжественным ходатайством и, тотчас же назначив мне просимую аудиенцию, сказал мне:

— Что случилось такое необыкновенное и срочное? Мои соображения об опасностях пребывания в Москве и об опасностях зимы, если нам придется двигаться во время морозов, были приняты им на сей раз с большей благосклонностью, чем он проявлял ко мне в течение долгого времени, но за ними не последовало пока ни таких рассуждений, ни такого ответа, которые позволили бы мне разгадать его намерения.

— Коленкуру кажется, что он уже замерз, — сказал император Дюроку и князю Невшательскому, когда рассказывал им о моей аудиенции.

Князь Невшательский и вице-король также говорили императору обо всех неудобствах и даже об опасностях, связанных с дальнейшим пребыванием в Москве.

Беззаботность наших войск, не желавших беречь себя, была еще одной лишней бедой при том положении, в котором мы находились; я не сомневаюсь, что император думал то же самое, что и мы, но так как из этого тяжелого положения трудно было выйти, то он продолжал питать надежду на переговоры и, словно зачарованный, оставался в Кремле.

24 сентября Можайская дорога была совершенно перерезана корпусом русских драгун и казаков. Император направил туда несколько гвардейских стрелковых и драгунских эскадронов, и у них был ряд столкновений с русской кавалерией. Наши драгуны, одержав верх, слишком далеко преследовали неприятеля, были окружены и должны были уступить численному превосходству русских. Командовавший эскадронами Марто, несколько других офицеров, драгуны и часть двух сводных эскадронов попали в плен[187]. Эта маленькая неудача, которую потерпела гвардия, хотя она и сражалась с большой отвагой, была неприятна императору не меньше, чем проигрыш настоящего сражения. Правда, и на всех остальных этот случай произвел тогда больше впечатления, чем выбытие из строя 50 генералов в сражении под Москвой.

Смоленская дорога была перерезана неприятельскими отрядами еще и в других пунктах; таким образом, мы не имели больше надежного

коммуникационного пути, связывающего нас с Францией. Вильно, Варшава, Майнц, Париж уже не получали каждый день приказов монарха великой империи. Император напрасно ожидал в Москве сообщений своих министров, донесений губернаторов, новостей из Европы. На всех лицах было написано, что никто не думал о возможности такой помехи. Мы готовы были драться ежедневно за кусок хлеба, отправляться за охапкой сена с риском попасть в плен и оставаться в России с риском замерзнуть зимою. Мы свыклись с возможностью, или, точнее, с вероятностью, всех этих приключений, но не привыкли к мысли о том, что ожидаемое письмо из Франции не будет получено. Генерал де Сен-Сюльпис, посланный во главе нового отряда конной гвардии, восстановил наши коммуникации.

К концу этого месяца, который мы — и это было весьма неблагоразумно провели в Москве, французская армия располагала еще боеспособными силами численностью в 95 тысяч человек. В этот счет входило 5 тысяч пехоты старой гвардии и 10 тысяч молодой гвардии, 4 тысячи гвардейской кавалерии и 10 15 тысяч армейской кавалерии. Из 500 орудий, которыми еще располагала армия, больше половины были вполне обеспечены лошадьми. В московских госпиталях находилось 15 тысяч французов; в Можайске были тяжело раненные в сражении под Москвой. Продолжались работы по приведению Кремля в оборонительное положение. В первых числах октября там была уже батарея из 10 орудий, а в монастырях вокруг города были устроены бойницы.

Хотя император к тому времени почти решил покинуть Москву, но широкие политические замыслы, удерживавшие его там, помешали ему принять какую-либо из мер, необходимых для обеспечения этого отступления; он думал, что объявленный им план провести зиму в Москве и организовать страну испугает неприятеля и внушит ему больше охоты к переговорам, а этого император с полным основанием желал больше всего. И словами и действиями он старался убедить всех в правильности своих предположений.

Он хотел во всяком случае отметить в Париже свое пребывание в Москве какими-нибудь трофеями и осведомился, какие предметы можно было бы, по его выражению, послать во Францию на память об успехах нашего оружия. Он сам осмотрел весь Кремль, колокольню Ивана Великого и соседнюю с ней церковь.

Поляки все время говорили Александру, что церковь Ивана Великого высоко почитается русскими и с нею связаны даже различные суеверия. Железный крест на колокольне церкви, говорили императору, служит предметом почитания всех православных. В результате этих разговоров

император приказал снять крест. Это трудно было сделать, так как не оказалось рабочих, которые Согласились бы взобраться на такую высоту. Князю Невшательскому, как и всем нам, претило отнимать у разрушенного города часть единственного памятника, оставшегося нетронутым. Император повторил свой приказ и поручил его выполнение гвардейским саперам. Отныне трудностей не существовало, и крест был частично отделен от колокольни, но не был спущен, а упал с нее. К этому железному кресту присоединили еще некоторые предметы, которые, как предполагалось, употреблялись при коронации русских императоров, а также две старые пушки, на которые заявили претензию поляки, утверждая, что когда-то русские отняли эти пушки у них, но пушки остались на своем месте, так как мы не нашли в России ни одной лошади для замены потерь в нашем конском составе, а у нас не было лошадей даже для того, чтобы запрягать наши собственные артиллерийские орудия. Поляки удовольствовались старинными знаменами, отнятыми у них когда-то русскими и хранившимися в кремлевском арсенале.

Переговоры по-прежнему не начинались. На Двине наше положение сделалось более трудным в связи с отступлением, к которому нас принудили прибытие подкреплений к Витгенштейну и ранение маршала Сен-Сира[188] . Положение могло и должно было стать еще более серьезным после предстоявшего вскоре появления у нас в тылу русской армии из Молдавии; численность этой армии император определял в три дивизии в составе 20 тысяч человек. Назначения этой армии не знали, и император тогда не очень беспокоился по этому поводу, считая, что главнокомандующий, навязанный государю определенной партией, слишком заинтересован в поддержании своего престижа при помощи лично им одержанных успехов и поэтому, имея право распоряжаться всеми военными силами, подтянет к своему расположению лучшие войска. Так как наше положение усложнялось, то император решил вызвать свои резервы, оставленные на Немане, и 6 октября по его распоряжению герцогу Беллюнскому, который перешел Неман 4 сентября, был послан приказ согласовывать свои действия с герцогом Бассано в Вильно. Этот министр, пользовавшийся полным доверием императора, направлявший и знавший все дела, мог дать герцогу Беллюнскому самые точные указания и сообщить ему все сведения как частного, так и политического характера, которых не могло быть в депешах.

Начальник штаба предписал герцогу Беллюнскому расположиться между Оршей и Смоленском с таким расчетом, чтобы прикрывать Вильно и составлять резерв Сен-Сира, если он окажется под ударом в Полоцке,

резерв Шварценберга, если Тормасов будет его теснить, и даже в случае надобности — резерв великой армии, находящейся в Москве. Герцог получил в свое распоряжение, кроме имевшихся у него трех дивизий, еще вестфальскую бригаду из Вильно и войска Домбровского[189] , у которого было не меньше 6 тысяч человек пехоты и 12 тысяч польских кавалеристов, набранных недавно в районе Минска.

В то же время в Варшаве была организована под командой генерала Дюрютта 32-я пехотная дивизия, составленная частично из немцев, а 34-я дивизия, которой командовал генерал Луазон, получила приказ покинуть Кенигсберг и перейти в Вильно. Все наши силы сосредоточивались и располагались, следовательно, с таким расчетом, чтобы поддержать нас и отражать опасности, которые могли угрожать нашему тылу.

Маршал герцог Беллюнский оставил генерала Барагэ д'Илье в Смоленске и в связи с разыгравшимися на Двине событиями принял на себя командование корпусом раневого маршала Сен-Сира; генерал Легран отказался взять на себя это командование; зато генерал Мерль не спеша привел корпус в Чашники, несмотря на превосходство сил неприятеля, не решившегося теснить его. Там он соединился с герцогом Беллюнским, который прибыл 27 октября в Смоленск. Таким образом, под командою маршала соединились 2, 6 и 9-й корпуса; одни только 2 и 9-й корпуса насчитывали больше 36 тысяч человек.

Письма князя Шварценберга от конца сентября подтверждали, что молдавская армия выступила в поход; он сообщал, что эта армия предназначена для усиления корпуса, оперирующего против него, но император, по приведенным выше соображениям, не верил в это.

Он торопил свою двинскую армию, чтобы она поскорее возобновила наступление, но так как две дивизии были двинуты по ложному направлению, то операция, назначенная на 30 октября, не удалась, а 31-го Витгенштейн воспользовался этим, чтобы отбросить нас за Лукомлю[190].

По возвращении Лористона император разговаривал со мной о его миссии и на этот раз начал разговор благосклонным тоном, к которому я не привык.

— Император Александр, — сказал он, — упрямится; он раскается в этом. Никогда не получит он таких хороших условий, как те, которые я предложил бы ему в настоящий момент. Он наделал себе достаточно бед тем, что сжег свои города и свою столицу, и я не стал бы уже ничего у него требовать. Конфискация английских судов обошлась бы ему дешевле. Если поляки не поднимают поголовного восстания против русских, то и

Франция, со своей стороны, принесла уже достаточно жертв ради них, и я могу покончить с этим делом и заключить мир, учитывая, конечно, их особые интересы. Я атакую Кутузова.

Если я его побью, а так, вероятно, и будет, то император Александр подвергнется большому риску. Сегодня он мог бы покончить дело одним словом. Но кто знает, что будет в следующую кампанию? У меня есть деньги и больше войск, чем мне нужно. Ко мне прибудут скоро 6 тысяч польских казаков, а в следующую кампанию у меня их будет 15 тысяч. У меня уже есть опыт этой войны. Моя армия ознакомилась на опыте со страной и с войсками, с которыми ей придется иметь дело. Это — неисчислимые преимущества. Если я расположусь на зиму здесь и в Калуге, даже в Смоленске или Витебске, то Россия погибнет. Как и в Остероде, я принес в жертву все соображения престижа, и теперь мне остается лишь преследовать интересы моей системы и той великой политической цели, которую я поставил перед собой. Если бы император Александр поразмыслил, то он понял бы, что ему может дорого обойтись его образ действий, когда он имеет дело с человеком моего склада, которому не приходится больше с ним стесняться, потому что он не ответил ни на одно из моих предложений. Вы нехорошо сделали, что не приняли на себя это поручение: вы бы заставили их слушаться голоса рассудка.

Я вновь сказал ему, как и при предыдущем разговоре, что меня пожелали бы выслушать не больше, чем Лористона. Я добавил, что Кутузов, на котором лежит большая ответственность, быть может, хотел бы вступить в переговоры, чтобы поскорее избавиться от этой ответственности, но я сомневаюсь, чтобы ему это было разрешено; возможно также, что его любезные слова являются нарочитой игрой с целью внушить нам надежду на соглашение в близком будущем и усыпить императора в Москве; в Петербурге сознают свои преимущества и наши затруднения. При слове "усыпить", как и при слове "затруднения", император вздрогнул.

— Что это за "наши затруднения"? — спросил он сердитым тоном.

Но тотчас же переменив тон, он с явным волнением предложил мне пояснить, что я разумею под "нашими затруднениями".

— Прежде всего, государь, — ответил я, — большим затруднением будет зима, затем недостаток складов, лошадей для вашей артиллерии, транспортных средств для больных и раненых, плохое состояние одежды ваших солдат. Для каждого потребуется тулуп, меховые перчатки, шапка, закрывающая уши, длинные чулки и сапоги, чтобы они не отморозили себе

ног. Ничего этого у вас нет. Для лошадей не заготовлены подковы с шипами. Как они потащат артиллерийские орудия? Я мог бы до бесконечности говорить на эту тему перед вашим величеством. Потом перерыв наших коммуникаций. Пока еще погода хороша, но что будет через две недели или месяц, а может быть, и раньше?

Император слушал меня. Я видел его нетерпение, но все же он позволил мне говорить. Мои замечания, основанные на предположении о нашем отступлении, рассердили его, по-видимому, не меньше, чем слова "усыпить" и "затруднения", причем особенно он был недоволен тем, что я проник в его мысли. Потом он сказал:

— Значит, вы думаете, что я покину Москву?

— Да, государь.

— Это еще не наверное. Нигде мне не будет лучше, чем в Москве.

И он начал подробно перечислять преимущества, которые дает этот город благодаря тому, что здесь сохранились приспособленные для всяких нужд здания; по словам императора, надо предпочесть Москву всякому другому месту. Он говорил о способах снабжения, о тех запасах, которые еще сохранились в Москве, и о тех, которые он дополнительно собрал здесь. Правда, он подробно остановился и на тех затруднениях, которые испытывало наше снабжение из-за казаков, но, по его мнению, такие же затруднения будут везде, пока он не получит польских казаков, чтобы противопоставить их русским; отсюда он делал вывод, что, не говоря уже о больших политических выгодах пребывания в Москве, эту позицию надо предпочесть еще и со многих других точек зрения, хотя бы из-за тех приспособленных зданий, которые были здесь спасены от пожара. Что же касается нападений казаков, то, по его словам, он имел возможность устранить эту помеху при помощи пехотных отрядов, которые он разместит в блокгаузах с таким расчетом, чтобы они образовали оборонительную линию; все это он организует после сражения, которое даст Кутузову, чтобы отбросить его и обрести спокойствие. Он соглашался, что очень неприятно, когда нас тревожат на наших коммуникационных путях, начиная от самых дверей штаба главного командования, и с этой точки зрения было бы выгодно отойти ближе к Смоленску, то есть поближе к своим остальным корпусам, резервам и базам, тогда как неприятель будет ослаблен, отдалившись от организованных им баз; но он подчеркнул со свойственной ему глубиной мысли, что этот вопрос является одновременно и политическим и военным, а поэтому надо хорошенько взвесить все соображения, прежде чем принять какое-либо решение; как мне показалось, он склонялся в пользу пребывания в Москве.

Император все время возвращался к вопросу о том, как он использует зимою польских казаков, подкрепив их пехотными постами в блокгаузах, чтобы обеспечить армии спокойствие. Это была его излюбленная идея. Так как мир можно заключить только в Москве, то он обдумывал всяческие способы, чтобы держаться в Москве, подобно человеку, который, поверив, что он преследует выгодные и даже необходимые цели, долго обдумывает дело и в конце концов начинает верить в его возможность, убеждается в этом и хочет, чтобы другие тоже были убеждены. Исходя из этих предположений, он говорил о возможности расположить армию в Калуге и о большом наступлении на этот город (причем в Москве останется только гарнизон), хотя бы для того, чтобы посмотреть, что будет делать русская армия. Он жаловался, что наборы в Польше проходят медленно, что г-н де Прадт ничего не делает, не выполняет задач представительства, ничего не соображает и своей скупостью и бестактностью испортил все дела в Варшаве.

— Если бы я послал Талейрана, — прибавил он, — то у меня было бы уже 6 тысяч казаков и мои дела тотчас же приняли бы другой оборот.

Все свои затруднения он приписывал исключительно помехам со стороны казаков и при этом твердил, что у него больше чем нужно сил, чтобы разбить Кутузова и двигаться куда ему угодно.

Трудности, связанные с зимою, с абсолютным отсутствием всего необходимого для защиты людей от морозов и т. п., не принимались им, в расчет.

— Вы не знаете французов, — говорил он мне, — у них будет все, что нужно; одна вещь будет заменять другую.

Он высмеивал мои соображения о подковах для лошадей, уверяя, что наши артиллерийские и кавалерийские офицеры и наши кузнецы не менее хитроумны, чем русские. Много раз, однако, он говорил о том, что было бы выгодно отойти ближе к своим корпусам, стоящим на Двине, но главным образом для того, чтобы внушить им ту энергию, которую он не в состоянии был передать им на расстоянии. Он жаловался, что генералы не умели полностью использовать находящиеся в их распоряжении силы. Император, казалось, говорил с полным доверием ко мне и даже с полной непринужденностью. По его словам, ни один из маршалов, за исключением герцога Далматского[191] и маршала Сен-Сира, не был способен руководить армией, насчитывающей 30 тысяч человек.

— У императора Александра, — сказал он, — есть отчасти лучшие помощники, чем у меня, так как Витгенштейн хотя и сделал несколько глупостей, но частенько маневрировал лучше, чем его противники. Герцог

Реджио храбро сражается на поле битвы, но он самый посредственный, самый бездарный генерал, какой только существует. Сен-Сир — человек талантливый, но теоретик; он видит только то, чем занят сейчас, а между тем при таких крупных операциях, как теперешние, нужно, чтобы все сочеталось в единую систему.

В заключение он с полной уверенностью сказал, что ответ из Петербурга придет и во всяком случае Кутузов заключит перемирие с Лористоном; при таком положение вещей, если он уйдет из Москвы, то потеряет все свои преимущества; этот отход даже помешает ему получить ответ и добиться результата; эвакуировать Москву значило бы признать себя побежденным, тогда как в действительности он был победителем во всех сражениях; таким путем он отнял бы у себя возможность заключить мир. Он добавил, что император Александр остережется позволить ему провести зиму в Москве, откуда он сможет заняться организацией страны; оккупация Москвы — не пустая вещь для русских помещиков, так как она лишает их доходов; крестьяне, которых заставили бежать из своих деревень, объедают губернии, в которые их направили. Русские не могут долго переносить такое положение вещей; Кутузов и его генералы знают это очень хорошо и желают мира; эти соображения мешают ему, между прочим, атаковать Кутузова в настоящий момент: впрочем, погода стоит такая хорошая, что он решит этот вопрос в ближайшие дни.

— Зима не начинает свирепствовать сразу в течение 24 часов, — сказал он. Мы не так привыкли к здешнему климату, как русские, но, по существу, мы здоровее их. В сущности осень еще не прошла, и будет много хороших дней, прежде чем наступит зима.

— Не верьте в это, государь, — ответил я. — Зима ворвется внезапно, как бомба, и при том состоянии, в котором находится армия, ничего не может быть страшнее.

Из этого разговора слишком ясно видно, на что император надеялся, чего он желал, к чему он стремился, и нет никакой надобности прибавлять сюда какие-либо пояснения. Ясен мотив, который заставлял его оставаться в Москве, ясно даже, почему он не наступал немедленно на русскую армию, которую он — при всех предположениях — хотел разбить прежде, чем начать какое-либо движение. Должно быть, он очень сильно рассчитывал на мир или по крайней мере на перемирие, так как ему небезызвестно было, что к русским прибывали многочисленные подкрепления, и это поднимало их дух, тогда как небольшие стычки и перерыв наших сообщений действовали на наше настроение в обратном смысле. Можно сказать определенно (у императора никогда не было двух

мнений на этот счет), что он решил атаковать русских, псе равно, придется ли ему отступать или расположиться на зиму в Москве, либо где-нибудь в другом месте. На случай победы он склонялся к тому, чтобы оставаться в Москве, а в случае поражения или при отсутствии решающего успеха он считал необходимым сражаться дальше против Кутузова и думал, что сможет удержаться в Смоленске. На этом мнении до сражения под Винковым[192] были основаны все его расчеты и все его разговоры с князем Невшательским. Казалось даже, что чем больше он размышлял, тем больше склонялся к тому, чтобы оставаться в Москве. Быть может даже, три недели тому назад он был более склонен покинуть ее.

Я резюмирую теперь вкратце сущность вопроса, который решался тогда, так как он имел огромное значение.

Император тешил себя иллюзиями насчет суровости и последствий русской зимы. Он был убежден, что при помощи пехотных постов и укрепленных блокгаузов сможет устранить все помехи, создаваемые нападениями казаков на линию его расположения или на его тылы; он вспоминал для примера, что делалось для обеспечения коммуникаций во время Вандейской войны и войны с шуанами. Он считал, что корпусов на Двине более чем достаточно, чтобы сдержать Витгенштейна и даже в случае надобности справиться с другими задачами при помощи подкреплений, полученных ими. То же самое он думал о корпусе, находившемся в Смоленске, и об армии Щварценберга. Ему казалось, что находившихся в пути войск, которые шли из Вильно, из Варшавы, из Франции, вполне достаточно для того, чтобы не только обеспечить его тыл против русских корпусов, но и подкрепить его фронт. Он считал молдавскую армию русских немногочисленной и думал, что она предназначена главным образом для подкрепления армии Кутузова; по его мнению, Кутузов, будучи главнокомандующим и при этом главою своего рода партии, которую события должны были усиливать с каждым днем, не преминет подтянуть к себе молдавскую армию, чтобы подкрепить свои силы и сохранить влияние, даваемое успехами или внушительной позицией. Император считал, что если даже в своей экспедиции против Кутузова он не добьется полностью ожидаемого им успеха, то все же сможет продолжать кампанию, и погода позволит ему это в течение еще некоторого времени. Император по-прежнему считал, что очень важно оставаться в Москве с материальной точки зрения — из-за ее казенных зданий, а с политической точки зрения потому, что оккупация этой столицы, поскольку он в нее вступил и так долго здесь остается, производит моральное впечатление, которое должно оказать влияние как

на Россию, так и на Европу. Если бы какие-нибудь обстоятельства и причины, в возможность которых он не верил, заставили его покинуть Москву, то он ни в коем Случае не рассчитывал отходить дальше Витебска и думал тогда, что наверняка сможет совершить этот переход до наступления жестоких морозов. Так как он ни в каком случае не хотел двигаться, не разбив предварительно Кутузова, то, даже допуская мысль об отступлении к Витебску, он желал все-таки приготовить на случай надобности все необходимое для зимовки в Москве, чтобы иметь возможность сохранить ее в своих руках, если бы он, решил держаться на этой линии. А на случай отступления он считал, что всегда, как только пожелает, сумеет вовремя вызвать из Москвы оставленный там гарнизон.

Таковы были рассуждения, на которых был основан образ действий императора, они же обосновывали и его пребывание в Москве в ожидании ответа, но ответ не приходил и прийти не мог.

В один прекрасный день, насколько я помню, 12 октября, — русскими была захвачена эстафета, направлявшаяся в Париж. Та же участь постигла на следующий день эстафету из Парижа. К счастью, это были единственные эстафеты, потерянные нами за все время кампании. Многие эстафеты запаздывали, но благодаря расторопности людей, которым было поручено это дело, почте удавалось спастись от активности русских партизан. Казаки до такой степени не понимали значения этой корреспонденции, что, вскрыв в поисках денег почтовые сумки и находившиеся в них портфели, они побросали на землю бумаги, многие из которых были потом найдены. Армейская почта потеряла три ящика, в одном из которых была корреспонденция из Франции. Большая часть писем также была потом найдена.

Эти факты беспокоили императора больше, чем беспокоили бы его при других обстоятельствах крупные неудачи. Он по-прежнему продолжал лелеять свою излюбленную идею, не отдавая себе отчета в том, что его повторные шаги являлись для неприятеля новым доказательством затруднительности его положения, а следовательно, мотивом для того, чтобы не отвечать ему; он собирался вновь послать Лористона к фельдмаршалу Кутузову для заключения перемирия, на которое он, по-видимому, рассчитывал. Между прочим, он надеялся таким путем ускорить упорно ожидаемый им ответ из Петербурга.

При наших сношениях с русскими все происходило как нельзя лучше, ибо русские всячески старались сохранить роковую уверенность императора и поддерживать его надежды на соглашение. Не ограничиваясь миролюбивыми словами и повторными заверениями, что они хотят мира

еще больше, чем мы, что это желание, выраженное армией, доведено до сведения императора Александра и ожидаемый ответ не замедлит прибыть, причем другого ответа, кроме удовлетворительного, быть не может, они установили в связи с переговорами нечто вроде перемирия по молчаливому согласию, чтобы получше обмануть Неаполитанского короля насчет своих намерений. Даже партизанские отряды уже в течение нескольких дней были менее предприимчивы. Все делалось для того, чтобы втереть очки королю, и, хотя он имел на это разрешение, он не отступил на позиции у Воронова.

После 3 октября наши войска, согласно отданному им Приказу, должны были сосредоточиваться; 15 или 16-го император, казалось, был намерен эвакуировать Москву и перенести свой штаб в Витебск, сохранив Смоленск в качестве форпоста, а может быть, и в качестве своей ставки, на случай если он не сочтет нужным расположиться в Витебске, чтобы быть поближе к Двине. Он еще больше, чем прежде, жаловался в это время на Неаполитанского короля, который, по его словам, губил свою кавалерию. 14-го вечером он предупредил короля, что намерен произвести маневр и, может быть, атаковать Кутузова, а в ответ на сообщения короля о состоянии его кавалерии, о его ежедневных потерях и о трудностях снабжения он разрешил ему в ожидании нового маневра расположиться на позициях у Воронова, прикрытых пехотой; но перемирие по молчаливому согласию, которое длилось уже несколько дней, побудило короля, как я уже сказал, оставаться на своих прежних позициях.

Бертье льстил себя надеждой, что решение императора принято, и сказал мне об этом. В самом деле, казалось даже, что император решил двинуться на Белый по дороге, которая оставалась до сих пор нетронутой. К этому преимуществу присоединялась еще возможность избегнуть многих маневров и расположиться на позициях еще до того, как неприятель стал бы нас беспокоить, ибо Винценгероде со своим маленьким корпусом, состоявшим почти исключительно из кавалерийских частей, не мог быть помехой нашему движению: он был бы раздавлен.

Но император вскоре же отказался от этого мудрого проекта, так как, по его собственным словам, желал для безопасности армии отбросить Кутузова, а для удовлетворения общественного мнения — разбить его, прежде чем начинать отступление и располагать войска на зимних квартирах. Это, говорил император, — единственное средство обеспечить себя хотя бы на некоторое время от беспокойств со стороны неприятеля; без этого, если бы император Александр не согласился на условия мира, всякое передвижение, по его мнению, должно было осложнить, а не

улучшить наше положение; так как Кутузов последует за нами, — а он, вероятно, это сделает, — то установится контакт между ним и Витгенштейном; кроме того, Кутузов укрепит то моральное впечатление, которое произведет на русских отступление французской армии. Разбить Кутузова в генеральном сражении или, если он будет отступать, то по частям — это со всех точек зрения казалось императору необходимым предварительным условием, хотя бы для того, чтобы произвести впечатление на общественное мнение и деморализовать русских до нашего перехода на зимние квартиры. Это решение давало шансы добиться сражения и славы; подкрепленное ссылкой на необходимость подождать еще несколько дней ответа, которого император так желал, но который по-прежнему не приходил, оно одержало верх, и на нем император окончательно остановился.

Тем временем он снова отправил Лористона в русскую ставку, чтобы предложить перемирие и узнать, не получен ли какой-нибудь ответ из Петербурга. Неаполитанскому королю было поручено препровождать императору депеши Лористона в самом срочном порядке: император ожидал их с особым нетерпением, так как он уже понимал тогда, что должен спешить из-за погоды, а следовательно, для осуществления его намерений необходимо получить ответ поскорее. Князь Невшательский 16 октября написал Кутузову, убеждая его придать войне такой характер, при котором страну берегли бы, вместо того чтобы ее опустошать. Он предложил ему принять соответствующие меры. Фельдмаршал ответил ему 21-го, после своего успеха под Вороновым, что "народ, который в течение трех столетий не видел неприятелей на своей земле, не в состоянии разбираться в тех тонкостях, которые установились среди цивилизованных наций в результате частых оккупаций и современного способа ведения войны, и т. д.". Император нашел этот ответ исполненным достоинства и, прочитав его, сказал:

— Эти люди не хотят вести переговоров; Кутузов вежлив, потому что он хотел бы кончить дело, но Александр не хочет этого. Он упрям.

Неаполитанский король предлагал уже перемирие, которого русские генералы якобы желали и которое они отклонили только из-за отсутствия разрешения императора Александра. Именно по этому поводу Александр, получив депеши, сказал:

— Теперь начнется моя кампания. Несколькими днями позже мы узнали от русских (это было после Вороновского дела), что император Александр определенно запретил фельдмаршалу и генералам соглашаться на какое-либо перемирие или приостановку военных действий. Лористон

возвратился 16 или 17-го, а тем временем Кутузов подготовлял на 18-е свой сюрприз, который так жестоко открыл всем глаза.

В этот период наши коммуникации стали испытывать еще большие трудности. Казаки, ничего не предпринимая в данный момент вблизи армии, блокировали нас в Москве. Новый артиллерийский обоз, направлявшийся из Франции, потерял много зарядных ящиков между Можайском и Москвой. Часть из них казаки взорвали; остальные были отбиты нами обратно. За несколько дней до этого император приказал, чтобы корпуса заготовили и держали в запасе двухнедельную порцию сухарей, как будто у нас был транспорт для их перевозки. А между тем он знал, что транспортных средств нет никаких, так как для эшелона раненых, возглавляемого генералом де Нансути, мы вынуждены были брать экипажи, составлявшие частную собственность. Этот приказ вызвал ропот и был исполнен лишь частично.

То же самое было и с остальным продовольствием; к тому же у многих корпусов нехватало муки.

Все орудия и зарядные ящики, для которых нехватало лошадей, были собраны в Кремле. Эти меры не оставляли никаких сомнений в том, что вскоре предстоит выступление. Подавляющее большинство, зная упорный характер императора, не сомневалось, что мы атакуем Кутузова на калужском направлении. Однако некоторые — таких было незначительное меньшинство — считали, что предстоит отступление прямо на Смоленск. В поисках продовольствия и вина солдаты нашли погреба, в которых оказалось огромное количество разных мехов; все состоятельные люди стали покупать у них эти меха. Так как медвежий мех был слишком тяжел для младших офицеров (идущих в строю пешком), то эти шкуры легко можно было купить за несколько наполеондоров; я тоже купил одну.

18 октября были приняты все меры для того, чтобы 20-го начать движение на Калугу. Император решил оставить часть своего двора в Москве. Он отдал уже мне распоряжение об этом, как вдруг около часу пополудни, когда он производил смотр войскам после парада, пришло сообщение о сражении Неаполитанского короля с русскими в Винкове. Император тотчас же решил ускорить свое выступление и назначил его на день раньше, чем предполагалось сначала. Весь двор и обозы получили приказ выехать; этот приказ относился даже к больным, которые были способны к переезду. Первые слова, с которыми император обратился к князю Невшательскому и другим лицам, когда отдавал им свои распоряжения, были следующие:

— Нужно смыть позор этой неожиданности. Нельзя, чтобы во

Франции говорили, будто неудача принудила нас отступить. Какая глупость со стороны короля! Никто не остерегается. Это расстраивает все мои планы; мне портят все. Нужно восстановить честь оружия на поле битвы. Посмотрим, пойдут ли русские на это, как они пошли на устроенный ими сюрприз. Впрочем, король, кажется, нанес им порядочный урон, так как они не решились преследовать его. Во всяком случае надо выступить, чтобы поддержать его и отомстить за него.

Король потерял много артиллерийских орудий. Много прекрасных и храбрых офицеров было убито, некоторые попали в плен; число раненых было велико. Король потерял также много солдат пленными и лишился большей части обозов, как своих личных, так и войсковых.

Вечером император сообщил нам следующие подробности. Как всегда, сторожевое охранение наших войск было поставлено плохо. Разведки производились небрежно. Русские уже в течение некоторого времени изучали наши привычки и следили за нашим маршрутом; подготовляя свой сюрприз, оказавшийся для нас столь роковым, они меньше, чем обычно, тревожили наши войска. В намеченный ими день они сосредоточили несколько дивизий для проведения своей операции. Казаки, кавалерия и пехота были спрятаны в лесах, которые не были нами подробно обследованы, хотя и находились очень близко от наших позиций. Платов, подкрепленный корпусом Багговута, воспользовался тем моментом, когда большая часть наших полков отправилась на фуражировку. Внезапное нападение русских на лагерь Себастьяни вызвало вначале такой беспорядок, что Себастьяни потерял свою артиллерию, обоз и много людей. В первый момент было очень трудно собрать хотя бы небольшие части полков. Днем раньше и накануне ночью вся русская артиллерия перешла через Нару по мостам, наведенным в расстоянии одного лье выше Тарутина. Пехота Багговута[193], ворвавшись на наши бивуаки, расстреливала храбрецов, спешивших к лошадям, чтобы присоединиться к своим эскадронам; поддержанный Строгановым и опираясь на Остермана, Багговут подошел к дефиле, которое было единственным путем отступления французов. И лагерь Себастьяни п вся артиллерия погибли бы, если бы король во главе карабинеров не ринулся на русских и не остановил их колонну.

Багговут, в свою очередь захваченный врасплох и не получая никакой поддержки от Строганова и Остермана, которые, вместо того чтобы устремиться к дефиле, двигались потихоньку, должен был остановиться, чтобы принять некоторые меры. С этого момента завязалось правильное сражение, и у короля было время пройти через дефиле; порядок

восстановился, и дальнейший бой шел с переменным успехом. Платов завладел дефиле, но не был там поддержан и был оттеснен оттуда Клапаредом и Латур-Мобуром. Багговут был убит. Король продолжал свое отступление, но уже в порядке, и русские, лишь несколько корпусов которых прошли Чернышню, не могли прорвать его фронт. Кутузов стремился только к авангардному бою, к успеху, основанному на внезапности нападения. Добившись такого успеха, он удовольствовался этими скромными лаврами и отнюдь не хотел рисковать ими. Не домогаясь тех шансов, которые могло бы дать ему большое сражение, он остановился, вновь занял свои позиции на Наре, и лишь один Платов при поддержке нескольких регулярных частей преследовал короля. Если бы на месте наших там были другие войска и другой начальник, то немногим удалось бы спастись. Наши войска показали чудеса храбрости.

В дополнение к рассказу об этом бое я считаю нужным привести те сведения о позиции Кутузова, которые сообщил нам император, и те выводы, которые он сделал из различных полученных им донесений.

Кутузов по-прежнему держался за так называемыми тарутинскими укреплениями, или, точнее, позади Нары и Истры. Эти позиции называли тарутинскими укреплениями, очевидно, потому, что Кутузов сохранял в своих руках мост через Нару в деревне Тарутино. Неаполитанский король держал в Винкове дивизию Клапареда, а на Чернышне — маленькой речке, или даже скорее ручье была линия постов. На правом и левом флангах стояла кавалерия; немного позади слева был Понятовский; Себастьяни находился на передовых позициях, Сен-Жермен со своими резервами — во второй линии, а пехота Дюфура и кавалерия Латур-Мобура стояли в резерве.

Император обвинял короля и особенно генерала Себастьяни, занимавшего пункт, захваченный неприятелем, в том, что они хотя бы при помощи летучих отрядов или постоянных патрулей должны были обследовать лесок, который господствовал над позицией справа от генерала Себастьяни, откуда русские, более бдительные и более активные в данный момент, чем мы, могли, по выражению императора, видеть даже то, что этот генерал делал в своей квартире. Император был тем более недоволен, что считал себя вправе упрекать своих генералов в оплошности, так как этот же самый пункт, по его словам, уже подвергся раз нападению казаков в первых числах октября, и притом со стороны именно этого леса, что должно было заставить командиров внимательно следить за лесом. Император обвинял также и самого себя в том, что оставался в Москве и не посетил этих позиций.

— Надо, чтобы я видел все собственными глазами, — сказал он, — я не могу полагаться на короля; он рассчитывает на свою отвагу и полагается на своих генералов, а они люди небрежные. Король показывает чудеса храбрости. Если бы не его присутствие духа и не его смелость, то все было бы захвачено и он сам попал бы в рискованное положение, будь у русских другие начальники.

Багговута не поддержали в его стремительной атаке. Операция не удалась из-за колебаний Строганова и из-за того, что в решительный момент он держался слишком далеко.

Если эта неожиданность, захватившая нас врасплох, доказывала, что мы недостаточно осторожны, то характер боя, во время которого мы были в гораздо меньшем числе, доказал русским, что усталость и лишения не ослабили нашего мужества. Кавалерия и . артиллерия были изнурены; лошадей кормили тем, что добывали при далеких фуражировках, весьма мало упорядоченных и день ото дня все более трудных и опасных, так как приходилось каждый раз забираться все дальше и дальше. У короля было, правда, не меньше 120 орудий, но при них были плохие лошади, и орудийная прислуга сильно поредела.

Император был очень раздосадован этим происшествием, а в особенности потерями, понесенными кавалерией, численность которой и без того сильно уменьшилась. Эта стычка произвела также большое впечатление на армию. Весь успех приписывали казакам, операции которых чрезвычайно беспокоили наших солдат. Нет сомнения, наши солдаты были очень храбрыми, но слишком беззаботными и небрежными для того, чтобы вести себя осторожно; это объяснялось в такой же мере нашим характером, как и недостатком порядка и дисциплины, что часто наводило на печальные размышления князя Невшательского и приближенных к императору генералов. В корпусах было слишком много молодых офицеров; считалось, что храбрость заменяет все; порядку, предусмотрительности и даже любви к дисциплине придавалось мало значения. На всех смотрах император награждал лишь смелость; отвагу, удачу, так как задача заключалась в успехе.

Тот, кто занимался формированием войск, обучением и подготовкой их в запасных лагерях, не получал ничего, если он не принадлежал больше к армейским кадрам или не участвовал в том или ином сражении. Командиру никогда не ставили в вину потери, понесенные из-за его небрежности или недостатка порядка и дисциплины, хотя бы он погубил этим две трети своего корпуса. Если он храбро пошел в атаку с той сотней всадников, которая оставалась у него ко дню сражения, он получал все, что

просил, а доблестному подполковнику, который, проделав 20 кампаний, организовывал и обучал теперь в запасном лагере подкрепления, предназначенные для армии, не давали ничего; он был забыт потому, что не мог содействовать успеху настоящей минуты каким-нибудь блестящим поступком. Я отнюдь не хочу сказать, что император не вознаграждал заслуги бывших служак; наоборот, слишком много фактов доказывают, что он всячески заботился о них, пока они оставались в армии или когда они становились инвалидами; но если они находились в запасных лагерях, то хотя бы они работали там в интересах службы, они не получали никакого продвижения, пока не возвращались вновь в действующую армию.

Этот порядок имел, конечно, известное преимущество, так как побуждал всех офицеров стремиться к возвращению в армию; но это приводило к явному ущербу для дела и для лучших из наших офицеров, так как запасные лагери доверяют лишь наиболее способным из них.

Всякий, кто добросовестно сравнил бы состояние своего корпуса в начале и в конце какой-либо кампании и исследовал бы причины понесенных корпусом потерь, бесспорно нашел бы, что отнюдь не неприятельский огонь причинил наибольшие потери нашей кавалерии. Мы делали слишком большие переходы; нехватало очень многого; было мало опытных унтер-офицеров; большинство кавалеристов были мало или даже вовсе не обучены. И однако, если сравнить хорошее состояние нескольких корпусов к самому концу кампании с тем состоянием разложения, в котором находились некоторые другие, отнюдь не чаще их побывавшие в деле, то будет видно, что нашим главным врагом было отсутствие дисциплины, и порождаемые этим беспорядки объяснялись в первую очередь небрежностью высших начальников.

Императора обслуживали в России 715 верховых и упряжных лошадей, так как надо было перевозить много ящиков со всевозможными запасами и большой обоз с палаточным оборудованием. Императорская ставка прибывала всегда на место в последнюю очередь; все возможности были исчерпаны, так как здесь прошла уже вся армия, и надо было привозить все с собой или же отправляться на далекие поиски. Я знал по опыту, что могут сделать порядок и заботливость для улучшения продовольствия с точки зрения его разнообразия, качества и даже количества. Все лица, состоявшие при штабе главного командования, находились в таком же положении, но так как у каждого из них было лишь немного лошадей, то им было гораздо легче снабжать себя всем необходимым. Известно также, что лошадям императора и состоявших при нем офицеров приходилось делать более длинные и более быстрые

переходы, чем каким-либо другим. И, однако, когда 8 декабря во время отступления мы прибыли в Вильно, то из этих 715 лошадей, с которыми мы начали кампанию, павших оказалось только 80, из них 73 упряжные лошади. Падеж лошадей стал чувствительным только после перехода через Неман, а в особенности после прибытия в Инстербург; отсюда видно, что падеж был результатом слишком обильной кормежки лошадей без предосторожностей, необходимых после только что перенесенных жестоких лишений и крайнего изнурения. При некоторых предосторожностях можно было бы избегнуть этого падежа.

Я вхожу во все эти подробности для того, чтобы заранее ответить на те сказки, которые сочиняли и не преминут сочинять еще насчет влияния морозов, недостатка продовольствия и т. п. Во время отступления лошади падали и оставались лежать на дороге главным образом потому, что они не были подкованы так, чтобы держаться на льду; после тщетных попыток подняться они в конце концов оставались там, где падали, и их разрубали на части еще до того, как они издыхали. При наличности подков с шипами и при некотором уходе, несомненно, можно было бы спасти большую часть из них.

Чтобы закончить рассказ о Москве, надо еще много сказать об устройстве ее администрации. Губернатором города был назначен герцог Тревизский; он заменил на этом посту графа Дюронеля; во главе гражданской администрации был поставлен г-н де Лессепс — бывший генеральный консул в Петербурге. Этот почтенный человек возвращался во Францию с женой и восемью детьми, как вдруг курьер привез ему в Данциг, где он высадился с корабля, категорический приказ прибыть в ставку, которую он нашел уже у ворот Москвы; через неделю император назначил его градоправителем Москвы, несмотря на все его просьбы об освобождении от всякой службы. Этот доблестный человек делал столько добра, сколько мог; вместе с достойным губернатором Москвы он предотвратил много зла, в частности выпуск фальшивых денег, разграбление большого количества мелкой монеты и уничтожение архивов, спасенных от пожара. Именно почтенный г-н де Лессепс больше чем кто бы то ни было воспротивился провозглашению освобождения крепостных; именно он подобрал, приютил, кормил, — словом, спас значительное число несчастных, в том числе много женщин и детей, жилища которых сгорели во время пожара и которые блуждали, точно тени, среди развалин столицы. Он показал при этом, что не забыл того гостеприимства, которым пользовался в России в течение 30 лет, начиная с его путешествия от Камчатки до Петербурга, когда г-н де Лаперуз, с которым он находился в

плавании, отправил его с депешами во Францию. Я был свидетелем всех усилий этого благородного человека, он часто делился со мною своими горестными думами, порожденными зрелищем стольких несчастий. Я лишь выполняю требования справедливости, воздавая должное благородным чувствам, всегда воодушевлявшим его.

Император приказал составить прокламацию об освобождении крепостных[194]. (Это было в первых числах октября.) Несколько субъектов из низшего класса населения и несколько подстрекателей (немецкие ремесленники, которые служили им переводчиками и подстрекали их) немного покричали и по наущению некоторых лиц подали ходатайство об освобождении крестьян. Те же лица, которые подучили их, убедили императора в необходимости этой меры, заявляя ему, что идеи эмансипации гнездятся уже в мозгу у всех крестьян, и император, вместо того чтобы быть окруженным врагами, будет иметь миллионы пособников. Но в сущности разве эта мера не стояла в противоречии с хорошо известными принципами императора? Он понимал (и сказал мне об этом несколько позже), что предрассудки и фанатизм, распаленный в народе против нас, по крайней мере в течение некоторого времени будут служить для нас большим препятствием, а следовательно, он будет нести на себе бремя всех отрицательных сторон этой меры, не извлекая из нее никаких выгод.

Беспорядки и грабежи — неизбежное последствие нашего быстрого продвижения были первым злом, и мы заставили крестьян чуждаться нас. Пожары, зажженные русскими с такой политической расчетливостью и приписываемые крестьянами французам, чуждый язык, крестовый поход, проповедуемый русским духовенством против нас, — все сочеталось воедино для того, чтобы изобразить нас в глазах этого суеверного народа в виде варваров, которые, как говорили русские, пришли низвергнуть их алтари, похитить их достояние и увести в рабство их жен и детей. И от нас бежали, как от диких зверей.

Понадобилось бы некоторое время для того, чтобы завязать сношения между местными жителями и нами. Но для того чтобы понять друг друга, надо было говорить. А при настоящем положении вещей не к кому было обращаться с разговорами. Русское правительство недаром сгоняло с места все население перед приходом нашей армии. Можно сказать, что в тяжелых обстоятельствах оно не проявило недостатка ни в предусмотрительности, ни в талантах. При таком положении вещей провозглашение освобождения крестьян, которое к тому же не соответствовало личным мнениям императора, не принесло бы пользы

делу, так как оно осталось бы безрезультатным и придало бы этой войне революционный характер, отнюдь не подходящий для государя, который с полным основанием хвалился тем, что он восстановил общественный порядок в Европе. Составление этой прокламации было только угрозой, и люди, знавшие императора, с самого начала не обманывались на этот счет. Это было одно из многих средств, которые он пускал в ход, чтобы посмотреть, не даст ли угроза какого-нибудь результата. Он хотел, если возможно, напугать неприятеля. Это была гроза, при которой только .сверкала молния, но гром не гремел. Император пробовал все средства, чтобы добиться переговоров, которых он желал, но данное средство не принадлежало к числу тех, которые были свойственны его политике, хотя он говорил о нем как о деле решенном. Как-то раз император сказал мне:

— Лессепс, как и вы, против эмансипации. Однако люди, которые знают русских не хуже вас, думают иначе. Вы против потому, что это не было бы добросовестной войной против вашего друга Александра. Однако поджоги тоже не являются добросовестной войной. Они, безусловно, оправдывали бы некоторые репрессалии.

Впрочем, я смотрю на эмансипацию так же, как и вы. А к тому же неизвестно, куда привела бы подобная мера. До сих пор, если не считать того, что Александр сжигает свои города, чтобы мы не жили в них, мы вели друг против друга довольно добросовестную войну. Никакого опубликования неприятных документов, никаких оскорблений. Напрасно он не вступает с нами в соглашение теперь, когда мы вполне готовы на это. Мы скоро договорились бы и остались бы добрыми друзьями.

В результате распоряжений, отданных в связи с сообщением о столкновении под Вороновым[195] , на герцога Тревизского была возложена тяжелая задача сосредоточиться в Кремле, чтобы охранять Москву с недавно прибывшей дивизией Делаборда (молодая гвардия) и спешенными кавалеристами. Начальник штаба предложил герцогу Д'Абрантес[196] быть готовым к выступлению между 20 и 22-м, а полкам, шедшим на пополнение, предписал остановиться там, где их застанет распоряжение. Он приказал эвакуировать раненых, но транспортных средств для этого не было. Укрепления, сооруженные в Колоцком монастыре, должны были быть разрушены. Генерал Барагэ д'Илье должен был перевести между 20 и 22-м большую часть своих сил из Смоленска в Ельню.

Надо заметить, что наша армия получила в Москве мало подкреплений — всего лишь два или три маршевых полка и дивизию Делаборда, о которой я только что упомянул, а также итальянскую

дивизию Пино. Все подкрепления император оставлял на коммуникационной линии или отдавал их корпусам, стоящим на Двине.

Состав нашей армии был в это время следующий:

Пехота Кавалерия Артиллерия Гвардия 17 000 4 500 112 орудий 1-й корпус 27 000 1 400 130 орудий 3-й корпус 9 400 850 66 орудий 4-й корпус 23 500 1 600 88 орудий 5-й корпус 4 600 850 45 орудий 8-й корпус 2 000 760 32 орудия Спешенные кавалеристы 4 000 — Кавалерийский резерв — 4 800 60 орудий

— --------------------

Итого: 87 500 14 760 533 орудия

К этому надо еще прибавить жандармерию, крупные артиллерийские парки, саперов, обозы и лазареты. Все это давало около 8 тысяч человек, не считая прочего.

Кутузов, наоборот, стянул к себе всех вновь набранных рекрутов, укомплектовал свои полки, усилил себя новыми корпусами и многочисленной кавалерией, в частности донскими и другими казаками. Он сосредоточил у себя даже все те пехотные отряды, которые, как правило, были отданы в распоряжение партизан, окружавших Москву, и даже те отряды, которые находились у Винценгероде, прикрывавшего дорогу на Петербург и дорогу к Двине. Впрочем, так как нам не удавалось брать пленных и так как ни один шпион не дерзал пробраться в расположение русской армии, то мы не знали, что там происходит, и император был лишен всяких сведений.

ГЛАВА V
ОТСТУПЛЕНИЕ. ОТ МОСКВЫ ДО КРАСНОГО

Отъезд из Москвы. — Малоярославец. — Император в опасности. — Верея. Винценгероде. — Успенское. — Император собирается возвратиться в Париж. Михайловка. — Первые сообщения о заговоре Мале. — Впечатления императора. Смоленск. — Корытня. — Император снова говорит о своем возвращении во Францию.

Возвращаюсь к прерванному рассказу. Император вместе с гвардией выступил из Москвы только 19 октября около полудня. Так как Неаполитанский король в ряде донесений подтверждал сведения об отступлении неприятеля, то одновременно с императором выехал весь его двор. За армией потянулось много беженцев. По дороге мы встретили много раненых в сражении под Вороновым, и только теперь император узнал все подробности этого боя. В числе раненых был офицер из полка карабинеров князь Шарль де Бово. У него ударом пики было сломано бедро; он ехал в телеге на перевязку в Москву. Несмотря на боль и страдания, причиняемые таким способом передвижения, несчастный молодой человек сохранял изумительное мужество и спокойствие. Он улыбался и, казалось, был скорее горд, чем недоволен своею раной. Я не сомневался, что мы не вернемся больше в Москву и что она может сделаться ареной новых бедствий; так как я не мог отлучиться от императора, то я просил графа Тюренна догнать де Бово и вернуть его, сказав ему, чтобы он направился в ставку, от которой мы находились в расстоянии одного лье. Тем временем я попросил у императора разрешения поместить де Бово в один из его экипажей. Он согласился на это с полнейшей готовностью и сказал мне, чтобы я принял на себя заботу о раненом. Спокойствие и твердость этого молодого офицера спасли его. Два дня спустя мне посчастливилось устроить точно таким же образом де Мальи, сына маршала, который был ранен в том же самом бою. Мы довезли обоих раненых до Вильно, откуда они благополучно доехали до Парижа.

Мы ночевали во дворце в Троицком и провели там весь день 20 октября, чтобы подтянуть отстающих; отставало еще много людей и повозок. Именно здесь император окончательно принял решение покинуть Москву. На это решение повлияли потери в сражении под Вороновым, выяснившееся для него состояние нашей кавалерии и, наконец, уверенность в том, что русские не хотят вести переговоры. По-прежнему желая атаковать Кутузова, он двинулся дальше ускоренным темпом, собираясь в результате ожидаемой им победы отбросить Кутузова за Калугу и решив разрушить оружейный завод в Туле — самый крупный в России; после этого император во что бы то ни стало рассчитывал направиться к Смоленску, где он хотел устроить свой авангардный пост. Герцог Тревизский получил приказ эвакуировать Москву 23-го, если он до тех пор не получит других распоряжении, а пока приготовить все для взрыва Кремля и казарм. Донесения Неаполитанского короля сообщили, что русские, которые сами понесли чувствительные потери под Винковым, лишь очень вяло преследовали его до Мочи, а Кутузов отошел к своим тарутинским укреплениям; спустя несколько дней эти сведения полностью подтвердились[197]. На флангах нашего маршрута появились казаки, но пересечь дорогу они не решались.

Я послал отряды для охраны эстафет и принял меры к тому, чтобы парижские эстафеты с предпоследнего этапа перед Москвой направлялись непосредственно к нам, но из-за оперировавших в этом районе казаков эстафеты задержались и не приходили в течение трех дней, что беспокоило императора и, по обыкновению, раздражало его до последних пределов. На второй день он мне сказал:

— Я вижу, что мне придется подойти поближе к моим резервам, так как если я даже отброшу Кутузова заставлю его эвакуировать Калугу и тарутинские укрепления, то казаки все равно будут по-прежнему тревожить мою коммуникационную линию, пока ко мне не придут мои поляки.

В связи с этим император жаловался на герцога Бассано и г-на де Прадта, не щадя ни того, ни другого. По поводу Бассано он вспоминал, как турки заключили мир с русскими, а шведы вступили с ними в союз, и обвинял его во всех своих теперешних затруднениях и в тех последствиях, которые могли из них возникнуть, приписывая их непредусмотрительности, небрежности и бесталанности своего министра и своего посла. В том же духе император говорил с князем Невшательским, а потом еще раз со мной, когда мы отправлялись в Игнатьево, где ночевали 21-го.

Оба разговора показали мне, что император убедился, наконец, в необходимости отступления, но еще не хотел признать, что он решился отступать. Быть может, он еще колебался и, увлекаемый непреодолимым роком, был склонен сожалеть о Москве и возвратиться туда, по-прежнему льстя себя надеждой на крупную победу и на переговоры или на перемирие, которое уладило бы все. Судя по тому, что говорил мне князь Невшательский, и судя по распоряжениям, сделанным 22-го, т. е. в тот день, когда ставка находилась в Фоминском, я этого не думаю. Погода была плохая, шел дождь, и дорогу так размыло, что мы с трудом могли дойти до Боровска в два перехода по проселочной дороге. Упряжные лошади гибли, их доконали ночные холода. Лошадей пало много, и нам приходилось уже оставлять на дороге зарядные ящики и обозные повозки. Накануне вечером князь Невшательский сказал мне, что император, беседуя с ним об армии, о своих передвижениях и о текущих событиях, впервые не говорил о своем проекте удержать Москву как военную базу, покуда армия оккупирует плодородную Калужскую губернию, как называл ее император; эта оккупация была, конечно, скорее показной, чем действительной целью нашего похода, так как соображения, внушенные императору задержкой эстафеты и высказанные им князю Невшательскому и мне, отнюдь не говорили о том, что он уже принял на этот счет какое-либо окончательное решение.

дальше, но новое донесение побудило его остаться в Боровске, и только утром 24-го он выступил к Малоярославцу, в расстоянии четверти лье от которого дивизия Дельзона дралась с восхода солнца против корпуса Дохтурова[199]. Дельзон делал чудеса, пока не подошел вице-король, который поспешил на помощь к нему, как только узнал, что Дельзон сражается с превосходящими силами неприятеля. Дельзон был убит в рядах своих храбрецов.

Генерал Гийемино заменил его, восстановил положение и как опытный боец приказал занять церковь и два дома и устроить в них бойницы; занятие этих зданий укрепило нашу оборонительную линию и не позволило русским прорваться через нее, несмотря на их многочисленные атаки и значительное превосходство сил; это дало дивизии Бруссье, то есть головной дивизии 4-го корпуса, время подойти и выручить Гийемино. В то же время авангард Кутузова подошел к Дохтурову, так что с обеих сторон были брошены в бой свежие войска; бой возобновился с новой силой и превратился в настоящее сражение. Четвертый корпус держался с большим мужеством, несмотря на преимущество, которое давали русским их позиции, господствовавшие над всеми пунктами, подвергавшимися нашей

атаке. Кроме того, они превосходили нас числом, и у них было больше артиллерии.

Бой был решен в нашу пользу итальянцами, которые соперничали в храбрости с французами. Этого благородного соревнования было достаточно, чтобы преодолеть все препятствия. В конце концов мы овладели городом и позицией.

Император прибыл в 11 часов и заставил поспешить князя Экмюльского, которого он направил на правый фланг принца Евгения; гвардия также получила приказ поддержать принца, 1-й корпус вступил в строй к двум часам. Мы явственно видели маневры русских и думали, что Кутузов воспользуется всеми выгодами своей неприступной позиции, чтобы остановить наше движение и самому перейти в наступление. Но нам хватило одного только 4-го корпуса; Даву принял лишь незначительное участие в бою. У нас были выведены из строя не менее 4 тысяч человек, а русские потеряли убитыми необычайно много. Вечером и на следующий день я вместе с императором объехал поле сражения, осматривая его с величайшим вниманием.

Вечером справа от Городни, где расположилась ставка, появились казаки. Мы думали, что это какой-нибудь заблудившийся отряд, который попадет в руки нашего сторожевого охранения; мы не обратили на них внимания, тем паче что в этих же окрестностях, хотя и по другую сторону от дороги, мы уже гонялись сегодня около полудня за новыми казаками, у которых были кресты на шапках. Это были конные ополченцы, организованные взамен донских казаков; их отряды назывались по именам выставивших их губерний.

По общему мнению, Кутузов мог бы лучше защищать свои позиции[200]. Должно быть, защита была поручена небольшому арьергарду.

Ему ставили в вину, что он пожертвовал большим числом людей и потерпел поражение, не достигнув своей цели; эта цель должна была заключаться в том, чтобы удерживать позиции, если уж он оборонял их, по крайней мере до ночи. В действительности Кутузов, который узнал о выступлении императора (из Москвы) только 23-го, был захвачен этим врасплох и лишь постепенно направлял на поддержку Дохтурова различные воинские части только для того, чтобы прикрыть отступление своей армии на Юхнов, так как он не хотел подвергаться риску большого сражения.

Император узнал эти подробности на следующий день от одного захваченного в плен офицера штаба Дохтурова. От него же он узнал, что Дохтуров был послан Кутузовым в Боровск 23-го, как только он узнал о

нашем выступлении; так как оказалось, что мы уже находимся там, то Дохтуров поспешно направился к Малоярославцу, где также была уже дивизия Дельзона; но дивизия эта была слишком слаба, чтобы оказать ему сопротивление; Кутузову казалось, что Дохтуров движется слишком медленно, и офицеры генерального штаба один за другим отправлялись к Дохтурову, чтобы его поторопить, заявляя во все услышание, что главнокомандующий не получает других сообщений, кроме сообщений о движении французов. От этого же офицера мы узнали много другого, в частности о нежелании императора Александра вести какие бы то ни было переговоры и об отданных им по этому поводу приказах.

— Теперь начинается моя кампания, — ответил он офицеру, который привез ему первую депешу Кутузова, сообщившую о миссии Лористона и о переданных им предложениях. (Об этих подробностях я говорил уже в соответствующем месте.)

Два наших корпуса заняли позиции перед Малоярославцем. Дороги были так разбиты, что только часть артиллерии, да и то с трудом, могла добраться днем до поля битвы. Император возвратился на ночевку в Городню — маленькую деревушку в расстоянии одного лье от Малоярославца; он ночевал там в избе возле моста. Почти все мы ночевали на бивуаках. Успех вице-короля не достигал цели. Мы захватили неприятельские позиции, но Кутузов ускользнул от нас. Таким образом, наше положение не изменилось, а наша армия находилась не в таком состоянии, чтобы преследовать неприятеля; к тому же погода не позволяла откладывать дольше осуществление проекта перехода на зимние квартиры. Более чем когда-либо нужно было принять определенное решение.

В течение всей ночи император принимал донесения, отдавал приказы и — на сей раз — говорил с князем Невшательским о трудности положения. Несколько раз он вызывал меня, Дюрока и герцога Истрийского, беседовал с нами, но не принимал никакого решения. Пойдет ли он за Кутузовым, который, по-видимому, уклоняется от встречи с ним, так как покинул неприступные позиции? По какой дороге пойдет он к Смоленску, если окажется, что неприятель не занимает позиций за Малоярославцем? Нужно было принять решение, и по-прежнему труднее всего императору было принять решение, удалявшее его от неприятеля, с которым он так стремился померяться силами.

За час до рассвета (в ночь на 25 октября) император снова вызвал меня. Мы были одни. У него был очень озабоченный вид, и, казалось, он чувствовал потребность излить душу, высказать гнетущие его мысли.

— Дело становится серьезным, — сказал он мне. — Я все время бью

русских, но это не ведет ни к чему.

Минут пятнадцать продолжалось молчание, и император ходил взад и вперед по своей маленькой комнатке. Потом он сказал:

— Я сейчас удостоверюсь сам, находится ли неприятель на позициях или же, как видно по всему, отступает. Этот чертов Кутузов не примет боя! Прикажите подать лошадей. Едем!

С этими словами он схватил свою шляпу, собираясь выйти. К счастью, в этот момент вошли герцог Истрийский и князь Невшательский; вместе со мною они стали уговаривать императора, указывая, что сейчас очень темно и он подъедет к аванпостам еще до того, как можно будет различить что-нибудь; гвардия заняла свои позиции ночью, и мы не слишком точно знали, как разместились корпуса.

Император все же хотел ехать, но в это время прибыл один из адъютантов вице-короля и сообщил ему, что на неприятельской стороне горят лишь костры казаков, а только что задержанные нами солдаты и крестьяне подтверждают отступление русской армии. Получив эти сведения, император решил обождать, но полчаса спустя нетерпение взяло верх, и он отправился в свою поездку. Еще только начинало рассветать, и в 500 туазах от ставки мы столкнулись нос с носом с казаками, главный отряд которых напал впереди нас на артиллерийский парк и артиллерийские части, заслышав их передвижение. Казаки захватили несколько орудий.

Было еще так темно, что мы поняли, в чем дело, лишь по выкрикам казаков и очутились вперемежку с некоторыми из них, прежде чем сообразили, кто это. Надо признаться, мы были слишком далеки от мысли о возможности встретить казаков среди бивуаков нашей гвардии и обратили мало внимания на первые услышанные нами крики. Лишь когда крики усилились и начали раздаваться рядом с императором, генерал Рапп, ехавший впереди с графом Лористоном, графом Лобо, графом Дюронелем, офицерами для поручений и передовым отрядом конвоя, подскакал к императору и сказал ему:

— Остановитесь, государь, это казаки!

— Возьми егерей из конвоя, — ответил ему император, — и пробейся вперед.

Возле нас оставалось не больше 10 — 12 стрелков, и они сами уже пробивались вперед, чтобы соединиться с авангардом. Тьма была еще такая, что в 25 шагах ничего нельзя было различить. Лишь лязг оружия и крики сражающихся указывали, где происходит схватка, и говорили, что завязалось столкновение с неприятелем. Адъютант князя Невшательского

— Эмануэль Лекутэ — был пронзен насквозь в грудь палашом нашего конногвардейца, который принял его за русского.

Возле императора были только князь Невшательский и я. Мы все трое держали в руках обнаженные шпаги. Схватка происходила очень близко, все ближе и ближе к императору; он решил проехать несколько шагов и подняться на вершину холма, чтобы лучше рассмотреть, что происходит. В этот момент к нам присоединились остальные егери из конвоя; один за другим прибыли дежурные эскадроны, которые не успели сесть на коней, когда император внезапно отправился в свою поездку. Ринувшись в том направлении, откуда доносились крики сражающихся, два первых эскадрона опрокинули первые ряды казаков. Остальные два с герцогом Истрийским во главе, шедшие на небольшом расстоянии от них, подоспели как раз вовремя, чтобы поддержать первые эскадроны, Завязавшие ожесточенный бой и окруженные целой тучей казаков. К этому моменту уже достаточно рассвело, и заря осветила происходившую сцену. Вся равнина и дорога кишели казаками. Гвардия вновь отбила свои орудия и нескольких канониров, захваченных неприятелем, и принудила казаков перебраться на другой берег реки, но у нас было много раненых.

Не подлежит сомнению, что если бы император выехал, как он сначала хотел, еще до рассвета, то он оказался бы в сопровождении лишь своего конвоя и восьми генералов и офицеров как раз посреди этой тучи казаков. Если бы казаки, оказавшиеся под самым нашим носом и на один момент окружившие нас, были более решительны и ринулись бы на дорогу, вместо того чтобы с ревом рубить направо и налево по обеим сторонам дороги, то они захватили бы нас, прежде чем эскадроны успели бы прийти к нам на помощь. Конечно, мы дорого продали бы свою жизнь, насколько это можно сделать с помощью короткой шпаги, да еще в темноте, когда не знаешь, кому ты наносишь удар. Но не подлежит сомнению, что император был бы убит или взят в плен, и никто не знал бы даже, где искать его среди огромной равнины, там и сям покрытой рощицами, под прикрытием которых и прятались казаки в расстоянии ружейного выстрела от дороги и от позиций, занимаемых гвардией.

Если бы эти факты не могли быть подтверждены всей армией и столькими достойными доверия людьми, то многие усомнились бы в них. В самом деле, как можно допустить, чтобы монарх, да еще к тому же такой предусмотрительный человек и величайший полководец, который когда-либо существовал, подвергался риску попасть в плен на большой дороге, по которой двигалась вся армия, в 500 шагах от своей ставки, посреди бивуаков многочисленной кавалерийской и пехотной сторожевой охраны?

Как можно допустить, чтобы тысяча человек, никем не замеченных провели всю ночь, притаившись в засаде в расстоянии трех-четырех ружейных выстрелов от ставки? А между тем все это полностью объясняется рядом обстоятельств, которые я подробно изложу, так как они были обусловлены привычками императора.

У нас оставалось очень мало легких воинских частей. Их всегда плохо берегли, и они были изнурены. В этот день они были посланы в другие пункты, и соответствующая часть наших позиций осталась без прикрытия. Наши солдаты дрались вообще хорошо, но охраняли себя недостаточно. Нет другой армии, где разведочная и патрульная служба находилась бы в большем пренебрежении. Наступает ночь, размещают кое-где несколько караульных постов, чтобы иметь время вскочить на коней, если подойдет неприятель, но о том, чтобы прикрывать части, находящиеся позади или рядом, не думает никто.

Император лишь в самый последний момент назначал, где будет ставка. Он усвоил такую привычку по двум причинам: это было, с одной стороны, мудрой предосторожностью, а с другой, по его собственному объяснению, эта система давала ту выгоду, что до самого конца дня все войска, находились в его непосредственном распоряжении, и все люди держались начеку.

— Если сделать трудным все, то действительные трудности кажутся менее тяжелыми, — не раз говорил он мне.

Из-за этих привычек императора офицерам и солдатам нередко, конечно, приходилось туго. Но он мало с этим считался, так как учитывал лишь крупные результаты и не особенно настаивал на соблюдении порядка в мелочах, когда сам был среди своей армии и многочисленной гвардии. Он всегда вел наступательную войну и потому не обращал внимания на те неприятности, которые стали причинять нам казаки, как только шансы обратились против нас.

В этот день гвардия все время находилась впереди и лишь поздно вечером смогла отойти назад, чтобы занять позиции. Она расположилась на ночь, когда уже было темно, и сама не знала, где находится, считая, должно быть, что она заняла место в центре расположения всей армии. Патрулей гвардия не выставила. Все были спокойны, так как остальные корпуса обязаны были прикрывать ставку издалека, и никто не дал себе даже труда установить связь с ними. Другими словами, ни гвардия, ни ставка ничуть не беспокоились о том, что происходило за пределами их позиций. Один из гвардейских батальонов расположился на бивуаке по ту же сторону дороги, что и казаки, и в расстоянии не более 300 шагов от того

места, где они провели ночь и откуда они налетели на императора.

Ночью, как и днем, император выезжал верхом, никого не предупреждая; ему даже нравилось выезжать неожиданно и находить у всех какие-либо непорядки. Его верховые лошади были разделены на несколько бригад. Каждая бригада состояла из двух лошадей для него, лошади для обер-шталмейстера и необходимого числа лошадей для дежурящих при императоре лиц, которых он брал с собой в поездку. Одна бригада верховых лошадей всегда была под седлом — днем и ночью. Дежурный конвой в составе одного офицера и 20 егерей, а также все офицеры должны были держать всегда лошадей наготове. Лошадей для конвоя выделяли по очереди дежурные эскадроны. При прежних кампаниях па дежурства назначался всегда один эскадрон. Во время похода в Россию дежурили всегда четыре эскадрона: два из легкой кавалерии и два гренадеры и драгуны. Конвой не покидал императора; эскадроны следовали за ним один за другим; они седлали лишь тогда, когда император требовал своих лошадей; это всегда бывало так неожиданно и так срочно, что с императором выезжали сначала не больше трех-четырех человек; остальные догоняли его потом. После Москвы, как и после Смоленска, эскадроны дежурили иногда по два-три дня подряд, и люди и лошади бывали изнурены. Обычно император возвращался поздно — глубокой ночью. Эскадроны поскорее спешили на первый попавшийся в темноте бивуак. Когда император, находясь в армии, ездил верхом, он обыкновенно пускал лошадь сначала в галоп, хотя бы не больше чем на первые 200 — 300 шагов. При всем усердии и при всех стараниях трудно было сделать так, чтобы при императоре в момент его отъезда находился целый отряд; этим именно и объясняется, что в день налета казаков император ненадолго очутился почти один.

Князь Невшательский и я не отставали ни на шаг от императора при его отъездах. Генерал-полковник дежурной части гвардии ехал обычно вместе с нами, но во время похода в Россию все генерал-полковники командовали корпусами, и обер-шталмейстеру приходилось принимать на себя исполнение их обязанностей[201]. При поездках соблюдался следующий порядок: впереди авангард из четырех егерей, три офицера для поручений и от двух до четырех адъютантов; в 80 шагах за ними — император; позади него — обер-шталмейстер; генерал-полковник, начальник штаба; за ними — несколько генерал-адъютантов (если император давал об этом распоряжение), шесть офицеров генерального штаба из императорской ставки, два адъютанта и два офицера из состоящих при начальнике штаба; потом конвойные егери со своим офицером; в 500 шагах позади —

дежурные эскадроны. Если ехали тихо, то дежурные эскадроны шли одинаковым со всеми аллюром. Если же император скакал в галоп, они шли на рысях. Отсюда видно, что императорский конвой был не очень внушительным и что император отнюдь не окружал себя толпой войск, как утверждают некоторые.

После того как нападение казаков было отбито, едва только вокруг императора собралось несколько человек, он двинулся вперед. (Дежурным эскадронам и гвардии он отдал уже приказания.) Быстрым аллюром он продолжал прерванный путь, желая произвести разведку позиций неприятеля перед Малоярославцем. Самым тщательным образом он осмотрел грозные позиции, которые мы захватили накануне, и, к своему прискорбию, убедился, что неприятель отступил, оставив в арьергарде только казаков. Его первым намерением было следовать за Кутузовым в надежде принудить его еще к какому-либо сражению и пойти по дороге на Красное, вместо того чтобы двигаться по Можайской дороге через Боровск, хотя на этой дороге уже находилась часть армии и большие артиллерийские силы, которые не смогли бы последовать за императором на поле сражения. Вице-король, князь Невшательский и князь Экмюльский указали императору, что эта перемена направления не только лишит нас возможности выиграть расстояние, но и утомит кавалерию и артиллерию, а между тем они и так уже истощены. Некоторое время император колебался. По его мнению, сражение под Малоярославцем не было достаточным отомщеннем за неудачу Неаполитанского короля. К тому же в этот момент он хотел отомстить и за попытку, сделанную неприятелем сегодня утром.

На этом своего рода военном совете лишь после долгих настояний и после того, как император рассудил, что Кутузов, не пожелавший ожидать его и сражаться с ним на такой прекрасной позиции, как Малоярославец, не примет сражения и в 20 лье дальше, удалось убедить императора следовать на Боровск, на пути к которому уже находилась часть войск, большая часть артиллерии и все обозы. Это последнее обстоятельство при том состоянии, в котором находились наши лошади, имело большое значение.

Хотел ли император сделать вид, что он уступает только настояниям других, или он в самом деле думал, что ему удастся еще до перехода на зимние квартиры разрезать русскую армию и сделаться хозяином положения, предрешающего результаты кампании? Не знаю. Несомненно одно: ночью этот вопрос уже обсуждался у императора с участием тех же лиц, и император отвергал все доводы, при помощи которых старались его убедить. Он ограничился тем, что отложил свое решение впредь до того,

как он сам проверит, действительно ли неприятель ускользнул от него. Именно для этого он и хотел выехать на разведку до рассвета. После того как он побывал в авангарде и убедился, в каком положении находится дело, вопрос подвергся обсуждению снова. Вице-король и князь Экмюльский присоединились к князю Невшательскому и герцогу Истрийскому, и все вместе убеждали императора, который, удостоверившись, что Кутузов снова ускользнул от него, решил, наконец, возобновить движение по дороге на Боровск. Он возвратился в Городню, и оттуда были разосланы приказы. Назавтра армия выступила на Боровск; ставка ночевала там 26-го. В город вернулись некоторые из жителей.

Можно было подумать, что, покидая Москву, император предчувствовал, что должно случиться, так как он предписал различные меры предосторожности, чтобы уберечься от казаков, но, как мы видели, эти меры не привели ни к чему. Никто у нас не привык остерегаться, и мы были уже слишком обескуражены и слишком истомлены, чтобы менять свои привычки.

По прибытии куда-нибудь на место первой заботой было всегда найти еду для себя и корм для лошадей, а для этого надо было отдалиться от дороги, рискуя попасть в плен к казакам или быть убитым крестьянами. Переходы были слишком напряженными, кавалерия слишком немногочисленной и истомленной для того, чтобы на наших флангах разведка и прикрытие осуществлялись достаточно сильными отрядами.

Мы старались сохранить в секрете, что император подвергался большому риску во время налета казаков, но не прошло и 48 часов, как вся армия знала об этом; впечатление было очень нехорошее. Это происшествие должно было бы послужить для всех уроком, показывая, как мы неосторожны. Однако урок не принес пользы никому.

Казаки — несомненно лучшие в мире легкие войска для сторожевого охранения армии, для разведок и партизанских вылазок. Однако, когда мы давали им отпор или открыто двигались против них сомкнутым строем, они ни разу не оказали сопротивления нашей кавалерии. Но попробуйте потревожить их, когда вы отрезаны от своих! Или двиньтесь в атаку рассыпным строем! Вы погибли, потому что они возобновляют нападение с такой же быстротой, как и отступают. Они — лучшие наездники, чем мы, и лошади у них более послушны, чем наши; они могут поэтому ускользать от нас, когда нужно, и преследовать нас, когда преимущество на их стороне. Они. берегут своих лошадей, если иногда и принуждают их к аллюрам и переходам, требующим большого напряжения, то чаще всего избавляют их от ненужной гонки туда и сюда, а мы такой гонкой губим

своих лошадей.

27-го император ночевал в Верее, чтобы дать артиллерии и обозам возможность продвинуться вперед. Выехав очень рано, император прибыл туда утром, проехал через город и остановился в полулье от него за Можайской дорогой, на холме, который господствует над местностью. Он пробыл там некоторое время, наблюдая за движением войск и обозов. Именно туда к нему привели генерал-лейтенанта графа Винценгероде[202] , генерал-адъютанта русского императора; Винценгероде командовал корпусом легких войск, стоявшим на Тверской дороге, чтобы прикрывать Петербург и наблюдать за Москвой; он был захвачен в Москве.

О деле Винценгероде после кампании рассказывали по-разному, и я поэтому приведу факты, записанные мною на основании представленных императору донесений в то время, когда эти факты происходили.

Винценгероде получил, вероятно, сведения о том, что французская армия выступила из Москвы; стоя вблизи от Москвы, он проник в предместье и связался с местными жителями. Мелкие нападения со стороны казаков и вооруженных крестьян вынудили герцога Тревизского стянуть к центру свой маленький корпус, чтобы не подвергать его риску в этом громадном городе. Когда наши войска подтянулись к Кремлю, Винценгероде пробрался в город переодетым, дошел до наших.постов и воспылал надеждой либо осуществить маневр, который принудил бы герцога Тревизского эвакуировать Москву, либо добиться того же результата, отвратив наших солдат от исполнения их долга; местные жители считали это делом легким, так как думали, что наши солдаты недовольны. Наши войска охраняли только подступы к Кремлю и коммуникационную линию, связывавшую Москву с Можайском, которая была вместе с тем коммуникационной линией всей армии. Набросив на себя штатское пальто, Винценгероде приходил беседовать с солдатами на наших аванпостах. Его сопровождали несколько местных жителей тоже говоривших по-французски; все они, следуя его примеру или его советам и ссылаясь на официальные источники, сообщали солдатам о последних событиях, об испытанных нами неудачах, об ожидающих их лишениях, об опасностях, которым они напрасно подвергаются, о доброте и великодушии императора Александра, о его благосклонном отношении к иностранцам и особенной любви к военным, о бесполезности борьбы, поскольку император Наполеон отступает, и о том, что в их интересах сложить оружие и спокойно ждать до заключения мира в стране, которая так охотно их приютит, и т. д. Многие солдаты, принимая Винценгероде за простого обывателя, позволяли ему говорить, не обращая внимания ни на

его особу, ни на его речи. Но один из гусаров, более наблюдательный, чем другие, послушав некоторые разговоры, обратил на него внимание. Возмущенный такими речами, он задержал его и притащил на гауптвахту; оттуда Винценгероде, несмотря на все его жалобы и протесты, повели к коменданту. Когда в нем опознали русского офицера, он тщетно пытался утверждать, будто явился в качестве парламентера. Это была неправдоподобная басня. Его оставили под стражей и препроводили к герцогу Тревизскому; герцог отнесся к нему с уважением, но как к военнопленному; он не мог признать его отговорку, при помощи которой тот хотел выпутаться из дела, так как Винценгероде явился в Москву тайно, переодетым, чтобы попытаться совратить наших солдат, и не объявлял о своем прибытии сигналами горниста, как то делают парламентеры. Сын обер-камергера Нарышкина[203], адъютант Винценгероде, стоял с несколькими казаками недалеко от наших постов. Видя, что Винценгероде не возвращается, он осведомился у местных жителей, что произошло с генералом. Они сказали, что его только что арестовали. Тогда, не возвещая о себе сигналами горниста, не вызывая какого-либо офицера или унтер-офицера для переговоров, он отправился к французскому посту, спросил о своем генерале и добровольно сдался в плен, чтобы иметь честь не покидать своего начальника. Эта чисто сыновняя преданность офицера своему командиру несколько изумила всех; молодого человека взяли под стражу и препроводили к маршалу.

Когда императору представили донесение о взятии в плен этих офицеров, он приказал направить их к нему; они одновременно с нами прибыли как раз туда, где император прервал свой путь и сошел с лошади. К императору привели только одного Винценгероде; император стал упрекать его в том, что он служит России, будучи по рождению немцем и подданным страны, которая находится под верховенством Франции или во всяком случае в союзе с ней. Он прибавил, что так как Винценгероде является его подданным, то он предаст его военному суду, который предъявит ему еще и обвинение в шпионаже, и его расстреляют как изменника. Чем более Винценгероде пытался оправдаться, тем более император сердился, обвиняя его в том, что он давно подкуплен Англией, участвует во всех заговорах против императора и Франции, хотел совратить французских солдат в Москве, подстрекал их к дезертирству и учил их подлости от имени государя, который презирал бы такие действия. Вянценгероде ответил, что он отнюдь не родился в стране , принадлежащей Франции, к тому же не был на родине с детства и уже много лет находится на русской службе из привязанности и

признательности к своему благодетелю императору Александру.

Стараясь затем ослабить справедливые упреки императора по поводу его действий в Москве, он сказал, что вел переговоры лишь для того, чтобы избежать ненужного кровопролития и прежде всего спасти Москву от новых бедствий; так как французы все равно должны эвакуировать ее, то он только предлагал сделать это без боя, что соответствует обоюдным интересам, и т. д. Император, все более и более раздражаясь, повысил голос до такой степени, что его мог слышать дежурный конвой. Свита императора отошла поодаль с самого начала разговора. Все были, как на иголках. Мы смотрели друг на друга, и каждый мог прочесть по глазам своего соседа, что он удручен этой неприятнейшей сценой между государем и пленным офицером, хотя поведение этого офицера в Москве не могло внушить никакого сочувствия к нему. Я разговаривал с герцогом Пьяченцким[204] ; происходившая сцена наводила нас обоих на весьма грустные размышления. Князь Невшательский чувствовал себя особенно неловко, так как он остался подле императора. Об этом говорили взоры, которые он кидал на нас, а потом, когда под каким-то предлогом ему удалось отъехать от императора и приблизиться к нам, это подтвердили и его слова. Император приказал, чтобы жандармы увели Винценгероде. Так как никто не передал дальше этого приказа, то он так громко крикнул, чтобы прислали жандармов,дчто два жандарм , прикоhандиров`нные к конвою, выступило впередо Император еще таз повторил Винценгероде некотофые из о!винений(которыб он ужеаему преаъявил, аобавив, что тот заслужиаает бытш расстрглянным как измейник. При этом слове Винтенгероде, который слушал его до сих пор с опущенным взором, выпрямился во весь рост, гордо поднял голову и, пристально глядя на императора и на тех, кто стоял поближе к нему, ответил, возвышая голос и сам идя навстречу жандармам, остановившимся поодаль:

— Как вам будет угодно, государь, но ни в коем случае не в качестве изменника.

Недалеко от того места, где мы стояли, виднелся большой и красивый помещичий дом. Император, нервное раздражение которого не утихло, приказал двум гвардейским эскадронам отправиться обыскать и поджечь этот дом, говоря при этом:

— Так как господа варвары считают полезным сжигать свои города, то надо им помочь.

Приказ был выполнен с полнейшей точностью. Единственный раз я слышал, чтобы император отдавал подобные приказы. Наоборот, он всегда старался предотвращать и не допускать зло, которое разоряет только

частных лиц и причиняет вред только им. В Верею император возвратился до наступления ночи. В городе не оставалось ни одного жителя.

Согласно нашему уговору с князем Невшательским, я зашел за ним, и мы вместе отправились к Неаполитанскому королю, чтобы убедить его поговорить с императором насчет Винценгероде. Мы уже истребовали от Винценгероде сведения о его семье и точные данные о том, когда именно он покинет Германию, и, когда мы возвращались, князь Невшательский уже нашел случай объяснить императору, что Винценгероде не был его подданным. Чем больше император сердился, тем меньше меня страшили последствия этого дела, ибо у государей, как и у всех людей, есть совесть, которая повелевает им исправлять совершенные ими несправедливости. Но так как для пленников время тянется долго, то мы старались поскорее добиться решения, которое можно было предвидеть заранее, но без которого нельзя было устранить всякие поводы к беспокойству.

Император вызвал меня, чтобы узнать, нет ли каких-нибудь новых сведений об эстафете. Этот вызов показался мне добрым предзнаменованием, так как он последовал отнюдь не в урочный час. Хотя император очень смягчился, но он чувствовал еще потребность излить свою желчь. Я слушал его; я признавал незаконность действий Винценгероде в Москве и соглашался, что он подлежит суду и осуждению в том корпусе, который взял его в плен; но я сказал, что император не мог вызвать его В лично говорить с ним лишь для того, чтобы осуществить акт бесполезной теперь суровости, и что он проявил

уже достаточно суровости в разговоре с ним, чтобы еще надо было наказывать его. Я добавил, что жестокость с его стороны будет казаться теперь личной местью, результатом раздражения против императора Александра, адъютантом которого был Винценгероде, а между тем государям нет надобности драться лично, когда прогремело уже столько пушечных выстрелов.

Император рассмеялся и добродушно потянул меня за ухо, как он всегда делал, когда хотел обласкать кого-нибудь. Он сказал:

— Вы правы, но этот Винценгероде — дрянной человек и интриган. Подобает ли человеку такого ранга заниматься совращением солдат, унижаться до роли шпиона и совратителя, позволять себе пользоваться именем своего монарха, чтобы подстрекать солдат к бунту и подлости? Я отошлю его во Францию… Я предпочел бы, чтобы был захвачен в плен какой-нибудь русский, потому что эти иностранцы, служащие тому, кто предлагает больше, не такой уже прекрасный трофей. Вы итересуетесь им, конечно, из-за Александра. Ладно, ладно, ему не сделают зла. Император

слегка потрепал меня по щеке; это служило у него знаком большой ласки. Я сразу заметил, что он ищет только предлога, чтобы отказаться от своего первоначального намерения.

Я не заставил себя просить и поспешил удалиться с такой приятной новостью, но император вновь позвал меня и сказал, чтобы я пригласил Нарышкина к себе пообедать. Он добавил, что через несколько дней отошлет его к русским аванпостам, но чтобы я молчал об этом.

— Что касается Винценгероде, то им вы интересуетесь меньше, потому что он не русский, — сказал мне император шутя.

Как было условлено у нас с князем Невшательским, я при разговоре с императором вставил фразу о том, что "интересы наших соотечественников, находящихся в плену, требуют бережного отношения к этому пленнику". Император с живостью возразил:

— Я помилую его отнюдь не по этой причине, так как своим поведением он поставил себя вне норм международного права, но потому, что я в сущности вовсе не собирался расправляться с ним. Если император Александр сделал ошибку и взял такого человека к себе в адъютанты то я не хочу делать ошибку, расправляясь с тем, кто особенно близок к нему. Я пошлю его во Францию под хорошим конвоем, чтобы помешать ему интриговать в Европе вместе с тремя-четырьмя другими подстрекателями такого же сорта.

Император отпустил меня еще раз повторив, чтобы я никому не говорил пока о его добрых намерениях по отношению к Винценгероде.

Я позволил себе только сказать князю Невшательскому, что он может быть спокоен за участь своего пленника; вместе с Неаполитанским королем князь отправился на обед к императору с намерением добиться окончательного решения по этому делу. Вскоре, как раз в то время, когда мы сидели за обедом, император снова меня вызвал и поручил мне сказать как бы от себя молодому Нарышкину (о семье и о личных качествах которого он подробно расспросил меня), что он желает мира и лишь от императора Александра зависит заключение мира почетного; император Наполеон никогда не придавал большого значения Польше и доказал это тем, что не освободил ее полностью; как и прежде, он лишь добивается такой системы, которая закрыла бы контингент для Англии, ибо это является единственным средством принудить ее к миру; можно договориться о таких способах осуществления этой системы, которые соответствовали бы особенностям положения каждой из договаривающихся сторон; император Наполеон оставался в Москве только потому, что русские не хотели вести переговоры; сам он по-

прежнему готов начать переговоры; он все еще обладает прекрасной армией, русские знают, что им не приходилось одерживать над ним победы; стычка с Неаполитанским королем не была настоящим сражением; к императору Наполеону прибывают громадные подкрепления, и он удваивает свои силы, приближаясь к своей операционной базе; если война будет продолжаться, то он будет более силен и будет занимать более опасную для России позицию, чем если бы оставался в Москве; он находится в чрезвычайно выгодном положении, при котором его престиж вполне позволяет ему поставить императору Александру хорошие условия, так как всем известно, что его не принуждает к этому какая-либо неудача; для России настоящий момент является столь же благоприятным, так как движение французской армии, будучи в известной мере отступлением, уравновешивает те преимущества, которых неизменно добивались наши войска, и создает одинаково почетное положение для обоих правительств на случай переговоров; действительное зло, которое испытала Россия, было причинено пожарами, и вполне точно установлено, что в этих пожарах мы не при чем; самого Нарышкина император отошлет, может быть, к русским аванпостам, так как знает, что его семья особенно близка к императору Александру, и он отнюдь не хочет, чтобы Александр продолжал беспокоиться насчет его участи, ибо от Лористона и от меня он слышал всегда много похвал по поводу обращения Александра с нами.

Я возвратился к Нарышкину, обедавшему с нами, успокоил его насчет судьбы генерала Винценгероде и исполнил все приказания императора.

Тем временем Неаполитанский король и князь Невшательский говорили с императором по тому же делу в тоне своей обычной благожелательности к людям. Винценгероде был признан военнопленным и отослан во Францию вместе со своим адъютантом. Я снабдил Нарышкина деньгами, а на следующий день, побывав в нашем обозе, послал ему пальто, так как на нем не было ничего, кроме мундира. Мой слуга нагнал его, когда он был уже в пути вместе с головной частью нашей колонны; с этой колонной оба пленных следовали до Гжатска. Оттуда их отправили во Францию под конвоем одного офицера и одного жандарма. Случай им благоприятствовал: они были освобождены Чернышевым, который встретился с ними за Борисовым, когда он ехал с отрядом казаков к графу Витгенштейну, чтобы предупредить его о движении армии Чичагова.

Герцог Тревизский эвакуировал Москву 23 октября, взорвав согласно полученному им приказу Кремль и казармы. 27-го он был в Можайске. Оттуда мы в течение нескольких дней эвакуировали раненых при помощи

немногочисленных транспортных средств, какие только удалось собрать. В Можайск прибыл обоз с рисом, и герцог д'Абрантес устроил там несколько складов, удовлетворивших потребности первых воинских частей, прибывших в город.

Следующий день, то есть 28 октября, мы провели вблизи города, не вступая в него. Император получил днем от герцога Тарентского сообщение о том, что подошедшие к неприятелю подкрепления принудили герцога оставаться в бездействии до 15-го. Вечером император узнал, что неприятель энергично теснил арьергард 5-го корпуса вблизи Медыни, и Понятовский направился к Гжатску по проселочным дорогам.

Когда мы проходили мимо Можайска, император сделал остановку, чтобы выяснить, как идет эвакуация и как выполняется его распоряжение о выдаче пайков раненым. Он сам разместил значительное число раненых как в своих личных повозках и экипажах, так и во всех тех, которые проезжали мимо. Некоторые возражали против этой меры, заявляя, что она обрекает несчастных раненых на гибель, так как они, едва покинув лазареты, должны будут тащиться по дороге, но император приказал рассадить их повсюду, где они только могли примоститься, в том числе на крышах фургонов, на повозках для фуража и даже на задках телег, уже нагруженных до отказа ранеными и больными из Малоярославца. Все они один за другим пали жертвой добрых намерений императора, хотевшего укрыть их от опасности, которая могла бы грозить им со стороны ожесточенных русских крестьян. Те из них, кто не свалился в результате истощения и мучительного способа путешествия, стали жертвой ночных морозов или погибли от голода, за исключением раненых гвардейцев и тех раненых, которые находились в обозе императора (эти раненые пользовались пищей и уходом благодаря изумительной самоотверженности доктора Лерминье и заботам начальника обоза Жи); так как все потеряли свои обозы, то до Вильно доехали живыми не больше 20 человек. Даже те из них, которые были в лучшем состоянии, чем другие, не могли вынести того способа путешествия и держаться на повозках там, где было размещено большинство из них. Легко представить себе состояние этих несчастных после нескольких лье пути. Истощение, тряска и холод — все вместе обрушилось на них. Никогда не приходилось видеть более скорбного зрелища.

Возвращаясь к Можайску, я хочу рассказать об одном факте, который показывает, как много сил могут дать даже самому ослабевшему больному страх и потрясенное воображение. Императорский обоз вывез из Москвы всех больных служащих дворцового ведомства, за исключением двух

курьеров, заболевших сыпным тифом, причем кожа их покрылась пятнами. Врачи смотрели на них, как на мертвых, и, считая, что они больны заразной болезнью, объявили мне, что перевозить их бесполезно. Я приказал осторожно перенести их в гвардейский лазарет, чтобы поместить вместе с теми ранеными гвардейцами, которые находились в подобном же состоянии и должны были быть оставлены в Москве. Были приняты все меры, чтобы обеспечить им хороший уход, а на случай эвакуации Москвы они были поручены заботам Тутолмина. Один из этих почтальонов, — я рассказываю о нем потому, что я сам не поверил бы этому, если бы не был очевидцем, — так вот один из этих почтальонов, который уже 12 дней был в бреду и которого я видел на смертном одре накануне нашего отъезда, причем врачи не питали никакой надежды на его выздоровление, через четыре дня после нашего отъезда пришел в себя. Он слышит, как говорят об отъезде. Из разговора он понимает, что император покинул Москву и что остающиеся еще там французские войска, быть может, эвакуируют из города. Он соскакивает с постели, его беспокойство, или, вернее, отчаяние, придает ему силы. Он тащится в город, добывает две бутылки вина, немного водки, сухарей, отправляется в путь и плетется до тех пор, пока не нагоняет наши обозы в Можайске. Все думали, что видят перед собой призрак. Нельзя было поверить, что это — тот несчастный, которого переносили в гвардейский лазарет и который уже тогда почти не подавал признаков жизни. Его начали лечить, и через 10 дней он совершенно выздоровел и только очень исхудал.

Обозные лошади были изнурены и плохо кормлены, а обозы находились в пути по 14 — 15 часов в сутки. Они не сворачивали с дороги и не заходили никуда, где можно было бы раздобыть какое-нибудь продовольствие. Во время остановок кучера с частью лошадей отправлялись в сторону от дороги, разыскивая какой-нибудь плохонький фураж и плохонькую пищу в покинутых деревнях и на покинутых бивуаках. Если они что-нибудь находили, то тщательно берегли это для самих себя, так как не знали, что будет с ними завтра. Часто не было даже времени развести костры. Нельзя представить себе более плачевную участь, более прискорбное и отчаянное положение. Смерть могла явиться во всяком виде, и не было возможности спастись от нее. Хирурги и врачи без продовольствия, без медикаментов, без перевязочных средств, по большей части не имея хлеба даже для самих себя, вынуждены были скрываться от несчастных раненых и больных, которым они не могли дать никакого облегчения.

До Орши нам приходилось идти по настоящей пустыне, так как

направо и налево от дороги вся местность была вытоптана, обглодана и опустошена армией и теми отрядами, которые пришли на соединение с ней. Легко представить себе состояние обозов; они были переполнены беженцами, женщинами и детьми; выйдя из Москвы вместе с нами, они должны были принять раненых в боях род Винковым и под Малоярославцем; к этим раненым, как я уже рассказывал, прибавились раненые из Можайска, размещенные на крышах повозок, на передках, на задках, на ящиках, на козлах, на фуражных повозках и даже на откидном верху фургонов, если внизу не оставалось больше места. Легко представить себе, какой вид имели наши обозы. При малейшем сотрясении те, кому досталось наиболее плохое место, скатывались на землю; кучера не обращали на это никакого внимания. А кучер следующей повозки, если он не дремал и не был погружен в мечты, либо просто не следил за своими лошадьми, либо, боясь остановиться и потерять свое место в ряду, безжалостно переезжал через тело несчастного, свалившегося на дорогу. Дальнейшие повозки уделяли упавшим не больше внимания.

Я никогда не видел ничего более ужасного, чем эта дорога в течение 48 часов после нашего выезда из Можайска. Страх погибнуть от голода, потерять свои слишком перегруженные повозки, погубить своих лошадей, изнуренных усталостью и голодом, закрывал чувству жалости доступ в людские сердца. Я и сейчас содрогаюсь, когда рассказываю, как кучера нарочно направляли свои повозки по рытвинам и ухабам, чтобы избавиться от несчастных, полученных в качестве дополнительного груза, и радовались "удаче", когда какой-нибудь толчок освобождал их от того или иного из этих злополучных людей, хотя они наверняка знали, что упавших раздавят колеса или изувечат лошадиные копыта. Каждый думал о себе, только о себе. Людям казалось, что их жизнь зависит от сохранения их маленькой повозки, в которой находится немного продовольствия, и они приносили в жертву жизнь 20 человек, чтобы уберечь жалкую клячу, которая тащила последние оставшиеся у них "сокровища". Все тешили себя надеждой, что дальше можно будет найти продовольствие, но, за исключением нескольких крупных городов, вроде Смоленска, где имелись кое-какие склады, продовольствия не оказывалось нигде. Лошадей кормили сеном и гнилой соломой, оставшимися на старых бивуаках, если не отправлялись искать фураж на расстояние по меньшей мере одного лье от дороги с риском быть захваченными и убитыми.

28-го ставка расположилась в Успенском. В два часа ночи император вызвал меня. Он лежал в постели. Приказав мне проверить, хорошо ли закрыта дверь, он велел мне сесть подле постели, что вовсе не

соответствовало его привычке. Затем он заговорил об общем положении вещей и о состоянии армии, причем он еще не видел или не хотел видеть, до какой степени дезорганизации она уже дошла. В заключение он просил меня откровенно сказать ему вес, что я думаю. Я не заставил себя долго просить и полностью изложил императору мои взгляды на последствия, к которым приведет дезорганизация армии, а в особенности мое мнение о тех бедствиях, которые повлекут за собою зимние морозы. Я напомнил ему получивший известность ответ императора Александра на московские предложения мира переданные Лористоном: "Начинается моя кампания". Я сказал императору, что этот ответ надо понимать буквально: чем ближе будет надвигаться зима, тем больше вся обстановка будет выгодна русским и в частности казакам.

— Ваш пророк Александр не раз ошибался, — ответил император, по в тоне его голоса не было никакого раздражения.

Император, как мне казалось, не поверил в правдоподобность моих предсказаний. Он надеялся, что исключительная сообразительность наших солдат подскажет им, какими средствами можно уберечь себя от морозов, и они воспользуются теми же предосторожностями, что и русские, или заменят их какими-нибудь другими. Он не сомневался, что армия расположится на зимние квартиры в Орше в Витебске. Император все еще не верил, что может оказаться принужденным отступить за Березину; он считал, что может пойти на это разве лишь для того, чтобы быть поближе к большим складам в Минске и Вильно и установить более тесный контакт с Шварценбергом и корпусами на Двине, последние операции которых должны были, конечно, оказать влияние на его решения. Учитывая их силы, он не сомневался, что они вновь возьмут Полоцк, и сожалел о ранении маршала Сен-Сира, которое, как он говорил, отняло у него самого способного из его помощников. Ему казалось, что прибытие польских казаков (он по-прежнему ожидал их и надеялся, что в ближайшие дни получит 1500 — 2000 этих всадников) полностью изменит наше положение и весь ход дел, так как они возьмут на себя нашу охрану и дадут нашим солдатам возможность отдохнуть и раздобыть продовольствие. После Малоярославца наши несчастные солдаты питались лишь кониной; иногда им перепадало немного скверной вареной говядины, но доставалась она только тем, кто занимался мародерством, а остальные питались только жареной кониной, то есть павшими на дороге лошадьми. Их разрубали на части еще до того, как они издыхали.

Около часу разговор вращался вокруг вопросов о России, о Польше, о цветущем состоянии Франции, о тех средствах, которыми располагал

император для возмещения своих потерь. Затем император затронул главный вопрос — тот ради которого он меня вызвал и предисловием к которому служил весь предшествующий разговор. Он сказал, что "возможно и даже вероятно, что он поедет в Париж, после того как расположит армию на позициях".

Он спросил меня, что я думаю об этом проекте, не произведет ли его отъезд дурного впечатления в армии, не будет ли это лучшим средством для того, чтобы реорганизовать ее, оказать воздействие на Европу и сохранить спокойствие; наконец, он спросил, не вижу ли я опасностей в поездке через Пруссию без эскорта.

Император добавил еще, что "через неделю русская армия, так же как и наша, не будет уже в состоянии дать сражение; она тоже нуждается в отдыхе и в реорганизации; морозы существуют не только для нас, но и для русских; Кутузов следует за нами, не предпринимая ничего серьезного, и отсюда видно, что он не имеет нужных для этого средств; мы действовали с такой прохладцей и допускали так много проволочек, что Кутузов легко мог опередить нас; Кутузов не может не знать, что мы двигаемся, как походная колонна, а о нем ничего не слышно".

Наконец император сказал, что "в Смоленске мы найдем свежий и хорошо организованный корпус; еще один стоит на Березине; артиллерия этих корпусов, как и артиллерия корпусов на Двине, располагает хорошими лошадьми и достаточно многочисленна, чтобы подкрепить наши артиллерийские силы; немного дальше стоят австрийцы и Рейнье[205] ; если объединить все эти силы, то пусть даже молдавская армия немедленно присоединится к остальным русским корпусам, превосходство все равно будет на нашей стороне, и это обеспечит нам спокойствие на зиму; Вильно будет присылать нам дивизии одну за другой, и они еще больше увеличат нашу мощь; наконец, огромные вещевые склады, находящиеся в этом городе, снабдят нас всем необходимым".

Я ответил императору, что, по-моему, зло значительно больше, чем он думает, и поэтому я не колеблюсь в выборе лекарства; есть только одно лекарство, а именно: если его приказы и декреты будут подписываться во дворце в Тюильри; я не останавливаюсь на второстепенных соображениях, не считаюсь с тем, что будут об этом говорить или думать в армии, ибо сейчас стоит вопрос о том, на что могут дерзнуть в Европе. Я сказал, что задуманный им шаг единственный, который может принести действительную пользу, единственный, который должен был бы ему посоветовать всякий верный слуга; колебаться не приходится, нужно только выбрать удобный момент; что же касается неудобства переезда

через Пруссию, то его можно избежать, если ехать под вымышленным именем; так как никто не будет знать заранее о предстоящем путешествии то связанные с ним опасности не выходят из рамок тех обычных бесчисленных опасностей, которым мы подвергаемся каждый день.

Я старался разъяснить императору действительное состояние армии; я указывал ему, что трудно пресечь зло и остановить процесс дезорганизации, так как причиной является упадок духа некоторых начальников. В самом деле, они допустили полное разложение своих корпусов, ничего не делали, чтобы удержать своих солдат от дезертирства и не оказаться в таком положении, когда им приходится идти в бой с ничтожной кучкой храбрецов, оставшихся верными своему знамени. Я говорил императору о том впечатлении, какое произведет не только во Франции, но и во всей Европе известие об его отступлении, а еще больше — известие о бедствиях, в которые он пока еще не хочет верить; в заключение я сказал, что его возвращение в Париж создаст необходимый противовес этому впечатлению.

Император, казалось, стал менее сомневаться в справедливости моих мрачных предсказаний. Он думал, что его присутствия в Париже будет достаточно, чтобы были пущены в ход все силы для создания в трехмесячный срок новой армии. В заключение он спросил, не думаю ли я, что новое предложение, направленное императору Александру теперь, когда русские губернии будут эвакуированы, приведет к заключению мира.

— Не больше, чем в Москве, — ответил я. — Наше отступление вскружит им всем голову.

Было уже половина шестого, когда император отпустил меня, сказав на прощанье, чтобы я поразмыслил над всем, что он мне конфиденциально сообщил, и добавил, что он еще поговорит об этом со мной после того, как побеседует с князем Невшательским.

Назавтра, то есть 29-го, мы были в Гжатске. Стоял сильный мороз. Эстафеты, которые в течение нескольких дней уже не запаздывали и приходили через все более короткие промежутки времени, так как мы двигались им навстречу, снова перестали поступать со вчерашнего дня из-за появления нескольких неприятельских отрядов на наших коммуникационных путях. Последние депеши из Парижа были еще от сентября.

Уже после Боровска мороз давал себя чувствовать, но промерзла только поверхность почвы; погода была хорошая, и еще вполне возможно было провести ночь под открытым небом, если развести костер. Однако здесь (в районе Гжатска) зима давала себя чувствовать более сильно.

После Вереи я усвоил привычку передвигаться пешком. Я проделывал таким образом все ежедневные переходы и прекрасно себя чувствовал, потому что нисколько не страдал от холода и не знал никаких недомоганий в течение всего нашего продолжительного отступления.

В Гжатске мы нашли остатки обоза, присланного из Франции для императорского двора, с двумя придворными лакеями. Часть его была разграблена казаками. Так как у нас не было транспортных средств для перевозки присланного с этим обозом продовольствия, то мы распределили его между собой, и в ставке царило изобилие. Мы пили кло-вужо и шамбертен как простое столовое вино. Мы запаслись силами и хорошим самочувствием на те поистине черные дни, к которым мы приближались. У всех оставались еще кое-какие запасы. Было распределено небольшое количество сухарей.

Люди хорошо переносили наши длинные переходы, несмотря на ночные морозы и на дурное состояние дороги в некоторых местах, где оттепель, продолжавшаяся несколько часов, сильно испортила се; но с лошадьми дело обстояло иначе. Необходимость отправляться на фуражировку на два лье в сторону от дороги и дурное качество корма, добываемого ценою стольких опасностей и такого труда, изнуряли лошадей. Лошади, не отличавшиеся особенно мощным сложением, погибли все. В запряжках шли резервные лошади, да и их не хватало. Мы начинали уже бросать свои повозки на дороге.

До сих пор казаки, двигавшиеся следом за нашим арьергардом, мало тревожили его. Так как состояние нашей кавалерии и быстрота нашего передвижения не позволяли нам высылать разведки, то мы не имели сведений о неприятеле. Но так как мы не замечали казаков на наших флангах, то наши мародеры из головных частей колонны отдалялись в сторону от дороги, а по возвращении сообщали, что видали только крестьян, обращавшихся в бегство при их приближении. Это облегчало возможность добывать продовольствие, но такое облегчение сыграло очень печальную роль, внушив людям уверенность в безопасности, и число отставших увеличилось еще больше. Так как поесть удавалось только при мародерстве, то все хотели отправляться на этот промысел. В арьергарде мародерам и отставшим посчастливилось меньше. Русские ежедневно захватывали в плен многих из них и, удовлетворенные, очевидно, такими результатами, лишь изредка подступали к нашему арьергарду на расстояние ружейного выстрела.

30-го ставка провела ночь в Величеве. В красивом помещичьем доме не осталось ни одной окопной рамы; с трудом удалось набрать всяких

обломков, чтобы кое-как забить окна в одной из комнат и отвести ее для императора и начальника штаба. Из всей мебели в целости сохранился только биллиард. Здесь в Величеве были получены запоздавшие эстафеты.

На следующий день, то есть 31-го, ставка и гвардия были в Вязьме, где они оставались также и 1 ноября. Все, что уцелело при первом пожаре, было в хорошем состоянии. Армии были розданы кое-какие пайки, а лошади, принадлежавшие ставке, получили немного корма. Когда мы вступили в Вязьму во время нашествия, там оставалось немного жителей, а теперь их стало еще меньше.

Император никак не мог понять тактики Кутузова, оставлявшего нас в полном спокойствии. Погода была хорошая. Император опять несколько раз говорил, что "осень в России такая же, как в Фонтенбло"; по сегодняшней погоде он судил о том, какою она будет через 10 — 15 дней, и говорил князю Невшательскому, что "это — такая погода, какая бывает в Фонтенбло в день св. Губерта (3 ноября), и сказками о русской зиме можно запугать только детей".

В Вязьме император получил сообщение от генерала Барагэ д'Илье, который согласно полученному им приказанию занял Ельню. В Вязьме же император узнал об эвакуации Полоцка и послал маршалу герцогу Беллюнскому приказ вновь захватить Полоцк, причем сообщил о своем приближении. Он написал также герцогу Бассано, сообщая ему о своем передвижении и поручая ему уведомить об этом князя Шварценберга, маршала Макдональда и других, причем он говорил, что цель этого движения — "вступить в контакт с другими корпусами во время зимы".

2-го мы были в Семлеве, 3-го — в Славкове, где мы увидели первый снег. Безопасность, которой пользовались наши фланги в течение нескольких дней благодаря тому, что неприятель после медынского нападения почти совсем не следовал за нашим арьергардом, была, как полагали, только хитростью с целью внушить нам спокойствие и повторить вблизи Бородина то, что было под Вороновым. Но, как мы узнали потом, слабость преследования объяснялась тем, что Кутузов находился в неизвестности насчет наших передвижений. Только 27-го он определенно установил, что наш маневр против него был не чем иным, как прологом к нашему отступлению.

28-го Кутузов поручил Милорадовичу[206] , которого он поставил во главе корпуса, состоявшего из пехоты и кавалерии; настигнуть нас и отрезать наши арьергардные дивизии, не дошедшие до Вязьмы. Император узнал об этом нападении 3 ноября, когда был в Славкове; одновременно он получил сведения, что вице-королю, князю Понятовскому и князю

Эльхингенскому пришлось оказать поддержку князю Экмюльскому, который командовал тогда арьергардом. Еще утром ему стало известно, что казаки, которые после Малоярославца ограничивались до сих пор лишь слабым преследованием нашего арьергарда, напали 1 ноября на обоз[207] и имели некоторые успехи; тогда же он узнал, что князь Экмюльский, передвижения которого замедлялись и затруднялись огромным числом отставших, оторвавшихся от своих корпусов из-за голода, нужды или болезней, находился еще довольно далеко от Вязьмы, когда показалась русская пехота. Не располагая достаточными силами, чтобы дать сражение, князь Экмюльский должен был ускорить свой путь к Вязьме. В это время маршал Ней стоял на бивуаках перед Вязьмой, а вице-король и князь Понятовский, которые еще накануне знали, что неприятель теснит князя Экмюльского, и в связи с этим замедлили свое движение, также заняли позиции перед Вязьмой, чтобы выждать, пока подойдет князь Экмюльский.

Вся местность кишела казаками, которые каждый миг прерывали связь между нашими корпусами, как бы близко они ни находились друг от друга. Как только наши войска выстроились на занятых позициях, бой стал клониться в нашу пользу, но злая судьба хотела. чтобы император вместе с гвардией оказался в этот день в Славкове, так как он не ожидал, что Кутузов пробудится от своей спячки, и думал, что неприятель скорее постарается нас опередить, чем потревожить. Так как на месте боя не было начальника, которому было бы поручено общее командование, то не было единого порядка в распоряжениях. В течение шести часов наши войска доблестно сражались на всех пунктах, но все время они только оборонялись. Однако превосходство, приобретенное благодаря этому неприятелем, дорого обошлось ему; за смелость своего предприятия он заплатил большими потерями, а в результате добился только того, что причинил большой урон 1-му корпусу, в котором возник некоторый беспорядок в тот момент, когда он проходил мимо корпуса вице-короля. Еще больший беспорядок был при переходе через мост у Вязьмы. До этого, пока ему приходилось без чьей-либо помощи отражать нападение неприятеля, 1-й корпус с честью поддерживал свою репутацию, несмотря на оживленные атаки русских и на свои значительные потери от артиллерийского огня. Недолго длившийся беспорядок обратил на себя внимание потому, что доблестные пехотинцы 1-го корпуса впервые покидали свои ряды, вынудив своего непоколебимого командира уступить неприятелю. Я касаюсь этих прискорбных фактов, потому что именно с этого момента начинается дезорганизация нашей армии и все наши несчастья, 1-й корпус, корпус, который в начале кампании был самым

многочисленным, самым образцовым и соперничал с гвардией, сделался самым дезорганизованным, и это зло продолжало расти. Понятовский, вице-король и Ней дрались, как и в наши счастливые дни.

Император должен был поручить командование арьергардом маршалу Нею, энергия и отвага которого только возрастали вместе с ростом опасностей и затруднений. Император занялся составлением инструкций о тактике отступления. Он считал, что при помощи этой инструкции можно будет исцелить все беды, вызываемые нападениями казаков. Он сравнивал их с арабами и предлагал, по примеру египетского похода, располагать при передвижении обозы в центре, в голове и хвосте колонны по полбатальона, а на флангах вдоль всей колонны по батальону, чтобы в случае надобности мы могли открывать огонь во все стороны, точно батальон, построившийся в каре. Корпуса могли следовать на некотором расстоянии друг от друга, а в промежутках между ними должна была двигаться артиллерия. Император много говорил об этих распоряжениях, которые, по его мнению, обеспечивали армии спасение, и рассчитывал занять позиции в Смоленске. Но опасность заключалась не только в нападениях казаков; паши солдаты, если они только были объединены хотя бы в небольшие отряды, никогда не боялись их и всегда, когда хотели, держали их на приличном расстоянии от себя. Опасность была в голоде, в отсутствии продовольствия; не хватало и порядка для того, чтобы раздобыть его, а это вело к дезорганизации всех корпусов, которая являлась неизбежным последствием наших быстрых переходов и полного опустошения той местности, по которой мы шли.

Приходилось ограничиваться дневными переходами в три-четыре лье и тратить столько же па поиски продовольствия в стороне от дороги. Если бы при этом солдаты оставались в своих частях, почти все могло бы быть спасено; но неприятель опережал, настигал или атаковывал нас повсюду, и считалось, что ради спасения от той опасности должна быть принесена в жертву борьба против всех прочих бед.

Император думал, что нападение русских под Вязьмой было частью общего маневра всей неприятельской армии, и решил остановиться; он надеялся, сосредоточив силы у Славкова, найти удобный случай для внезапного нападения на противника, который думал, что он преследует только арьергард, и заставить его раскаяться в этом дерзком преследовании. Однако Ней послал ему такое обескураживающее донесение о вчерашних событиях, явившихся результатом нарушения порядка в 1-м корпусе, что всякий другой, кроме императора, отказался бы от проекта внезапного нападения на русских. Ней сообщал, что он занимает опушку леса за Вязьмой; так как 1 и 4-й корпуса отошли, то он

еще до утра возобновит отступление, чтобы не поставить свои войска под угрозу. Он добавлял, что вчерашнее поведение 1-го корпуса явилось дурным примером и произвело плохое и опасное впечатление на все войска. Это донесение, полученное рано утром, не изменило, однако, намерений императора; он по-прежнему считал, что вся русская армия сосредоточена, и думал, что решительное нападение на это скопление войск даст ему победоносные результаты. Он оставался в Славкове в течение 4 ноября, желая взять реванш, но так как неприятель ничего не предпринимал, от Нея приходило одно обескураживающее донесение за другим, а подходившие корпуса образовывали нагромождение войсковых частей, то император должен был 5-го возобновить свое движение. Выступление открыл Жюно, за ним следовала молодая гвардия, потом 2 и 4-й кавалерийский корпуса, старая гвардия, Понятовский, Евгении Богарнэ и разлагающиеся войска Даву. Ней шел в арьергарде, действуя с решительностью, достойной его отваги; он вдохновлял своей эрнергией всех, кто его окружал.

5-го мы ночевали в Дорогобуже. Эстафеты по-прежнему приходили регулярно. В течение последних 36 часов погода была мягкой, но теперь опять сразу похолодало. Сведений о неприятеле не было. Следует ли Кутузов за нами? Идет ли он впереди нас? Эта неизвестность была для императора лишним поводом к беспокойству и раздражению. Он занялся организацией кавалерийского корпуса для прикрытия наших флангов; но за исключением гвардии наша кавалерия так поредела, что от этой меры многого уже не ожидали. И вот тогда-то император, вынужденный отчитаться перед сами собой и прощупать все свои раны, понял, как много он уже потерял.

6-го мы были в Михайловке. Там император получил сообщение об отступлении стоявших на Двине корпусов к Сенно, а также сообщение о прибытии корпуса герцога Беллюнского, который, по его мнению, должен был поправить все дела. На следующий день он послал ему повторный приказ снова взять Полоцк, сообщая одновременно о нашем прибытии в Смоленск и о том, что мы станем здесь на позициях. Это бы день неприятных новостей. Император был сильно озабочен полученными им сообщениями об отступлении наших войск на Двине как раз в тот момент, когда он особенно нуждался в их успехе; но ему пришлось пережить еще одну большую неприятность, когда он получил первые сведения о заговоре Мале[208].

Освобожденный 22 октября из больницы, где он содержался на положении арестованного, Мале в тот же вечер сумел произвести такое

впечатление на представителей администрации и на войска парижского гарнизона, что с полуночи до девяти часов следующего утра правительство было парализовано, причем Мале арестовал министра полиции герцога Ровиго и префекта полиции, а также тяжело ранил коменданта Парижа генерала Юлена. Хотя этот заговор не имел, да и не мог иметь никакого успеха и одновременно с сообщениями о нем император получил также и сообщение об аресте о предании суду всех его участников, но смелость этого предприятия, организованного в резиденции правительства, произвела на него необычайное впечатление, и только после третьей или четвертой эстафеты он успокоился насчет последствий заговора и поверил, что в руках властей находятся как все виновники, так и все нити этого дела. Частных писем, отправленных из Парижа в эти дни, мы еще не имели и знали обо всем деле только от императора, который говорил о нем, как о незначительном происшествии и проделке сумасшедшего. О деле Мале он говорил в этот день по душам только с князем Невшательским, причем не пожалел резких слов для министра полиции. Он думал, что этот заговор, являясь делом безумца, не имел никаких или почти никаких разветвлений.

Бывший генерал Мале, содержавшийся в больнице на положении арестованного, задумал произвести республиканский переворот с помощью поддельного сенатус-консульта и слухов о смерти императора, которые он намеревался распространить. Он приступил к осуществлению своего проекта в ночь на 23 октября, сфабриковав приказы на имя префекта полиции, начальника воинских частей и смотрителей арестных домов где находились в заключении генерал Лаори и генерал-адъютант Гидаль, которых он превратил в свое орудие. Оба они, сами обманутые в первый момент, отправились, как доносил министр, в казармы, а префект департамента Сены имел слабость распорядиться, чтобы был приготовлен зал заседаний для нового правительства. Полковники Сулье, Рабб и другие офицеры тоже были проведены за нос; они выступили со своими частями и тем самым дали Мале возможность арестовать министра и префекта полиции. Министр полиции был арестован в своей постели генералом Лаори, который завладел зданием министерства; тем временем Гидаль арестовал префекта полиции, а Мале отправился к парижскому коменданту генералу Юлену, который оказал сопротивление, и тогда Мале выстрелом из револьвера раздробил ему челюсть. Между тем генерал-адъютант Лаборд и другие офицеры, оправившись от неожиданности, захватившей их врасплох и видя, что заговорщиков так мало, стали во главе других воинских частей и освободили из заключения министра полиции и префекта. С этого момента правительство в полное мере возобновило свою

деятельность, которую оно не должно было бы прекращать ни на миг, и три заговорщика были арестованы. Происшествие прошло в Париже почти незамеченным. Еще не было 10 часов утра, как все уже было в порядке.

Согласно донесениям, полученным императором, поведение префекта департамента Сены г-на Фрошо было небезупречным, а то, что император узнал позже, укрепило его в этом мнении.

Военный министр смотрел на этот заговор иначе, чем министр полиции.

— Кларк, — говорил император, — убежден, что это большой заговор и что имеются еще другие, более важные руководители; Савари думает обратное. В первый момент сообщение о моей смерти заставило всех потерять голову. Военный министр, который распинается передо мною в своей преданности, не потрудился даже надеть сапоги, чтобы поспешить в казармы, привести войска к присяге Римскому королю и вытащить Савари из тюрьмы. Только Юлен проявил мужество, а Лаборд — присутствие духа. Поведение префекта и полковника непостижимо. Как полагаться на подобных людей, — прибавил император с горечью, — если первокласснейшее воспитание, полученное ими, отнюдь не гарантирует с их стороны чувств верности и чести? Слабость и неблагодарность префекта и полковника Парижского полка, одного из моих старых храбрецов, которому я помог сделать карьеру, приводят меня в негодование.

После первых сообщений император с нетерпением ожидал следующей эстафеты, желая поскорее узнать результаты предпринятого расследования.

— Этот бунт, — говорил он, — не может быть делом одного человека.

Когда мы ехали в Пнево, он беспрестанно спрашивал меня, не видно ли курьера с эстафетой. Прибывшая эстафета доставила подробности, которые подтверждали сообщения герцога Ровиго. Но генерал Кларк по-прежнему усматривал в этом деле обширный заговор, и его сообщения все время беспокоили императора, которого поведение скомпрометированных лиц возмущало до такой степени, что он говорил об этом не переставая.

— Рабб — дурак, — говорил он мне. — Ему достаточно показать большой печатный бланк с поставленной на нем печатью. Но как был обойден и обманут Фрошо, человек умный, человек с головой? Он — старый якобинец.

Должно быть, его еще раз соблазнила республика. Он привык к переворотам, и тот переворот удивил его не больше, чем десяток других, которые он видел на своем веку. Известие о моей смерти показалось ему, по-видимому, правдоподобным и, прежде чем вспомнить о своем долге, он

задумался о том, как бы сохранить свое место. Он присягал добрых 20 раз, и присягу, которая связывает его с моей династией, он забыл так же, как и другие. Быть высшим должностным лицом города Парижа и без всякого сопротивления приготовить в городской ратуше, в своем собственном помещении, зал заседаний для заговорщиков, не навести никаких справок, не принять никаких мер, чтобы воспротивиться заговорщикам, не сделать ни одного шага, чтобы поддержать авторитет своего законного государя! Он должно быть, участник заговора, потому что подобная доверчивость со стороны такого человека, как Фрошо необъяснима. Камбасерес и Савари сделали большую ошибку, не арестовав его. Он — больший изменник, чем Мале, которого я прощал четыре раза и который всегда занимался заговорами. Что касается Мале, то это его ремесло; мое милосердие тяготило его; это сумасшедший. Но Фрошо, член государственного совета, начальник администрации важнейшего департамента Франции, человек, осыпанный моими благодеяниями! Это возмутительная подлость и измена! Ему нечего было бояться умереть с голоду, если он потеряет свое место. Зато он потерял свою честь. Думает ли он, что его честь менее драгоценна, чем его место? Если бы даже Мале сделал Фрошо первым министром, то он не спас бы его от позора измены своему долгу и своему благодетелю. Я хорошо знаю, что не всегда можно особенно полагаться на людей, которые смотрят на военную карьеру только как на ремесло, на выгодную спекуляцию и готовы служить всякому, кто оплачивает их риск соответствующим окладом, но ведь Фрошо высшее должностное лицо, человек с большим состоянием, отец семейства, обязанный показывать своим детям пример верности своему государю, которая является первейшим долгом каждого! Я не могу поверить в такую подлость.

Император был в негодовании. Он оказался оскорбленным до глубины души.

— Когда имеешь дело с французами, — сказал он, — или с женщинами, то нельзя отлучаться на слишком долгое время. Поистине нельзя предвидеть, что смогут внушить людям интриганы и что случилось бы, если бы там в течение некоторого времени не получали никаких известий от меня. А между тем это может случиться, если у русских есть здравый смысл.

Судя по тому, что император говорил мне потом и что он рассказывал также Дюроку и Бертье (а они передали мне), он изменил свое мнение насчет министра

полиции и понимал, быть может, лучше, чем это понимали в Париже, как именно мог быть захвачен врасплох и арестован этот министр, даже

если заговор являлся р замыслом и делом одного Мале. Кларк продолжал подозревать, что к заговору причастны и высокопоставленные лица; имя Фрошо, который скомпрометировал себя, придавало этому мнению вес в глазах императора.

Князь Пармский[209] и герцог Ровиго держались, к счастью, противоположного мнения. Герцог Ровиго продолжал говорить о генерале Лаори как о жертве обмана, который ничего не знал до того, как за ним пришли в его тюрьму. Донесение префекта полиции и другие донесения были в том же духе.

Хотя виновники были осуждены и дело было закончено, но пример, который показал смельчак Мале, и поведение префекта департамента Сены дали императору пищу для серьезных размышлений. В особенности его беспокоило то впечатление, которое это происшествие должно было произвести в Европе. Была доказана возможность подобного предприятия, хотя результат и показал невозможность успеха; уже одно это казалось императору серьезным посягательством против власти, открывающим для кое-каких горячих голов, агентов Англии, путь к созданию беспорядков и покушений. В Париже он забыл бы об этом происшествии через 24 часа, но в 600 лье от Парижа в тот момент, когда там могли в течение некоторого времени оставаться без известий о нем и об армии, были все основания для беспокойства. Предприятие, которое человек оказался в состоянии задумать один в стенах своей тюрьмы и осуществить с помощью ложных сообщений через четверть часа после выхода из нее в центре столицы, на глазах устойчивого правительства и бдительной администрации, могло соблазнить также и других интриганов.

Таковы были мысли, осаждавшие императора, а также и нас, и обстоятельства, в которых мы находились, придавали им особое значение.

Сообщения об этих серьезных событиях обрушились на императора, когда он был в Михайловке, и из-за них я прервал мой рассказ о его военных мероприятиях. Мы остановились на том, что император предписал герцогу Беллюнскому вновь взять Полоцк и сообщил ему, что сам он займет позиции в Смоленске. Исходя из этих предположений, император 7 ноября приказал принцу Евгению свернуть с дороги и направиться на Духовщину, чтобы тотчас же занять позиции; но тем временем войска генерала Барагэ д'Илье, которые, по расчетам императора, должны были находиться в Ельне, на самом деле отступали к Смоленску, а маршал герцог Эльхингенский ожесточенно сражался под Дорогобужем; Платов преследовал принца Евгения; и в Смоленске мы узнали, что армия Кутузова двигалась параллельно нашему маршруту через Ермаково на

Ельню. Император, который в течение нескольких дней говорил о своем проекте занять позиции в Смоленске, объявил в этот день во всеуслышание, что армия расположится на зимних квартирах в Витебске и Орше.

7-го мы были в Пневой слободе. Погода становилась все более и более холодной, но все думали, что в смоленских складах и на обещанных императором зимних квартирах мы найдем конец наших продовольственных лишений, то есть конец наших главных бед. Все лица повеселели. Один вид продовольственного обоза, отправленного из Смоленска арьергарду маршала Нея, напомнил другие времена, внушил другие мысли и поднял моральное состояние даже наиболее удрученных людей. Все начали верить в изобилие, в то, что мы достигли тихой пристани. Импеpатрор лелеял всякие мечты больше чем кто бы то ни было и неоднократно говорил на эти темы. Он видел уже, как его армия снова приведена в порядок. По-прежнему стояли сильные морозы, но небо было ясным и солнечным. Всем казалось, что Смоленск означает конец лишений.

Однако зрелище, которое представляла собою дорога начиная от Михайловки, было ужасным; многочисленные трупы наших эвакуированных раненых лежали на дороге; большинство из них погибли от холода или голода или же были покинуты теми, кому была поручена их перевозка. Наряду с этим дорога кишела отставшими. Но в этот день беспорядка было меньше. Некоторые солдаты вновь нагнали свои части, чтобы не упустить пайков, раздачи которых все ожидали. Император заметил это, и в тот момент это было для него утешительным зрелищем. К концу дня почувствовалась сырость и началась оттепель; для артиллерии и обозов дорога стала трудной. К счастью, мороз возобновился, иначе на разбитых дорогах мы все завязли бы в грязи. В это время Платов со своей тучей казаков энергично теснил вице-короля, двигавшегося по направлению к Витебску.

8-го ставка была в Городихине. На один момент у императора явилась мысль поехать в Смоленск, но с возобновлением мороза образовалась гололедица и дорога сделалась непроезжей, в особенности вечером. Император опасался также, что в случае его отъезда за ним потянется целая куча солдат, отбившихся от своих полков, и это вызовет ночью беспорядок в Смоленске; он решил поэтому выждать до завтра; это было весьма счастливое решение, так как, даже идя пешком по дороге, с трудом удавалось удержаться на ногах. Легко представить себе, как обстояло дело с лошадьми, из которых ни одна не была подкована так, как этого

требовали условия русского климата. Изнуренные и ослабевшие от лишений, лошади падали на каждом шагу и не могли найти точки опоры, чтобы подняться на ноги. После нескольких тщетных попыток они оставались лежать распростершись на земле, и невозможно было заставить их вновь попробовать подняться. Дорога была такой скользкой, что мы потеряли очень много лошадей. Именно с этого момента начинаются великие бедствия нашего отступления.

Почти все шли пешком; император, который ехал в своем экипаже вместе с князем Невшательским вслед за гвардией, два-три раза в день выходил из экипажа и, по общему примеру, в течение некоторого времени шел пешком, опираясь то на плечо князя, то на мое плечо или на кого-нибудь из своих адъютантов. Дорога и придорожная полоса с обеих сторон были усеяны трупами раненых, погибших от голода, холода и нужды. Даже на поле битвы никогда нельзя было видеть таких ужасов. И все-таки, как я уже говорил, несмотря на наши бедствия и на эти ужасы, когда мы завидели колокольни Смоленска при ясной погоде и солнечном небе, то оживились даже те, кто унывал больше всех; ко многим вновь возвратилось веселье. Не вызывалась ли эта беззаботность тем, что опасности, грозившие непосредственно каждому из нас, притупляли чувство жалости, тогда как при других обстоятельствах горестное зрелище, представлявшееся нашим взорам, внушило бы это чувство всем?

9 ноября около полудня мы вновь увидели Смоленск. Император, который заранее отдал все нужные распоряжения, тотчас же занялся организацией раздачи пайков. К сожалению, состояние складов отнюдь не соответствовало ни нашим ожиданиям, ни нашим нуждам; но так как лишь немногие солдаты находились в своих частях, то именно этот беспорядок позволил удовлетворить тех, кто был налицо. Это было весьма существенно, так как надо было ободрить этих молодцов. Число этих отважных и верных солдат было, увы, не очень велико. Гражданские власти и начальники воинских частей плохо помогали губернатору Смоленска генералу Шарпантье; ему удалось собрать лишь немного продовольствия, хотя в этой плодородной местности оставались жители, в общем довольно хорошо относившиеся к нам, когда их не притесняли. Губернатор всего лишь пять дней тому назад узнал о начавшемся отступлении и тотчас же пустил в ход все средства, чтобы организовать выпечку хлеба и удовлетворить потребности нашего арьергарда, которому постепенно было послано все. Шарпантье располагал небольшим числом пекарей, а быстрое передвижение армии не дало его администрации (которая, можно сказать, существовала только на бумаге) возможности

заготовить хлеб заранее; не удалось даже использовать те запасы, которые можно было достать в смоленских складах. Каждый думал только о собственном благополучии, и всем казалось, что действительный секрет спасения от опасности — это спешить, спешить и спешить. Как можно было добиться какой-нибудь работы от пекарей и от чиновников при таких настроениях, доводивших беспорядок до крайней степени? Лишенные самого необходимого, многие из офицеров, в том числе и офицеры высших рангов, показывали дурной пример, осуществляя принцип "спасайся кто может", и, не выжидая своих корпусов, мчались в одиночку впереди колонны в надежде найти чего бы поесть.

Как для императора, так и для армии прибытие в Смоленск и пребывание там были ознаменованы новым несчастьем; можно смело назвать этим словом сражение, не только обнажившее наши фланги, но и лишившее нас состоящего из свежих войск подкрепления, которое должно было поднять дух наших утомленных людей и остановить неприятеля, не менее утомленного, чем мы. Император рассчитывал на корпус Барагэ д'Илье, недавно прибывший из Франции; он дал ему приказ занять позиции на дороге в Ельню; но авангард Барагэ д'Илье занял невыгодную позицию в Ляхове; им командовал генерал Ожеро[210], который плохо произвел разведку и еще хуже расположил свои войска; авангард был окружен неприятелем, подвергся нападению и попал в плен. Неприятель, следивший за Ожеро и, кроме того, осведомленный крестьянами, увидел, что он не принимает мер охраны и воспользовался этим; генерал Ожеро со своими войсками, численностью свыше 2 тысяч человек, сдался русскому авангарду, более половины которого сам взял бы в плен, если бы только вспомнил, какое имя он носит. Эта неудача была для нас несчастьем во многих отношениях. Она не только лишила нас необходимости подкрепления свежими войсками и устроенных в этом месте складов, которые весьма пригодились бы нам, но и ободрила неприятеля, который, несмотря на бедствия и лишения, испытываемые нашими ослабевшими солдатами, не привык еще к таким успехам. Император и князь Невшательский во всеуслышание объясняли эту неудачу непредусмотрительностью генерала Барагэ д'Илье, который, как они говорили, сам лично ничего не осмотрел, но главным образом они приписывали ее бездарности генерала Ожеро. Офицеры, которые побывали там, с горечью говорили об этом деле и отнюдь не оправдывали обоих генералов. Что касается императора, то он счел это событие удобным предлогом, чтобы продолжать отступление и покинуть Смоленск, после того как всего лишь за несколько дней и, может быть, даже несколько

минут до этого он мечтал устроить в Смоленске свой главный авангардный пост на зимнее время.

Это событие, а также потеря Витебска и неудача вице-короля[211], о которой мы узнали на следующий день, были первыми яркими фактами, по-настоящему и безжалостно раскрывшими императору глаза на его положение и на возможные, последствия понесенных поражений. После этих событий он согласился, что невозможно занять позиции в Орше и Витебске, как он собирался еще 48 часов тому назад. К тому же он узнал, что герцог Эльхингенский, который шел в арьергарде, имел столкновение с казаками под Дорогобужем. Казалось, все объединилось для того, чтобы лечь бременем на плечи императора во время его пребывания в Смоленске. Так как события, которые я только что изложил, не позволяли ему больше осуществить свой проект и занять позиции в Смоленске, то он должен был вызвать вице-короля обратно. Полученные им сведения о потерях, понесенных вице-королем при выполнении этого маневра, были весьма неприятны, но по крайней мере эти потери были почетными, и это служило известным утешением.

Илистые берега Вопи задержали 9 ноября 4-й корпус, двигавшийся на соединение с нами; итальянская гвардия за отсутствием моста перешла реку вброд, несмотря на льдины и на присутствие превосходных сил неприятеля; артиллерия завязла в грязи; лошади были истощены и после всех тщетных усилий не в состоянии были вытащить орудия, так что пришлось бросить часть артиллерии. Напрасно было пущено в ход все, что может совершить мужество, самоотверженность и пример доблестного начальника. Подвергшись со всех сторон нападению превосходных сил, итальянская пехота 10 ноября покрыла себя славой: она дала отпор полчищам казаков Платова, напавшим на нее с тыла, а с фронта оттеснила кавалерию Иловайского, который хотел преградить ей путь и помешать вступить в Духовщину, где вице-король расположил свой штаб и откуда он должен был направиться в Смоленск на соединение с армией.

Во время пребывания императора в Смоленске ему было доставлено воззвание Кутузова к армии, выпущенное 31 октября в Спасском.

Император делал все возможное, чтобы собрать в Смоленске своп корпуса, не останавливая движения армии. Было роздано много пайков, и были приняты меры, чтобы еще больше пайков раздать в Орше и других пунктах, которые, по мнению императора, обладали лучшими запасами. Он занимался также эвакуацией того немногого, что еще оставалось в арсенале, как будто сама армия не обладала большим количеством снаряжения, чем могли перевозить наши транспортные средства, и как

будто оставленные в Смоленске трофеи (как он называл все, что мы бросали по пути) должны были быть более ценны для неприятеля, чем трофеи, которыми мы ежедневно усеивали дороги! Так как император питал надежду занять позиции, то он не был, или не хотел быть, расчетливым в каком бы то ни было отношении. Не подлежит сомнению, что мы сохранили бы и спасли бы гораздо больше, если бы вовремя принесли те жертвы, которых требовали обстоятельства; но мы заставляли двух-трех несчастных лошадей тащить орудия и зарядные ящики, в которые надо было бы запрячь шестерку, а за то, что мы не бросили вовремя один-два зарядных ящика или одну-две пушки, мы шесть дней спустя теряли четыре или пять ящиков или орудий. Жили изо дня в день, не желая согласно поговорке делать подарков черту, и в конце концов сделали огромный подарок неприятелю.

Казалось, что император ждет чуда, которое переменило бы погоду и остановило бы разложение, разъедавшее нас со всех сторон. Все его внимание было посвящено гвардии, которую он надеялся спасти от разложения, так как она еще сохранялась в целости. Один артиллерийский генерал из гвардейского корпуса рискнул как-то предложить ему пожертвовать несколькими орудиями, чтобы не доводить лошадей до полной потери сил, так как они и без того были изнурены и число их было ниже потребной нормы, но император не стал его слушать. Армейские генералы и офицеры видели зло, но знали, что его ничем нельзя остановить, а потому они не очень старались сохранить еще на некоторое время то, что неминуемо должно было погибнуть через несколько дней. В общем все так устали от войны, так хотели отдохнуть, попасть в менее враждебную страну, не проделывать больше отдаленных экспедиций, что многие слепо возлагали своеобразные надежды на уже постигшие нас бедствия и обманывались насчет их дальнейших последствий, думая, что все случившееся будет полезным уроком для императора и умерит его честолюбие. Таково было общее мнение. Легко представить себе, как оно повлияло на неизбежные трудности нашего положения и как оно осложнило их, препятствуя борьбе со злом. Судя но поведению, по беззаботности многих людей, можно было подумать, что чем суровее будет урок, как его называли, тем лучше, и что злая судьба давала этот урок императору отнюдь не за счет французской крови. Так как император сам видел бедствия, жил и двигался среди всеобщего расстройства и удручающих картин, то даже люди с наилучшими намерениями считали, что им нет надобности указывать или хотя бы намекать ему на это.

Увы! Император строил себе иллюзии, и его заблуждение вело нас к

гибели. Начальники видели спасение именно в том, что зло приняло слишком большие размеры, а императору это зло представлялось вовсе не таким большим, каким оно было в действительности. Он в самом деле думал, что приближается конец жертвам и он сможет остановиться и расположить армию на позициях; это в достаточной мере доказывается его упорным стремлением все увезти с собою, все сохранить, и это роковое упорство было причиной того, что он все потерял. Судьба слишком долго осыпала его своими милостями; он не мог поверить, что она внезапно отвернулась .от него. Морозы стояли сильные, но еще терпимые. Всем хотелось верить, по примеру императора, что мы займем позиции еще до того, как ударят крепкие морозы. Все тогдашние помыслы и желания сводились к надежде найти склады, то есть обеспеченное продовольствие. В самом деле, в тот момент это было средством против всех зол. Мы находились уже в лучшей местности. Русские, по сравнению с тем, что они могли бы сделать, преследовали нас так слабо, беспокоили нас в походе так мало, что на них смотрели, как на людей, нуждающихся в отдыхе не меньше нашего. Смоленск, продовольствие, которое можно было там раздобыть, немного меньшие морозы — этого было достаточно, чтобы вновь оживить всех и подбодрить даже наименее мужественных людей. Думали, что пристанище близко, и каждый напрягал все силы, рассчитывая укрыться в нем через несколько дней.

Тем временем я день и ночь занимался реорганизацией императорских обозов. Я заранее послал в Смоленск заказ на подковы с тремя шипами для всех обозных лошадей. К этой работе я привлек даже рабочих арсенала, которые выполняли ее в ночное время за высокое вознаграждение. Днем они работали для артиллерии. Я приказал запасать все продовольствие, сколько удастся достать, хотя бы за наличный расчет. Я сжег много экипажей и повозок — в соответствии с числом павших лошадей; такую предосторожность я принял уже один раз 10 дней тому назад. Таким путем я сберегал оставшихся лошадей. Очень трудно было убедить императора согласиться на эту меру. Видя, что он очень не хочет прибегать к ней, я не говорил ему больше ни о чем; я взял все на себя и, кроме фургонов с продовольствием и больными, сохранил только экипаж, в котором ехали де Бово, де Мальи и де Боссе; Боссе страдал подагрой. Я показал пример; захромавшие или ослабевшие лошади были брошены. В конце концов после 48-часовой остановки в Смоленске обоз двинулся в путь в достаточно хорошем состоянии. Лошади были подкованы; кузнецы работали днем и ночью; я сам наблюдал за всем, и именно этой предосторожности я обязан спасением людей моего ведомства, которые

получали регулярные пайки вплоть до Вильно.

Во время пребывания в Смоленске император каждый день ездил верхом и еще раз осмотрел город и окрестности, как будто он хотел сохранить его в своих руках. Он еще прежде был очень озабочен, а после сражения вице-короля с неприятелем озабоченность его увеличилась. Он видел состояние армии, когда она проходила через Смоленск, и это, думается мне, убедило его, что зло было больше, чем он хотел признаться самому себе. Но все же император по-прежнему тешил себя надеждой, что последствия будут не столь мрачными, как тогда, по-видимому, предвидел. Он не сомневался, что сможет расположить армию на позициях, как только соединится с корпусами, стоящими в Волыни и на Двине. Он ожидал прибытия польских казаков, которых, как он обещал, мы должны были встретить возле Смоленска. Ошибался ли он сам на этот счет или говорил об этих подкреплениях, чтобы внушить иллюзии другим? Не знаю, но во всяком случае в Польше весьма слабо занимались набором этих казаков. Наши коммуникации были прерваны уже в течение нескольких дней; мы не получали больше сообщений ни из Франции, ни из Вильно, ни даже от корпусов на Двине. Все это немало беспокоило императора, который держался тем не менее твердо и непоколебимо; эти черты характера злили иногда его приближенных, но зато были способны воодушевить наиболее удрученных людей.

Продовольствие в Смоленске находили все, у кого были деньги (а деньги были у всех). Туда прибыли из Франции продукты для императорского двора, а также рис и много других продуктов для армии. Виноторговец, бывший поставщиком императорского двора, привез для спекуляции большое количество вин, водок и ликеров; все это он продал на вес золота. Мы так настрадались от лишений, что солдаты тратили все свои деньги, чтобы раздобыть бутылку водки.

14-го император покинул Смоленск, обеспечив муку для войск герцога Эльхингенского, который, двигаясь в арьергарде, должен был прибыть в город вечером того же дня. Мы прибыли в Корытню довольно рано. Путь по очень холмистой местности был так труден, что мы обогнали обозы, вышедшие из Смоленска днем раньше. Дорога представляла собою сплошной лед; крутые склоны многочисленных холмов были покрыты упавшими и не имевшими сил подняться лошадьми. Начальники были столь беззаботны, а кавалеристы и обозные солдаты так изнурены, все их время до такой степени было занято переходами или поисками продовольствия, что ни в артиллерии, ни в кавалерии ни одна лошадь не имела подков с шипами. Именно на счет их отсутствия, то есть на счет

нашей непредусмотрительности, надо отнести большую часть наших потерь. Свои кузницы мы побросали на дорогах; в кузницах, принадлежащих местным жителям, не было ни мехов, ни инструментов. У наших кузнецов совсем не было гвоздей; ни железа, ни угля найти было невозможно. Дело доходило до того, что угля и железа не было даже в арсенале в Смоленске, и я должен был посылать людей на поиски за три лье от города под охраной отряда жандармов, рискуя, что их захватят казаки, нападавшие на вице-короля и теснившие нас со всех сторон.

Через час после прибытия в Корытню мы узнали, Что в расстоянии одного лье от нас казаки только что атаковали небольшой артиллерийский парк и войсковой обоз, перевозивший трофеи, захваченные в Москве, а также императорский обоз, присоединившийся к этому парку, то есть тот, который мы только что обогнали. Казаки воспользовались тем моментом, когда колонна вынуждена была остановиться и сдвоить запряжки, чтобы подняться на один из обледеневших холмов; между головой и хвостом колонны образовался разрыв, и немногочисленный конвой не в состоянии был оборонять всю колонну. Казаки захватили около 10 лошадей и фургоны императора, потому что объятые страхом возницы загнали их в овраг; казаки разграбили их, причем этой участи подвергся и чемодан с картами; они захватили с собой часть вещей, а все остальное разбросали. Мы подобрали бы почти все, если бы новый налет, направленный против головы колонны, не напугал обозных до такой степени, что они бросили все, что могло помешать их бегству. Наши собственные солдаты, отставшие от своих частей, довершили грабеж. Потом, когда уже было слишком поздно для спасения разграбленных вещей, мы узнали, что казаки немедленно скрылись, как только показались наши войска. Артиллерия потеряла в этом деле половину своих запряжек; большая часть офицеров ставки лишилась своего багажа. Я был в том числе.

Потеря карт должна была бы в высшей степени рассердить императора, но он не проявил никакого неудовольствия даже по отношению к людям из своего обоза. Это происшествие сделало всех более осторожными и имело ту выгоду, что за двое суток на дорогу возвратились многие из людей, отдалившихся в сторону от нее в поисках продовольствия. Но до чего мы дошли, если приходилось сомневаться, действительно ли есть выгода в том, чтобы вновь собрать этих несчастных, которых нечем было кормить! Корпусам было трудно тащить за собой то небольшое количество артиллерии, которое еще оставалось у них, и это в чрезвычайной мере замедляло их переходы; собственно не надо было бы делать больше трех лье в день, а приходилось делать более чем вдвое, так

как и погода и военные соображения заставляли нас сильно торопиться.

Ночью император вызвал меня и вновь, как и в прошлый раз, говорил о необходимости своего возвращения во Францию. Он снова задавал мне те же самые вопросы об армии, о переезде через Пруссию и т. д., спрашивая, обдумал ли я его проект. Он начинал замечать дезорганизацию армии, по надеялся, что соединение с корпусами, которые ждут ее на Березине, быстро восстановит порядок, так как эти хорошо организованные корпуса возьмут на себя арьергардную службу и будут отстаивать наши позиции, а император тем временем реорганизует войска московской армии. Оп снова горько жаловался на генерала Барагэ д'Илье, неумелым действиям которого он приписывал потерю большей части корпуса, находившегося в Смоленске. Он возлагал на него ответственность за то, что теперь необходимо продолжать отступление и терять линию Витебск — Орша, которую он прежде надеялся удержать.

Недовольство императора в немалой мере объяснялось общим разочарованием, являвшимся неизбежным результатом отказа от широко возвещенных планов устройства армии на зимних квартирах, а также тем впечатлением, которое эти события произвели па армию.

— Со времен Байлена[212], — повторял император, — не было примера такой капитуляции в открытом поле.

Он опять говорил о польских казаках, которые, по его словам, должны были прибыть к нам в ближайшие дни. Он перечислял воинские части, прибывшие на подкрепление к князю Шварценбергу, и другие корпуса; ему доставляло удовольствие называть эти корпуса, которые должны были постепенно подойти и частью вышли уже из Вильно, а частью были готовы к выступлению оттуда. Император по-прежнему мечтал, что ему удастся все восстановить и даже занять внушительные позиции, как только он будет иметь в своем распоряжении минские склады.

— Я найду подкрепления на каждом шагу, — говорил он, — тогда как Кутузов будет ослаблять свои силы переходами и будет отдаляться от своих резервов. Он остается в стране, которую мы истощили. Для нас имеются склады, а русские будут умирать от голода.

Увы, злосчастный рок преследовал нас и готовил для императора новые испытания: он с такой уверенностью говорил о складах, которые считал якорем спасения для армии, а на следующий день, то есть 16 ноября[213], они, как мы это вскоре узнали, попали в руки неприятеля.

Хотя император пытался внушить иллюзии другим, но сам он был очень удручен. Самым неприятным для него было отсутствие всяких

сообщений из Франции, и он не скрывал этого от меня. Мы дошли до того, что раз в два дня пересылали маленькие записочки в Вильпо через поляков или других людей, которых удавалось соблазнить крупным вознаграждением. Часто от них требовали только, чтобы они сдали малозначащие записки в какую-нибудь почтовую контору, имеющую свободное сообщение с Германией. Как-то раз одному еврею заплатили 2500 франков за пересылку нескольких строк великому канцлеру. Дарю, который отправлял это послание, воспользовался случаем, чтобы написать также несколько слов своей жене. Только это письмо и дошло по назначению. Как оно дошло? Графиня Дарю не знала этого сама. Итак, она получила письмо от мужа, а императрица не получала ни одного слова от императора! Полиция и почта были взволнованы. Письмо Дарю, в высшей степени успокоительное, как легко себе представить, доставило большую радость его семье и произвело большую сенсацию в Париже. Мадам Дарю показывала его всем, и почерк ее мужа был слишком хорошо известен, для того чтобы кто-нибудь мог усомниться в подлинности письма. Все терялись в догадках. Из многочисленных депеш, посылавшихся при помощи переодетых офицеров или местных жителей, только одна или две дошли по назначению. Так как деловая переписка велась только шифром, то император не придавал никакого значения этим письмам, считая, что они должны лишь доставлять Парижу и Вильно сообщения об армии и о нем самом. Но этих сообщений там не получали!

После того как вице-король соединился с нами, все войска двигались одной колонной и по одной и той же дороге. Легко себе представить, какая пробка образовалась в дефиле. Все время приходилось подыматься на холмы и спускаться с них, а дорога представляла собой сплошной лед, на котором с трудом держались на ногах даже пешие. Каждое мгновение приходилось сбрасывать с дороги экипажи и фургоны, загромождавшие путь. Все торопились, и никто не заботился о наведении порядка. Штаб главного командования не сомневался, что ему будут плохо повиноваться и что если даже восстановить порядок, то он продержится не более минуты, а потому и не принимал никаких мер. По обыкновению, все предоставлялось усмотрению начальников в расчете на то, что они сообразят, как справиться с делом. А они видели зло, но считали, что попытки пресечь его не приведут ни к чему, так как через мгновение зло возродится снова, и в результате они ничего не делали, чтобы прекратить беспорядок, который разрастался повсюду как потому, что такова природа беспорядка, так и потому, что остающиеся безнаказанными дурные примеры действуют заразительно. Как можно было к тому же добиться от

кого-либо выполнения обязанностей, когда они так тяжелы для человека, которому не дают есть, да еще в такую погоду, когда его пальцы замерзают тотчас же, как только он их обнажит? Как можно было делать какие-либо распоряжения, когда мы находились в непрерывном движении, когда офицеры генерального штаба лишились своих лошадей и по большей части должны были для передачи приказаний отправляться пешком, когда все сгрудились на одной дороге, а на флангах были казаки, которые почти неотступно следовали за нами? Не было ни одной кавалерийской бригады, которая была бы в состоянии прикрывать наше движение. Истощенные, неподкованные лошади не могли идти. Люди тащили их за узду. Если не считать гвардии, которая тоже была очень ослаблена, то у нас не оставалось нужных кавалерийских сил, чтобы выслать достаточно сильную разведку, которая могла бы добыть определенные сведения о позициях неприятеля. Такая разведка и не производилась, хотя у императора уже было предчувствие, что неприятель производит маневр, цель которого попытка какой-то операции против нас.

Возле Корытни по гвардии было дано несколько пушечных выстрелов; нам показалось, что в русском корпусе, который открыл этот огонь, имеются пехотные части; все это укрепило императора в его мнении о предстоящем нападении неприятеля. Позже мы узнали, что это был корпус Остермана. В тот момент он не предпринял больше ничего.

Мы не встречали нигде ни одного крестьянина, никого, кто мог бы служить нам проводником. Никаких способов получить сведения! Несколько польских отрядов из гвардейского корпуса, посланных на поиски, возвратились после стычки с казаками. Они оттеснили казаков и зарубили нескольких из них, но наткнулись на большой неприятельский корпус, что вынудило их отступить, и они не захватили ни одного казака, который мог бы дать нам сведения о войсках, находившихся так близко от нас. Мы были подобны людям, сидящим в секрете, которым разрешили только выйти подышать вольным воздухом; мы не знали, что происходит вокруг нас. После Смоленска император говорил нам, что успех, одержанный русским авангардом над генералом Барагэ д'Илье, вскружит всем голову и Кутузов будет вынужден выйти из своего пассивного состояния. Он не ошибся, но так как гвардия еще оставалась в целости и сохраняла воинскую выправку, то он был спокоен за результаты столкновения, какие бы формы оно ни приняло.

ГЛАВА VI
ОТСТУПЛЕНИЕ. ОТ КРАСНОГО ДО СМОРГОНИ

Красное. — Маневры Нея и Даву. — Орша. — Переход через Березину. Состояние армии. — Молодечно. — Бюллетень ?29. — Приготовления к отъезду.

В то время как мы были в Корытне, генерал Ожаровский[214] вступил в Красное и захватил там итальянский батальон, то есть около 100 человек, так как наши батальоны уже не насчитывали тогда даже того числа людей, которое нормально числится в роте. Прибытие одной из гвардейских частей заставило, однако, Ожаровского в самом спешном порядке покинуть Красное, и он отступил на Кутьково.

15 ноября наша ставка продолжала двигаться по направлению на Красное. Как я уже сказал, наши переходы были слишком тяжелыми для артиллерии и обозов. В результате замыкавшие колонну корпуса, которые должны были давать отпор неприятелю, сильно запаздывали, так как должны были собирать всех, кто отстал, и все, что оставалось позади. А то небольшое количество артиллерии, которое еще оставалось у этих корпусов и которое им так важно было сохранить, являлось для них обузой, так как дороги были в плохом состоянии, а лошади ослабели.

Когда мы шли в Красное, то оказалось, что корпус Милорадовича, состоявший из дивизий Остермана и Ожаровского, пополненных кавалерией, находится на позициях возле деревни Мерлино[215] , слева от дороги. Против него были двинуты молодая гвардия и голландцы из старой гвардии под командованием герцога Тревизского. Эти войска не только сдержали русских, но и оттеснили их, так что наше продвижение не было прервано. Император отправился на место боя и находился там все время, пока бой оставался серьезным. Мой адъютант Жиру был смертельно ранен ружейным выстрелом в этом бою. В первый момент императору показалось, что эта атака представляет собой наступательный маневр всей неприятельской армии; но неуверенность Милорадовича и его отступление после первых же наших демонстраций привели императора к выводу, что

это лишь операции обособленного корпуса, цель которых — тревожить и задерживать нас, пока Кутузов опередит нас с главными силами своей армии. При первом появлении неприятеля император послал маршалам князю Экмюльскому и герцогу Эльхингенскому[216] приказ ускорить свои передвижения. Теперь он распорядился подтвердить им эти приказы и решил остановить вечером свое отступление до тех пор, пока он не получит более достоверных сведений о передвижениях Кутузова и наших отстающих корпусов.

Донесения корпусов, прибывших на место, сообщали императору, что неприятель располагает значительными силами, а донесения корпусов, находящихся в пути, указывали на то, что неприятельские отряды часто перерезывают дорогу. От отдельных отставших солдат мы узнали даже, что неприятельская пехота занимает деревни на некотором расстоянии влево от дороги. Все эти сведения побудили императора оставаться в Красном в течение всего дня 16 ноября и принять необходимые меры на случай сражения. Он был убежден, что отбросит неприятеля, отобьет у него охоту беспокоить нас и выручит свои отставшие корпуса лишь в том месте, если предпримет против русских какой-либо мощный маневр, который доказал бы им, что зима не заморозила ни нашего мужества, ни наших штыков; он решил произвести неожиданное ночное нападение. Сначала он хотел поручить эту операцию генералу Раппу и даже отдал ему соответствующие приказания, но вскоре передумал и поручил дело генералу Роге, который 16 ноября, за два часа до рассвета, напал на Ожаровского, перебил и захватил в плен большую часть его пехоты и оттеснил его до Лукина. Хотя благодаря успеху, которым мы обязаны были нашей отваге, мы оттеснили неприятеля, все же, так как пленные в один голос подтверждали, что тут находится вся русская армия, император решил дать ей бой, так как не было никаких других средств обеспечить безопасность вице-короля и корпусов, следовавших за ним. Император находился среди своих войск, в открытом поле, и все время беспокоился по поводу того, что принц Евгений все еще не подходит; принц должен был следовать за нами, но ему лишь с опозданием удалось выступить из Смоленска, и 15-го он был на бивуаках еще только в Лубне; 16-го он узнал, что наши войска сражаются с Милорадовичем в Мерлине. Отставшие, которые укрылись от неприятельского корпуса в авангарде вице-короля, первые сообщили ему об этом. Его авангард, установив, что неприятель занимает боевые позиции и располагает достаточными силами, вынужден был дожидаться своего корпуса. Принц Евгений, ускорив движение, привел корпус в боевую готовность, но так как у него почти не было

артиллерии, то он не мог пойти на какой-нибудь решительный маневр против значительно превосходивших его неприятельских сил. Окруженные целой тучей врагов, войска принца хладнокровно отражали все неприятельские атаки.

Генерал Гийемино, начальник штаба вице-короля, находившийся в авангарде, присоединил к своим войскам отставших, которые искали прибежища в авангарде. Он доблестно держался и спас эту маленькую воинскую часть своим присутствием духа, хотя неприятельская кавалерия несколько раз отрезала его от 4-го корпуса. Вице-король удержал свою позицию до ночи, а затем воспользовался темнотой, чтобы добраться до Красного, куда он подошел к нам поздно ночью, так как должен был обойти дорогу справа[217] .

Пушечные выстрелы и сообщения отставших дали знать императору, что вице-король, запоздание которого беспокоило его, подвергся нападению; он приказал одному из своих адъютантов, генералу Дюронелю, взять два батальона гвардейских стрелков и два орудия, двинуться навстречу вице-королю и помочь ему проложить себе дорогу. Едва только генерал Дюронель во главе этого отряда, находившегося под командой генерала Буайе, миновал арьергардные посты, как наткнулся на многочисленный отряд казаков, которые, однако, отошли при его приближении. Он шел слева от дороги, чтобы легче было маневрировать. На половине пути от Катова (Кутькова) он заметил на расстоянии пушечного выстрела от него большие кавалерийские силы, выстроившиеся в боевом порядке по другую сторону дороги. Он тотчас же приказал образовать каре и дать несколько пушечных выстрелов, чтобы прощупать намерения неприятеля, который ответил ему артиллерийским огнем, не предпринимая больше ничего. Генерал Дюронель отдавал себе полный отчет в значении порученной ему диверсии и был преисполнен доверия к старым усачам, находившимся под его командой; поэтому он без колебаний продолжал свой путь, оставляя неприятельскую кавалерию за собой в тылу. Когда он подошел к дефиле и услышал оживленную перестрелку, то заключил, что вице-король ведет бой против крупных неприятельских сил, и поручил трем польским гвардейским уланам, находившимся при нем, попытаться обогнуть овраг слева, добраться до вице-короля и предупредить, что он, то есть Дюронель, идет к нему на помощь, чтобы облегчить его движение на Красное, где его ждет император.

Дойдя до русских, Дюронель едва успел дать по одному выстрелу из своих пушек и убрать их внутрь каре, как подвергся нападению

многочисленной кавалерии и обстрелу из многочисленных артиллерийских орудий. Русская кавалерия тщетно пыталась прорвать наше каре; ее атаки были отражены с большим хладнокровием и, отвагой; но неприятельские силы росли и постепенно занимали всю равнину, так что невозможно было дольше откладывать отступление, чтобы не рисковать понапрасну 600 человек из доблестной гвардии, единственного корпуса, который еще сохранил свою выдержку. Дюронель отступал в полном порядке. Хотя он подвергался оживленным атакам и неприятель преследовал его на протяжении целого лье, Дюронель произвел свой маневр не торопясь и сохраняя такой порядок, что кавалерия должна была прекратить свои атаки. Артиллерийский огонь вывел у него из строя несколько человек. Он присоединился к армии как раз в этот момент, когда генерал Латур-Мобур, согласно полученному им приказу, шел к нему на выручку со своим кавалерийским корпусом.

Император обеспокоился, когда выяснилось, что часть его гвардии вступила в бой и отрезана, так как ни одна из посланных им разведок не могла проникнуть к отряду Дюронеля; он был поэтому доволен уже чем, что отряд вернулся; но вскоре он был еще более обрадован, когда прибыл вице-король, которому эта диверсия помогла выйти из боя. Император пригласил к ужину его и генерала Дюронеля, которого он несколько раз в продолжение ужина осыпал похвалами.

Всякого другого полководца удручало бы это событие, которое расстраивало все расчеты его и во всяком случае могло поставить под угрозу все наши отставшие корпуса, если бы у неприятеля была определенная решимость. Но императора не могли одолеть неудачи; чем больше была опасность, тем упорнее он был в своих действиях, и наперекор злосчастной судьбе он решил лучше дать сражение, чем покинуть в беде князя Экмюльского и герцога Эльхингенского[218] . Он снова послал им те приказы, которые давал уже несколько раз, а именно ускорить свои передвижения. Но была ли дорога свободной? А если приказы и дойдут по назначению, то попадут ли они вовремя?

Император, хотя и ожидал какой-нибудь частичной атаки, не мог объяснить себе русский маневр и не был в состоянии верить тому, что сообщали пленные, а именно, что здесь находится вся армия Кутузова. Он поручил расспросы пленных целому ряду лиц, по-прежнему продолжая думать (как он снова сказал князю Невшательскому, Дюроку и мне), что эта атака была всего лишь маневром корпуса, выделенного Кутузовым с целью остановить наше передвижение или по крайней мере замедлить его, если вообще не удастся нас обмануть, чтобы Кутузов тем временем мог

опередить нас и запять позиции в нашем тылу, присоединив к своим силам либо молдавскую армию, либо какие-нибудь из резервов, которыми русские могли располагать в этих местах и которым русский главнокомандующий послал, по-видимому, приказ присоединиться к нему.

— Кутузов не сделал бы ошибки и не стал бы следовать за мной но опустошенной дороге, если бы он не имел какого-нибудь большого плана, сказал нам император. — Будь у Милорадовича более или менее значительный корпус, он не уступил бы нескольким батальонам молодой гвардии.

Все эти соображения брали верх над сообщениями пленных и даже над собственным желанием императора схватиться, наконец, с неприятелем и путем победы в ожесточенном сражении (а в победе он не сомневался) обеспечить себе спокойствие, необходимое для нашего отступления.

— При том расстоянии, которое отделяет Жюно[219] от арьергарда, — говорил император, — нет возможности оказывать друг другу действительную помощь. Остановиться и поджидать друг друга, когда нечего есть, это значило бы поставить все под угрозу, или, вернее, все погубить, потому что таким путем нельзя было бы добиться желательного результата. Как могли бы мы кормить корпуса, если они перестанут двигаться? Мы стоим здесь 24 часа, и уже все умирают от голода. Если я двинусь на русских, они уйдут; я потерял бы время, а они выиграли бы пространство.

Несмотря на эти рассуждения, гвардии был дан приказ двигаться обратно по Смоленской дороге. Было организовано несколько хороший батарей, и были приняты все меры для того, чтобы 17-го дать сражение. Император решил схватиться с неприятелем, и, хотя в его распоряжении было меньше 25 тысяч человек, он был полон веры в своих старых усачей, которых все время берег именно на случай такого отчаянного дела. Он не сомневался в успехе и верил в свое счастье, как в те дни, когда ему действительно везло.

Однако 17-го император вернулся к своему первоначальному плану и направил герцога д'Абрантес и вице-короля на Ляды, а сам рассчитывал выручить своих маршалов собственными демонстрациями. Он как-то сказал князю Невшательскому и мне, что решил продолжать отступление всей армии, в том числе и гвардии, если неприятель не будет защищать своих позиций на Смоленской дороге; эта цель была теперь достигнута, так как Милорадович отступил. После этого император, не сомневаясь, что его повторные приказы дошли до князя Экмюльского и герцога

Эльхингенского и они присоединятся к нам сегодня вечером или ночью, приказал старой гвардии следовать за корпусами, направляющимися на Ляды. Герцогу Тревизскому было поручено с голландцами и молодой гвардией удерживать позиции в Красном до ночи; во второй половине дня к нему присоединились войска князя Экмюльского. Князь, получив в свое время приказания императора, переслал их герцогу Эльхингенскому и 16 ноября расположился бивуаками за Корытней, но, понимая, что весьма важно ускорить передвижение, он задержался на бивуаках лишь несколько часов и предупредил об этом герцога Эльхингенского.

В Красном император бросил вызов судьбе, но русские слишком мало воспользовались своими преимуществами. Тем временем герцог Эльхингенский, командовавший арьергардом, которому приходилось сражаться каждый день, имел 13 ноября[220] довольно жаркую схватку с неприятелем и прибыл в Смоленск только 15-го. По его словам, город был разграблен войсками 1-го корпуса, а по словам князя Экмюльского, — отставшими. Так или иначе, войска 3-го корпуса, которые должны были найти в Смоленске хлеб, нашли там только беспорядок, почти пустые склады, разбросанные на улицах продукты, отставших, которые переполняли город и заканчивали его разграбление; не было никакой администрации и никаких приготовлений, чтобы накормить корпус; никто не пожелал остаться в Смоленске. Все чины администрации бежали оттуда вместе со ставкой и даже оставили в городе 5 — 6 тысяч больных и раненых.

Герцогу Эльхингенскому, которому было поручено уничтожить оставленную в Смоленске артиллерию и взорвать городские стены, пришлось заняться также обеспечением продовольствия для своего корпуса на время перехода от Смоленска до Орши. При том положении, в котором находился герцог, эту первостепенную задачу, заставившую его продлить свое пребывание в Смоленске, нельзя было приносить в жертву каким бы то ни было другим соображениям. Надо вспомнить, что войскам арьергарда приходилось сражаться на каждом шагу, а в то же время они не могли надеяться раздобыть что-нибудь в тех местах, через которые они проходили, так как они везде проходили последними. К тому же арьергард шел по следам пожаров и разрушений, которыми был отмечен всюду путь солдат, отбившихся от своих частей. Таково было положение герцога Эльхингенского, когда он получил ряд приказаний от императора, а к вечеру — письмо князя Экмюльского, который сообщал ему о последних событиях и предупреждал, что, не желая подвергать риску свои войска и дать противнику возможность подтянуть подкрепления, он двинется

ускоренным темпом; князь предлагал ему поступить таким же образом, по герцог Эльхингенский мог выйти из Смоленска только ночью (с 16 на 17 ноября). Ему приходилось выбирать между весьма реальной опасностью дождаться того, что его солдаты будут разбегаться, когда им придется умирать от голода, и опасностью сражения с превосходными силами неприятеля; он выбрал решение соответствовавшее его отваге и испытанному мужеству его войск.

— Все казаки и все русские в мире, — воскликнул он, получив сообщение князя Экмюльского, — не помешают мне соединиться с армией!

Он сдержал свое слово и доказал, что его отвага в состоянии сделать невозможное.

Я излагал уже все те соображения, которые заставили императора выступить в путь, и говорил о принятых им мерах. По его мнению, заставив неприятеля отдалиться от дороги, он сделал все, что мог сделать полководец в таком затруднительном положении. По-прежнему убежденный, что Кутузов старается скрыть от него какие-то маневры и что задача спасения всей армии властно повелевает ему торопиться, император нагнал гвардию и свой штаб в Лядах. По дороге он узнал от отставших, занятых добыванием продовольствия, что русские собрали много пехоты и кавалерии в Добром. Один крестьянин, которого ночью привели к нему, утверждал даже, что вчера много войск прошло в Романове; это подтверждало предположения императора о намерении Кутузова опередить его.

В 4 часа утра император прислал за мной. Повторив снова то, что он говорил нам в предыдущие вечера, и перечислив соображения, которые легли в основу его решения, император выразил сожаление о том, что не приказал корпусам выступать из Смоленска с промежуткамн не больше чем в 24 часа, а также о том, что не направил еще раньше Жюно и часть гвардии для прикрытия Орши. Он заявил затем, что намерен ускорить свое передвижение.

— Мне могут устроить здесь какие-нибудь каверзы, — сказал он.

Корпусам, которые оставались на позициях, чтобы прикрывать Красное, было приказано выждать прибытия колонны князя Экмюльского в расчете на то, что князь согласно последним распоряжениям штаба будет двигаться не иначе, как сохраняя связь с герцогом Эльхингенским.

Связь с корпусами, то есть передача приказаний и донесений, сделалась почти невозможной или осуществлялась так медленно, что приказы и донесения редко получались вовремя. Офицеры генерального

штаба, по большей части лишившиеся своих лошадей, передвигались пешком, а те, у которых сохранились лошади, прибывали на место ничуть не быстрее, так как не могли заставить своих лошадей передвигаться по льду. Морозы усилились, и дорога стала еще более трудной, чем раньше. Местность сделалась еще более холмистой, и спускаться по склонам было невозможно. Легко представить себе, какие трудности приходилось преодолевать артиллерии и обозам и как много лошадей потеряла артиллерия при этом переходе! Под Лядами пришлось спускаться но такому крутому склону, а его оледеневшая поверхность была так отполирована телами многочисленных людей и лошадей, которые просто скатывались вниз, что мы вынуждены были поступить, как и все, то есть сесть на лед и скользить на собственном заду. Император должен был поступить таким же образом, так как тысячи рук, которые протягивались ему на помощь, не представляли собою какой-либо прочной опоры. Пусть же представят себе, каково было положение солдат с их ранцами и ружьями, положение людей, которые сопровождали артиллерию и обозы, и, наконец, положение всадника, который подвергался риску быть раздавленным своей лошадью, так как благодаря своей тяжести она катилась вниз быстрее, чем он.

В Лядах мы нашли местных жителей и кое-какое продовольствие; по дворам разгуливали куры и утки; все были поражены, так как со времени перехода через Неман мы не видели ничего подобного. При виде этого достатка все лица разгладились от морщин. Всем казалось, что наступил конец лишениям. Я отмечаю эти мелкие подробности наряду с грозными событиями, которые предстояло нам пережить, потому, что такие мелочи наглядно объясняют наше тогдашнее положение, и потому, что они оказывают всегда огромное влияние на француза, готового воспрянуть духом от самого ничтожного пустяка. Для людей, привыкших после выхода из Москвы находить только необитаемые места, опустевшие дома и трупы вместо живых существ, было большим событием увидеть дома, в которых есть жители и можно найти что-нибудь на ужин. Небольшие запасы, имевшиеся в Лядах, вместе с теми, которые мы приобрели за деньги по соседству, насытили людей, привыкших презирать все опасности, но отнюдь не желавших умереть с голоду — хотя бы потому, что они хотели по-прежнему бросать вызов этим опасностям.

Казаки производили постоянные налеты на дорогу, то и дело пересекая ее в промежутках между дивизиями и даже между полками, если они шли на некотором расстоянии друг от друга.

Легко представить себе, какая распространялась тревога и как это

сказывалось на моральном состоянии армии. Другое крайне неприятное последствие этих налетов заключалось в том, что становилось очень трудно поддерживать связь не только между корпусами, но даже между дивизиями одного и того же корпуса. Как я уже говорил, штаб главного командования донесений не получал, а его приказы не приходили на место или шли так медленно, что их никогда не получали вовремя. Офицеров генерального штаба, которые не считались ни с какими опасностями, часто захватывали в плен. Чтобы добраться по назначению, надо было согласовывать свои путь с передвижениями какой-нибудь части, с остановкой корпуса, с приближением другого, шедшего на соединение с армией. А потом, как передвигаться по льду? Офицеры, у которых сохранились лошади, не в состоянии были заставить их сдвинуться с места. Они тащили их за собой, так как идти пешком было гораздо быстрее. Надо было самому быть в этом положении, быть одним из актеров этой великой драмы, чтобы составить себе правильное представление о ней. Без преувеличения можно сказать, что самые простые вещи превратились в почти непреодолимые трудности. Честь и слава храбрецам всех чинов и рангов, которые сумели не пасть духом, ибо никогда люди не подвергались более жестоким испытаниям и не проявляли большей самоотверженности и стойкости. Вместе с ростом трудностей росли и всяческие опасности, и все взоры обращались к Орше, которую император также считал важным опорным пунктом. Он предписал головной части колонны прибыть туда как можно скорее и заранее отдал приказание о том, чтобы было прочно занято предмостное укрепление. Покинув Ляды 18-го, мы в тот же день прибыли в Дубровну, только на следующее утро, в самый момент отъезда, император узнал, что 1-й корпус соединился в Красном с войсками, которые, поджидая его, оставались там на позициях против неприятеля, и, таким образом, этот корпус прошел через Красное 17-го, то есть в тот день, когда герцог Эльхингенский мог в лучшем случае только выступить из Смоленска. О 3-м корпусе (корпусе маршала Нея, герцога Эльхингенского) мы не знали ничего определенного; 1-й корпус не имел о нем никаких сведений после 16 ноября. Ни один офицер оттуда не приезжал; удалось ли доехать по назначению офицерам, которые были посланы туда? Император терялся в догадках. То обстоятельство, что Милорадович остался на своих позициях, а наши войска отошли, давало основание предвидеть, что герцогу Эльхингенскому будут грозить всяческие опасности.

Резкие взаимные упреки, которыми потом обменялись оба маршала (Ней, герцог Эльхингенский, и Даву, князь Экмюльский), и суровое суждение ставки и всей армии и об одном из них обязывают меня

ограничиться здесь лишь передачей высказываний императора, мнений князя Невшательского и тех фактов, которые во всеуслышание сообщали в ставке лица, достойные доверия. Император и князь Невшательский утверждали, что оба маршала должны были двигаться согласованно и поддерживать друг друга; так как герцог Эльхингенский отступает и его маневры зависят от тех препятствий, которые может поставить ему неприятель, то именно князь Экмюльский должен был согласовывать свои маневры с его передвижениями. Но маршалы недолюбливали друг друга, а вдобавок между ними происходил недавно довольно резкий спор по поводу виновников разграбления Смоленска; в результате они не договорились друг с другом. Еще когда князь Экмюльский находился на смоленских высотах, он получил приказ поторопиться и передать герцогу Эльхингенскому такое же указание. Он послал ему приказ и сохранил расписку в получении, а также рапорт офицера, который передал послание и был довольно плохо принят маршалом Неем; по поводу приказания поторопиться с выступлением Ней сказал ему, что "все русские на свете со своими казаками не помешают ему пройти". Князь Экмюльский предлагал ему покинуть Смоленск вечером и предупреждал его, что он уже выступает, чтобы поддержать дивизию Жерара, которую он отправил накануне отдельными эшелонами. Герцог Эльхингенскнй, которого задерживала в Смоленске необходимость запасти хлеб для своих солдат, посчитался со вторым сообщением князя Экмюльского не больше, чем с первым.

Князь Экмюльский действовал так, как он предупреждал. Он остановился вечером всего лишь на несколько часов за Корытней и выступил оттуда до рассвета, чтобы нагнать дивизию Жерара. Услышав сильную канонаду[221], он направился на звуки выстрелов. Увидав, что неприятель перерезал дорогу, он поспешил сообщить все эти сведения герцогу Эльхингенскому и ускорил свое движение. Вскоре он встретил несколько довольно расстроенных частей из корпуса вице-короля, что побудило его не выжидать Нея, а идти туда, где раздавалась канонада, в расчете, что своим участием в деле он принесет двойную пользу, то есть выручит вице-короля и откроет путь для Нея. Эта решимость и хорошая выдержка войск генерала Жерара произвели впечатление на русских, встревоженных, кроме того, диверсией, которую по приказу императора произвела своей атакой гвардия. Неприятель покинул дорогу, и 1-й корпус соединился с армией. Так князь Экмюльский объяснял тогда это дело, и так он рассказывал мне о нем впоследствии.

Теперь я сообщу, что рассказывали тогда о происшедшем император и

князь Невшательскнй. По их словам, 1-й корпус, получив сведения об опасностях, грозивших вице-королю, шедшему впереди этого корпуса, ускорил свое движение и предупредил герцога Эльхингенского, но не потрудился проверить, следует ли герцог за ним. Он спешил еще и потому, что русские теснили его и тревожили своими нападениями. Имея приказ ускорить свое движение и передать такие же указания 3-му корпусу, князь Экмюльский думал, что герцог Эльхингенский как командующий арьергардом, получив предупреждение, также будет торопиться. Правильного нападения на 3-й корпус не ожидали, а о налетах казаков на него ничуть не беспокоились. Князь Экмюльский говорил, что всякий другой образ действий подверг бы ненужным опасностям остатки его полков без всякой пользы для герцога Эльхингенского, так как 1-й корпус был бы разгромлен или попал бы в плен прежде, чем успел бы соединиться с герцогом Эльхингенским или герцог успел бы нагнать его. Все это выяснилось днем.

Невозможно представить себе ту бурю возмущения, которая поднялась против князя Экмюльского. Герцог Эльхингенский был героем похода и к тому же генералом, о судьбе которого в данный момент тревожились. Волновались все, и притом до такой степени, что либо вовсе не стеснялись в выражениях, говоря о князе Экмюльском, либо при встречах с ним, когда он явился к императору, стеснялись очень мало. Император и начальник штаба сваливали на него ответственность за несчастье, которого все боялись, еще и потому, что хотели снять с самих себя вину за допущение слишком больших промедлений между выступлениями колонн, то есть за то, что герцог Эльхингенский должен был выйти из Смоленска только 17-го. Как я уже говорил, задержка герцога отчасти объяснялась необходимостью заготовить продовольствие для его корпуса на несколько дней. Герцог Эльхингенский, понимая, как важно снабдить своих солдат продовольствием, чтобы они не разбежались, считал, что он не должен торопиться. А из двух последних приказов, которые были ему посланы, один до него не дошел, а другой был получен только 16-го вечером, то есть слишком поздно для того, чтобы он мог ускорить момент, назначенный для выступления. Это вполне объяснялось условиями работы нашей связи.

Промедления, допущенные между выступлениями различных корпусов, когда 3-й корпус согласно первому приказу императора должен был выйти из Смоленска только 17-го, показывают, до какой степени император ошибался насчет положения армии и насчет грозящих ей опасностей. Не тешил ли он еще себя надеждой одолеть судьбу и

повелевать морозами, как он повелевал всегда победой? Положение было таково, что обстоятельства требовали подчинения их силе. Выжидать под Красным значило бы подвергать армию ненужному риску; возвращаться туда, как предлагали некоторые, когда стало известно, что 1-й корпус прибыл, а 3-й предоставлен самому себе, было бесполезно. Многие желали этого и кричали об этом, но для всякого здравомыслящего человека было ясно, что этот маневр не имеет смысла, так как герцог Эльхингенский сейчас — в тот момент, когда вдали от него сочиняются все эти прекрасные проекты, — или уже спасся, или уже погиб. Начальник штаба во всеуслышание говорил, что, получив сообщение о герцоге Эльхингенском, император предписал князю Экмюльскому повернуть назад и идти навстречу корпусу, который он должен был бы поддерживать; но этот приказ был отдан сгоряча и притом в полной уверенности, что он уже не сможет быть исполнен в тот момент, когда его получат. В самом деле, князь Экмюльский с полным основанием подтягивался все ближе и ближе к корпусам, находившимся впереди него. Его собственный корпус превратился почти в ничто. Очень жаль, что после Смоленска не был отдан приказ всем корпусным командирам поступать, как князь Экмюльский. Стремление сохранить слишком много артиллерии также порождало много зла. Располагая плохим конским составом, артиллерия отставала, неминуемо создавала промежутки между корпусами и замедляла передвижение. Надо было еще до Смоленска хорошо организовать в каждом корпусе артиллерийскую часть, состоящую из нескольких орудий, снабдить ее снарядами и хорошими лошадьми, в том числе запасными, и пожертвовать всеми излишками. Тогда артиллерия не задерживала бы пехоту; император был бы хозяином всех своих маневров; армия могла бы двигаться почти сплошной массой; было бы меньше отставших, и мы бесспорно могли бы не бояться нападения русских.

Император надеялся (по крайней мере так он говорил), что герцог Эльхингенский, узнав, что армия ускорила свое движение, поступил таким же образом, даже если до него не дошел посланный ему приказ. Имеются сведения, говорил он, что герцог находится недалеко от арьергарда князя Экмюльского. Но к чему были все эти предположения? Между герцогом и нами была русская армия, и мы находились уже слишком далеко от него, чтобы иметь возможность помочь ему или чтобы он мог прорваться к нам через неприятельские линии. Император возлагал надежды лишь на его исключительное мужество и присутствие духа; армия держалась такого же мнения. Несмотря на эту справедливую веру в своего героя, император не переставал оплакивать гибель герцога Эльхингенского, которую он считал

почти неизбежной. Ней, говорил он, сделает невозможное и найдет смерть в какой-нибудь отчаянной атаке. — Я отдал бы, — говорил император, — 300 миллионов золота, которые хранятся у меня в погребах Тюильри, чтобы спасти его. Если он не будет убит, то он прорвется с несколькими храбрецами, но большинство шансов против него.

Князь Невшательский, подобно императору, твердил во всеуслышание, что князь Экмюльский покинул герцога Эльхингенского на произвол судьбы вопреки самым формальным приказаниям. Он показывал даже черновики двух приказов, которые были посланы князю, но эти приказы уже не могли изменить ни создавшегося положения, ни тех обстоятельств, которые вынудили каждого поступать так, как он поступил.

19-го ставка расположилась в Орше; император с нетерпением ждал там прибытия головных частей своей колонны. Мост был прочно занят нашими войсками. Мы рассчитывали на местные склады, но их запасов хватило только на нужды гвардии и ставки. В здешних местах было, впрочем, много продовольствия; это было, несомненно, благом для армии, но в то же время и большим злом, так как многие, остававшиеся до сих пор под знаменами, видя, что в деревнях царит изобилие, покидали свои ряды, чтобы отправиться на поиски продовольствия, и лишь очень немногие из них возвращались обратно. Солдатам очень нравилась жизнь одиноких путников, обещавшая им еду, независимость, приют под кровом и теплый ночлег, взамен жизни на бивуаках почти всегда без пайков — и тяжелых ночных караулов на морозе. Правда, казаки и вооруженные крестьяне захватывали ежедневно много отставших, так как они по большей части преступно побросали свое оружие, чтобы легче было идти, а также для того, чтобы у начальства не являлось искушения заставить их возвратиться в ряды: за отсутствием ружей они были бы там бесполезны.

Было приятно очутиться в местности обитаемой и не такой уж истощенной, по это лишь в слабой мере отвлекало мысли от судьбы герцога Эльхингенского, которая в данный момент занимала решительно всех. Князь Невшательский показывал всем приказы, посланные им князю Экмюльскому, как будто он заранее хотел снять с себя ответственность за то, что могло случиться с герцогом Эльхингенским. Мне он тоже показывал эти приказы. Возмущение против князя Экмюльского было всеобщим, — тем более что император возлагал на него во всеуслышание ответственность за все опасности, которые могли грозить 3-му корпусу. На самом же деле все передвижения могли бы быть в свое время ускорены, и герцог Эльхингенский мог бы выступить из Смоленска 16-го, но суть в том, что император всегда откладывал дело до последнего момента, если

надо было отдать приказ об отступлении. Когда он был в Смоленске, он не знал, где находится неприятель, и не испытывал от пего никаких беспокойств на флангах, а потому и в самом деле мог верить, что русские находятся позади, и, несомненно, думал, что, задерживая движение своего арьергарда, он тем самым задерживает и русских. Да, когда судишь о событиях прошлого, то легко осуждать распоряжения, которые казались самыми мудрыми в тот момент, когда они отдавались. Все случившееся объяснялось стечением тяжелых и трудных обстоятельств, одно хуже другого, и нужно было быть свидетелем действий полководца и участником событий, случившихся с тем, на кого возлагали всю вину, чтобы справедливо судить о поведении военачальника, имеющего столько славных заслуг, как князь Экмюльский. Нельзя отрицать, что под Красным князь Экмюльский один раз уже рисковал своим немногочисленным корпусом, выжидая герцога Эльхингенского, причем ничуть не улучшил его положения, так как 1-й корпус был тогда уже только призраком. Никто не хотел также учитывать всяческие задержки, препятствия и результаты морозов, которые нас уже порядком потрепали и расстроили все наши проекты.

К чести и славе герцога Эльхингенского надо сказать, что вся армия думала о нем одинаково. Все считали невозможным, чтобы ему удалось пробиться к армии через Красное, но в то же время все говорили, что если есть кто-нибудь, для кого невозможное возможно, то Ней соединится с нами. Все сгибались над развернутыми картами, намечали по ним маршрут, которым пойдет Ней, если его мужество не даст ему возможности пробить себе дорогу через Красное. "Хорошая пехота, если она пожертвует артиллерией, может сделать все с таким командиром, — говорили в армии. — Он скорее придет к нам через Киев, чем сдастся неприятелю". Начиная от любого солдата и вплоть до императора, никто не сомневался, что Ней приведет свой корпус, если он только не будет убит. Если у кого-нибудь и были какие-либо сомнения, то они сводились лишь к опасению, как бы маршал, думая, что мы его будем ждать и поддержим его атаку, как только заслышим его пальбу, не пожелал во что бы то ни стало пробиться и не пал смертью храбрых, пытаясь проложить себе дорогу. Может ли быть для воина лучшая похвала, чем это всеобщее убеждение, что он добьется своего там, где всякий другой едва ли осмелился бы сделать только попытку?

Прибыв 19-го в Оршу, император часть дня провел у моста. Он осмотрел окрестности города, как будто собирался сохранить его в своих руках. Хотя все еще не было никаких сообщений о герцрге Эльхингенском,

надежды все же не исчезали. Так как всякая задержка должна была еще более осложнить наше положение, то отступление продолжалось; арьергард был поручен вице-королю; 20-го, во второй половине дня, ставка была перенесена в усадьбу Бараны, недалеко от Орши, в расстоянии четверти лье от дороги. Там император получил от одного штатского поляка сообщение о движении молдавской армии русских на Минск, но этот поляк не мог ни сообщить какой-либо точной даты, ни сказать, далеко ли еще от Минска находится эта армия. Он говорил понаслышке, со слов какого-то другого лица.

— Чичагов, — сказал император, — несомненно, соединится с Тормасовым, и они отправят корпус на Березину, или, точнее, на соединение с армией Кутузова у Березины, который оставляет нас в покое для того, чтобы, как я это всегда предполагал, опередить меня и атаковать нас, когда он получит это подкрепление. Надо торопиться; мы потеряли много времени после Смоленска, а между тем я тоже мог бы находиться уже на Березине, располагая достаточными силами, если бы мои приказы были выполнены. Надо поскорее дойти туда, ибо иначе могут произойти большие события.

Император был очень озабочен и, как мне показалось, впервые неспокоен за будущее. Ему не хотелось уезжать, не получив сообщений о герцоге Эльхингенском, и он покинул Оршу лишь к концу дня.

В Орше было продовольствие и фураж, но что можно было сделать с этими запасами, когда надо было прокормить такое множество людей и лошадей? Местность была значительно лучше, чем между Москвой и Смоленском, то есть гораздо менее истощенная, и жители но большей части оставались на месте.

Вскоре после отъезда императора вице-король, оставшийся в Орше, сообщил, что в ночь с 18 на 19-е герцог Эльхингенский перешел через Днепр возле Варышек[222] по только что образовавшемуся льду и привел, кроме своего корпуса, еще 4 — 5 тысяч отставших и московских беженцев-французов, которые могли найти спасение лишь под защитой его каре. Вице-королю был послан приказ двинуться навстречу герцогу, чтобы облегчить его соединение с армией, но он уже заранее сделал это, послав одну из своих дивизий.

Ни одно выигранное сражение не производило никогда такой сенсации. Радость была всеобщей; все были точно в опьянении; все суетились и бегали, сообщая друг другу о возвращении Нея; новость передавали всем встречным. Это было национальным событием; офицеры считали себя обязанными сообщить о нем даже своим конюхам. Офицерам

и солдатам — всем казалось, что нам не страшны теперь судьба и стихии, что французы непобедимы!

Офицер генерального штаба де Бриквиль, один из посланных к маршалу, чтобы его поторопить, и раненный в бедро во время боев, которые пришлось вести корпусу Нея, прибыл в ставку вечером и сообщил много подробностей. Сам маршал рассказывал потом следующее.

Во второй половине дня 18 ноября густой туман не позволял различать что-нибудь даже на самом близком расстоянии, и авангард 3-го корпуса наткнулся сослепу прямо на русские батареи, встретившие его картечью; три корпуса русских занимали позиции по обе стороны дороги на Красное, а сама дорога была занята крупными артиллерийскими силами. Заслышав пушечные выстрелы, маршал подтянулся к своему авангарду и нагнал его в пять часов дня. Думая, что мы его поджидаем и что канонада послужит для нас сигналом к общей атаке, он несколько раз возобновлял свои собственные атаки, чтобы проложить себе дорогу; хотя его войска оказались под убийственным огнем со всех сторон, они сражались с редкой отвагой. Наши солдаты прорвались через две неприятельские линии, но находили смерть, столкнувшись лицом к лицу с пушками и шеренгами третьей линии, ибо не в силах были преодолеть все те препятствия, которые русские подготовили и противопоставили их отваге. Видя, что ему не удается проложить дорогу, Ней отошел на свои позиции и продолжал драться до 10 часов вечера, чтобы принудить врага держать здесь все свои силы. Когда огонь прекратился, генерал Милорадович послал к маршалу в качестве парламентера одного майора с предложением о сдаче; но маршал уже знал, что ему надо делать, и, как только он удостоверился, что нас здесь нет и мы не можем ему помочь, он выслал разведку для обследования окрестностей; а когда он узнал от русского офицера, что вся французская армия покинула Красное и находится уже далеко, он еще более укрепился в своем решении. Он задержал майора и в полнейшей тишине продолжал начатый уже им маневр с целью перейти Днепр, переправа через который была обследована вечером. Хотя у берегов во многих местах лед был еще совсем тонким, людей погибло мало; удалось даже спасти большинство лошадей.

Когда наступил день, русские не нашли ничего, кроме наших орудий с испорченными замками. Перейдя на другой берег реки, маршал выслал небольшие отряды к Орше, чтобы известить императора. Только один из них добрался до Орши, и именно от него вице-король получил первые сведения о Нее. Платов, который шел из Смоленска по правому берегу реки, наводняя всю местность полчищами своих казаков, тотчас же был

извещен о переходе маршала через Днепр. Он собрал все свои войска, окружил маршала, непрестанно тревожил его во время переходов и каждое мгновение вынуждал его строиться в каре, чтобы отражать налеты казаков и прикрывать двигавшихся с ними отставших, беженцев и раненых, которые в состоянии были выдержать перевозку.

Все попытки донских казаков остались тщетными; 6 тысяч храбрецов герцога Эльхингенского ни разу не дали прорвать свои ряды или остановить свой поход. Это смелое отступление герцога Эльхингенского в сопоставлении с тем, что называли "благоразумием его коллеги" (князя Экмюльского), служило темой для всех разговоров, тем паче что князя Экмюльского недолюбливали.

И большие и малые люди пользовались случаем, чтобы бросить в него камнем, не входя в обсуждение вопроса, не служат ли для него оправданием приказания, полученные им, сообщения, которые он посылал герцогу Эльхингенскому, и обстоятельства, в которых он оказался. Возвращение герцога Эльхингенского вновь вернуло императору всю его веру в свою звезду, которая так часто была слишком счастливой и для него и для нас.

21-го ставка была в Каменице. По дороге туда император получил новое сообщение о передвижениях молдавской армии русских. Граф Дарю, ехавший на некотором расстоянии вслед за императором и занимавшийся оказанием помощи больным, толпившимся на дороге или теснившимся в оставшихся неразрушенными домах, встретил польского офицера, который просил его передать это сообщение императору, так как сам он сейчас не мог этого сделать, ибо его лошадь не в состоянии была больше двигаться. Император засыпал вопросами графа Дарю, потом и офицера, но офицер знал только, что Чичагов с молдавской армией двигается на Борисов. Вечером император сообщил нам эти сведения, заставившие его сильно призадуматься.

— Поспеем ли вы вовремя? — сказал он мне. — Возобновил ли своевременно герцог Беллюнский[223] наступление, чтобы оттеснить Витгенштейна? Если переходы через Березину окажутся закрытыми для нас, то обстоятельства и события могут сложиться так, что мы будем вынуждены прорываться с гвардейской кавалерией. Какое расстояние можно было бы пройти с нею в пять-шесть дней при том состоянии, в котором находятся лошади, если мы будем постепенно бросать наиболее плохих лошадей? С моей гвардией и с теми храбрецами, которых удастся собрать, всегда можно будет прорваться. Мне не терпится узнать, что сделали мои корпуса на Двине и корпус Шварценберга. Маре, который по-

прежнему располагает нужными источниками информации, должен был известить их о передвижениях адмирала.

После этого император заговорил о своей поездке во Францию, как о деле решенном, и сказал мне, что я буду сопровождать его и другого телохранителя ему не надо.

Теперь император мечтал занять позиции за Березиной, считая, что минские склады дадут ему возможность вновь собрать и прокормить армию.

— Через несколько дней, — сказал он мне, — отступление будут прикрывать корпуса герцогов Реджио и Беллюнского; солдаты московской армии разместятся во второй линии, и мы соберем отставших.

Сообщения из Франции по-прежнему не получались. Это было самым чувствительным лишением для императора, который уже не надеялся, что польским офицерам и посланным в Вильно людям удалось передать, а герцогу Бассано удалось направить его сообщения во Францию и успокоить ее. Император понимал все неприятные стороны этого молчания, и это еще усугубляло беспокойные размышления, на которые наводили его полученные им известия. Расстройство и дезорганизация дошли до такой степени, что я отнюдь не разделял его надежд на возможность сосредоточить армию под Вильно, не говоря уже о том, что новые события могли помешать принятию нужных мер. Что касается императора, то, если не считать беспокойства, вызванного появлением Чичагова, он уже видел, как его армия выстраивается на позициях, едва только он соединится с корпусами, стоящими на Двине.

22-го мы были в Толочине; император остановился в здании, которое было чем-то вроде монастыря. Там, в Толочине, он узнал об эвакуации нашими войсками Минска, который был занят 16-го авангардом адмирала Чичагова под командованием генерала Ламберта. Император, потеряв вместе с Минском все свои склады, все средства, с помощью которых он после Смоленска рассчитывал вновь собрать и реорганизовать армию, на один момент был ошеломлен этим известием. Он не только терял все те ресурсы, на которые возлагал свои надежды, но перед ним еще выяснилась тревожная картина положения: молдавская армия, быть может, уже соединилась с корпусами, находящимися в нашем тылу, а не была подтянута Кутузовым к главным русским силам на нашем фланге, как все время надеялся император.

Император, стальная воля которого лишь еще больше закалялась при виде стольких препятствий и, можно сказать, стольких опасностей, тотчас же решил ускорить свое передвижение, подоспеть, если это окажется

возможным, к Березине раньше Кутузова, сражаться и одержать победу над всеми, кто встретится на его пути. Вместе с тем он питал тешившие его и обещавшие выход из положения надежды, лелея мечту, что князь Шварценберг и Рейнье[224], узнав о потере нами Минска, уже выступили и изменили положение. Во всяком случае он считал, что сосредоточение под Борисовом тех войск, которыми он располагал в этом районе и которые, наверное, в связи с происходящими событиями собрались там вместе, надежным образом обеспечивает отступление армии, которое теперь нельзя прерывать вплоть до Вильно. Он был уверен, что борисовский мост находится под крепкой охраной. Этот мост был важным пунктом. Уже давно император приказал привести его в оборонительное состояние, держал там войска, и, судя по тому, что он соблаговолил говорить мне, а также князю Невшательскому, он думал, что может рассчитывать на этот пункт.

Вечером, когда император лег в постель, он оставил у себя, как это часто бывало, графа Дарю и Дюрока, чтобы поболтать с ними; он задремал, а Дарю и Дюрок стали разговаривать между собой, ожидая, пока император окончательно заснет и можно будет удалиться. Через четверть часа император проснулся и спросил их, о чем они говорят.

— Мы мечтали о воздушном шаре, — ответил Дарю.

— Для чего?

— Чтобы увезти ваше величество.

— Да, положение довольно трудное. Вы, значит, боитесь попасть под замок в качестве военнопленных?

— Нет, не военнопленных, потому что вашему величеству такой хорошей участи не предоставят.

— Положение действительно серьезно. Вопрос осложняется. И все же если начальники подадут пример, то я все еще буду сильнее, чем неприятель. У меня больше, чем нужно, сил, для того чтобы пройти по трупам русских, если единственным препятствием будут их войска.

На следующий день (23 ноября) государственная канцелярия сожгла свои бумаги; Дарю настаивал на этом, начиная с Гжатска, где мы начали уничтожать свои обозы.

В три часа утра император послал за мной н заговорил о полученных им дурных сообщениях:

— Дело становится серьезным, — сказал он. Затем император спросил меня, достаточно ли крепок мороз для того, чтобы реки и озера замерзли и артиллерия могла бы пройти по льду.

— Думаю, что нет, по крайней мере что касается рек, — ответил я.

— Вы сами не знаете, что говорите; ведь Ней перешел Днепр по льду без пушек, а тогда было не так холодно, как сегодня. Морозы будут, и мы пройдем через болота Березины. Иначе пришлось бы идти на прорыв и делать большой обход. Сколько дней формированного марша нужно для того, чтобы дойти до Вилейки или до Глубокого? Положение может сделаться критическим, если Кутузов правильно сманеврировал, а Витгенштейн захочет его поддержать или соединиться с адмиралом. Эти моряки всюду приносят мне несчастье. Что касается Кутузова, то он воевать не умеет. Когда завязывается бой, он дерется с отвагой, но он ничего не понимает в большой войне[225] .

Затем император рассказал мне о разговоре с Дарю и Дюроком.

— Их воздушный шар отнюдь не был бы лишним, — сказал он шутя. — На сей раз спасение только в отваге. Если мы перейдем Березину, то я буду хозяином положения, так как двух свежих корпусов, которые находятся там, и моей гвардии достаточно для того, чтобы побить русских. Если пройти нельзя, то мы выкинем фокус. Обсудите с Дюроком, что можно будет взять с собой, в случае если нам придется прорываться не на дороге, а через поля без всяких повозок. Надо заранее подготовиться на тот случай, если придется уничтожить все, чтобы не оставлять трофеев неприятелю. Я лучше буду до конца кампании есть руками, чем оставлю русским хоть одну вилку с моей монограммой. Условьтесь с Дюроком обо всем, что касается его ведомства, и не проговоритесь никому. Я говорил об этом только с ним и с вами. Надо удостовериться, в хорошем ли состоянии мое и ваше оружие, так как придется драться.

Император коснулся еще многих других вопросов, обсуждая свое положение и проект своего отъезда во Францию.

Я переговорил с Дюроком, который в свою очередь рассказал мне о беседе императора с ним и Дарю. Мы условились, что отныне все столующиеся при императорском дворе будут сами заботиться о своих бокалах, тарелках и остальных предметах столового прибора, если желают пользоваться ими и дальше. В качестве предлога мы решили ссылаться па то, что мулы, перевозившие погребцы со столовыми принадлежностями, ослабели.

Хотя мороз был еще сильный, но небо было покрыто облаками, грозила оттепель, и во всяком случае мог пойти снег. Больные замерзали по ночам возле бивуаков. Так как люди были небрежны, а добывать фураж и воду для лошадей было трудно, то лошадей погибло очень много. Мой адъютант Жиру, который после своего ранения под Красным ехал в моей коляске, умер ночью. Он был без сознания в течение двух дней.

Из Толочина мы переехали в Бобр, куда прибыли 23-го. На дороге попадалось еще больше издохших лошадей, чем при наших прежних переходах. Встречались и человеческие трупы; очень много их мы находили на всех бивуаках; это были трупы людей, задохшихся в дыму костров, так как, продрогшие и почти окончательно замерзшие, они жались слишком близко к кострам. Живые стонали и не могли тащиться дальше, одни — от слабости, другие — потому что у них были отморожены руки и ноги. Это ужасное зрелище произвело глубокое впечатление на всех. Несчастных окоченевших людей нельзя было убедить в том, что огонь грозит им смертью и что единственное лекарство — это двигаться и растирать конечности чем-нибудь сухим, а еще лучше снегом. Когда император проезжал среди этой толпы несчастных, там не раздавалось ни единого слова ропота, ни единого стона. Как они были благородны в своих страданиях, эти французы! Они обвиняли стихии, но не упрекали славу![226]

Императору не терпелось поскорее соединиться с корпусом герцога Реджио, который, оправившись от своей раны, должен был вновь вступить в командование восемь или десять дней тому назад; ему было приказано маневрировать с таким расчетом, чтобы расположиться эшелонами на Московской дороге, тогда как герцог Беллюнский должен будет дать отпор графу Витгенштейну, соединив под своим командованием остатки собственного корпуса и корпус маршала Сен-Сира. Он находился в окрестностях Смолян, которые должен был уже покинуть, чтобы прикрывать наше движение и составлять наш арьергард. Кавалерии нехватало, а для разведок на льду невозможно было пользоваться тем, что оставалось от гвардии (и что важно было сохранить на случай, если обстоятельства сделаются еще более критическими); мы не имели поэтому никаких сведений о Кутузове. Мы знали только, что Платов, который слабо теснил наш арьергард, получил подкрепление в составе нескольких батальонов. Император тешил себя надеждой, что благодаря нерешительности Кутузова и благодаря тому, что Милорадович потерял время, поджидая герцога Эльхингенского на дороге у Красного, мы опередим на несколько дней главные русские силы и успеем, следовательно, перейти через Березину; вопрос об этой переправе сильно беспокоил императора после потери Минска.

24-го мы были в Лошнице и там узнали о столкновении под Борисовом[227]; предмостное укрепление, занятое польским батальоном, было захвачено врасплох и досталось казакам, но храбрый генерал Домбровский, который прибыл прошлой ночью из окрестностей

Бобруйска, вновь отбил его во главе своей дивизии и доблестно защищал в продолжение десяти часов против трех русских дивизий. Однако под давлением превосходных сил неприятеля он вынужден был вечером перейти через мост обратно, причем выполнил этот маневр в полнейшем порядке и занял позиции на другом берегу реки в Неманице.

Таким образом мы лишились единственного пункта, через который могло идти наше отступление, единственного па весь обширный район моста через реку с крутыми и очень болотистыми берегами. Это неожиданное сообщение было самым неприятным, какое только мог получить император. Дополнительные подробности подтверждали как потерю моста, так и те факты, о которых свидетельствовало это событие. Оно не позволяло больше сомневаться, что сюда прибыла молдавская армия, тогда как император в течение долгого времени думал, что она идет на подкрепление Кутузову. Мы узнали, что Чичагов был 30 октября в Пружанах, а 3 ноября — в Слониме, которым русские овладели 19 октября[228]. Но зато авангард князя Шварценберга был 7 ноября в Волковыске, и сообщение об этом позволило императору надеяться на удачную диверсию.

Судьба, казалось, хотела подвергнуть нас в эту тяжелую кампанию всем самым жесточайшим испытаниям. События, которые могли больше всего расстроить планы императора, следовали одно за другим. Лишившись складов, которые могли бы удовлетворить все наши потребности и позволить нам реорганизовать армию, он терял теперь — как раз в тот момент, когда не было другого пути спасения, — единственную переправу, на которую он так рассчитывал. Всякий другой на его месте пал бы духом. Но император показал, что несчастье не может его одолеть. Бедствия не сокрушили его, и вся энергия этого великого человека лишь проявилась с еще большей силой; он показал, что могут сделать благородное мужество и храбрая армия именно тогда, когда на них обрушивается слишком много несчастий. Император показал, что его воля сильнее всяких событий, и, следовательно, он мог бы еще раз справиться с ними, если бы не искушал больше судьбу, людей и славу. Но надежда и одна только видимость успеха опьяняли его больше, чем удручила бы его самая большая неудача. Полученное им тогда косвенным путем сообщение об успехах, одержанных 16 и 17-го князем Шварценбергом[229], оживило его надежды. Судьба так часто осыпала его своими милостями в самых отчаянных обстоятельствах, что он тотчас же пожелал верить и поверил, что австрийцы, предупрежденные министром (герцогом Бассано) и

вдохновленные примером его гения, воспользовались случаем, чтобы подойти к нам, и их маневры выручат нас и даже дадут нам некоторые шансы на успех, из которого он сумеет извлечь большие результаты. Обладая таким гением, таким закаленным характером и такой могучей волей, делавшей его сильнее неудач, он в то же время до такой степени был склонен предаваться мечтаниям, как будто действительно нуждался в этом средстве утешения слабых душ.

Его уверенность и упрямство еще больше возросли утром, когда он получил донесение от герцога Реджио о неудаче чичаговского авангарда под командованием генерала Палена, который рискнул напасть на Неманицу и, по словам герцога, потерял много пленных и все обозы, неблагоразумно переброшенные русскими из Борисова на другой берег реки[230]. Об этом успехе у нас раззвонили во все колокола, и мы выступили в путь, направляясь в Борисов. Вверх и вниз по реке были посланы отряды, чтобы выяснить позиции неприятеля, обследовать переправы через реку и обмануть неприятеля ложными демонстрациями.

Мы никак не могли понять маневра Кутузова; мы знали, что он находится в трех-четырех переходах от нас; между тем, поскольку Витгенштейн не соединился с молдавской армией, мы могли и даже должны были опасаться, что сам Кутузов поспешит соединиться с ней, чтобы действовать согласованно.

Герцог Реджио сообщил, что генерал Корбино, командир его легкой кавалерии, вернулся из глубокой разведки на другом берегу Березины, причем обстоятельства вынудили его перебраться через реку вплавь. Все эти сообщения, а особенно уверенность в том, что Кутузов находится далеко, успокоили императора. Будучи убежден, что он опередил Кутузова на три дня, он спокойно ожидал событий, считая, что сможет дать отпор всем опасностям и преодолеть все трудности.

Следует напомнить ход событий, начиная с несколько более раннего момента, чтобы разъяснить некоторые обстоятельства, которые приобретают известное значение связи с нашим несчастным переходом через Березину.

Генерал Корбино, командир 6-й кавалерийской бригады 2-го корпуса, находившегося под командованием герцога Реджио, получил 17 ноября приказание покинуть баварскую дивизию, вместе с которой он стоял у Глубокого, и двинуться на соединение с московской армией, о которой уже в течение нескольких дней не было сведений. 20-го к Плещаницам подошел Чернышев с тысячей казаков, показался там, но вскоре отошел на расстояние полулье. 21-го французская бригада продолжала путь, желая

перейти Березину в Борисове. Прибыв в Зембин, Корбино услышал несколько пушечных выстрелов и в то же самое время подвергся нападению казаков; однако его арьергард дал им достаточный отпор для того, чтобы он мог продолжать свой путь. Несколько дальше ему сообщили, что борисовское предмостное укрепление было взято неожиданным нападением, причем польский генерал не смог отстоять город и покинул также и мост.

Это отдавало оба берега Березины во власть молдавской армии, обеспечивало ее связь с Витгенштейном через единственный мост, существовавший в данной местности, и означало, что французская бригада попала между казаками и молдавской армией.

Узнав, что отряд генерала Чернышева двигался из Лепеля, где он был в контакте с графом Витгенштейном (а может быть, вообще являлся его авангардом), генерал Корбино понял, как важно предупредить герцога Реджио о том, что происходит. Он решил поэтому лучше испробовать все способы соединиться с ним, чем искать спасения на каком-нибудь другом направлении; остановившись у первого же дефиле на Борисовской дороге, он выставил сторожевое охранение на Минской и Зембинской дорогах, занятых казаками. Счастливый случай пожелал, чтобы офицеры и патрули, которых он послал на разведки, привели к нему крестьянина, шедшего из Борисова и переправившегося через Березину возле Веселова. По его приказанию проводник привел ночью нашу бригаду туда, где он сам перебрался через реку; и в полночь 21 ноября Корбино перешел через Березину в том самом месте, где шесть дней спустя (тогда он этого еще не предвидел) ему довелось показать этот путь спасения всей французской армии, — в том самом месте, где через Березину перешел в свое время после похода на Украину Карл XII с остатками своей доблестной армии. Из-за движения льдин, между которыми трудно было лавировать в темноте, Корбино потерял около 70 человек, хотя его колонна переправлялась тесно сомкнутыми рядами по 8 человек в шеренге.

Генерал Корбино преодолел большое препятствие, но на другом берегу занижала прочное положение армия Чичагова, которая грозила ему новыми опасностями.

Судьба оказалась к нему более благосклонной, чем можно было надеяться; он обошел Плещаницы, занятые русскими, и направился на Кострицу; французский авангард ворвался туда галопом 22 ноября в 4 часа утра, как раз в тот момент, когда оттуда уходил казачий полк; мы захватили его обозы и нестроевую прислугу. Продолжая свои переходы с такой же удачей, Корбино дошел до богатой русской усадьбы, где был

хороший мост через Начу. Это было последнее препятствие, которое ему надо было преодолеть, чтобы выйти на Смоленскую дорогу; к своему великому изумлению, он встретил на этой дороге, невдалеке от Крупок, 2-й корпус.

Сколько несчастий было бы предотвращено, сколько людей осталось бы в живых, если бы французская армия пошла этим же путем! Но или герцог Реджио не придал значения подробностям, о которых ему сообщил генерал Корбино, и не передал их императору, или император не счел удобным двигаться по этому направлению. Если бы мы пошли этим путем, то выиграли бы два перехода, а если бы при этом мы скрыли свое движение при помощи ложной демонстрации у Борисова, то наш переход через Бсрезину не был бы замечен адмиралом Чичаговым, и все то, что нам пришлось потерять, было бы спасено. Генерал Корбино отдавал себе полный отчет в этих преимуществах и, не довольствуясь донесением, которое он сделал герцогу Реджио, вновь напомнил ему обо всем еще и 23 ноября. Если бы император знал все эти подробности, то, судя по всему, можно думать, что он предпочел бы движение на Борисов уже по одному тому, что таким путем был бы обманут Чичагов. Быть может, неудача Палена и некоторые другие обстоятельства внушили императору мысль, что при помощи мощной атаки он может вернуть себе борисовский мост, то есть более удобный переход через Березину; но более вероятно, что император еще не знал тогда о неудаче Палена, так как он ни звука не говорил об этом и даже жаловался, что артиллерии и обозам приходится делать большой крюк, чтобы добраться до Веселова.

23-го император вызвал к себе генерала Корбино, но случилось одно из тех маленьких происшествий, которые часто оказывают такое влияние на крупные события: говорили, что адъютант герцога Реджио, де Крамейель, забыл приказ о вызове Корбино у себя в кармане, и генерал получил его только 25 ноября. Корбино явился к императору, когда наши колонны уже миновали дорогу, по которой им следовало бы пойти; он подробно доложил императору обо всем и отметил, что мы теряем драгоценное время на бесполезный обход. В первый момент император не обратил внимания на это замечание. Позже он вспомнил о нем и приказал наметить предложенное Корбино направление на своей карте, но было уже слишком поздно. Он говорил тогда об этом мне и князю Невшатсльскому, жалуясь, что его никогда не осведомляют вовремя. Поговорив недолго с генералом Корбино, император послал его в Веселово, чтобы подготовить все необходимое для наводки мостов. При отсутствии всяких средств, при отсутствии железа и почти всех других материалов (приходилось

разрушать жилые дома, чтобы добыть лес) Корбино благодаря своей настойчивости, а также благодаря неутомимой энергии артиллерийского полковника Шово восторжествовал над всеми затруднениями. Отдав все нужные распоряжения и пустив в ход все работы, он явился к императору в Старый Борисов, где его величество, произведя рекогносцировку в Неманице, ее окрестностях и на берегах Березины вверх и вниз от города, остановился на несколько часов, чтобы разослать приказания. Император вместе со мной прошел по оставшейся в целости части моста; мост сохранился приблизительно на четверть своей длины. В различных направлениях были высланы разведки, в ряде пунктов были произведены демонстрации. В окрестностях города находились остатки корпуса генерала Палена. Днем император получил несколько донесений от герцога Беллюнского, успокоивших его насчет передвижений Витгенштейна, что в тот момент интересовало его более всего. Не было никаких признаков, что Витгенштейн думал соединиться с адмиралом Чичаговым, так как он не атаковал герцога Беллюнского и стоял возле Холопеничей[231].

Император колебался, не зная, где переходить Березину. Его привлекал Минск, так как он надеялся, что князь Шварценберг двинулся туда и что, оказавшись под угрозой с двух сторон, русские не успеют эвакуировать или уничтожить склады. В связи с этим он вызвал к себе полевого контролера, ведавшего складами, чтобы получить от него точные сведения об имевшихся в Минске запасах, о местном районе и о том, что там происходило. Он приказал также особо обследовать переправу у Уколоды, но донесения генерала Корбино, который приехал к часу дня, и новые сообщения герцога Беллюнского о чрезвычайно странном поведении Витгенштейна, ограничивающегося тем, что он идет по его следам, побудили императора немедленно принять решение. Он вновь послал генерала Корбино в Веселово с приказанием ускорить наводку мостов и тотчас же возвратиться, а сам тем временем объездил окрестности. Император остановился в Старом Борисове[232] , откуда разослал различные распоряжения. Генерал Корбино возвратился ночью, и тогда артиллерия, обозы и различные корпуса были направлены к Веселову и к Студянке, помещичьей усадьбе, куда ночью же пришел с гвардией сам император. Корбино служил нам проводником. За два часа до рассвета[233] император выехал оттуда, чтобы встретиться с герцогом Реджио в Веселове. Он осмотрел берега Березины и приказал разместить большие артиллерийские силы на занятом нами берегу, который господствует над противоположным берегом и над окаймляющими его болотами во всю их

ширину, достигающую 200 — 300 туазов. Он приказал также проверить брод. Так как в связи с морозом река обмелела, то брод был глубоким лишь на протяжении трех — пяти туазов, и в этом месте лошади должны были двигаться вплавь, а потом взбираться на противоположный, довольно обрывистый берег. С нашей стороны вода доходила лошадям лишь до брюха. Многие кавалеристы из наших неустрашимых поляков по нескольку раз переправлялись через реку в обоих направлениях и оттеснили небольшие группы казаков, которые бродили на противоположном берегу, но начали стрелять только тогда, когда они отступили за болота. Несколько позже аванпосты дивизии Домбровского вместе с несколькими стрелками, пехотными отрядами и гусарами имели небольшое столкновение с казаками из дивизии Чаплица, которые засели в деревне Брили.

Тем временем продолжалась деятельная работа над изготовлением мостовых сооружений, начатая генералом Корбино, и одновременно заготовлялись материалы для наводки двух мостов: одного — для артиллерии, другого — для пехоты. Короткие демонстрации продолжались по всей линии. Армия сосредоточивалась и направлялась на Веселово. Корпус герцога Реджио перешел мосты еще до наступления ночи. Генерал Домбровский был ранен в небольшом столкновении, которое имела его дивизия с дивизией Чаплица. 3 и 5-й корпуса (Нея и Понятовского) перешли Березину ночью, чтобы поддержать герцога Реджио, который, как мы думали, должен был подвергнуться ожесточенному нападению Чичагова.

Император провел весь день на месте постройки мостов. Своим присутствием он подбодрял саперов и понтонеров, которые работали с подлинным самоотвержением и каждую минуту должны были влезать в воду, чтобы чинить мост, построенный почти из щепок и ломавшийся под тяжестью каждого лафета и каждого взвода. Император проехал по болотам противоположного берега и тщательно обследовал после полудня эту местность. Он возвратился в Студянку поздно ночью и ночевал там 26-го.

27-го с раннего утра он отправился к мостам. Войска переходили через них медленно. Чтобы не прерывать передвижения войск и артиллерии, был отдан приказ задерживать одиночек и маркитантов, которые легко могли бы проскользнуть в промежутки между воинскими частями. Веселово кишело ими. Гвардия и обозы перешли через Березину днем 27-го и заняли позиции в Брилях, на противоположном берегу.

Тем временем герцог Беллюнский, который прикрывал наш маневр,

занял в полдень позиции перед

Веселовым, поставив там дивизии Дэндельса и Жирара; дивизия Партуно, которую он оставил у Борисова, должна была подойти к нему ночью. Мы никак не могли понять бездеятельности адмирала Чичагова, который, по приказу Кутузова, направился к другому пункту. Не более понятной была нам и медлительность Витгенштейна, следовавшего за герцогом Беллюнским. Каким образом Чичагов, который видел, что наше движение в течение последних 36 часов приняло особенные размеры, не сжег или не разрушил борисовского моста, чтобы быть спокойным насчет этого пункта? Каким образом он не поспешил со своими 80 орудиями, чтобы разгромить нашу переправу? Выжидал ли он Витгенштейна? Или с ним соединился Кутузов? Маневрировал ли он в нашем тылу? Мы терялись в догадках, и надо признаться, что для этого были основания.

Прежде чем направить обозы через болота, я сам обследовал утром все проходы. Если бы мороз, ослабевший за последние три дня, не возобновился накануне с прежней силой, то не удалось бы спасти ни одного пушечного лафета, так как почва здесь был топкая и тряслась под ногами. Зарядные ящики, ехавшие последними, завязли в болоте, хотя мы все время меняли дорогу, когда растрескивалась или проваливалась смерзшаяся твердая корка травы, служившая нам как бы мостом через болото. Колеса, не находя больше точки опоры, проваливались в бездонную трясину. Нужны были все упорство и вся сообразительность людей, стоявших во главе обозов, чтобы выкарабкаться из этих опасных мест. Можно сказать, что судьба никогда в такой степени не благоприятствовала императору, как в течение этих двух дней, ибо если бы не суровые морозы, то ему не удалось бы спасти ни одной повозки.

Император осмотрел днем позиции в Брилях и дорогу, ведущую оттуда в Борисов, а потом вернулся в Веселово, чтобы осмотреть позиции герцога Беллюнского. Его величество лично наблюдал за переходом гвардии[234] через Березину и вернулся в Брили очень поздно; в этой скверной деревушке расположилась ставка. От нескольких мародеров, которым удалось ускользнуть от казаков, мы узнали, что казаки появились в Студянке во второй половине дня и захватили там отставших. Император решил, что это был авангард Витгенштейна. Было ли его движение согласовано с движением Чичагова, чтобы атаковать нас на обоих берегах? Это значило бы действовать с опозданием; если бы не ошибочный маневр генерала Партуно, вынудивший герцога Беллюнского выжидать его, то вся французская армия могла бы перейти уже прошлой ночью через Березину.

Состояние кавалерии не позволяло нам посылать на разведку сильные

отряды, и мы не могли раздобыть точных сведений о маневрах неприятеля.

Хотя переправа наших войск через реку не была до сих пор потревожена ни единым ружейным выстрелом и хотя все обещало, что она закончится столь же удачно, внимание императора было приковано к дороге на Камень. Именно на этой дороге неприятель мог остановить наше Движение и создать препятствия, которые было бы гораздо труднее преодолеть, чем Березину.

Утром 28-го[235] аванпосты герцога Реджио были так энергично атакованы адмиралом Чичаговым, что 3-й и 5-й корпуса должны были поддержать герцога. Несколько часов бой шел с переменным успехом. Герцог Реджио был ранен. Император, который отправился на место боя, тотчас же заменил его герцогом Эльхингенским. Атака кирасиров, произведенная дивизией Думерка, решила дело в нашу пользу. 7-й полк, находившийся в голове бригады Беркейма, напал в лесной просеке на сомкнутую пехотную колонну русских и прорвал ее ряды. Возникший в результате беспорядок принудил русских отступить и оставить нам более 1 500 человек пленными. Я видел этих пленных; все это были солдаты молдавской армии.

Неудача адмирала всецело обратила бы в нашу пользу рискованную операцию перехода через Березину, если бы не одно из тех событий, которые не поддаются никакому учету, потому что они выходят за пределы всякой вероятности. Нет никаких сомнении, что оставшаяся на другом берегу часть армии перешла бы реку без всяких затруднений и была бы спасена, если бы дивизия Партуно, которая оставалась в Борисове и должна была подойти к герцогу Беллюнскому ночью, не ошиблась в темноте дорогой там, где она расходится по двум направлениям — на Студянку и на Веселово. Генерал Партуно и часть офицеров генерального штаба думали, что они едут по правильной дороге и их ждет впереди герцог Беллюнский; с полным спокойствием они ехали впереди дивизии, чтобы заранее обследовать позиции, которые она займет, как вдруг они попали прямо в объятия русских и были захвачены в плен. Неприятель, который был своевременно осведомлен об ошибке этих офицеров и о том, что за ними следует их дивизия, принял все нужные меры, чтобы дать им спокойно продвигаться вперед. Был взят в плен дивизионный генерал; сдалась и его дивизия, двумя бригадами которой командовали генералы Ле Камюс и Бланмон. Все это — подробности, которые мы узнали потом, так как в первый момент у нас называли глупостью и подлостью то, что было лишь результатом рокового безрассудства.

Когда ночью подошел и присоединился к герцогу Беллюнскому

арьергардный батальон этой дивизии, пошедший по правильной дороге, так как он последним оставил Старый Борисов, беспокойство, вызванное запозданием дивизии, увеличилось еще больше. Батальон ничего не видел, ничего не слыхал, и дорога на его пути была свободной. Маршал не сомневался, что дивизия ночью заблудилась, но подойдет к нему днем. Мы все еще надеялись увидеть ее приближение, и неизвестность, в которой мы пребывали, рассеялась только часам к девяти, когда мы увидели приготовления к атаке в корпусе Витгенштейна, занимавшем со вчерашнего вечера позиции против герцога Беллюнского.

И все же арьергардный батальон дошел до нас без затруднений; мы ничего не слышали; дорога, по словам возвратившейся разведки, по-прежнему была свободна. Никто не мог представить себе, чтобы дивизия, доверенная опытным генералам, могла сдаться без боя. Если даже генерал Партуно был атакован главной массой войск Витгенштейна, все равно ничто не могло помешать ему броситься со своей пехотой и кавалерией к реке, так как этот путь был еще свободен. Продолжал ли он еще драться? В таком случае сражение, которое должно было сейчас завязаться, покажет ему, что мы его ждем, и будет служить полезной для него диверсией.

Именно исходя из этих соображений, император, вместо того чтобы ускорить переправу через Березину, которая и без того уже задержалась из-за необходимости выждать дивизию Партуно, приказал некоторым войскам, в том числе части гвардии, двинуться на выручку герцога Беллюнского, у которого часам к 11 завязалось ожесточенное сражение с Витгенштейном, тогда как мы на другом берегу дрались с Чичаговым. Император только к часу дня узнал, что дивизия Партуно сдалась неприятелю. Явный успех, одержанный нами над Чичаговым, до некоторой степени компенсировал эту беду; ставка всячески старалась держать происшедшее в секрете, по сообщила о сдаче Партуно штабу герцога Беллюнского, которого в это время настойчиво теснила армия Витгенштейна. Бойцы дрались самоотверженно и ожесточенно, чтобы удержать свои позиции хотя бы до наступления ночи, но в конце концов маршал должен был решиться на переход через Березину, чтобы спасти свой корпус от полной гибели.

Нельзя даже отдаленно представить себе, что делалось тогда в селе Веселове и на том берегу Березины, кишевшем войсками, отставшими французами-беженцами, женщинами, детьми, маркитантами, которые не хотели расстаться со своими повозками и не имели еще разрешения на переход через реку, потому что со вчерашнего вечера мосты и другие переходы берегли для дивизий герцога Беллюнского и для войск,

назначенных на его поддержку. Император до последнего момента надеялся, что позиции удастся удержать до ночи; это спасло бы все. Но как только было решено отступать, берег возле Веселова мгновенно превратился в арену неописуемого ужаса, отчаяния и гибели, особенно когда повторные атаки русских против последних оставшихся там корпусов прижали толпу некомбаттантов к реке. Все устремились на мосты[236], и они не замедлили рухнуть — скорее от беспорядка, чем от тяжести. Французы на другом берегу были горестными свидетелями этих сцен ужаса и жестокости, не будучи в состоянии прийти на помощь. Мы потеряли тогда 10 тысяч человек.

Само собой разумеется, что в отзывах о генерале Партуно, на которого можно было в значительной мере возлагать ответственность за это несчастье, не стеснялись. Император, начальник штаба, маршалы, офицеры, вся армия не находили достаточно суровых слов для его осуждения. "Его небрежность непростительна, — говорили в армии. — Капитуляция дивизии без боя — позор". Кричали о трусости Партуно и сравнивали его поведение с мужественной решимостью герцога Эльхингенского.

— Д'Асса[237], видя неминуемую смерть, — сказал император, — воскликнул: "Овернцы, ко мне!" Если генералы не имеют мужества драться, то они должны предоставить дело своим гренадерам. Барабанщик спас бы своих товарищей от бесчестья, ударив сигнал к атаке. Маркитантка спасла бы эту дивизию, крикнув: "Спасайся, кто может", вместо того чтобы сдаваться.

Не подлежит никакому сомнению, что мы не только могли бы перейти через Березину до неприятельского нападения, если бы не капитуляция Партуно, но это событие оказало еще большее и прискорбное влияние на ход сражения: у герцога Беллюнского было одной дивизией меньше, и ему сильно нехватало ее, чтобы удерживать и защищать свои позиции.

В то время как эти события происходили на только что покинутом нами берегу Березины, 1 и 4-й корпуса двигались на Камень. Императора очень успокаивала уверенность, что наше движение в этом направлении не встречает никаких препятствий, хотя ему так легко можно было помешать, если только сжечь мосты; столь же успокоительно действовал на него и успех, одержанный над адмиралом Чичаговым. Это была компенсация за сегодняшние несчастья. Остававшиеся еще позади артиллерийские парки и обозы также двигались на Камень. Ставка пробыла в Брилях еще 28 ноября, чтобы проследить за реорганизацией пострадавших корпусов и

поднять дух войск, на которые сильно подействовали все эти события.

На следующий день, то есть 29-го, император отправился в Камень.

Около полудня там показался отряд генерала Ланского, отправленный Чичаговым. Он осадил дом[238], в котором находились герцог Реджио, генерал Легран, несколько других генералов, раненые офицеры и два фурьера из императорского обоза. Они собрали своих денщиков и нескольких солдат, которые заняли подступы к дому, и этой горсти храбрецов было достаточно, чтобы отразить отряд казаков. Не будучи в состоянии захватить людей, находившихся в доме, Ланской подверг его артиллерийскому обстрелу. Двое людей, стоявших подле герцога Реджио, были ранены. Когда подошла головная часть нашей колонны, русские прекратили свои попытки.

Дорога, начиная в полулье от Брилей и на расстоянии не менее двух лье, представляла собою насыпь, устроенную на таком топком болоте, что большая часть ее проходила по деревянным мостам, причем два из них были длиною около четверти лье. Очень много других мостов было переброшено через небольшие ручьи, пересекающие болота на каждом шагу. Каким образом русский генерал не обратил внимания на это обстоятельство, которым так легко было воспользоваться, чтобы создать препятствие для нас? Шести казаков с факелами было бы достаточно, чтобы отнять у нас этот путь отступления.

От императора не ускользнуло ни одно из тех соображений, которые могла внушить ему эта непредусмотрительность врага. Но он лишь еще больше возмущался непредусмотрительностью генерала Партуно, которая, как он говорил, обошлась нам так дорого, между тем как легко было бы спасти все и превратить переход через Березину в одну из прекраснейших и славнейших операций, осуществлявшихся когда-либо на войне. Он говорил еще, что русские генералы не произвели до сих пор ни одной подлинно военной операции, ни одного удачного маневра, который не был бы им указан их правительством; Витгенштейн, которого во время операций на Двине он считал самым твердым и самым способным из них, потерял все в его глазах из-за своих ошибочных маневров, своей нерешительности и намеренной медлительности своих операций, объяснявшейся нежеланием встретиться с нами без адмирала Чичагова. Начиная с Полоцка император твердил, что мы должны считать себя счастливыми, если при тех обстоятельствах, в которых мы оказались, нам не приходится иметь дело с более талантливыми противниками.

При вечернем переезде из Брилей в Камень кладь на двух отставших мулах из императорского обоза, когда погонщик ненадолго отлучился,

была разграблена; грабители не знали, чьи это мулы. Я отмечаю этот незначительпый факт потому, что, несмотря на всеобщую деморализацию, он был единственным происшествием такого рода за все время кампании. Преданность императору и почтение к нему были столь велики, что не только на имущество его двора, по даже на вещи его слуг никогда не было посягательств; во время нашего длительного отступления не раздавалось ни единого слова ропота. Военные умирали на дорогах, но ни от одного из них я не слышал никакой жалобы, а на мои наблюдения можно положиться, потому что начиная от Вереи я все время шел пешком то рядом с императором, то впереди или позади него, но всегда без шинели, в расшитой треуголке, среди других офицеров в мундирах; если бы солдат хотел выразить свое неудовольствие, то он, конечно, высказал бы его скорее генералу в расшитом мундире, чем кому бы то ни было другому. Признаюсь, меня часто поражала эта стойкость несчастных солдат, которые мерзли или умирали на дорогах, ибо они были лишены всего необходимого, и не я один восторгался ими.

Из Каменя мы переехали в Плещаницы, где ставка ночевала 30-го. На Березине погибло много наших одиночек и отставших, которые прежде опустошали все и лишали наших храбрецов, остававшихся под своими знаменами, всего, что было им так необходимо. Но мы не выиграли от этого ровно ничего, так как после переправы корпуса снова начали таять на наших глазах и стали возникать новые банды отставших. 1-й корпус существовал только в лице знаменосцев, нескольких офицеров и доблестных унтер-офицеров, не покидавших своего маршала. О 4-м корпусе мало сказать, что численность его сократилась, а 3-й корпус, который так доблестно дрался против молдавской армии, после этого сражения растаял более чем наполовину. Польские части находились не в лучшем положении. Наша кавалерия, если не считать гвардейских частей, состояла только из отставших, банды которых наводняли деревни по обе стороны от дороги, хотя казаки и крестьяне вели против них жестокую войну. Голод, желание поесть и укрыться где-нибудь от морозов были сильнее, чем страх перед всеми опасностями.

Недуг охватил также и корпус герцога Реджио, соединившийся с корпусом герцога Эльхингенского, и даже дивизии герцога Беллюнского, составлявшие наш арьергард.

Перед нами расстилалась местность; опустошенная отставшими и войсками, которые прошли здесь раньше; не было никаких складов, никакой раздачи пайков: при таких печальных условиях дезорганизация, являвшаяся результатом дурных примеров и крайне острой нужды,

захватывала даже те войска, на которые император рассчитывал, чтобы прикрыть отступление и реорганизовать московскую армию.

Рота, организовавшаяся из кавалерийских офицеров с генералами в качестве командиров, также рассеялась через несколько дней, — до такой степени все бедствовали и страдали от голода. Тот, кому надо было кормить свою лошадь, вынужден был покидать колонну, если не хотел потерять коня, так как на дороге нельзя было найти никакого корма. После Каменя из рядов гвардии также отставало больше людей, но этот корпус, который, конечно, немного ворчал, хотя и очень тихо, и которому давали все, что могли достать, все еще был замечательным по своей организованности, мощи и военной выправке. Эти старые усачи расплывались в улыбку, как только замечали императора, и являвшийся на ежедневное дежурство гвардейский батальон был всякий раз в изумительном порядке.

Эти замечания о замечательной выдержке гвардии приводят мне на память контраст между солдатами московской армии и солдатами двинских корпусов[239] , который можно было наблюдать в тот момент, когда мы с ними соединились. Наши — худые, высохшие, черные, как трубочисты, изнуренные казались привидениями, хотя они были еще достаточно сильны, чтобы выдерживать переходы и проявлять воодушевление в бою. Казалось, что они еле дышат. Другие — менее утомленные, пользующиеся лучшим питанием, менее закопченные в дыму бивуачных костров — представлялись нам людьми другой породы. Это были живые существа, а мы были тенями. Еще более разителен был контраст между нашими и двинскими лошадьми. Артиллерия обоих двинских корпусов была в великолепном состоянии. У всех генералов и офицеров были хорошие верховые лошади и экипажи, и они пользовались всеми теми радостями жизни, которые можно иметь во время кампании. В Веселове офицеры императорского штаба, начиная с Дюрока и меня не раз делали визиты на кухню герцога Реджио. — до такой степени вся армия независимо от чинов и рангов была измучена лишениями. Но во время сражения против молдавской армии истощенные солдаты московской армии не уступали в мужестве своим товарищам, и можно еще раз повторить то, что мы говорили каждый день, а именно, что у наших солдат отваги было больше, чем сил.

При переезде в Камень император еще раз говорил со мной о своей поездке во Францию. Он не видел теперь препятствий, которые могли бы помешать армии дойти до Вильно, где, по его мнению, ей были обеспечены спасение и отдых. Он надеялся в ближайшие два дня встретить парижские

эстафеты и получить сведения о войсках, которые должны были прийти в Вильно раньше нас. Мы уже почти установили контакт с баварцами. Больше всего императора занимало прибытие польских казаков, которые, по его мнению, находились в нескольких переходах от нас. Он по-прежнему думал, что князь Шварценберг двигается вперед[240], и рассчитывал, что это будет полезной диверсией, которая облегчит нам отступление и занятие зимних квартир. Он, конечно, ожидал нападений со стороны казаков, но считал, что теперь это не имеет большого значения, так как наши новые отставшие организовались в сильные отряды с командирами, чтобы давать отпор казакам и держать в страхе крестьян. Император считал, что он находится вне пределов досягаемости для Витгенштейна и Кутузова, а адмирал Чичагов может лишь идти за ними следом, если только не сделает обхода, который будет стоить ему двух лишних переходов. Вечером император получил сведения, что Чичагов действительно шел по той же дороге, что и мы, а ночью пришли донесения о том, что между нашим 9-м корпусом, шедшим в арьергарде, и войсками Чичагова происходил довольно оживленный бой.

1 декабря ставка была в Стойках; такого скверного ночлега мы еще никогда не имели. Мы прозвали эту деревню Мизерово (от французского слова "misere" нищета). У императора и начальника штаба были маленькие ниши в 7 — 8 квадратных футов каждая.

В другой комнате набились все остальные чины штаба. Холод был такой, что все искали спасения в этой комнате, переполненной так, что можно было задохнуться; лежать можно было только на боку, так как больше места не было. Было так тесно, что если бросить иголку, она не упала бы на пол.

Выходя из комнаты, кто-то в темноте наступил на ногу г-на де Боссе, который ехал с нами из Москвы в коляске и жестоко страдал от подагры. Проснувшись от боли, причиненной ему этой косолапостью, несчастный закричал: "Это ужасно! Это убийство!" Те, кто не спал, расхохотались, и смех разбудил спящих, и вот в конце концов и самые серьезные люди, в том числе и бедняга больной, и самые легкомысленные громкими взрывами хохота одинаково уплатили свою дань этому минутному веселью. Я рассказываю об этой сцене, чтобы показать, до какой степени человек привыкает к самым прискорбным событиям и становится почти бесчувственным зрителем величайших несчастий, а в то же время его развлекает самый ничтожный пустяк.

После перехода через Березину лица у всех просветлели; впервые мысль о Польше улыбалась всем. Вильно стало землей обетованной; это

была гавань, укрытая от всех бурь, — конец всех бедствий. Все прошлое казалось только сном; перспектива лучшего будущего почти полностью заставила забыть наши бедствия. Усталость, переживаемые лишения, вид несчастных, погибавших на каждом шагу от истощения, голода и холода, — все это мало действовало на характер французского солдата, веселого и беззаботного по природе. Опасности делают людей эгоистами; те, кто чувствовал себя хорошо, привыкли к зрелищу гибели и скорби. Люди, сильные духом, сделались нечувствительны к несчастьям и старались своим спокойствием закалить менее сильных. Страдали, .несомненно, много; мы были свидетелями ужасных несчастий и великих бедствий, но, проникнутые чувством самосохранения и воодушевленные чувством национальной гордости и чести, люди не отдавали себе отчета в размерах бедствий. Голова шла кругом, и человек не мог, или, вернее, не хотел, верить в то, что он понял потом. Вчерашние, сегодняшние и завтрашние опасности казались нашему воображению не чем иным, как опасностями непрерывно возобновляющегося боя. Ведь мы были на войне, и каждый из нас участвовал в ней, а потому все обычно были веселы, беззаботны и даже в шутливом настроении, как это всегда бывает накануне, в самый лень и назавтра после сражения. Несмотря на наши несчастья, в нашей ставке царило, бесспорно, не менее хорошее настроение, чем в ставке русских.

Мы приближались к Вильно, мы были уже в Польше, а эстафеты все еще не приходили. Император никак не мог понять причину этого запоздания, так как мы находились уже очень близко от баварского корпуса, стоявшего в Вилейке. Этот корпус, которым командовал генерал Вреде, должен был покинуть окрестности Глубокого и направиться в Даниловичи в связи с отступлением 2-го корпуса, но 19-го он вернулся на свою стоянку и прикрывал Вильно. Отсутствие писем из Франции, а еще больше мысль о том впечатлении, которое произведет и во Франции и в Европе отсутствие всяких сообщений из армии, волновали императора более чем что бы то ни было. Он подготовлял бюллетень[241], в котором хотел изложить все события и наши последние бедствия. Он сказал мне по этому поводу:

— Я расскажу все. Пусть лучше знают эти подробности от меня, чем из частных писем, и пусть эти подробности смягчат впечатление от наших бедствий, о которых надо сообщить нации.

2 декабря ставка была в Селищах, причем помещение было почти такое же плохое, как и накануне; но зато мы нашли здесь много картофеля. Нельзя описать радость, испытанную всеми, когда оказалось, что можно наесться досыта. Мороз был такой, что оставаться на бивуаках было

невыносимо. Горе тому, кто засыпал на бивуаке. В результате дезорганизация чувствительным образом захватила уже и гвардию. На каждом шагу можно было встретить обмороженных людей, которые останавливались и падали от слабости или от потери сознания. Если им помогали идти, или, вернее, с трудом тащили их, то они умоляли оставить их в покое. Если их клали на землю возле бивуаков (костры бивуаков горели вдоль всей дороги), то, как только эти несчастные засыпали, они были неминуемо обречены на смерть. Если им удавалось сопротивляться сну, то кто-нибудь из проходящих мимо отводил их немного дальше, и это продолжало их агонию на некоторое время, но не спасало их, ибо для людей в таком состоянии вызываемая морозом сонливость является силой, против которой нельзя устоять; засыпаешь вопреки своей воле, а заснуть — это значит умереть. Я пытался спасти некоторых из этих несчастных, но тщетно. Они могли пробормотать лишь несколько слов, прося оставить их в покое и дать им немножко поспать. Послушать их, — так этот сон должен был быть их спасением. Увы! Он означал последний вздох несчастного, но зато бедняга переставал страдать, не испытывая мук агонии. На побелевших губах замерзших была запечатлена признательность судьбе и даже улыбка. На тысячах людей я видел это действие мороза и наблюдал смерть от замерзания. Дорога была покрыта трупами этих бедняг.

3-го мы были в Молодечне, где получили сразу 14 парижских эстафет, депеши из всех пунктов нашей коммуникационной линии, сообщения герцога Бассано о маневрах австрийцев и о передвижениях дивизии Луазона, которая направлялась в Ошмяны. Никаких удовлетворительных сведений о наборе польской кавалерии он не сообщал; о польских казаках не было даже и речи. Герцогство Варшавское было истощено, особенно в денежном отношении, и император, который старался тратить как можно меньше денег, лишился из-за этого польских казаков, на которых он рассчитывал и которых он каждый день ожидал встретить.

Литва располагала не большими ресурсами, чем герцогство Варшавское. Она была опустошена войной, и ей трудно было провести полностью даже первые наборы. Литовских войск у нас не было, так же как и польских, как не было и всех других подкреплений, на которые рассчитывал император. Можно было предвидеть, что ни Вильно, ни даже Неман не будут конечным пунктом нашего отступления и концом наших несчастий.

В этот день три русских крестьянина напугали весь обоз, но едва только собралось несколько пехотинцев, как крестьяне скрылись,

разграбив предварительно два генеральских экипажа.

Император был погружен в чтение депеш из Франции, а мы все радовались письмам, полученным от близких. В Париже были обеспокоены перерывом в получении сообщений из армии, но далеко не представляли себе наших бедствий. Память о прошлых походах императора поддерживала веру и внушала такое спокойствие, что наше долгое молчание произвело гораздо менее глубокое и неприятное впечатление, чем можно было опасаться.

Император поручил мне отправить в Париж Анатолия Монтескью, адъютанта князя Невшательского, чтобы передать императрице его сообщение на словах. Его цель заключалась в том, чтобы при помощи подробного рассказа этого офицера подготовить настроение к бюллетеню, составлением которого он был занят после перехода через Березину.

Император по-прежнему издевался над похищением министра полиции и префекта полиции. Парижские депеши снова дали пищу для разговоров по поводу дела Мале. Император, казалось, был очень доволен общественными настроениями после этого заговора, в частности во время перерыва в получении сообщений из армии. Он был удовлетворен также всей работой администрации, словом, всеми делами, и говорил об этом князю Невшательскому, который в тот же вечер передал это мне.

Император продолжал заниматься знаменитым бюллетенем. Он по-прежнему не хотел скрывать ни одного из постигших его бедствий, дабы они произвели свое действие еще до его приезда, а потом, как он говорил, его присутствие успокоит и ободрит всех. Чем больше были эти бедствия, чем больше они росли с каждым днем, с каждым нашим шагом, тем более необходимым становилось его возвращение во Францию. Вечером он вызвал меня и говорил со мной в этом духе, повторив мне то, что я уже знал от князя Невшательского.

— При нынешнем положении вещей, — сказал он. — я могу внушать почтение Европе только из дворца в Тюильри.

Однако, когда я по обыкновению высказал несколько замечаний, он заявил, что армия, вне всякого сомнения, займет позиции в Вильно и расположится там на зимние квартиры. Он рассчитывал выехать в течение ближайших 48 часов, как только вступит в контакт с войсками, подходившими из Вильно, и армия, следовательно, не будет больше, по его мнению, подвергаться никакому риску. Он торопился уехать, чтобы опередить известие о наших несчастьях. Надо сказать, что о них по большей части даже не знали. Вера в гений императора и привычка видеть, как он торжествует над самыми трудными препятствиями, были так

велики, что общественное мнение в то время скорее преуменьшало, чем преувеличивало наши беды, сведения о которых дошли до него.

Император торопился ехать, рассчитывая, что пути сообщения сейчас, в первый момент после переправы, будут более свободными и более надежными, чем несколько дней спустя, так как русские партизаны не успели еще попробовать делать налеты на наши тылы, а они не преминут это сделать, когда армия будет располагаться на новых позициях. Он разрешил мне заняться некоторыми необходимыми приготовлениями, чтобы ничто не задерживало его отъезда, как только он будет решен.

Затем император спросил меня, кому, на мой взгляд, он должен передать командование армией: вице-королю или Неаполитанскому королю. Как и при прежних разговорах, я еще раз сказал, что вице-короля, по-видимому, больше любят в армии и больше доверяют ему; хотя все безусловно отдают должное редкой храбрости Неаполитанского короля, но, по общему мнению, будучи героем на поле битвы, он не имеет ни той силы воли, ни того чувства порядка и той предусмотрительности, которые одни только могут спасти остатки нашей армии и реорганизовать ее; не забывая его заслуг под Москвой и во многих других случаях, его упрекают в том, что он опьяняется славой, подстрекал его величество вступить в Москву и погубил многочисленную и прекрасную кавалерию, с которой мы начинали кампанию; сейчас речь идет уже не о том, чтобы атаковать неприятеля; сейчас надо вдохнуть жизнь в армию, чтобы реорганизовать ее и остановить неприятеля.

Император, казалось, нашел мои рассуждения справедливыми. Он разделял общее мнение о короле, но заметил, что его ранг не позволяет поставить его под начальство вице-короля. Он вынужден поэтому отдать предпочтение королю, который покинул бы армию, если бы командование было передано принцу Евгению. Он добавил, что такого же мнения держится и князь Невшательский, которого он оставит королю, чтобы управлять всеми делами; князь предпочитал короля потому, что его ранг, возраст и репутация будут внушать больше почтения маршалам, а его известная всем храбрость тоже кое-что значит, когда имеешь дело с русскими. Некоторые другие соображения императора, которые он высказывал мне раньше и которые я вспомнил, потому что мы снова коснулись их во время теперешнего разговора, привели меня к выводу (или по крайней мере мне показалось), что он предпочитает предоставить своему шурину честь собирания армии и не хотел бы, чтобы в глазах армии и всей Франции его пасынок имел лишнюю заслугу. Это своего рода недоверие к близким и вообще ко всем, кто приобрел личный авторитет,

было всецело в духе императора и уживалось с его характером.

После этого он вновь заговорил о том, кого возьмет с собой. Его выбор ограничился немногими: я должен был ехать с ним, герцог Фриульский и граф Лобо — следовать за ним, впереди должен был ехать польский офицер Вонсович, проделавший всю кампанию и доказавший свою отвагу и преданность. Остальные адъютанты императора и офицеры генеральского двора должны были постепенно нагонять его. Каждую неделю князь Невшательский должен был посылать ему двух из своих офицеров для поручений. Эскорт должен сопровождать его только до Вильно; он будет выделен неаполитанской кавалерией, прикомандированной к дивизии Луазона. После Вильно он будет путешествовать под моим именем герцога Виченцского.

Я передал на наши посты соответствующие приказания, якобы для обеспечения поездки офицеров, посылаемых с депешами, но наши войска вскоре дезорганизовали подготовленные подставы, и пришлось отправить вперед несколько наших экипажей с подходящими лошадьми. Мы находились в таком положении, когда из самых ничтожных мелочей могли возникнуть, пожалуй, непреодолимые препятствия, если только все не было предусмотрено заранее. Дело доходило до того, что мы не могли бы воспользоваться нашими подставами и ехать рысью по дороге, представлявшей собою сплошной лед, если бы я еще в Смоленске не спрятал под замок мешок угля для изготовления подков нашим лошадям.

Мороз был такой, что даже у кузнечного горна рабочие работали только в перчатках и не реже, чем раз в минуту, растирали себе руки, чтобы не отморозить их. По этим подробностям, которые при всяких других условиях не имели бы никакого значения, можно судить о происхождении наших бедствий и обо всем том, что надо было бы предусмотреть, чтобы предотвратить их. Наши бедствия в значительной части надо приписать именно этим причинам, а не изнурению и нападениям неприятеля.

Император был очень доволен сообщением герцога Бассано о тех маневрах, которые он только что предписал князю Шварценбергу, и в общем был удовлетворен всеми действиями и распоряжениями министра во время перерыва сообщений, но отнюдь не с такой благосклонностью он говорил о его действиях и распоряжениях по поводу наборов в Польше. В этом отношении он сильно жаловался на г-на де Прадта и всех его агентов в Вильно и Варшаве. Обещанные польские казаки не были даже набраны, и за это император особенно упрекал его, так как отсутствием этой легкой кавалерии он во всеуслышание объяснял все свои неудачи после

Смоленска. Чувствуя потребность излить свое недовольство, он вновь вспомнил, как Турция заключила мир, а Швеция вступила в союз с Россией.

Сообщения из Франции были зато подлинным утешением для него; император говорил о них с большим удовлетворением и очень расхваливал поведение императрицы, ее такт, привязанность, которую она проявляет к нему, и т. д.

— Теперешние трудные обстоятельства, — говорил он, — воспитывают ее ум, дают ей уверенность в себе и авторитет, который обеспечит ей привязанность нации. Именно такая жена была мне нужна — нежная, добрая, любящая, как все немки. Она не занимается интригами; она любит порядок и занята только мною и своим сыном.

О великом канцлере и о министрах он также отзывался с большой похвалой.

4-го ставка была в Бенице, а 5-го — в Сморгони, где императора ожидали один из членов виленского правительства и адъютант императора граф ван Хогендорп, губернатор Вильно. Император поговорил с ними и тотчас же отправил их обратно.

Затем он вызвал меня и продиктовал свой последний приказ:

"Сморгонь, полдень 5 декабря.

Император выезжает в 10 часов вечера.

Его сопровождают 200 человек из его гвардии. После перекладного пункта между Сморгонью и Ошмянами его сопровождает до Ошмян маршевый полк, расположенный в четырех лье отсюда; передать распоряжения этому полку через генерала ван Хогендорпа.

150 отборных гвардейских кавалеристов будут посланы на расстояние одного лье от Ошмян. Штаб маршевого полка и эскадрон гвардейских уланов будут размещены на этапах между Сморгонью и Ошмянами.

Неаполитанцы, которые ночевали сегодня ночью между Вильно и Ошмянами, поместят 100 всадников в Медниках и 100 в Румжишках.

Генерал ван Хогендорп остановит там, где он его встретит, маршевый полк, который должен прибыть 6-го в Вильно, и прикажет ему поставить 100 всадников на полдороге в Ковно. Он распорядится, чтобы в Вильно были наготове 60 человек эскорта и почтовые лошади, необходимые обер-шталмейстеру от Сморгони до района за Вильковишками. Генерал ван Хогендорп немедленно возвратится в Вильно и передаст герцогу Бассано, чтобы он тотчас же отправился к императору в Сморгонь.

Император поедет с герцогом Винченцским в экипаже его величества; впереди г-н Вонсович, сзади — придворный лакей; обер-

церемониймейстер граф Лобо, один придворный лакей и один рабочий — в коляске; барон Фэн[242] , придворный лакей Констан, хранитель портфеля и один канцелярский служитель — в коляске.

Обер-шталмейстер предупредит Неаполитанского короля, вице-короля и маршалов, чтобы они явились к семи часам в ставку.

Он получит от начальника штаба ордер на поездку в Париж со своим секретарем Рейневалем, своими курьерами и своими слугами".

После этого император вновь повторил то, что уже говорил утром в Бенице, а именно, что он получил добрые вести от герцога Тарентского[243], что князь Шварценберг движется вперед, что дивизия Луазона насчитывает очень много людей, что в Вильно прибыло много полков, а на Немане находятся другие, что виленские и даже ковенские склады хорошо снабжены, и солдаты, обретя продовольствие и одежду, в ближайшее же время возвратятся в свои ряды. Он не сомневался, что конец лишений будет означать также и конец отступления.

Так как и вчера и в предыдущие дни я пытался разъяснить императору действительное положение вещей, как я его понимал, то я слушал его на сей раз, не отвечая. Явно недовольный моим молчанием, он сказал:

— Почему вы не отвечаете? Какого же мнения держитесь вы?

— Я сомневаюсь, государь, что Неман прекратит беспорядок и вновь соберет армию. Надо было бы все свежие войска послать в тот пункт, где, по мнению вашего величества, действительно можно будет остановиться и занять позиции, ибо контакт с нашими бандами дезорганизует также и эти войска и погубит все.

— Значит, по вашему мнению, надо было бы эвакуировать Вильно?

— Вне всякого сомнения, государь, и как можно скорее.

— Вы смеетесь надо мной. Русские не в состоянии подойти туда в настоящий момент, и вы знаете так же хорошо, как и я, что нашим отставшим наплевать на казаков.

Император считал, что в одну неделю он соберет в Вильно для отпора русским больше сил, чем могли бы русские собрать за целый месяц. Он уже видел, как Польша вооружает всех своих крестьян, чтобы прогнать казаков, а французская армия вырастает втрое, так как она найдет пропитание и одежду и уже подошла к своим подкреплениям, тогда как русские от своих подкреплений отдалились. Как и в Москве, император упорно не хотел признавать, что русские лучше переносят свой климат, чем мы. Он уже видел, как наши зимние квартиры и даже наши аванпосты прикрываются приспособившимися к климату конными и пешими

поляками, ожесточенно защищающими свою родину и свои очаги. Он видел даже, как наша пехота, лишь только она поест досыта, будет презирать морозы и еще до истечения двух недель далеко прогонит казаков. Император, по-видимому, искренне верил в это, и если мне не удалось изменить его взгляды, откровенно высказывая противоположные мнения, то во всяком случае он не проявлял недовольства моими словами, так как долго разговаривал со мной на эту тему.

Князь Невшательский был немало огорчен тем, что остается, хотя император и дал ему в качестве начальника Неаполитанского короля, как он сам хотел. Мысль о том, что, оставаясь в армии, он может принести действительную пользу императору и что для поддержания общего единства нужен человек, повиноваться которому все привыкли, несколько утешала его, так как он был искренне предан и привязан к императору. Он понимал при этом, что встретятся многообразные трудности при попытках вновь собрать армию, — не потому, чтобы отсутствовали свежие войска, так как имел еще в своем распоряжении и такие войска, и гвардию, являвшуюся хорошим ядром, но потому, что отъезд императора, который он считал, впрочем, срочно необходимым, послужит для многих предлогом к беспорядку, могущему довершить дезорганизацию. Но, по существу, он был все же далек от того, чтобы предвидеть то, что случилось. хотя корпуса на Двине, и в частности корпус герцога Беллюнского, единственный, сохранивший еще некоторую организованность, таяли с каждым днем.

Один за другим в ставку явились Неаполитанский король, вице-король и маршалы: герцоги Эльхингенский, Тревизский, Истрийский, Данцигский и князь Экмюльский; не было только герцога Беллюнского, командовавшего арьергардом. Они образовали нечто вроде совещания, которому император объявил о своем решении отправиться в Париж. Он сделал вид, что передает этот проект на их рассмотрение, и все единогласно заявили, что он должен ехать. Были высказаны все те доводы, которые мы заранее обсуждали при наших различных разговорах между собой, все те мотивы, которые должны были обосновать это важное политическое решение. Император передал каждому предназначенные для него приказания. Генерал Лористон должен был отправиться в Варшаву, чтобы организовать оборону Польши и собрать там все войска, которыми можно было располагать; генерал Рапп должен был отправиться в Данциг, и т. д.

ГЛАВА VII
В САНЯХ С ИМПЕРАТОРОМ НАПОЛЕОНОМ. ОТ СМОРГОНИ ДО ВАРШАВЫ

Отъезд. — Первые этапы. — Император пересаживается из экипажа в сани. Разговоры с императором; война с Россией; страх, внушаемый Наполеоном; континентальный блок; Англия, Россия, мир; Польша, Пруссия; снова Англия; война в Испании; испанские колонии; Годой; испанский царствующий дом; Талейран; герцог Энгиенский; герцог Бассано. — Пултуск. — Прибытие в Варшаву.

Ровно в 10 часова вечера[244] император сел вместе со мною в своей дормез; милейший Вонсович поехал верхом рядом с экипажем; Рустан и берейторы Фагальд и Амодрю тоже были верхом: один из них выехал вперед, чтобы заранее заказать почтовых лошадей в Ошмянах. Герцог Фриульский и граф Лобо выехали через некоторое время вслед за нами в коляске; в другой поехали барон Фэн и Констан. Все было так хорошо налажено и держалось в таком секрете, что никто не подозревал ни о чем; за исключением обер-церемониймейстера и барона Фэна, даже сами путешественники узнали о предстоящей поездке лишь в половине восьмого, то есть тогда же, когда об этом узнали маршалы.

Император приехал в Ошмяны около полуночи. Со второй половины дня там стояли на позициях дивизия Луазона и отряд неаполитанской кавалерии. Мороз был очень сильный. Наши части были уверены в своей безопасности, думая, что их прикрывает армия; позиции были выбраны неудачно, сторожевое охранение тоже было плохое; дивизия разместилась в самом городе. Все попрятались по домам, стараясь укрыться от жесточайшего мороза. Один из русских партизанских начальников[245] воспользовался этой беззаботностью и незадолго до прибытия императора устроил вместе с казаками и гусарами налет на город; результатом этого налета были несколько убитых часовых и несколько человек, захваченных в плен. Ружейная пальба из всех домов вскоре принудила русских

отступить, и они заняли позиции на возвышенности за городом, откуда в течение некоторого времени обстреливали его из орудий. Император прибыл в Ошмяны как раз в это время. Ван Хогендорп, который вез продиктованные императором приказы, и даже почтовый курьер приехали только что перед нами. Нам пришлось ожидать лошадей и неаполитанцев.

Несколько мгновений император колебался, не подождать ли до следующего дня. Коляска, выехавшая вслед за нами, еще не прибыла. Мы устроили нечто вроде совещания, чтобы решить, не следует ли послать несколько пехотных отрядов на разведку дороги на тот случай, если русские ее заняли, но эта предосторожность все равно была бы уже запоздалой и могла бы лишь дать знать неприятелю об отъезде императора, о чем пока еще никто не знал. Мы решили поэтому выслать на дорогу небольшой авангард из числа первых же прибывших неаполитанцев; они сели на коней, а вслед за ними мы отправили отдельно друг от друга два других авангардных отряда. Остальные неаполитанцы были разделены на две группы: одна должна была ехать впереди нас, а другая — следовать за нами. Было отдано распоряжение, чтобы верховые лошади императора, следовавшие за нами от Сморгони, сопровождали нас до Медников. Мороз крепчал, и лошади нашего эскорта не в состоянии были передвигаться. Когда мы прибыли на почтовую станцию, от всех наших отрядов оставалось не больше 15 человек, а когда мы приближались к Вильно, их было только восемь, считая в том числе генерала[246] и нескольких офицеров.

На расстоянии одного лье от Вильно нас встретил на рассвете герцог Бассано; он сел с императором, а я покинул дормез; так как император не хотел заезжать в город, то я поехал вперед в коляске герцога Бассано, чтобы передать приказы императора виленскому правительству и сделать последние необходимые распоряжения по поводу нашего путешествия. Хорошо, что я лично отправился в Вильно, так как ван Хогендорп только что туда прибыл и ему пришлось будить людей, проведших ночь на балу у герцога Бассано; понятно, что он еще не успел ничего приготовить. Итак, в то время как один мерзли и умирали, другие танцевали на балах! Жители Вильно далеко не представляли себе ни нашего положения, ни того, что произошло, ни того, что должно было случиться. Мне с трудом удалось набрать десяток людей для эскорта. На почтовой станции не было лошадей. Мне пришлось взять лошадей герцога Бассано, на которых мы ехали до второй почтовой станции. Никто не подозревал, что император был так близко.

Император менял лошадей в предместье. Я прибыл туда почти

одновременно с ним, и мы тотчас же отправились в путь. В Вильно я купил сапоги на меховой подкладке для всех участников нашего путешествия, и потом, когда мы встречались в Париже, они не раз благодарили меня за это, так как без этой предосторожности каждый, наверное, приехал бы домой с отмороженными ногами. Терцог Фриульский и граф Лобо прибыли в предместье как раз в тот момент, когда мы выезжали оттуда. Неаполитанцы, оставшиеся в нашем эскорте, отморозили себе руки и ноги. Их командира я застал, когда он прижимал обе руки к печке; он думал таким путем смягчить острую боль, и мне стоило большого труда разъяснить ему, что так он рискует погубить свои руки, и заставить его выйти наружу, чтобы растереть руки снегом; но это до такой степени увеличило его муки, что он не в состоянии был продолжать растирание.

Так как больше не было лошадей, за которыми надо было бы смотреть Вонсовичу, и так как он очень устал, то он устроился на козлах нашего экипажа. Мы приехали в Ковно за два часа до рассвета. Курьер уже распорядился протопить в харчевне, содержимой поваром-итальянцем, который обосновался здесь, когда армия проходила через Ковно при наступлении. Подаваемые им кушанья показались нам превосходными, потому что в харчевне было тепло. Хороший хлеб, дичь, стол, стулья, скатерть — от всего этого мы уже отвыкли. Во время отступления приличный стол был только у императора, то есть у него было всегда столовое белье, белый хлеб, его обычное вино шамбертен, хорошее прованское масло, говядина или баранина, рис, бобы или чечевица (его любимые овощи).

Обер-церемониймейстер и граф Лобо нагнали нас здесь. Не помню, чтобы я когда-либо до такой степени страдал от холода, как во время переезда от Вильно до Ковно. Термометр показывал больше 20 градусов мороза. Хотя император был закутан в шерстяные шарфы и хорошую шубу, обут в сапоги па меховой подкладке и, кроме того, укрывал ноги медвежьей полостью, он так жаловался на холод, что я должен был укрыть его половиной моей медвежьей шубы. Дыхание замерзало у нас на устах и оседало льдинками под носом, на бровях и на ресницах. Сукно, которым был обит экипаж, в особенности наверху, куда стремился выдыхаемый нами воздух, покрылось инеем и отвердело. Когда мы приехали в Ковно, император стучал зубами; можно было подумать, что он простудился.

В Румжишках мы встретили маршевый полк. Во время переезда от Вильно до Ковно император снова обсуждал вопрос, ехать ли, как он собирался раньше, прямо через Кенигсберг. Если вследствие какого-нибудь инцидента его узнают, то благоразумно ли было бы ехать через всю

Пруссию? Коменданты были у нас там во всех крепостях, но войск, за исключением маршевых полков, не было никаких.

С другой стороны, снегу было столько, что мы могли сильно запоздать, если бы ехали по малонаезженной дороге, на которой нет к тому же почтовых станций. Эти соображения заставили нас усомниться, стоит ли ехать через герцогство Варшавское, хотя этот путь в других отношениях был более безопасным. Так или иначе, если мы не хотели запаздывать, надо было на что-нибудь решиться, чтобы своевременно заказать лошадей. Снова взвесив преимущества и недостатки обоих маршрутов, мы в конце концов приняли решение. Я говорю "мы", потому что император не высказывал своего мнения и непременно хотел, чтобы вопрос решал я; должен признаться, что это было мне весьма неприятно; мне казалось, что я принимаю на себя очень большую ответственность. Я выбрал наудачу дорогу через Кенигсберг, с тем чтобы переменить направление в Мариамполе, если окажется, что по дорогам герцогства Варшавского ехать можно.

Фагальд был послан вперед в Гумбиннен. Не без труда перебрались мы через почти остроконечную возвышенность, на которую надо подниматься при выезде из

Ковно в направлении на Мариамполь. Нам пришлось выйти из экипажа. Лошади падали и спотыкались на каждом шагу; экипаж несколько раз чуть не скатывался вниз и не опрокинулся в овраг. Мы подталкивали колеса. Наконец, мы добрались до Мариамполя. Я посоветовался со смотрителем почтовой станции, славным человеком, очень старательным и заботливым. Он уверял меня, что дороги герцогства находятся в сносном состоянии, и если он выйдет на два часа раньше нас, то он берется организовать нам подставы на всем пути до Варшавы через Августово. Желая встретить на пути эстафеты из Франции, император склонялся отчасти в пользу кенигсбергской дороги, но так как он по-прежнему предоставлял выбор мне, то я не колебался. Я послал Фагальду распоряжение догнать нас в Познани и отправил смотрителя почтовой станции вперед по варшавской дороге, чтобы тот заказал везде лошадей на мое имя вплоть до Пултуска, где он должен был нас ожидать. Он видел императора прежде и узнал его, когда мы приехали, но обещал мне не произносить его имени и сдержал свое слово. Император говорил с ним, и это привело его в восторг.

Мы выехали через час после него, и повсюду нас ожидали крестьянские лошади. Наш экипаж был на колесах; так как у нас не было времени поставить его на полозья, то он не мог пробираться сквозь высоко

вздымавшиеся повсюду сугробы, тогда как сани почтовых курьеров мчались по ним. Мне посчастливилось на первом же перекладном пункте найти сани с крытым верхом, и это было большой удачей, так как императору не терпелось приехать в Париж поскорее. Дворянин, которому принадлежали эти сани, охотно уступил их мне за несколько наполеондоров; мы с императором уселись в них и предоставили покинутый экипаж заботам придворного лакея, который ехал с нами, отважно примостившись на запятках. Император так спешил, что мы едва успели переложить из экипажа в сани оружие и шубы; места в санях было очень мало, и императору пришлось отказаться даже от своего несессера, который был так нужен ему. Сидеть императору было неудобно, прислоняться к спинке еще более неудобно, закрывался возок плохо, а в то же время император — лишь бы только приехать поскорее — отказался от всех тех удобств, которые позволяют вытерпеть длительное путешествие.

Начиная с этого момента ехать нам было гораздо легче: более того, мы ехали быстро. Обер-церемониймейстер, который нагнал нас еще в Мариамполе, отстал от нас в четверти лье от города, и больше мы не видели уже ни одного экипажа и ни одного из тех лиц, которые выехали из Сморгони с императором.

Как только мы оказались в пределах герцогства Варшавского, император очень повеселел и не переставал говорить об армии и о Париже. Он не сомневался, что армия останется в Вильно, и никоим образом не хотел признавать, что она понесла огромные потери.

— В Вильно, — говорил он, — имеются хорошие продовольственные запасы, и там все снова придет в порядок. В Вильно больше средств, чем нужно, чтобы дать отпор неприятелю; так как русские изнурены не меньше нас и страдают от холода, как и мы, то они перейдут па зимние квартиры. Появляться будут только казаки. Приказы и инструкции, оставленные герцогу Бассано, предусматривают все и исцелят все неудачи; герцог полагается на благородство Шварценберга и считает, что он отстоит свои позиции и герцогство Варшавское. Бассано написал ему, а также в Вену и в Берлин.

Император беспокоился лишь о том впечатлении, которое произведут наши неудачи на оба двора — венский и берлинский, но его возвращение в Париж должно было вновь укрепить его политическое господство в Европе.

— Наши бедствия, — сказал он, — произведут во Франции большую сенсацию, но мой приезд уравновесит неприятные результаты этой сенсации.

Он рассчитывал воспользоваться своим проездом через Варшаву, чтобы наэлектризовать поляков.

— Если они хотят быть нацией, — говорил он, — то они все поголовно поднимутся против своих врагов. Тогда я вооружусь, чтобы защитить их. Я смогу затем сделать Австрии те уступки, которых она так желает, и мы провозгласим тогда восстановление Польши. Австрия более заинтересована в этом, чем я, потому что она находится ближе, чем я, к русскому исполину. Если же поляки не выполнят своего долга, то для Франции и для всего мира вопрос упрощается, так как тогда легко будет заключить мир с Россией.

Он тешил себя надеждой (или старался убедить меня), что все европейские правительства, и даже те. которые наиболее тяготятся могуществом Франции, в высшей степени заинтересованы в том, чтобы не позволить казакам перейти через Неман.

Я откровенно возражал императору:

— Если кого-нибудь боятся, то именно вашего величества; ваше величество являетесь предметом всеобщего беспокойства, которое мешает видеть другие опасности. Правительства боятся всемирной монархии. Другие династии боятся, чтобы их место не заняла ваша династия, проникшая уже повсюду. Интересы всей Германии страдают в настоящий момент от налоговой системы, установленной три года тому назад. Национальные чувства, национальное самолюбие и национальные обычаи всей Германии оскорблены политической инквизицией, введенной в Германии несколькими нашими неловкими представителями. Именно эти причины и эти мотивы (быть может, их до некоторой степени скрывают от вашего величества) придают ненависти к вам характер общенационального чувства. Народы еще больше, чем правительства, доведены до отчаяния тем военным режимом, который установился в Германии при правлении князя Экмюльского[247].

Император не отказывался слушать мои откровенные речи и отвечал мне без раздражения, даже добродушно. Судя по тому, как он принимал мои замечания и как он спорил против некоторых из них, можно было подумать, что самого его они вовсе не касаются. Он улыбался, когда я говорил о том, что непосредственно затрагивало лично его, и делал вид, что благодушно относится к моим речам и поощряет меня высказать все, что я думаю. Когда я говорил что-нибудь, казавшееся ему, по-видимому, слишком резким, он протягивал руку, чтобы ущипнуть меня за ухо. Так как мои уши были спрятаны под шапкой, он слегка трепал меня по щеке или по затылку, скорее в знак благосклонности, чем в знак недовольства. Он был в

таком хорошем настроении, что согласился с правильностью некоторых из моих утверждений; некоторые другие он оспаривал, а по поводу остальных заметил, что люди теперь достаточно просвещены и могут видеть, если посмотрят хотя бы, как мы организуем присоединяемые к Франции страны, что если кое-какие интересы частных лиц терпят там ущерб в результате полицейских мероприятий и в силу обстоятельств, чуждых преследуемой императором цели, то наши законы, действующие там, дают всем действительные гарантии против произвола. Он настаивал, что наше управление строится на великих, возвышенных и либеральных основах, соответствующих духу времени и действительным нуждам народов.

Он сказал при этом:

— Я мог бы обращаться с ними, как с завоеванными странами, а я управляю ими, как французскими департаментами; напрасно они жалуются. Если что-нибудь их тяготит, то это — стеснения, обременяющие торговлю, но они объясняются соображениями высшего порядка, пред которыми должны отступать даже интересы старой Франции. Только мир с Англией может положить конец этим стеснениям и этим жалобам. Нужно только терпение. Два года упорной выдержки приведут к падению английского правительства. Оно будет принуждено заключить мир, и притом мир, соответствующий законным торговым интересам всех наций. Все забудут тогда стеснения и вызываемые ими жалобы, а процветание, которое явится результатом этого мира, и тот порядок вещей, который тогда упрочится, дадут полнейшую возможность быстро возместить все потери.

Император жаловался, что в настоящий момент никто не хочет взглянуть за пределы узкого круга своих собственных неприятностей. Даже самые талантливые люди не хотят направить свои взоры за пределы этого ограниченного горизонта. А между тем достаточно простой добросовестности, чтобы видеть все те выгоды, которыми мы вскоре будем пользоваться. Все жертвы уже принесены; теперь нужно только терпение, и мы пожнем плоды своих жертвоприношений. Не все в состоянии оценить тот новый путь, который он начертал. Правильная оценка той системы, которую император вынужден применять против Англии, и всех связанных с ней последствий будет возможна лишь через несколько лет. Он нарушает слишком много установившихся привычек и оскорбляет слишком много мелочных интересов, а следовательно, создает много недовольных; этим и пользуются сейчас в своих целях глупость и слепая ненависть.

Но континентальная система, продолжал он, не делается от этого менее великим замыслом, и она превратится даже в добровольную

систему, осуществляемую по воле всех народов, потому что она соответствует как индивидуальным интересам отдельных лиц, так и общим интересам всего континента[248]. Поставить преграду тому, кто ставит преграды другим, это — простая справедливость. К тому же император желал создать на континенте промышленность, которая освободила бы Европу от господства английской промышленности и, следовательно, соперничала бы с нею; у него не было поэтому выбора в средствах, и он пустил в ход единственное оружие, которое, действительно, наносит удар благосостоянию Англии. Это — великое дело, и только он один в состоянии его осуществить. Когда минет нынешняя эпоха, это дело уже нельзя будет возобновить, так как для того, чтобы он сам мог за него взяться, понадобилось стечение разнообразных условий — именно тех, которые в продолжение нескольких лет созревали в Европе. Он достоверно знает теперь, что не ошибся, и в подтверждение своих слов может сослаться на промышленное процветание не только в старой Франции, но также и в Германии, несмотря на то, что войны все время не прекращаются.

Император делал отсюда вывод, что именно эта система создала промышленность во Франции и Германии. Это значит, говорил он, что она будет источником богатства и уже сейчас возмещает нам недостаток внешней торговли; в близком будущем ее благодетельная роль даст себя знать еще больше. Не пройдет и трех лет, как рейнские области, Германия и даже те страны, где. сейчас больше всего возмущаются запретами, воздадут должное его стремлениям и его прозорливости. Показать французам и немцам, что они сами могут зарабатывать у себя дома те деньги, которые до сих пор отнимала у них английская промышленность, — это великая победа над сент-джемским кабинетом. Одного этого результата было бы достаточно, чтобы обессмертить его царствование, ибо он способствует дальнейшему развитию как нашего внутреннего процветания, так и процветания Германии.

То, что я назвал исполинским могуществом Франции, по мнению императора, означает в настоящий момент такое положение вещей, которое полностью соответствует интересам Европы, так как является единственным средством дать отпор чрезмерным притязаниям Англии. Если Англия в данный момент оказывает на европейские правительства меньшее давление, чем он, то она зато с удвоенной силой давит на европейские народы, потому что присваивает для себя одной все выгоды промышленного развития. Расположенная на островах среди морей, Англия, несомненно, вызывает меньше зависти и беспокойства у

правительств, не имеющих владений на побережьях; ее преобладание на море кажется континентальным правительствам менее тяжким, чем преобладание Франции, так как в силу своего географического положения Англия не имеет поводов для территориальных распрей с ними, но ее монопольная система торговли от этого ничуть не меньше бьет по индивидуальным интересам каждого отдельного лица. Сейчас этого не хотят признавать, потому что правительства считают удобным добиваться в Лондоне субсидий, когда они нуждаются, и мало думают о том, что каждая получаемая ими монета вытащена из кармана какого-либо из их подданных, или, точнее, добыта за счет их подданных, так как они не могут развивать свою промышленность, до тех пор пока существует английская монополия.

Император соглашался, что присоединение к Франции Гамбурга и Любека[249] городов, независимость которых была полезна для торговли, — должна была встревожить торговые круги и европейские правительства, потому что в этих переменах увидели предвестие других таких же перемен. Но в оправдание этих вызванных обстоятельствами мер он ссылался на необходимость противопоставить Англии на этом побережье законченную запретительную систему. Он добавил, что так как это поссорило его с торговыми кругами, то надо привлечь на свою сторону народное мнение и здравомыслящих людей; это сделает конституционный режим и наше законодательство. Он прибегнул к этому средству, которое обеспечивает нам доверие населения, так как не может содержать в новых департаментах армию из 25 тысяч человек. Этот курс, прибавил он, всецело соответствующий выгодам большинства и подлинным интересам собственников, уже нейтрализует оппозицию представителей морской торговли, которых нельзя надеяться привлечь на свою сторону, пока они не возобновят своей деятельности и не найдут вновь приложения своим капиталам.

Император думал, что вместо уступок по некоторым вопросам надо, наоборот, усилить все меры, чтобы поскорее принудить Англию к миру, и что лучше сильно пострадать сейчас, чем долго страдать потом; так как Англия пытается всеми способами обойти запреты, чтобы поддержать свою промышленность и сохранить свой кредит, то он, со своей стороны, должен сделать все, чтобы восторжествовать над ее хитростями и принудить ее враждебную политику к уступкам.

— Это, — сказал он, — сражение между двумя великанами. В морских портах предприниматели очутились меж двух огней. Можно ли было сделать так, чтобы никто не обжегся? Но этот бой не на жизнь, а на

смерть служит даже интересам тех, кто жалуется на него. Они первые пожнут его плоды. Англия вынудила меня делать все то, что я делаю. Если бы она не нарушила Амьенского договора, если бы она заключила мир после Аустерлица и Тильзита, то я спокойно сидел бы у себя дома. Меня сдерживал бы страх подвергнуть риску капиталы нашей торговли. Я ничего не предпринимал бы за пределами Франции, так как это не отвечало бы моим интересам. Я занимался бы только тем, что вело бы к внутреннему процветанию страны; я бы привык отдыхать и заплесневел бы.

— Нет ничего приятнее. Я ничуть не больший враг радостей жизни, чем всякий другой человек. Я не Дон Кихот, который чувствует потребность в приключениях. Я существо благоразумное, которое делает только то, что считает полезным. Единственная разница между мною и другими государями в том, что они останавливаются перед трудностями, а я люблю преодолевать их, когда для меня ясно, что цель велика, благородна и достойна меня и той нации, которой я правлю.

— Если бы Англия только хотела, — продолжал император, — то я жил бы в мире. Она продолжала борьбу и отвергла мир лишь ради собственных интересов, ибо если бы она руководствовалась интересами Европы, то она приняла бы этот мир. Обладая Мальтой на Средиземном море и имея возможность сохранить в своих руках другие пункты, необходимые для обеспечения безопасности ее торговли и для снабжения ее эскадр, на что может претендовать она еще? Чего ей еще желать для своей безопасности? Но она хочет удержать в своих руках монополию. Ей нужен колоссальный торговый оборот, для того чтобы оплачивать таможенными доходами проценты по ее государственному долгу. Если бы Англия действовала добросовестно, то она не отказывалась бы с таким упорством от всяких переговоров. Она боится, что ей придется объясняться, и не осмеливается признаться в своих претензиях. Если бы велись переговоры, она была бы принуждена выложить карты на стол. Тогда все видели бы, кто действует добросовестно и кто нет. Говорят, и вы, Коленкур, первый говорите это, что я злоупотребляю нашим могуществом. Я признаю этот упрек, по я делаю это в общих интересах всего континента, тогда как Англия вполне определенно злоупотребляет своей силой и своим могуществом, огражденным от бурь, исключительно в своих собственных интересах, так как лондонские торгаши ни во что не ставят интересы Европы, которая, по-видимому, так благоволит к Англии. Ради любой из своих спекуляций они пожертвовали бы всеми европейскими государствами и даже всем миром. Если бы у Англии был не такой

крупный государственный долг, то, быть может, она проявляла бы больше рассудительности. Но ее толкает необходимость выплачивать этот долг и поддерживать свой кредит. Впоследствии ей, конечно, придется принять какое-либо решение по поводу этого долга. Но пока в жертву ему она приносит весь мир. Со временем в Европе это поймут; глаза раскроются, но будет уже слишком поздно. Если я восторжествую над Англией, Европа будет меня благословлять, если же я паду, то вскоре упадет и маска, которую носит Англия, и тогда все увидят, что она думала только о себе и принесла спокойствие континента в жертву своим текущим интересам. Континент не может и не должен жаловаться на мероприятия, цель которых закрыть ею в настоящее время для английской торговли. Присоединение к Франции тех или иных территорий, возбудившее столько крика, является (император сказал это мне под секретом) только временной мерой, служащей для того, чтобы стеснить Англию, затруднить ее торговлю, разорвать ее торговые связи и отучить Европу от них. Эти территории — залог, который я держу в своих руках, подобно Танноверу и многим другим, чтобы они могли служить потом предметом торга с Англией в обмен на наши или голландские колонии или на некоторые притязания, от которых Англии придется отказаться в общих интересах.

По словам императора, мир может быть прочным и может обеспечить будущее для всех лишь постольку, поскольку он будет всеобщим, а потому напрасно жалуются на все то, что он, император, делает для достижения такого мира. Люди прозорливые, люди, действительно умеющие мыслить политически, хорошо понимают, в чем заключается его цель.

В течение нашей поездки император не раз спрашивал меня, думаю ли я, что Россия заключит мир. Он говорил, что император Александр, хотя он и опьянен сейчас некоторыми успехами, поступил бы разумно, заключив мир. Я ответил, что по-прежнему сомневаюсь, чтобы дело дошло до переговоров, до тех пор пока мы находимся в пределах владений императора Александра, а кроме того, наши неудачи сделали его, должно быть, менее миролюбивым.

— Вы считаете его, значит, большим гордецом?

— Я считаю его упрямым. Он мог бы, пожалуй, гордиться тем, что отчасти предвидел случившееся и не пожелал выслушать предложения, посланные ему из Москвы.

— Сожжение русских городов, — сказал в ответ император, — в том числе пожар Москвы — это бессмыслица. Зачем было поджигать, если он возлагал столько надежд на зиму. Есть армии и есть солдаты для того, чтобы драться. Нелепо расходовать на них столько денег и не пользоваться

ими. Не следует с самого начала причинять себе больше зла, чем мог бы причинить вам неприятель, если бы он вас побил. Отступление Кутузова — это верх бездарности. Нас убила зима. Мы жертвы климата. Хорошая погода меня обманула. Если бы я выступил из Москвы на две недели раньше, то моя армия была бы в Витебске, и я смеялся бы над русскими и над вашим пророком Александром, а он жалел бы о том, что не вступил в переговоры. Все наши бедствия объясняются этими двумя неделями и неисполнением моих приказаний о наборе польских казаков. Русские воззвания в пророческом стиле, распространявшиеся от времени до времени, просто глупость. Если бы хотели завлечь нас внутрь страны, то надо было бы начинать с отступления и не подвергать риску корпус Багратиона, то есть не держать его войска на слишком близком к границе и, следовательно, слишком растянутом фронте. Не надо было тратить столько денег на постройку карточных домиков на Двине. Не надо было сосредоточивать там столько складов. Русские жили изо дня в день, без определенных планов. Они ни разу не сумели дать сражения вовремя. Если бы не трусость и глупость Партуно, то русские не взяли бы у меня ни одной повозки при переходе через Березину, а мы захватили бы часть их авангарда, взяли бы 1800 пленных и с несчастными, еле дышащими людьми выиграли бы сражение, одержав верх над отборной русской пехотой, которая сражалась с турками. В конце концов остатки наших войск оказались между тремя русскими армиями. И что же русские сделали? Они захватили несчастных, которые замерзали или, терзаемые голодом, отбились от своих корпусов[250].

В другой раз император сказал мне, что если бы у русских действительно был проект завлечь его внутрь страны, то они не шли бы на Витебск, чтобы атаковать его там; они с самого начала должны были бы больше тревожить наши фланги, ограничиваясь только такой малой войной, захватывать наши депеши, небольшие отряды, офицеров, едущих в свои части, солдат, занимающихся грабежом. Он считал большой ошибкой, что они сражались так близко от Москвы.

— Все дела приняли плохой оборот, — говорил в другой раз император, потому что я слишком долго

оставался в Москве. Если бы я покинул ее через четыре дня после вступления в нее, как я это думал сделать, когда увидел пожар, то Россия погибла бы. Император Александр был бы очень счастлив получить от меня мир, который я в этом случае великодушно предложил бы ему из Витебска. Если бы морозы не отняли у меня мою армию, я еще продиктовал бы ему условия мира из Вильно, и ваш дорогой император

Александр подписал бы их — хотя бы для того, чтобы избавиться от военной опеки своих бояр. Именно они навязали ему Кутузова. А что сделал этот Кутузов? Он рисковал армией под Москвой и несет ответственность за московский пожар. Если Неаполитанский король не натворит глупостей, если он будет следить за генералами, если он останется на первое время в авангарде, чтобы ободрить нашу молодежь, которая будет немного мерзнуть, то все реорганизуется очень скоро, русские остановятся, а казаки будут держаться подальше, как только они увидят, что им показывают зубы. Если поляки окажут мне поддержку, а Россия не заключит мира нынешней зимой, то вы увидите, что с нею будет к июлю. Все способствовало моим неудачам. В Варшаве мне служили плохо. Аббат де Прадт был там обуян страхом и разыгрывал из себя помесь важной персоны с неотесанным холопом, вместо того чтобы держаться вельможей. Он думал лишь о собственных интересах и занимался салонной и газетной болтовней, для дела же — ровно ничего. Он не сумел воодушевить поляков; рекрутские наборы не были проведены; я не получил ничего, на что вправе был рассчитывать. Герцог Бассано прозевал Польшу, как он прозевал Турцию и Швецию. Я сделал большую ошибку, рассердившись на Талейрана. Будуарные интриги герцогини Бассано возбудили во мне гнев против него, и мое дело не удалось. Он дал бы совсем другое направление полякам. Польские бойцы обессмертили себя в наших рядах, но они ничего не сделали для своей родины. Все хвалили мне этого аббата де Прадта. Он не глуп, но он путаник.

В одном из разговоров со мною император сказал по поводу императора Александра:

— У этого государя есть ум и добрые намерения. Но он не является хозяином у себя. Его постоянно стесняют тысячи мелких семейных и даже персональных соображений. Хотя он очень внимательно относится к армии, много занимается ею и, быть может, больше, чем я, вникает в мелкие подробности, — его все же обманывают. Расстояния, привычки, оппозиция дворянства против рекрутских наборов, хищения плохо оплачиваемых начальников, которые прикарманивают солдатское жалованье и пайки, вместо того чтобы кормить ими солдат, — все препятствует укомплектованию русской армии. В течение трех лет шла безостановочная работа над ее укомплектованием, а в результате всего этого под ружьем оказалось наполовину меньше людей, чем думали до боев[251]. Надо отдать справедливость казакам: именно им обязаны русские своими успехами в этой кампании. Это — бесспорно лучшие легкие войска, какие только существуют. Если бы у русских солдат были другие

начальники, то можно было бы повести эту армию далеко.

Император не раз говорил также о тех жертвах, на которые придется пойти ради заключения мира, в частности о том, чего Россия потребует, по-видимому, для герцога Ольденбургского[252].

— Россия захочет, — сказал император, — восстановить герцога в его владениях. Александр принимает это дело близко к сердцу из-за вдовствующей императрицы.

Император спросил мое мнение по поводу этого дела. Я высказал предположение, что Россия, по всей вероятности, постарается воспользоваться случаем, чтобы добиться эвакуации Данцига и всех наших позиций на севере, которые послужили исходным пунктом для теперешнего похода; если мы, как и я думаю, будем вынуждены покинуть Неман, то эти требования, наверное, распространятся и на крепости на Одере. Император воскликнул в ответ, что в таком случае он потерял бы все преимущества, которых уже добился против Англии, а между тем основная задача заключается именно в том, чтобы принудить эту державу к миру, без которого никакое прочное спокойствие невозможно. Я заметил, что, быть может, удастся сохранить нашу таможенную систему в приморских городах и на побережьях, не превращая их во французские цитадели.

— А какую позицию, — сказал император, — займет Россия по отношению к Англии?

— Ваше величество даст более точный ответ на этот вопрос, чем я. Конечно, вашему величеству не удастся уговорить Россию возвратиться к положению, существовавшему раньше. Я сомневаюсь даже, чтобы император Александр был в состоянии сделать это.

— Но ведь мир невозможен, — с живостью возразил император, — если он не является всеобщим. Не надо строить себе иллюзий.

Далее разговор коснулся положения Франции и беспокойства в Европе, которое я объяснял нашими нашествиями. Я указывал императору, что более умеренная и пространственно более ограниченная система господства привяжет к нам наших союзников и даже те государства. которые окажутся вне рамок нашей системы. Я говорил ему, что, начиная от готского герцога и вплоть до австрийского императора, все правители напуганы нашим политическим курсом, в котором они усматривают подчеркнутую тенденцию ко всемирной монархии, а на войну с Англией, смотрят только как на предлог, прикрывающий эту тенденцию.

Император слушал меня внимательно, острил по поводу моей умеренности и вновь повторил мне то, что уже не раз говорил насчет своих

взглядов и своих стремлений. Он старался доказать мне, что он далек от той цели, которую ему приписывают. Он преследует только Англию, а так как ее торговля принимает самые разнообразные формы, то он вынужден преследовать ее повсюду; идти все дальше и дальше его всегда заставляло английское интриганство, то, что он называл "карфагенской верностью". Он говорил, что принужден неизменно держать большую армию, пока длится эта борьба с Англией, так как английский кабинет все время работает над тем, чтобы поднять против него всю Европу.

Я заговорил о том впечатлении, которое производят даже во Франции постоянные присоединения различных провинций и переменчивость в дружбе, охлаждающая чувства народов. Я сказал императору, что в этом не только не усматривают каких-либо преимуществ, но все это вызывает досаду и беспокойство за будущее. Я привел еще следующие соображения: необычайный рост нашего могущества разрушает идеи политической устойчивости и даже подрывает доверие, на котором зиждется прочность всякого порядка; даже отъявленные льстецы, допуская, что созданные им порядки будут существовать благодаря его гению до тех пор, пока он жив, понимают все же, что большего они не могут сказать; ему не осмеливаются говорить это, но так думают, и это скрываемое от него мнение только крепнет от того, что оно прячется. Люди чувствуют, что он готовит большие затруднения для своего сына. Он заранее вооружает Европу против Римского короля и даже против всей своей семьи, а между тем, когда основывается новая династия, очень нехорошо позволять укрепляться мнению, что предстоят перемены. Люди не в состоянии выдержать колоссальное бремя, налагаемое на них теперь силою событий и мощью императорского правительства. Различные нации не в состоянии превратиться во французов; уже обитателям прирейнских стран достаточно трудно убедить себя, будто они французы.

Император с полной откровенностью признал справедливость моих замечаний. Некоторые из них он, однако, отверг.

— Я создам, — сказал он, — учреждения, которые дадут мощь моей системе и организованной мною машине. Вы не представляете себе, на какие жертвы я пошел бы, и притом с полным удовольствием, ради такого порядка вещей в Европе, который обеспечивал бы всем народам продолжительное спокойствие, а Франции и Германии такое же внутреннее процветание, какое существует в Англии. Я не держусь ни за Гамбург, ни за какой-либо другой определенный пункт; я не принадлежу к числу тех ограниченных людей, которые видят вещи только с одной какой-либо стороны и проявляют упрямство в том или ином вопросе. Есть много

способов уладить дела в тот день, когда Англия решится заключить мир и согласится признать за другими права и преимущества, которые созданы небесами отнюдь не для нее одной. Заключить мир с Англией можно лишь постольку, поскольку я смогу предложить ей компенсации, потому что в этой стране министерство является ответственным и должно учитывать свою ответственность. Такое решение, как заключение мира с Францией, оно сможет принять лишь в том случае, если сможет сказать нации: "Мы пошли на такую-то жертву по таким-то соображениям, но вот какие компенсации нам дали и какие выгоды мы приобрели". Это — деликатное дело, и английскому министерству трудно сговориться не только со своей страной, но — по еще более веским причинам — со мною. А между тем без мира с Англией всякий мир будет только перемирием. Англия ведет слишком большую игру, чтобы легко уступить. Она хорошо знает, что я воспользуюсь миром, чтобы создать флот, и что я не позволю ей в самом разгаре мира еще раз завладеть капиталами моей торговли. Она хорошо знает, что флот в моих руках может нанести ей чувствительные удары. Если бы она была уверена, что я проживу еще не больше трех-четырех лет, то она завтра же заключила бы мир, так как вся трудность вопроса заключается во флоте, который я создам и буду иметь в ближайшие же годы.

К этому император добавил, что он более чем кто бы то ни было жаждет мира. Он искренне желает его. Сомневаться в этом нельзя. Не ради своего удовольствия он живет на бивуаках. Мира не хочет Англия, и, может быть, по словам императора, она даже не может его хотеть, потому что ее пугает будущее. В английском министерстве есть способные люди, и от них не могло укрыться ни одно из тех важных соображений, о которых он, император, только что мне говорил. Он хорошо знает, что государственные учреждения Франции несовершенны, и не скрывает от себя, что только мир может позволить ему полностью завершить развитие этих учреждений. Так как только мир может упрочить его дело, то нельзя сомневаться в том, что он его желает. Говоря об учреждениях, император прежде всего упомянул сенат, отметив, что он не обладает надлежащей независимостью, а потому и не пользуется таким авторитетом, который являлся бы руководящим для общественного мнения страны. Император сказал, что преобразует сенат в палату пэров.

Далее император отметил, что неудача теперешней кампании является великим препятствием для всех его замыслов. Для спокойствия континента необходимо было бы буферное государство, которое служило бы аванпостом против вторжений Севера и оказывало бы умеряющее

воздействие на честолюбие других держав. Европа обязана своими несчастиями слабости Бурбонов, которые допустили раздел Польши. Австрийский император и прусский король хорошо понимают, какая была сделана ошибка. Они искренне вступили в войну против России лишь потому, что они более других заинтересованы в создании этого барьера. Австрия надеется, что при этом произойдут территориальные изменения, необходимые для того, чтобы ее торговля получила рынки сбыта. А прусский король, быть может, тешит себя надеждой, что новое государство достанется ему.

Когда Россия, продолжал император, ответила молчанием на австрийское посредничество перед началом теперешней кампании, то у императора Франца не оставалось больше сомнений насчет честолюбивых замыслов императора Александра. Он твердил об этом императору Наполеону в Дрездене несколько раз.

Император беспрестанно повторял, что Австрия желает восстановления Польши и нисколько не держится за оставшуюся у нее часть Галиции; когда заключался Венский мир[253] , Австрия, по его словам, отдала бы все миллионное население Галиции за любую часть Иллирии или за несколько кусков земли на Инне. Это может быть сделано, говорил император, когда он захочет[254]. Его тесть добивался этого в Дрездене, и возможно даже, что он приехал туда именно в надежде устроить это дело; но император хотел сначала выяснить настроения литовцев, хотел сам увидеть, могут ли поляки вновь сделаться и оставаться независимой нацией. Исходя из этих соображений, император до сих пор не давал полякам полной свободы, и события показали, что он поступил правильно. Он вскоре увидит, достойны ли поляки независимости, то есть обладают ли они как нация теми качествами, которые проявляют как отдельные лица, и покажут ли они, что несчастья лучше закаляют мужественные души, чем благополучие. На эту тему он будет беседовать в Варшаве; он расскажет полякам обо всех наших бедствиях и даже обо всех грозящих им опасностях, но вместе с тем он объяснит им, какие перспективы открываются перед ними, если польская нация окажет ему поддержку.

Я заметил императору, что недостаток единства среди поляков и недостаток усердия с их стороны, на который он жалуется, объясняется, несомненно, тем, что слишком долго оставлял их в неведении насчет их будущего; строго говоря, нет пределов тем жертвам, которых требуют от них; бедное герцогство, давно уже обремененное всевозможными поборами, по-видимому, истощено, и даже наиболее богатые люди не

получают ни гроша дохода; я всегда понимал, как выгодно восстановить Польшу и создать буферное государство; эта цель, как я уже имел честь однажды говорить императору, может оправдать войну с Россией; но вот уже несколько лет, как в его словах, касающихся Польши, и в мерах, которые принимаются якобы для ее восстановления, я, как и многие другие лица (в том числе и поляки, которые не осмеливаются объясняться с ним столь же откровенно, как я), не вижу ничего, кроме стремления добиться таким путем совсем другой цели, причем Польша является только политической и военной вехой на пути к ней. Вместе с тем я заметил шутя, что его рассказ о дрезденских беседах с императором Францем, о его отказе возвратить Францу Иллирию и, наконец, обо всех переговорах между герцогом Бассано и Меттернихом доказывает мне, что он хочет остаться хозяином положения и сохранить в своих руках возможность в зависимости от обстоятельств дать или не дать что-нибудь Австрии и во всяком случае хочет иметь возможность воспользоваться поляками и подать им надежду, чтобы воодушевить их, не принимая в то же время на себя достаточно определенных обязательств, которые могли бы послужить препятствием для его дальнейших проектов или помешать ему действовать применительно к обстоятельствам. Я добавил, что, как только Польша будет восстановлена, она не очень будет стараться доставлять нам солдат для похода в Испанию. Наконец, всякому совершенно ясно, что он компенсировал бы Австрию за отказ от ее претензий в польском вопросе и провозгласил бы восстановление Польши, если бы он действительно руководствовался теми великими европейскими интересами, которые требуют создания буферного государства[255] .

Император улыбнулся и сказал:

— Вы занимаетесь такими же политическими вычислениями, как и англичане. Но каким образом, — с живостью добавил он, — можно было заключить мир с Россией, если она не захочет уступить Литву? Я не мог бы воевать всю жизнь для достижения этого результата. Конечно, я желал бы восстановления Польши, но не с таким королем во главе ее, который трепетал бы перед Россией и через два года отдался бы под ее покровительство. С выборным королем это государство не может существовать. Оно не гармонирует с остальной Европой. А при наследственном короле соперничество знатных фамилий снова привело бы к расчленению Польши. Думаете ли вы, например, что литовцев устраивал бы Понятовский? Возможности петербургского двора и покровительство государя великой империи всегда были бы более привлекательны, чем

маленький двор г-жи Тышкевич[256] в Варшаве. Надо присоединить к Польше новые области, сделать из нее большое государство. Нужно дать ей Данциг и морское побережье, для того чтобы страна могла вывозить свои продукты. Польше нужен государь-иностранец: поляк возбуждал бы слишком много зависти. Наметить заранее этого государя-иностранца значило бы ослабить рвение поляков, так как они сами не слишком хорошо знают, чего хотят. Чарторыйские, Потоцкие, Понятовские и многие другие не знают меры своим претензиям. Мюрат подошел бы им, но у него так мало в голове! Жером, о котором я думал, обладает только тщеславием; он всегда делал только глупости. Он покинул армию, чтобы не оказаться под начальством Даву, как будто он не обязан своим троном битве под Ауэрштедтом! Он плохо держал себя в герцогстве Варшавском, когда проезжал через него. Моя семья никогда мне не помогала. У моих братьев столько претензий, как если бы они могли говорить о себе: "наш отец король"…

Внезапно прервав свою речь, император спросил меня:

— Кого бы вы назначили королем?

Я ответил, что так как я до сих пор не делал королей, то не могу так внезапно высказаться по этому вопросу.

Император расхохотался и сказал, что выбор в данном случае очень труден. Я ответил, что согласен с его мнением, тем паче что водворение его династии на этом троне было бы лишним поводом для беспокойства в Европе; мне кажется, что теперь весьма трудно сохранять хоть какие-либо надежды на этот счет; при всяком положении вещей государь из его семьи на польском тропе был бы всегда лишним препятствием для заключения мира с Англией, хотя создание этого буферного государства политически должно быть выгодно ей.

— С этой точки зрения вы правы, — сказал император. Разговор незаметно перешел на события прошедшего времени, коснулся Пруссии и Тильзитского мира. Я сказал императору, что, на мой взгляд, в Тильзите надо было не подвергать Пруссию разгрому, а наоборот, воссоздать ее хотя бы под именем королевства Польши, если он считал полезным возродить эту державу; в Тильзите он разрушил Пруссию — буферное государство, которое так полезно было бы сохранить в центре Европы; на его месте я великодушно простил бы Пруссию и восстановил бы ее в масштабе большого государства, и притом без содействия России, для того, чтобы вовлечь ее в свою систему, и это неминуемо случилось бы, если только придать Пруссии характер польского государства.

— Политика Пруссии, — ответил император, — шла всегда такими

кривыми путями, Пруссия была всегда так недобросовестна со всеми и при этом действовала так неуклюже, что ни одно правительство не было по-настоящему заинтересовано в ней. Один момент я колебался. не объявить ли, что Бранденбургская династия перестала царствовать, но я так плохо обошелся с Пруссией, что па-до было ее утешить; к тому же Александр проявлял такой интерес к судьбе этой династии, что я уступил его уговорам. Я допустил большую ошибку, ибо то, что я оставил под властью прусского короля, не заставило его забыть о том, что он потерял.

Я ответил императору, что если он опасался этой династии, то, конечно, предпочтительнее было переменить ее; если уж он непременно хотел убрать Бранденбургскую династию, то это было бы политически более правильно, чем лишать Европу государства, мощь которого необходима для нее. Император возразил, что было бы трудно внушить императору Александру эти идеи насчет прусского короля, пожалуй, еще труднее, чем насчет самой страны; тогда его главной целью было закрыть континент для Англии, и он пошел на уступки именно ради этой цели.

Потом император стал жаловаться на своих братьев. Я ответил ему, что когда человек делается королем, то ему трудно не стремиться к полной независимости, и, — хотя бы для того, чтобы приобрести популярность в своей стране, — новые короли часто вынуждены противиться его требованиям. Так как моя откровенность не вызывала, по-видимому, неудовольствия императора, то я ему сказал, что он хотел бы создавать королевства, но на деле вместо независимых государств создает лишь большие префектуры; его короли являются не более чем проконсулами, и это несовместимо ни с их титулом, ни с тем положением, в котором они находятся. Император улыбнулся моему замечанию, как бы признавая его правильность.

Этот разговор, вероятно, не был ему неприятен, так как он возвращался к данной теме пять-шесть раз во время нашей поездки, а я не заставлял себя просить, чтобы снова повторять ему то же самое. Почти всякий раз император старался перетянуть меня на свою сторону. Он делал это очень терпеливо и старательно. Он спорил и рассуждал так, как будто я представлял собою некую державу, которую ему важно было убедить. Если его доводы убеждали меня в некоторых пунктах, то в основном я продолжал держаться своего мнения. Я мог подметить при этом, что он лишь мимоходом касался тех вопросов, которые не хотел освещать подробно. А когда я возвращался к ним, он говорил мне:

— Вы судите, как юноша; вы не соображаете. Если мои слова были ему слишком неприятны, он говорил:

— Вы ничего не понимаете в делах.

Часто он не соглашался, что дела обстоят так, как я о них говорю. Когда же речь шла о вопросах, которые непосредственно задевали его честолюбие и его воинственный пыл, он улыбался, шутил и старался потянуть меня за ухо. Но мои уши были спрятаны под меховой шапкой, и он дружески трепал меня по затылку, заявляя в шутливом тоне:

— Люди ошибаются: я не честолюбив. Бессонные ночи, лишения, война — все это в моем возрасте уже не подходит. Больше чем кто бы то ни было я люблю свою кровать и отдых, но я хочу завершить свое дело. В этом мире есть только две возможности: повелевать или повиноваться. Поведение всех правительств по отношению к Франции доказало мне, что она может полагаться лишь на свое могущество, то есть на силу. Я был вынужден поэтому сделать Францию могущественной и содержать большие армии. Не я искал Австрию, когда, озабоченная судьбой Англии, она вынудила меня покинуть Булонь, чтобы дать сражение под Аустерлицем. Не я хотел угрожать Пруссии, когда она принудила меня пойти и разгромить ее под Иеной. Но что такое это могущество, о котором говорят? Ничто. Континентальное могущество не стоит ничего до тех пор, пока наш флаг не обеспечивает безопасность морского груза. Паспорта, выдаваемые герцогом Готским, уважаются в Париже не меньше, чем в Веймаре, а в то же время Австрия не может снарядить фелуку с венгерским вином без разрешения сент-джемского кабинета. Я более прозорлив, чем другие государи. Я хочу воспользоваться случаем, чтобы ликвидировать этот старый спор континента с Англией. Теперешние обстоятельства больше не повторятся. То, что кажется сегодня ударом только по мне, немного позже ударит также и по другим государям. Привычки и страсти против меня. Правительства ослеплены своими предубеждениями и пристрастиями. После нескольких лет гнилого мира нации и их государи почувствуют, чего им недостает. Сейчас я один вижу это, потому что другие намеренно закрывают глаза. Могущество Англии в его нынешнем виде покоится лишь на той монополии, которой она пользуется за счет других наций; только эта монополия может поддерживать ее могущество. С какой стати она одна должна получать те выгоды, которые должны были бы делить с нею миллионы людей? Она монопольно эксплуатирует то, что принадлежит другим; это видно из того, что она живет своими таможенными доходами и своей торговлей, причем ее население не в состоянии потреблять все то, за что взыскивается пошлина на ее таможнях. С какой стати то, что потребляют другие, должно облагаться пошлиной в лондонской таможне? Если бы я имел слабость уступить в некоторых

пунктах, чтобы заключить гнилой мир, то не прошло бы и четырех лет, как континент поставил бы мне это в упрек. Но уже было бы поздно менять дело. Корабли, несущие наши богатства, бороздили бы моря, а Англия, которая воспользовалась бы перемирием для передышки и для наполнения своих сундуков, тотчас же конфисковала бы все это при первых же признаках недовольства на континенте — еще до того, как вопли торговых кругов разбудили бы некоторые правительства. Десять лет войны, стеснений и несчастий, возникновение и разрушение трех или четырех коалиций сами но себе не довели бы нас, быть может, до того положения, в котором мы находимся сейчас. Потомству, которое будет судить беспристрастно, придется вынести приговор об этом споре между Римом и Карфагеном. Приговор будет в пользу Франции. Что бы ни говорили, она сражается сейчас только за общие интересы. Справедливо поэтому, чтобы знамена европейского континента присоединились к нашим. Франция сражается сейчас лишь за самые священные права наций, тогда как Англия отстаивает только присвоенные ею привилегии.

Возвратившись к этой теме в другой раз, император сказал, что чем более он наблюдает Англию и ее правительство, тем более он убеждается в их зрелости; английское правительство отличается всеми преимуществами олигархии, могущественной и по своей природе и в силу того влияния, которым она пользуется; эта олигархия обладает не только правительственной властью, но и всей той мощью, которую дает общественное мнение, создаваемое ею через посредство своей обширной клиентуры. Император читал, что английское правительство извлекает для себя силу даже из оппозиции, которая слабеет с каждым днем и лишь оттеняет мощь своих противников. По словам императора, ряды оппозиции будут непрерывно редеть, так как люди, начавшие делать карьеру, находят более удобным для себя становиться на сторону власти, то есть на сторону удачи. По его мнению, если война будет продолжаться, то не пройдет и двух лет, как Англия объявит своего рода банкротство, сократив размер процентов по своим обязательствам, а если будет заключен мир, то же самое произойдет не позже чем через десять лег, если только какие-нибудь перемены, являющиеся результатом назревающих в Америке революций, не откроют новых больших рынков для английской торговли.

— У Англии, — сказал император, — все покоится на нереальных, воображаемых величинах. Ее кредит зиждется только на доверии, так как он не обеспечен никаким залогом, хотя надо признаться, что английское правительство обладает кое-чем получше такого обеспечения, поскольку богатства частных лиц вливаются в государственную казну.

Последовательная система займов, связывающая всегда новые займы с прежними, гарантирует своего рода принудительное доверие на будущее время. Заинтересовывая всех частных собственников в преуспеянии казны, правительство создало для себя кое-что получше реального обеспечения, которого у него не было; оно создало себе таким образом неограниченное обеспечение, соответствующее интересам также и отдельных лиц. Вот почему, — ожесточенно прибавил император, — необходимо упорство. Недалеко то время, когда английскому правительству, быть может, уже не так легко будет делать займы, когда они по крайней мере станут менее крупными; тогда оно не сможет раздавать субсидии, играющие большую роль на континенте, так как во всех государствах, за исключением Франции, отсутствует падежная валюта; кредит и деньги есть только в Лондоне и Париже. Англия в настоящий момент переживает кризис; ее торговля терпит ущерб; Россия, открыв для нее свои порты, несомненно, отсрочивает конечный результат этого недуга, но, поскольку продолжает существовать причина, беда только откладывается. Англия, бесспорно, располагает еще большими средствами, но так как у нее все зиждется на доверии, то самый ничтожный пустяк может парализовать, испортить и даже погубить все. хотя в этой стране есть очень талантливые люди и граждане, проникнутые настоящей любовью к родине.

Император беспрестанно возвращался к разговорам об Англии. Эта тема занимала его больше всего. Как-то раз он сказал мне:

— Европа не видит грозящих ей реальных опасностей: она обращает внимание только на те стеснения, которые причиняет ей морская война; можно подумать, будто вся политика этой несчастной Европы и все ее интересы сводятся к цене бочки сахара. Это жалкое зрелище. А между тем мы дошли именно до этого. Все вопят только против Франции, все замечают только ее армии, как будто угроза со стороны Англии не является повсюду такой же или даже гораздо большей. Разве Гельголланд, Гибралтар, Тарифа[257] и Мальта не являются английскими цитаделями, которые угрожают торговле всех держав больше, чем Данциг угрожает России? И, однако, если бы я предоставил Европе действовать по ее усмотрению, она отдалась бы Англии. Завтра же Европа отдала бы ей Корфу, а также и Мадеру, так как она уже владеет мысом Доброй Надежды. А между тем со скал Мальты Англия уже господствует над Турцией, а следовательно, над Черным морем и Россией. В Гибралтаре она владеет воротами в Средиземное море. Если бы ей удалось завладеть Корфу, то она стала бы твердой ногой в Греции и сделалась бы даже хозяйкой Адриатики. Это бросается в глаза, а между тем ни Австрия, ни

Россия не хотят видеть опасности, которая им грозит. Зависть к Франции сильнее рассудка; никто не хочет быть прозорливым. Если бы не я, то правительства завтра же признали бы за Англией первенство во всем, что ей угодно. Когда все условия торговли будут зависеть от доброй воли лондонского правительства, когда придется есть только свой отечественный сахар и носить чулки и материи только своих собственных фабрик, тогда Петербург, Вена и Берлин заметят существование английской монополии. До тех пор все будут закрывать глаза, лишь бы не признавать, что я отстаиваю всеобщие интересы. Для добросовестных людей это совершенно очевидно, но где у нас добросовестные люди? Политическая слепота Европы — жалкое явление.

В другой раз при разговоре на эту тему зашла речь о рынках сбыта, которые английская торговля уже нашла, о тех, которые она ищет и найдет в испанских колониях, и, наконец, о войне на Пиренейском полуострове.

— Конечно, — сказал император, — лучше было бы покончить войну в Испании, прежде чем броситься в русскую кампанию, хотя по этому вопросу можно еще основательно поспорить. Что касается войны в Испании, то она существует сейчас лишь в виде партизанщины. В тот день, когда англичане будут прогнаны с Пиренейского полуострова, там останутся только шуаны, и нельзя, конечно, очистить от них страну в течение нескольких месяцев. Успокоить эту лихорадку, эту оппозицию новому порядку вещей, возникающую в низших классах, могут только время и действия высших классов, руководимых сильным и мудрым правительством, опирающимся на национальную жандармерию и одновременно на поддержку французских корпусов. Ненависть будет изжита, когда увидят, что мы не приносим в страну ничего, кроме более мудрых и более либеральных законов, лучше отвечающих духу нашего времени, чем старые обычаи. властвовавшие вместе с инквизицией в этой стране.

Сейчас испанцы дерутся, так как они продолжают думать, что мы хотим сделать из них французов. Все успокоится, как только удастся убедить их, что мы заинтересованы в том, чтобы они оставались испанцами. Если бы не наши несчастия в России, то уже близок был бы момент, когда французские войска могли бы ограничиться лишь занятием укрепленных пунктов в некоторых испанских провинциях. Если бы крестьяне не видели больше французов в своих деревнях, подчинялись только своим алькальдам и их охраняла бы только испанская жандармерия, то восстановилось бы доверие и постепенно упрочивались бы мир и спокойствие.

Присутствие английской армии в Испании было, по словам императора, самым крупным препятствием к ее умиротворению; но он предпочитал встретиться с этой армией в Испании, чем чувствовать ее угрозу на каждом шагу в Бретани, в Италии и вообще повсюду, где побережье доступно для десанта. Сейчас он знал, где он встретит англичан, а не будь они заняты в Испании, он должен был бы принимать меры повсюду, чтобы везде быть в состоянии ожидать их и защищаться против них, и это потребовало бы от него гораздо больше войск, причинило бы ему гораздо больше беспокойств и могло бы причинить ему гораздо больше вреда.

— Если бы 30 тысяч англичан, — говорил он, — высадились в Бельгии или в Па де Кале и обложили контрибуцией 300 деревень, если бы они сожгли замок Коленкур, то они сделали бы нам гораздо больше зла, чем теперь, когда они вынуждают меня держать армию в Испании. Вы кричали бы гораздо больше, г-н обер-шталмейстер, вы жаловались бы гораздо громче, чем сейчас, когда вы говорите, что я стремлюсь к всемирной монархии. Англичане ведут подходящую для меня игру. Если бы их министерство состояло у меня на откупе, то оно не могло бы лучше, чем сейчас, действовать в моих интересах. Не надо разбалтывать то, что я вам сейчас говорю, так как если бы им пришло в голову делать десанты то здесь, то там у меня на побережье, тотчас сажать эти десанты обратно на суда, как только против них будут сосредоточены войска, и вслед затем немедленно угрожать какому-нибудь другому пункту, то мы не могли бы выдержать эту игру. По существу война в Испании обходится мне не дороже, чем всякая другая война или всякая другая вынужденная оборона против Англии. Пока с этой державой не будет заключен мир, до тех пор не будет большой разницы в расходах между теперешним положением вещей в Испании и обыкновенной войной с Англией. При громадном протяжении береговой линии Испании и при создавшемся там положении, если только англичане не продвинутся внутрь страны и нам не представится вполне удобный случай дать им сражение, мы можем ограничиться только наблюдением за ними, так как если их принудят сесть на суда в одном пункте, то они высадятся в другом, уверенные, что всюду найдут себе пособников. Маршалы и генералы, предоставленные в Испании самим себе, могли бы действовать лучше, но они не хотят договориться между собой. В их операциях никогда не было единого плана. Они ненавидят друг друга до такой степени, что были бы в отчаянии, если бы кому-нибудь из них предстояло произвести маневр, который может дать результаты, приносящие славу другому маршалу или

генералу. Поэтому сейчас надо только держать страну в руках и постараться умиротворить ее в ожидании, пока я сам смогу дать направление операциям. Сульт[259] — человек талантливый, но никто не хочет повиноваться. Каждый генерал хочет быть независимым и разыгрывать роль вице-короля в своей провинции. В лице Веллингтона[260] мои генералы встретили противника, который стоит выше многих из них; к тому же они наделали ошибок, достойных школьника; Мармон[261] , который, действительно, очень умно говорит о войне, оказывается хуже чем посредственностью, когда надо действовать. В конечном счете наши временные неудачи в этой войне, приводящие в восторг лондонское Сити, оказывают мало влияния на общий ход наших дел и не могут, строго говоря, иметь серьезного значения, ибо я изменю это положение вещей, когда захочу. То, что сейчас происходит, создает Веллингтону репутацию, но на войне в один день теряют то, что приобреталось целыми годами. Что касается рынка сбыта для английской торговли, который война дала ей в испанских колониях, то я признаю, что это, бесспорно, неприятная вещь, тем паче что эти рынки могут в течение двух лет нейтрализовать значение наших континентальных запретов.

Император считал, что отделение испанских колоний от их метрополии[262] является большим событием, которое изменит картину мировой политики, укрепит позиции Америки и меньше чем через десять лет создаст угрозу для английского могущества; это возместит наши потери. Он не сомневался, что Мексика и другие большие заатлантические владения Испании провозгласят свою независимость и образуют одно или два государства с такой формой правления, которая — наряду с их собственными интересами — превратит их в сподвижников Соединенных штатов.

— Это будет новая эра, — говорил он, — она приведет к независимости всех других колоний.

Он считал, что перемены, которые явятся результатом дальнейшего развития этих событий, будут важнейшими переменами нашего века в том смысле, что они направят все торговые интересы по другому пути и изменят, следовательно, политику правительств.

— Все колонии, — говорил он, — последуют примеру Соединенных штатов. Утомительно ожидать приказаний из метрополии, находящейся на расстоянии двух тысяч лье, и повиноваться правительству, которое кажется иностранным, ибо оно находится далеко и неминуемо подчиняет ваши интересы местным интересам, так как оно не может пожертвовать ими

ради вас. Как только колонии чувствуют себя достаточно сильными, чтобы сопротивляться, они хотят сбросить с себя иго своих основателей. Родина — там, где люди живут: вы быстро забываете, что вы или ваш отец родились под другим небом. Честолюбие довершает то, что начал делать интерес; хотят быть кое-чем у себя дома, и ярмо вскоре оказывается сброшенным.

Я говорил императору о том впечатлении, которое произведет на остальные народы сопротивление испанской нации, отмечая, что, на мой взгляд, напрасно он не придает никакого значения этому примеру.

Возвращаясь затем к вопросу об испанских делах, император сказал:

— Европейская цивилизация коснулась испанских крестьян еще меньше, чем русских. Конечно, я считал неподходящим такое положение вещей[263], когда династия испанских Бурбонов царствует так близко от моей династии, занявшей трон Людовика XVI. Я часто говорил с Талейраном об этом, как и о многих других вопросах, выдвигаемых на очередь основными интересами мировой политики; однако я не придавал этому пока особенного значения: до такой степени тупость и глупость испанского короля, слушавшегося во всем князя Мира[264] , отнимали, на мой взгляд, у Испании всякую возможность развиваться в том направлении, которое могло бы меня обеспокоить. Я хотел поэтому сделать из Испании лишь полезного союзника против Англии; слабость короля и интересы его фаворита, который должен был стремиться к добрым отношениям с Францией, слишком хорошо служили моим политическим целям, чтобы я стал думать о чем-нибудь другом; но внезапно фаворит, побужденный ропотом надменной кастильской знати и оскорбленный какими-то выражениями или какими-то неловкими шагами наших дипломатических агентов, счел момент подходящим, чтобы вновь завоевать уважение испанцев, обратившись к ним с воззванием против меня, в то время как его упрекали, что он продался мне. Дурак! Боясь потерять свое положение из-за поднявшегося против него всеобщего ропота, он вообразил, что спасет себя, если будет разжигать проявляемое нацией недовольство против Франции, и в заключение он погубил Испанию, чтобы спасти себя. Я в свою очередь потерял Испанию из-за Мюрата, который хотел спасти фаворита; дело в том, что во время мадридского восстания[265] нация была враждебно настроена только против Годоя; на нас стали смотреть, как на врагов, лишь потому, что Мюрат, желая его спасти, этим неловким поступком внушил нации мысль, которую уже распространяли неблагожелательные к нам люди, а именно мысль о

том, что Годой делился с нами или мы с ним.

Император напомнил при этом дерзкую прокламацию князя Мира к испанцам (от 3 октября 1806 г.)[266].

— Политический курс фаворита, — сказал император, — еще до Иены казался мне немного подозрительным. Я мог бы видеть, что он является абсолютно подозрительным, если бы мой тамошний посол[267] был толковым человеком и осведомлял бы меня о том, что происходит в Испании. Но мне служили плохо. Я был изумлен, когда встретил в испанском правительстве оппозицию, к которой я не привык, и стал остерегаться; эта перемена побудила меня даже стремиться уладить разногласия, возникшие между нами и Пруссией, тогда как если бы не это, я с полнейшей готовностью поднял бы перчатку, которую прусский двор бросил мне так некстати для него. Я хорошо видел, что испанская нация немного недовольна, но я думал, что оскорблено только се самолюбие, и рассчитывал дать ей впоследствии удовлетворение; признаюсь, я был далек от мысли, что объявление мне войны будет исходить от фаворита. Я считал, что у него лучшие советники.

Император добавил, что он был крайне изумлен, когда после Иены получил это странное воззвание, насчет смысла которого он не обманывался ни минуты.

— Я не мог строить себе иллюзии насчет планов этого нового врага, — сказал император, — но я притворился, что не вижу их. Только что одержанные мною успехи пришлись мне как нельзя более кстати. Будучи более искусным политиком, чем Годой, я сам дал ему возможность представить исчерпывающие объяснения и считать меня удовлетворенным; я обещал себе воспользоваться этим, чтобы с треском отомстить при первом же подходящем случае или по крайней мере лишить испанский двор возможности создавать мне затруднения в другой раз. Этот случай открыл мне глаза. Князь Мира мог бы заставить меня поседеть накануне Иены, но назавтра после Иены я был уже хозяином положения. Один момент я считал испанцев более решительными, чем они есть, и думал, что они провели моего посла за нос, но это беспокойство было непродолжительным. В тот единственный раз, когда Годой проявил энергию, он сыграл более роковую роль для Испании, чем в течение тех. многих лет, когда он проявлял слабость и подлость, публично грязня этой подлостью своего повелителя. Он не подумал, что когда человек его типа обнажает шпагу против государя, то надо победить или умереть, ибо если короли прощают друг другу взаимные обиды, то они не могут и не должны

проявлять такую же снисходительность к подданным. Он должен был бы понять, что нс может быть прощения для человека, который, подобно ему, не имеет корней в стране; прощения не допустят ни здравый смысл, ни политические соображения. Он пожертвовал Испанией, чтобы оставаться фаворитом, а Испания сама принесла себя в жертву, чтобы отомстить ему и тем, кого она напрасно считала его сторонниками. Революции рождаются из широко распространенных в народе слухов и враждебных настроений. После первого же ружейного выстрела никакие объяснения невозможны: страсти разгораются, и так как люди не в состоянии сговориться, они убивают друг друга.

Император еще раз повторил, что именно эти настроения в Испании чуть не заставили его заключить мир в Берлине и даже предоставить Пруссии хорошие условия. Если бы офицер, привезший сообщение о капитуляции Магдебурга, приехал часом позже, то мир был бы подписан[268].

По словам императора, Годой (по большей части он называл его этим именем), узнав, что император одержал победу над пруссаками, сделал все, чтобы втереть ему очки насчет смысла знаменитого воззвания; он сделал вид, как заметил шутя император, что оно направлено против турецкого султана или марокканского короля.

— Мы одурачили друг друга с тем большей легкостью, — прибавил император, что каждый из нас был одинаково заинтересован в том, чтобы его надули. Видя, что я склонен помочь его государю устроить его судьбу, Годой оказал поддержку намеченным мною планам. Я не думал свергать Карла IV; я лишь хотел на время войны с Англией обеспечить безопасность, в которой я нуждался, чтобы следить за выполнением мер, могущих принудить Англию к миру. Искиердо был в Париже тайным агентом князя Мира и посредником при переписке между Карлом IV и мною. В качестве доверенного лица фаворита он был в очень близких отношениях с Талейраном и Мюратом. По большей части переговоры происходили без ведома испанского министерства и испанского посла. С нашей стороны Шампаньи[269] тоже не слишком явно вмешивался в них. Однако он был мне полезен; это честный человек, очень старательный и всецело преданный мне. Испанский король был весьма непрочь поживиться за счет останков Португалии, а его фаворит хотел — на случай смерти короля иметь возможность скрыться от места Фердинанда в созданном для него независимом государстве[270] . Преследуемый презрением нации и завистью грандов, не имея другой поддержки, кроме

благосклонности короля и королевы, которой он мог лишиться в любой момент, он подписал все, что я хотел. Мюрат и Талейран, особенно первый, были посвящены во все его опасения и надежды. Опьяненный тщеславием, он думал, что я могу забыть его поведение, так как тогда мне было выгодно предоставить ему ряд преимуществ. В своем ослеплении он забыл, что его воззвание было сочинено только потому, что он считал меня потерпевшим крушение. Если ты плут, то не будь еще и дураком! Фриас, которого князь Мира послал тогда в Париж и который должен был оправдать князя передо мною, а также передать мне наряду с поздравлениями короля по поводу моих побед извинения и сожаления Годоя о случившемся, был только показной фигурой; один лишь Искиердо был посвящен в тайны дела. В Мадриде не понимали, что двойственность миссии Фриаса лишала его поздравления всякой цены, облекая их в ливрею смущения и даже страха. Однако я не показывал ничего, так как мне прежде всего было важно, чтобы Испания и Португалия присоединились к условленным в Тильзите мерам, цель которых заключалась в дальнейшем распространении континентальной системы. Смущенный своей позицией по отношению ко мне, мадридский кабинет решил, что он все исправит, если с полнейшей готовностью присоединится к этой системе. Труднее было подчинить ей Португалию — страну, которая находится под безусловным английским влиянием. Если бы она отказалась, то надо было бы ее принудить, а для этого надо было бы действовать в согласии с Испанией. При таком положении вещей для безопасности войск, которые я послал бы в Португалию, а также для проведения континентальной системы важно было оккупировать несколько пунктов в Испании. Мюрат безусловно держал в страхе врагов Франции, но он их нс разгромил. Фаворит пользовался таким влиянием на короля, что нельзя было надеяться открыть глаза этому доверчивому старику, и надо было вести переговоры с самим Годоем, чтобы добиться закрытия всего европейского побережья для Англии. Так как лиссабонский двор не пожелал подчиниться, то был мобилизован обсервационный корпус Жиронды, образованный якобы для охраны нашего побережья от всяких посягательств и для борьбы с контрабандой. Отправка Жюно в Испанию требовала в интересах самой Испании заключения определенного соглашения. Дюрок подписал договор, выработанный Талейраном и Искиердо. Договор отдавал Испании, королю Этрурии и князю Мира половину Португалии, а другую половину сохранял как залог для обмена при заключении мира с Англией; этот мир всегда был моей основной целью. Испанские войска должны были действовать вместе с нами в

Португалии и охранять побережье, тогда как маркиз Ла Романа и О'Фарриль во главе других испанских корпусов должны были действовать на севере и в Тоскане, чтобы определенно подчеркнуть в глазах Европы полнейшее согласие между нами. Австрия была настроена благоприятно[271]. Англия не могла больше строить себе иллюзий. Наконец-то она должна была увидеть, как ее товары повсюду отвергаются и вся Европа относится к ней, как к врагу. На сей раз все способствовало успеху моих проектов, и казалось, что моя основная цель достигнута. Переговоры так хорошо держались в секрете, а военные приготовления — даже в Мадриде — осуществлялись под таким хорошим руководством, что никто ничего не знал. Тщеславный князь Мира, заботившийся только о получении короны на территории Португалии, заставил Карла IV подписать все.

— По существу, — продолжал император, — Испания выигрывала от этого соглашения. Старик-король, восхищенный идеей завоевать Португалию и сделаться императором[272], решил, что этот титул делает его великим человеком, как будто новый титул мог очаровать его подданных больше, чем старый, и как будто назваться императором — значит приобрести гений и энергию, необходимые для того, чтобы возродить и отстоять свою прекрасную империю. В глубине души мы все думали, что сделали полезное дело, так как испанская напыщенность должна была почувствовать удовлетворение, но мы обманулись. Пока в Фонтенбло велись переговоры, Фердинанд, которому не терпелось взойти на престол, устраивал заговор против своего отца. Он искал поддержки и думал, что найдет ее, если обратится ко мне с просьбой отдать ему в супруги одну из родственниц Жозефины[273]. Чтобы объяснить эту просьбу, о которой не знал его отец, он заявлял, будто тот хотел сделать его зятем фаворита[274]. Таинственность этого шага и всей обстановки возмутила меня. Я не ответил ему и дал даже нагоняй моему послу, которого я на момент заподозрил в том, что он приложил руку к этому делу. Далекий от всякой мысли о каких-либо переменах в Испании, я сделал все возможное, чтобы внушить здравые идеи лиссабонскому двору. Талейран, который считал, что результатом этих мер будет мир с Англией, направил в Лиссабон Лиму (португальского посланника в Париже); но лиссабонский двор потратил несколько дней на всяческие увертки и не хотел ничего понять. Надо было, таким образом, подписать договор в Фонтенбло, хотя бы для того, чтобы до оккупации Португалии избежать всякого повода к разногласиям с Испанией. Тогда мне было очень важно сохранить хорошие отношения с

Испанией. Вся моя политическая система зависела от этого соглашения. Талейран, который хорошо знал мои дела и вел переговоры с Искиердо, может вам это подтвердить. Я был далек ог всяких предположений о тех скандальных событиях, которые затем запятнали Испанию и заставили нас взглянуть на дело по-иному. Я отправился в Италию, послав вас в Петербург, а тем временем покушение сына против отца, раздоры между ними и дворцовые интриги уже во многом изменили положение. В конце концов честолюбие Фердинанда довело дело до крайности. Все узы были порваны, и все добрые нравы были оскорблены. При таком положении надо было принять определенное решение, так как Испания, которая в лице короля-отца и его фаворита была на моей стороне, теперь силою вещей и в результате интриги, лишившей Карла IV тропа в пользу его сына, готова была повернуться против меня, если только я не сделаюсь соучастником Фердинанда. Но такая роль противоречила моим принципам и была недостойна меня. Я не мог в то же время обманываться насчет последствий этого переворота, и я не замедлил, убедиться, что двор, раздираемый отвратительными интригами, пожертвует подлинными интересами страны и своими отношениями с нами, если я, считаясь только с интересами момента, стану на сторону Карла IV. Мне всегда было противно проводить мелочную политику. Быть может, с моей стороны правильной политикой было бы помогать Фердинанду, который в этот момент представлял, по-видимому, испанскую нацию, но это значило бы предать короля, так как всем было известно, что его сыном и герцогом Инфантадо[275] руководила жажда властвовать на троне. Ненависть к фавориту служила предлогом, оправдывающим их честолюбие. Интересы Испании не играли никакой роли в этом деле, которое являлось не более чем дворцовой интригой. Вмешиваться в эту интригу значило бы для меня сделаться соучастником подлой измены сына своему отцу. Я подобрал корону Франции, которая валялась в луже. Я поднял ее па вершину славы, и после этого я не мог содействовать осквернению скипетра Испании и священного авторитета короля и отца. Положение дел было такое, что если бы я высказался в пользу законного авторитета отца против узурпаторских действий сына, то мое заявление шло бы наперекор воле испанской нации и навлекло бы на Францию ненависть испанцев. Такое решение, противное моим интересам, не могло к тому же дать иного результата, кроме продолжения беспорядков, так как правительство Карла IV потеряло всякое уважение. Я не мог взять на себя роль опоры для Годоя против этой гордой нации. Решившись спасти и возродить ее, если бы я оказался вынужден вмешаться в ее дела, я решил пока что ограничиться ожиданием. Я удовольствовался

ролью наблюдателя. Хотя, по существу, я не должен был оказывать политическое покровительство тому двору, который угрожал мне, когда думал, что мне приходится туго, однако я объяснил Карлу IV его положение. Но интриги принца Астурийского и фаворита, интересы которых были так резко противоположны, являлись препятствием ко всякому выходу из положения. Я не замедлил прийти к убеждению, что и они и вся нация будут жертвой создавшегося положения. Фердинанд, который обращался ко мне с просьбой женить его, теперь умолял меня оказать ему покровительство; король просил меня оказать защиту ему; что касается фаворита, то он заранее подписывался под всем, лишь бы спасти свой авторитет и сохранить свое влияние. Бесчестный министр и негодный гражданин — он думал только о себе. Я не хотел пачкаться, вмешиваясь в эти интриги, и продолжал сохранять большую сдержанность, не желая ратифицировать договор, заключенный Дюроком в Фонтенбло, пока положение не выяснится. Тем временем армия Жюно оккупировала Португалию, а лиссабонский двор покинул ее и отправился в Бразилию; это принуждало меня пойти на новые комбинации. События, разыгравшиеся при испанском дворе, более чем когда-либо делали для меня противным вмешательство в эти скандальные распри. Я думал, что лучше всего предоставить им самим перебирать свое грязное белье и отдать им Португалию, удалив их таким образом за Эбро; это гарантировало бы мне, что правительство поддержит меры, принятые против Англии, и отдало бы в наши руки баскские провинции. По существу, Испания выигрывала от такой перемены, которая вполне соответствовала ее интересам. Хороший оборонительный и наступательный договор в связи с тем положением, которое он создавал для нас и для них, превращал Испанию в настоящего союзника, но глупость, страх и раздоры между отцом и сыном привели к тому, что ничего не удалось. Быть может также я слишком ясно показал Искиердо, когда он уезжал в Мадрид, чтобы наладить дело, мое нежелание вмешиваться в их распри и мое презрение к Годою и всем их интригам. Сомневаясь, чтобы я пожелал поддержать его, старик-король испугался и был уже готов ехать в Америку; но у них нс хватило мужества принять энергичное решение. Они предпочли остаться, чтобы тягаться друг с другом и вложить кинжалы в руки своих подданных. Я был совершенно непричастен к этим событиям, которые противоречили моим интересам. Я послал в Испанию больше войск. чем собирался, так как во всяком случае не хотел допустить, чтобы события обернулись против нас, а страх перед фаворитом и английские интриги, которые уже тогда сплетались с

интригами Фердинанда, могли к этому привести. Мюрат, который командовал армией, делал только глупости и ввел меня в заблуждение.

Далее император сказал, что "испанские дела объясняются только стечением обстоятельств, которых нельзя было предвидеть". Эти события были ему очень неприятны и принудили его поступать вопреки своим намерениям. Никак нельзя было заранее учесть ту необычайную глупость и слабость, которую проявил Карл IV, или преступное тщеславие и двуличие Фердинанда, злобного и в то же время жалкого.

Император добавил, что Фердинанд приезжал в Байонну по совету толедского архидиакона Эскойкица, который думал таким путем доставить Фердинанду сразу и жену и королевство; старый король также приехал в Байонну по своей доброй воле. Император несколько раз говорил мне, что он откровенно беседовал тогда с приехавшими в Байонну испанцами еще до прибытия Фердинанда и не скрывал от них своего мнения о нем; таким образом, от лиц, приехавших раньше Фердинанда, всецело зависело предупредить его, и лишь от него самого зависело повернуть назад.

По словам императора, он даже после приезда Фердинанда еще долго оставался в нерешительности; потом он увидел, что дела приняли плохой оборот и теперь каждый будет объяснять события на свой лад, чтобы оправдать себя, а его будут упрекать в этом деле, как упрекают во всем, что кончается неудачей, хотя он руководствовался исключительно теми соображениями, которые по зрелом размышлении казались ему соответствующими интересам как испанской нации, так и Франции. Он снова повторил, что нельзя представить себе, как слепы и глупы были советники, пользовавшиеся доверием короля и его сына, и до какой степени Мюрат увлекался князем Мира, за которого он всячески ходатайствовал. Нельзя представить себе также, до каких пределов дошла ненависть королевы-матери к сыну и ненависть сына к матери и отцу. Родители считали его способным на все, даже на попытку отравить их, как сказала как-то императору королева. Больше всего она и король боялись попасть в его руки; из-за этого они покинули Испанию, боясь его возвращения туда, и из-за этого они все время отказывались сами вернуться в Испанию.

Все они, говорил император, без конца рассказывали ему о своих обидах друг против друга. Дело доходило до того, что порою он краснел за них и старался оборвать разговор, чтобы не загрязниться самому, выслушивая столько гадостей; каждый был занят только собой; ни у одного из них он ни разу не заметил какой-либо мысли, посвященной интересам Испании.

Император рассказывал мне затем об Эскойкице, который был одержим лишь одной идеей — женить Фердинанда в Байонне.

— Это — мелкий интриган, — сказал император. — Впрочем, я поступил бы вполне целесообразно, если бы приложил руку к этому проекту, так как в тот момент Фердинанд был идолом испанцев. Но тогда не преминули бы сказать, что я подстрекал его ко всему и был соучастником его заговора; я предпочитал все что угодно, только не это. Мне пришлось выбирать между тремя возможными решениями в этом деле, я выбрал то, которое подсказывалось мне интересами благополучия Испании, а также нашими интересами. Что касается двух других возможных решении, то одно из них превращало меня в соучастника преступления, а другое — в соучастника унижения нации, которая хотела стряхнуть с себя позор последнего царствования. Я не мог колебаться в выборе, и эти соображения, не позволили мне отослать Карла и Фердинанда в Испанию, как это подсказывали мне мои интересы. Фердинанд вскоре исчерпал бы до конца тот энтузиазм, с которым относилась к нему нация, а возвращение его отца слишком унизило бы его, и не прошло бы шести месяцев, как он стал бы призывать меня на помощь. Но Шампапьи и Маре думали, что надо воспользоваться моментом, когда события назрели и когда особенно легко осуществить перемену, так как Карл и Фердинанд окончательно дискредитировали себя в Байонне даже в глазах наиболее преданных им испанцев. Мюрат рассказывал мне сказки, которые вводили меня в заблуждение. Я хотел облегчить бедствия этой страны; я ошибся. Если бы я последовал своему первому побуждению, я отослал бы короля и его сына домой. Испания была бы сейчас у моих ног. Меня обманули, или, вернее, события обманули всякую человеческую предусмотрительность. Можно ли было предвидеть, что Мюрат будет делать только глупости, а Дюпон пойдет на подлость? Когда-нибудь испанцы пожалеют о той конституции, которую я им дал; она возродила бы их страну. Причиной восстания в Испании была жадность Дюпона, его корыстолюбие, его стремление во что бы то ни стало сохранить состояние, приобретенное нечестным путем. Все погубила капитуляция под Байленом[276]. Чтобы спасти свои фургоны, нагруженные награбленным добром, Дюпон обрек солдат, своих соотечественников, на позор беспримерной капитуляции, которая произвела такое прискорбное для нас впечатление на испанский народ, и на позор разоблачения кощунственного разграбления церквей, которое Дюпон допустил, чтобы скрыть свои собственные хищения. Соглашаясь на осмотр солдатских ранцев при условии неприкосновенности его собственного багажа, он

собственноручно расписался в своем бесчестье на страницах истории. Байлен — это Кавдинское ущелье нашей истории. Зрелище похищенных в церквах предметов послужило сигналом к восстанию; зачинщики воспользовались этим, чтобы подстрекать суеверный народ к мщению.

— Мареско[277], — продолжал император, — честный человек. Дюпон его надул, и он проявил слабость, когда надо было проявить силу. Я сурово поступил с ним, потому что он один из высших офицеров империи и потому что в его положении надо уметь предпочесть славную смерть позору, а не ставить свое имя под подобной капитуляцией, которую к тому же предотвратило бы малейшее противодействие с его стороны.

Возвращаясь вновь к испанским делам, император сказал, что здравомыслящие люди, которые его знают, никогда не заподозрят его в том, что он хотел унизить авторитет монарха.

— Я смотрю на вещи с большой высоты, — сказал он, — и я слишком хорошо чувствую мою силу, чтобы унижаться до подобных интриг, недостойных меня; я действую более откровенно. Пожалуй с большим основанием меня можно упрекнуть в том, что я провожу свою политику так, как потоки прокладывают свое русло. Вы должны были узнать в Петербурге о подробностях этой революции от русского посланника[278] в Мадриде и от Чернышева, который приезжал в Байонну; ведь император Александр, долго не желавший признать Жозефа королем[279], потом вполне убедился, что я был непричастен к этим интригам.

Как-то раз император заговорил о Талейране.

— Он хвастает, — сказал император, — что немилость, в которой он, по его мнению, находится, объясняется его так называемой оппозицией против войны в Испании. Действительно, он нисколько не подстрекал меня к ней в тот момент, когда она началась; да я и сам был далек от того, чтобы предвидеть события, которые привели к этой войне; но никто более его не был убежден в том, что сотрудничество Испании и Португалии против Англии и даже частичная оккупация этих государств нашими войсками является единственным средством принудить лондонский кабинет к миру. Он был таким сторонником этого взгляда, что именно с этой целью и вел переговоры с Искиердо о договоре, который Дюрок подписал в Фонтенбло. Талейран был душою этих переговоров, хотя и не имел тогда министерского портфеля; этот способ принудить Англию заключить мир, чтобы добиться от нас эвакуации Пиренейских государств, казался ему безошибочным. Он вел дело с большим рвением, но отъезд лиссабонского двора в Бразилию изменил все наши планы. Именно он направил Искиердо

в Мадрид. Если бы он не был весьма заинтересован в успехе этой поездки, то я заподозрил бы, что не без его содействия у испанского короля после приезда Искиердо в Мадрид явились некоторые опасения. Потом Талейран увидел, что обманулся в расчетах, которые он связывал с этими договорами, то есть в расчетах на наживу и на влиятельную роль; он увидел также, что я обхожусь без него, и решил, что остался в дураках. Как ловкий человек он отныне старался только об одном: оправдать в глазах общества ту роль, которую, как известно, он играл в этом деле, и он сделался апостолом недовольных. Талейран забыл, что перед тем он выдвигал идею низложения испанской династии по примеру того, что было сделано в Этрурии. Я далек от того, чтобы упрекать его за это. Он здраво судит о делах. Он самый способный министр, какого я имел. Талейран был слишком осведомлен в делах и слишком хороший политик, чтобы думать, будто Бурбоны могут вернуться в Мадрид, когда их нет уже больше ни в Париже, ни в Неаполе. Быть может, время произвело бы эту перемену без потрясений; ее требовали как интересы Франции, так и правильно понятые интересы Испании. Никаких решений по этому вопросу никогда не было; бесконечные предположения, как это всегда бывает, когда речь идет о больших политических вопросах, и больше ничего. Талейран понимал, что думают здравомыслящие люди, чего требует политика, и говорил мне об этом. При затруднительных обстоятельствах, находясь в состоянии войны с частью Европы, могла ли Франция пойти на риск иметь у себя на фланге враждебную ей династию? Талейран, будучи одним из тех люден, которые более всего содействовали утверждению моей династии, был слишком заинтересован в сохранении ее, слишком хитер и предусмотрителен, чтобы не посоветовать мне все то, что способствовало сохранению моей династии и обеспечивало спокойствие Франции. Он высказался против этой войны только потому, что вопреки своим надеждам не получил поста великого канцлера, и вот, забыв, что в Испании льется французская кровь, он стал действовать, как дурной гражданин, и все громче декламировать против наших операций в Испании, по мере того как он замечал, что дела идут хуже. Когда имеешь дело с ним (да и со многими другими тоже), то надо, чтобы вам всегда везло. Мне стало известно его поведение, и я дал ему это почувствовать, так как его недоброжелательство началось после поражения Дюпона. Он бросил в меня камнем подобно другим подлецам, когда думал, что я потерпел поражение.

— Все, что было предпринято против Бурбонов, — продолжал затем император, было подготовлено Талейраном и проведено в жизнь, когда он был министром. Именно он постоянно убеждал меня в необходимости

устранить Бурбонов от всякого политического влияния. Именно он убедил меня арестовать герцога Энгиенского, когда префект Шэ[280] и интриги англичанина Дрэка[281] обратили на него внимание полиции, хотя я вовсе и не думал о нем. Я не придавал тогда ни малейшего значения его пребыванию на берегах Рейна и не имел, следовательно, никакого определенного проекта насчет него.

Монсей[282] или Шэ сообщили мне, что он часто приезжает в Страсбург. Я этого не знал. Бертье и Камбасерес не решались арестовать его; их колебания вызывались соображениями, касающимися баденского двора. Талейран же настаивал на аресте, Мюрат и Фуше тоже. Обманутый и подстрекаемый революционерами, встревоженный уверениями Фуше, Мюрат, когда он узнал, что герцога привезли в Париж, считал даже, что для меня и для него нет спасения, если герцог не будет казнен. Послушать его — так можно было подумать, что правительство в опасности, а правитель — под угрозой. На поле битвы Мюрат — человек большого мужества, но голова у него слабая. Он любит только интриганов и всегда оказывается в дураках. Все деятели революции, генералы и офицеры, воспитанные в идеях республики, были обеспокоены моим курсом. Роялисты, будучи, как всегда, неуклюжими интриганами и не думая о том, что они делают, распространили слух, что я сыграю роль Монка; я, мол, сижу непрочно. А если послушать Мюрата, Фуше и других, то общественное мнение, оказывается, стало шатким, и я не смогу снова овладеть им; при таком неопределенном положении ни одна из партии не была за меня, так как даже слабые роялисты смотрели на меня только как на переходную фигуру. Впрочем, среди них не было ни одного человека. который годился бы на что-нибудь. Итак, нация должна была пойти против меня, а революционеры меня боялись; еще больше, однако, они боялись Бурбонов. Они напугали Мюрата, и он потерял голову. Что касается меня, то на меня они не производили большого впечатления. Я оказывал им покровительство, ибо долг правительства поступать так по отношению ко всем без всякого различия. Но сам я смотрел на вещи с большей высоты, чем другие, и искал лишь обычной поддержки у партий; я понимал, что Франции нужно правительство, которое оправдало бы ее жертвоприношения и было бы достойно ее славы, правительство, которое было бы заинтересовано в том, чтобы охранять и обеспечивать все ее внутренние и внешние интересы. Я чувствовал себя сильным человеком, созданным для того, чтобы управлять великими судьбами. Я не был так глуп, чтобы работать для других, когда я чувствовал, что лишь я один

способен оправдать надежды французской нации. Я читал историю и не собирался отдавать Францию на произвол ненависти эмигрантов или напрашиваться на неблагодарность, когда я знал, что создан для того, чтобы привести все в порядок. И я принял решение. Я подготовлял все, чтобы реорганизовать монархию. Такое правительство — единственно подходящее для Франции, единственное, которое может успокоить европейских королей. Они нуждались во мне; опыт доказал мне, что я не ошибся. Что касается герцога Энгиенского, то я не придавал делу особого значения, когда послал Орденера арестовать его. Я думал, что захватят также и Дюмурье, что было для меня важнее, так как его имя придавало этому заговору характер крупной интриги. Я действовал вполне по праву, так как герцог устраивал заговор против меня, подобно Жоржам[283] и другим. Все эти интриги сплетались одна с другой. Он был захвачен в расстоянии шести лье от моих границ на месте преступления, а одновременно убийцы, подкупленные его родственниками и подстрекаемые им, были арестованы во Франции с кинжалами в руках. Вы ведь должны знать все это, Коленкур. Ведь вам было поручено уладить с Баденом дело о нарушении нами его границ.

Я ответил утвердительно и добавил, что некоторые лица любезно приписывали мне даже арест герцога.

— Все знают, — возразил император, — что это неправда[284] . Начальник жандармерии даже доносил в свое время на вас, сообщая, будто вы тайком послали уведомление герцогу, что Орденер готовится его арестовать, и именно поэтому якобы он прицелился в Орденера и чуть не убил его. Я ничему этому не поверил.

Император сказал затем, что, приказав привезти герцога в Париж, он не знал, что с ним делать, но Мюрат, подстрекаемый революционерами, так уверял его, что все погибло, если он не покажет примера, что он хотя и не дал Мюрату согласия на что-либо определенное, послал ему, однако, распоряжение предать герцога военному суду, так как он пришел к выводу, что с его стороны это не более чем акт законной обороны. Герцог выразил желание его видеть и писал ему даже, что хочет говорить с ним, но он узнал об этом только после осуждения и казни.

— Эта стремительная спешка Мюрата, — продолжал император, — привела даже к тому, что полиция не имела времени допросить герцога и не получила важных сведений о разветвлениях этого крупного заговора. Бертье и Камбасерес предпочитали бы, чтобы герцог не был арестован и в особенности, чтобы его не привозили в Париж; но когда это уже случилось,

они поняли, что вопрос является деликатным и даже затруднительным для меня, так как у нации не должно было оставаться никаких сомнений насчет моих намерений. Рассудок подсказывал им, что я должен проявить строгость, а в то же время они склонялись в пользу снисходительности. Талейран, более тонкий политик, чем они, с полным основанием высказывался за арест. Тогда не думали о том впечатлении, которое произведет эта казнь; все видели перед собой только заговорщиков, желавших предать смерти высшее должностное лицо Франции и заслуживших поэтому .такую же кару. Хотя в Париже много болтали об этом событии, я поступил бы точно так же, если бы подобный случай повторился снова. Возможно, однако, что я помиловал бы герцога, если бы Мюрат передал мне высказанное герцогом желание. Конечно, он не был бы казнен, если бы я его принял, хотя закон определенно осуждал его, так как никакие мотивы не могли позволить ему устраивать заговоры на наших границах и оплачивать 60 разбойников, чтобы убить меня. Не я низложил Бурбонов с престола; поистине они могут пенять только на себя. Вместо того чтобы преследовать их и плохо обращаться с их друзьями, я предложил им пенсии и открыл двери для их слуг. На мой образ действий они ответили тем, что стали вооружать убийц. Кровь рождает кровь. Я, однако, всегда отвергал предложения, которые мне делали. За миллион с головы я тоже нашел бы людей, которые наносили бы свои удары более метко, чем Жоржи, но такие методы были недостойны меня. Если бы я узнал о каком-нибудь заговоре против их жизни, я предупредил бы Бурбонов. Я помиловал Полиньяков и Ривьера, потому что они вступили в заговор, движимые искренним убеждением, и потому что общественная мораль была достаточно удовлетворена казнью простых убийц. Не на меня и даже не на деятелей революции должны жаловаться Бурбоны за свое изгнание; причина смерти короля Людовика XVI — это Кобленц. В архивах есть документы, не оставляющие никаких сомнений на этот счет. Эти документы разоблачают интриги, компрометирующие только высшие круги эмиграции. Они совершили, без сомнения, большое преступление, погубив короля. Так как я непричастен к этой катастрофе, то Бурбоны не имеют права устраивать заговоры против моей жизни. Если бы не я вступил на трон, то его занял бы кто-нибудь другой, ибо нация не хочет Бурбонов. Затем император вновь заговорил о Талейране. — Он ваш друг, — сказал он мне и прибавил: — Это интриган, человек крайне аморальный, но очень умный и несомненно самый способный из всех министров, которые у меня были. Я долго сердился на него, но теперь у меня нет больше раздражения против него. Он снова мог бы сделаться министром,

если бы захотел. До того, как началась кампания, я думал направить его в Варшаву, где он принес бы мне большую пользу, но денежные интриги с его стороны и будуарные интриги со стороны герцогини Бассано помешали этому. Герцогиня считала, что его возвращение к делам означает вероятное удаление ее мужа из министерства иностранных дел, за которое и муж и жена цепляются больше всего; она пустила поэтому в ход все, чтобы отстранить от этого министерства Талейрана. Организовав вместе с одним из своих друзей интригу, она сумела до такой степени разгневать меня против Талейрана, что я едва не отдал приказ о его аресте. Позднее я узнал из донесений полиции, как в действительности обстояло дело. Эта интрига была причиной назначения аббата де Прадта, которого так расхваливали мне Савари и Дюрок, а также Маре, считавший его фениксом, потому что он умеет пускать разные словечки и писал статьи в газетах. Из-за этого выбора мне не удалась моя кампания. Биньон[285] стоит в тысячу раз больше, чем он, и лучше вел бы дела в Варшаве. Талейран через посредство салона г-жи Тышкевич сделал бы там больше, чем Маре и аббат де Прадт со всем их усердием, их болтовней и их польскими комбинациями, которые, по их милости, не принесли мне никакой пользы при теперешнем русском походе, а между тем этот поход служил делу самой Польши.

Император еще раз вспомнил ошибку герцога Бассано, позволившего туркам заключить мир с Россией, а Швеции — отойти от союза с нами, потому что он не сумел дать несколько миллионов, которые были бы грошевой платой за сохранение таких ценных союзов. Император добавил еще несколько рассуждений о том, как самые важные дела не удавались из-за неповоротливости, непредусмотрительности, из-за опоздания на один день, а иногда всего лишь на один час.

— Я не сержусь на Маре, — сказал он, — так как я не могу заподозрить его намерения и еще менее я могу поставить под вопрос его привязанность ко мне. Счастье министров, что во Франции они не несут такой ответственности, как в Англии; им пришлось бы туго. Ведь не могу же я сам делать все. Только один Маре знал мои секретные намерения; сказав ему о них, я вправе был думать, что он понял меня и будет действовать соответственным образом. Он не видел, что при теперешней кампании суть заключается не в каких-нибудь интригах и разглагольствованиях поляков, а в том, какие силы выставит Польша.

Я заметил императору, что, как мне кажется, в глазах общественного мнения его могущество не выросло за последние два-три года, а на мой взгляд, мы даже идем к упадку, по мере того как растем. Я воздал затем

должное благородному характеру герцога Бассано, что по-видимому, доставило удовольствие императору. Однако я сказал, что общественное мнение гораздо больше обвиняет его министра в том, что он был сторонником теперешней войны и вообще не противился воинственному пылу его величества, чем в том, что он допустил заключение турками мира и заключение шведами союза с Россией, так как все знают, что правит только сам император, а его министры не привыкли и не имеют полномочий решать вопросы, распоряжаться миллионами и собственною властью посылать представителей с такими полномочиями. Я добавил, что если бы герцог Бассано действовал так, как теперь говорит император, то он тем самым ясно показал бы России, что война, назревание которой мы отрицали еще в Дрездене, уже решена. Такие дипломатические шаги вредили бы политике императора.

Император ответил, что если можно было опасаться какого-нибудь нескромного разоблачения в Швеции, то этого не могло случиться в Константинополе и еще менее в Бухаресте, где был турецкий уполномоченный. Когда я несколько усомнился в этом последнем утверждении, император раздраженно сказал мне:

— Когда я вам что-нибудь говорю, то можете мне верить.

Разговор был прерван нашим прибытием на почтовую станцию, где был заказан ужин. Император, казалось, был недоволен мною. Он устал, а к тому же не мог побриться, как он хотел, так как Рустан еще не прибыл. По обыкновению, он прилег на диван, который можно найти почти во всяком польском доме. Он полежал около часа, а за ужином вновь пришел в хорошее настроение. В этот вечер мы встретили прекрасный прием. Было ли это в мою честь? Или же смотритель мариампольской почтовой станции, приближаясь к концу своего путешествия, уже не так боялся проболтаться г-ну супрефекту? Не знаю. Так или иначе, мы находились в хорошем и красивом доме; нас угостили превосходным ужином, а хозяева дома принимали нас так внимательно и так почтительно, как если бы они знали, что у них в гостях император.

Каждое утро между 8 и 9 часами, если на перекладном пункте можно было добыть кофе, император выпивал чашку кофе с молоком, иногда — не выходя из саней. Вечером между 5 и 9 часами, в зависимости от того, когда мы оказывались на перекладном пункте, берейтор, который ехал впереди нас в качестве курьера, заказывал для нас ужин. Мы отдыхали час или полтора перед ужином, чтобы дать возможность поесть также г-ну Вонсовичу и берейтору. Иногда по прибытии на перекладной пункт император недолго занимался своим туалетом, умывался, а затем

растягивался на диване, так как с тех пор, как мы покинули его дормез, ему не удавалось больше ехать лежа. Я пользовался этим временем, чтобы записать наспех наши разговоры, по крайней мере в той части, которая казалась мне заслуживающей некоторого интереса.

10 декабря за два часа до рассвета мы приехали в Пултуск, где я отпустил нашего милейшего почтового смотрителя; император приказал выдать ему награду. Пока перепрягали лошадей, император, промерзнув на открытом воздухе, зашел к смотрителю станции. Самого смотрителя не было дома. Его молодая жена поторопилась развести огонь, приготовить кофе и горячий суп, который мы попросили, так как сильно страдали от холода в течение этой ночи. Пока хозяйка готовила кофе, маленькая служанка-полька, полураздетая, раздвигала дрова и раздувала никак не желавший разгораться огонь, рискуя выжечь себе глаза. Император спросил бедняжку, какое жалованье она получает. Она получала такие гроши, что, по мнению императора, этих денег едва могло хватить даже на ее грубую одежду. Он поручил мне дать ей несколько наполеондоров и сказать ей, что это — ей на приданое. Бедная девушка не верила своим глазам, и я думаю, что она вполне поняла свое счастье и сосчитала свои богатства лишь после нашего отъезда.

Император заметил, что небольшой суммой денег можно сделать счастливыми многих людей из этого класса.

— Мне не терпится, Коленкур, — сказал он при этом, — дожить до всеобщего мира, чтобы отдохнуть и иметь возможность делать добро. Каждый год мы будем тогда путешествовать по Франции в течение четырех месяцев. Я буду ехать на своих лошадях и проезжать ежедневно небольшое расстояние. Я загляну внутрь хижин нашей прекрасной Франции. Я хочу посетить департаменты, которым недостает путей сообщения, хочу строить каналы, дороги, оказывать поддержку торговле и поощрять промышленность. Во Франции предстоит бесконечно много дела: есть департаменты, где впервые надо создать все. Я уже много занимался вопросом о разных улучшениях, и по моему распоряжению министерство внутренних дел собрало наиболее существенные данные на этот счет. Через десять лет меня будут благословлять столь же горячо, как теперь меня, быть может, ненавидят. Торговые круги в некоторых приморских городах столь эгоистичны, что становятся несправедливыми. Они хотят непрестанно зарабатывать; что им за беда, если другие терпят ущерб. Что бы ни говорили, но это я создал промышленность во Франции. Еще несколько лет упорной настойчивости, еще несколько бивуаков, а потом Марсель и Бордо быстро нагонят те миллионы, которые они сейчас

упустили.

Так как кофе и супа пришлось ожидать, то император, разомлевший после мороза вблизи разгорающегося огня, задремал. Я воспользовался этим, чтобы взяться за свои записи. Проснувшись, он быстро проглотил свои невкусные блюда, и мы снова сели в сани. Хотя снег был по колено, император по дороге посетил укрепления в Серадзе и варшавском предместье Праге. Мы всячески отряхивались от снега, прежде чем снова забраться в нашу клетку; я говорю "клетку", потому что ветхое сооружение, в котором мы ехали, имело форму клетки. Стояли такие морозы, и мы были так счастливы, что нашли способ продвигаться вперед, несмотря на глубокий снег, что тщеславие императора проснулось только у ворот Варшавы. Выйдя из саней и ступив на мост, мы не могли не предаться смиренным размышлениям по поводу скромного экипажа царя царей. Это был старый ящик когда-то красного цвета, который поставили на полозья; он имел четыре окна, или, точнее, четыре оконных стекла, вставленных в источенные червями, очень плохо задвигавшиеся рамы. Эта развалина, на три четверти сгнившая, разъезжалась по всем швам и свободно пропускала ветер и снег; мне приходилось каждую секунду очищать наше помещение от снега, чтобы не промокнуть, когда он растает на наших сиденьях.

ГЛАВА VIII
В САНЯХ С ИМПЕРАТОРОМ НАПОЛЕОНОМ. ПОСЛЕ ВАРШАВЫ

В Варшаве. — Де Прадт. — Польские министры. — Отъезд из Варшавы. — Кутно. Разговоры с императором: Англия; внутренние дела империи; министры Камбасерес, Фуше, Годен, Фонтан. — Познань. — Разговор о Кларке. — Глогау. — Бунцлау.

Все наши неприятности не мешали императору быть очень веселым. Казалось, он был в восторге от того, что находится в Варшаве, и очень интересовался, узнают ли его. Я думаю, что он не был бы недоволен, если бы кто-нибудь его узнал, так как он шел по городу пешком, и мы вновь уселись в наши скромные сани лишь после того, как прошли через городскую площадь. Было так холодно, что люди, которые могли греться дома, не разгуливали по улицам, и шуба императора, крытая зеленым бархатом и с золотыми бранденбурами, могла привлечь внимание лишь нескольких скромных прохожих, которые гораздо больше торопились поскорее добраться до дома и до печки, чем узнать имена и звания путешественников, костюм которых невольно бросался в глаза. Прохожие оборачивались, глядя на нас, но не останавливались. К тому же было трудно узнать императора, так как меховая шапка закрывала ему половину лица. Мы остановились в Саксонской гостинице, куда прибыли часов в 11; Амодрю опередил нас лишь на очень короткое время. Я немедленно послал человека к генеральному директору почты, чтобы заказать до Глогау лошадей для герцога Виченцского: по-прежнему знатным путешественником был я, а император был моим секретарем г-ном де Рейневалем.

Устроив императора возле плохо горевшего камина в одном из помещений нижнего этажа в глубине двора, я отправился к нашему послу, который жил неподалеку — в Саксонском дворце. При входе я встретил одного из секретарей посольства, де Рюминьи, который был в свое время при мне в Петербурге, и эта встреча меня очень обрадовала. Он доложил обо мне послу, который был немало удивлен, когда увидел меня, и, я

думаю, был столь же удивлен моим костюмом; но он еще больше был поражен и не хотел верить ни своим глазам, ни своим ушам, когда я ему объявил, что император находится в Саксонской гостинице и вызывает его к себе.

— Император! — несколько раз с великим изумлением повторил он.

Потом, придя в себя, он спросил:

— Как вы оказались здесь, герцог? Как чувствует себя император?

Таковы были первые вопросы г-на де Прадта.

— Император едет в Париж. Мы оставили армию в Сморгони; она, должно быть, заняла позиции в Вильно.

— Императору было бы лучше здесь, чем на постоялом дворе.

— Он хочет оставаться инкогнито; мы тотчас же едем дальше.

— Не хотите ли вы закусить, герцог, немного бульону, например?

— Я буду завтракать с императором в гостинице. А вы пошлите туда бутылку бургундского вина. Его величество предпочитает это вино; так как он не имел его в дороге, то будет очень доволен, если получит его здесь.

— В добром ли здоровье император? В каком состоянии армия?

— Армия в печальном состоянии — она терпит нужду, голод и холод. Только одна гвардия еще сохранилась в целости.

— Но герцог Бассано говорит только о победах…

— Действительно, мы побили русских во всех сражениях, даже при переходе через Березину, где у них было взято 1600 пленных; я сам их считал.

— Герцог Бассано сделал из этой цифры 6 тысяч…

— Во всяком случае мы побили русских, которые должны были раздавить нас.

— Но зачем делать из этого 6 тысяч и писать послу, которому при таких серьезных обстоятельствах необходимо знать правду, писать то, что пишут редактору "Монитора"?

— Какое значение имеет число пленных, когда все равно нельзя их увести?

— Кто же этому мешает?

— Когда наши собственные солдаты умирают от голода и когда ими усеяна вся дорога, то как мы будем кормить пленных?

— Велики ли наши потери?

— Слишком велики, — ответил я с глубоким вздохом. — Таковы результаты, вполне достойные вдохновителей этой войны. Какое это было безумие!

— Никто не был ее вдохновителем. Никто не обманывал императора

насчет печальных результатов, но какое это имеет значение? Сейчас вам вполне воздают должное, герцог. Известно, что вы сделали все, чтобы помешать этой войне. Я тоже не побоялся вызвать недовольство императора и разъяснял ему его положение, а также то состояние, в котором находится Польша. Я беспрестанно пишу герцогу Бассано, но он все время отвечает мне сообщениями о победах, которые не обманывают здесь никого… Польша разорена. Она раздавлена.

Я прервал разговор, покинув посла, чтобы тот мог переменить свой утренний костюм, и вернулся к императору. Император ждал де Прадта с тем большим нетерпением, что он был недоволен им и спешил поскорей показать ему это. Начиная от Серадзя император беспрестанно твердил мне одно и то же о Прадте; он тем более раздражался, что рассчитывал вскоре его увидеть. Именно из-за своего недовольства он не остановился у посла, как я ему предлагал, что было бы более удобно и более приличествовало бы случаю, так как император был намерен принять нескольких членов польского правительства.

— Я не хочу, — говорил он, — останавливаться у человека, которого я собираюсь уволить. Я имею слишком много оснований жаловаться на него.

Я умалчиваю обо всем том, что император прибавлял к этому и часто повторял затем в своем раздражении против де Прадта. Он обвинял его в скупости, в недостатке такта, в неправильном руководстве общественным мнением.

— Он испортил все мои дела своим бездельничаньем, — говорил император, — он болтает, как учитель гимназии, и это все. Да, частенько я чувствовал, как мне не хватает здесь Талейрана.

Как раз в тот момент, когда император произносил эти последние слова, появился наш посол. Император принял его холодно. Де Прадт волнуясь приблизился к императору и спросил, как он себя чувствует. В его тоне был оттенок участия. Но, как мне показалось, из-за этого тона его слова имели еще меньший успех. Император, который предпочитал бы, чтобы его порицали и даже критиковали, но отнюдь не жалели, был особенно мало расположен терпеть участливый тон со стороны человека, против которого был так раздражен, тем паче что де Прадт своим тоном ставил себя, пожалуй, на слишком равную ногу с ним. Де Прадт, заметив производимое им впечатление, стал более сдержанным и холодным. Эти взаимные чувства показали мне, что я окажу услугу послу, если избавлю его от свидетеля и дам ему возможность объясняться с императором с глазу на глаз; я поэтому вышел. По таким же самым мотивам император хотел, чтобы при разговоре присутствовало третье лицо, так как тогда

объяснения были бы более неприятны для де Прадта; он сказал мне, чтобы я остался, но когда я заметил ему, что мне надо отдать кое-какие распоряжения и купить шубу, чтобы потеплее укрывать его в дороге, он позволил мне удалиться и поручил мне вызвать к нему графа Станислава Потоцкого[286] и министра финансов, а затем приготовить все, чтобы мы могли вскоре же уехать, и немедленно возвратиться. Я купил шубу для императора, который сильно страдал от холода по ночам, хотя я и прикрывал его половиной моей шубы, из-за чего мерз сам и, кроме того, должен был сидеть в очень неудобной позе.

Распорядившись, чтобы обед был готов пораньше, я возвратился в комнату, соседнюю с той, где находился император, чтобы послать корреспонденцию в Вильно и отправить берейтора, который должен был ехать впереди нас до Познани. Так как дверь, разделявшая эти две комнаты, закрывалась плохо, то я не мог не слышать, как император предъявляет своему послу все те обвинения против него, которые он мне уже перечислял. В заключение он ему сказал, что ни его тон, ни его поведение и вообще ничто в нем не было французским. Император упрекал его в том, что он составляет планы кампании и разыгрывает из себя военного, ничего в этом не смысля; он должен был ограничиться политикой и своими церковными службами, так как император послал его в Варшаву для того, чтобы он там с честью представлял Францию, а не для того, чтобы он делал там сбережения и копил себе состояние, которое было бы ему и так обеспечено, если бы он служил как следует, но он делал только глупости.

Де Прадт старался оправдаться, ссылался на свою преданность и на свое усердие, говорил, что сожалеет, если он ошибался, и заявлял, что старался действовать как можно лучше. Он защищал герцогство Варшавское и говорил, что оно не виновато, если не сделало для успеха русского похода всего того, чего хотел император. Он перечислял принесенные герцогством жертвы и выставленные им вооруженные силы, которые он определял более чем в 80 тысяч человек. Он подчеркивал, что в Польше все разорены, что в стране нельзя найти ни гроша и надо оказать ей денежную помощь, если мы хотим что-нибудь получить от нее. Чем больше де Прадт защищался, тем больше император сердился. Он возлагал на него ответственность за те неисчислимые последствия, к которым могло привести его небрежное отношение к набору войск, и добавил, что даже из представленного самим де Прадтом отчета он видит, что он создал себе глупую популярность, а между тем такой умный человек, как он, должен был бы и сам понимать и уметь внушить полякам, что продолжать борьбу,

не давая средств на доведение ее до конца, значило вредить самим себе.

Император позвал меня: по-видимому, посол ему надоел. И жестами и пожиманием плеч он показывал это столь ясно, что я был сконфужен не менее, чем его "пациент", который сидел, как на иголках. Я хотел оказать услугу им обоим, а потому вышел на минуту, а затем вернулся и доложил императору, что обед готов; но он тем временем снова начал перечислять свои обвинения и то с ожесточением, то с холодным презрением продолжал этот перечень, но вдруг остановился посреди фразы, заметив на камине какую-то карточку. Он быстро схватил ее, написал на ней несколько слов и передал мне. Тем временем де Прадт старался сказать несколько слов в свое оправдание и сваливал вину на всех других представителей французской администрации, на которых он, как и на наших генералов, очень жаловался, причем, как мне казалось, жалобы его в некоторых отношениях были не лишены основания.

Эта критика военных действий еще более раздражала императора, который не позволил де Прадту критиковать даже операции Шварценберга. Что касается корпусов, находившихся вблизи границ герцогства, то император одобрял их операции отнюдь не больше де Прадта, но, как он сказал потом, он не мог позволить всякому аббату рассуждать об этом. Император говорил об обороне герцогства и считал, что ее легко обеспечить при помощи набора, а посол считал, что герцогство открыто для неприятельских ударов и находится под большой угрозой. В своих рассуждениях император все время исходил из того предположения, что армия удержится на позициях в Вильно, а князь Шварценберг сделает все, что должен. Император утверждал, что будет прикрывать и защищать герцогство Варшавское при помощи контингентов, набранных в Польше, или при помощи всеобщего ополчения. Он хотел даже прикрывать зимние квартиры своих армий при помощи польских казаков; он не переставал говорить о них, но за отсутствием денег их даже не собрали на сборных пунктах.

Разговор принял такой оборот, что в нем не было уже ничего неприятного лично для де Прадта, и посол, воодушевившись, очевидно, военными спорами, не без основания, как мне казалось, хотя, пожалуй, слишком назидательным тоном возражал против тех положений, которые император высказывал тоном хозяина, желающего, чтобы тот, кто не согласен, молчал. Он даже, кажется, позволил себе несколько более решительные возражения против императора, который допускал это только при беседах с глазу на глаз. Он видел спасение только лишь в том, чего у нас уже не было: в хорошо организованных и хорошо оплачиваемых

армиях; он уверял, что без денег нельзя надеяться получить от герцогства ни единого человека, ни единой лошади.

— Чего же поляки хотят? — с живостью возразил император. — Ведь именно ради них идет борьба, ради них я израсходовал мою казну. Если они сами не хотят сделать ничего для своего дела, то не к чему так воодушевляться идеей восстановления Польши, как они это делают.

— Они хотят быть пруссаками, — ответил посол.

— Почему не русскими? — возмущенно возразил император.

Он повернулся к де Прадту спиной и велел ему прийти через полчаса с двумя вызванными к императору польскими министрами.

После ухода де Прадта император долго и ожесточенно громил его, обвиняя его (как он только что сказал ему) в том, что он боится русских, в том, что он в течение всей кампании скорее пугал, чем успокаивал поляков, и погубил все наше дело в Польше.

— Немедленно исполните приказ, который я вам дал, — резким тоном сказал он мне.

Под именем приказа он разумел те несколько слов, которые написал на карточке и передал мне в присутствии де Прадта: "Сообщите Маре, что из страха перед русскими архиепископ Малинский, потерял голову; пусть он его уволит и поручит дела кому-нибудь другому".

Карточка лежала у меня в кармане. Я продолжал ходить с императором по комнате, не отвечая ему и не выполняя его приказания.

Видя, что он молчит, я напомнил ему, что обед уже давно стынет; он не обратил на это внимания и снова повторил мне приказание. Немного погодя я высказал мысль, что такая перемена произведет дурное впечатление на варшавский правительственный совет.

— Если де Прадт, как это думает ваше величество, ухаживал за его членами, сказал я императору, — то в теперешний трудный момент он будет им особенно приятен. Нет никаких препятствий к тому, чтобы оставить его на этом посту еще некоторое время. Он постарается исправить свои ошибки, а обстоятельства будут подогревать его рвение. Он будет действовать даже лучше, чем кто-либо другой. А иначе он станет говорить, что вы его сместили за защиту интересов герцогства, и это произведет дурное впечатление.

Император в ответ перечислил различные приказания, которые в свое время герцог Бассано должен был посылать де Прадту по поводу наборов. Он долго и подробно говорил затем о средствах, переданных в распоряжение де Прадта и герцогства Варшавского, и в заключение сказал:

— Вы напишите Бассано из Познани. Идем обедать, чтобы успеть

повидать министров перед отъездом.

Чтобы император не переменил своего решения, я на его глазах бросил карточку в огонь. Император был озабочен делами и спешил повидать министров и отправиться в путь, а потому обед длился недолго, хотя мы были не очень сыты после чашки кофе в Пултуске.

— Дела кормят, а недовольство насыщает, этот аббат разозлил меня, — сказал император. — Какой нахал!

Император хорошо принял министров, явившихся в сопровождении де Прадта. Они заговорили с императором об опасностях, которым он подвергался, и выразили радость по поводу того, что видят его в добром здоровье; уже одно его присутствие было для них гарантией лучшего будущего и т. д., и т. д… Император решительно отрицал, что он мог подвергаться какой бы то ни было опасности. Он шутя заметил, что отдых существует только для королей-лежебок, и сказал, что ему лишения идут впрок. Он сказал им, что армия у нас многочисленная и еще насчитывает больше 150 тысяч человек, что было приблизительно верно. Русские, по его словам, не могли устоять перед нами. Он бил их повсюду, даже на Березине. Это были уже не прежние солдаты Эйлау и Фридланда. Не пройдет и трех месяцев, как у него будет такая же многочисленная армия, как та, с которой он начинал кампанию. Его арсеналы полны. У него есть все, что нужно, чтобы собрать прекрасную армию и хорошо снабдить ее. Из своего кабинета в Тюильри он будет внушать больше почтения Вене и Берлину, чем из своей ставки.

— У меня больше веса на моем троне в Тюильри, чем когда я нахожусь во главе моей армии, — сказал он.

Он говорил затем о Маренго и Эсслинге[287]; оба раза сражение было сначала почти проиграно, а через два часа победа отдавала Австрию в его власть.

Я вышел в другую комнату, чтобы проверить, все ли готово. Сани были запряжены и стояли у ворот. Я уплатил хозяину гостиницы, отдал несколько распоряжений и записал любопытный разговор, который только что слышал. Свой разговор с послом, а также разговор императора с ним я записал после обеда, когда император занимался своим туалетом. Когда я снова мог прислушаться к беседе, император говорил, что его неудачи объясняются только климатом, и признавал, что, пожалуй, слишком долго оставался в Москве: он послал Лористона в русскую ставку и думал, что мир будет заключен. Он сказал, что армия будет держаться на позициях в Вильно, признал, что русские проявили твердость характера, а также согласился, что пожар Москвы расстроил его планы. Он настойчиво

подчеркивал, что это сами русские сожгли свою столицу.

Император заявил затем, что и нам необходимо показать твердость характера, ибо, когда есть эта твердость, большие неудачи делаются источником изумительных успехов. Он горячо говорил о необходимости наборов в Польше, в частности о наборах казаков.

Министры подчеркивали крайне тяжелое положение страны. Император, казалось, не отдавал себе в этом отчета. Де Прадт благородно поддержал министров, когда они стали просить денег. Император согласился на выдачу нескольких миллионов из контрибуции, взысканной с Курляндии, и из запасов разменной монеты. В заключение он объявил министрам, что из Вильно вскоре сюда переедет дипломатический корпус. Потом он заговорил о своей поездке. В этот момент я вновь вошел в комнату. Министры уговаривали императора отдохнуть несколько часов, чтобы иметь время организовать для него подставы. Они спросили его, направится ли он в Силезию через Глогау.

— Да, через Пруссию, — ответил император.

Этот переезд через Пруссию, каким бы коротким он ни был, беспокоил императора и был ему неприятен. Он добавил, сославшись на меня, что я должен был отдать все необходимые распоряжения еще по приезде и что он поедет сейчас же. Он очень милостиво отпустил министров, которые снова уверили его в своей совершенной преданности; то же сделал и де Прадт, который, казалось, забыл предобеденные упреки.

После этого мы уселись в свои сани, и император стал снова изливать свою желчь, говоря о де Прадте и предаваясь самым горьким размышлениям насчет страха, обуявшего того, когда русские приблизились к герцогству, и насчет дурного примера, который он показал тогда. Император говорил, что его тон и манеры очень мало соответствуют полученному им воспитанию, тому обществу, в котором ему приходилось вращаться, и тому сану, которым он был облечен. Император все время твердил, что из-за де Прадта все было испорчено в Польше, из-за него не удался поход, и что напрасно он поддался глупым интригам и не послал в Варшаву Талейрана, который оказал бы ему там не меньше услуг, чем в свое время в Финкенштейне.

Мы, несомненно, уже преодолели самую трудную часть нашего пути, но нам еще оставался переезд через небольшой кусок прусской территории после Глогау, и этот кусок беспокоил императора больше, чем весь остальной путь. Мы ехали очень быстро, но так как у нас сломалась одна оглобля, то мы вынуждены были остановиться для ее починки в Кутно, и это задержало нас больше чем на два часа. Супрефект узнал императора и

постарался принять его наилучшим образом. Его жена и его свояченица, обе — хорошенькие польки, были в восторге, принимая у себя императора, и не знали, что бы еще такое сделать, чтобы показать ему, как они счастливы видеть его в добром здоровье. Нет более выразительных лиц, чем у поляков!..

Император, был тронут этим приемом, но так как он все же больше интересовался своими делами, чем разговором с дамами и с супрефектом, то он воспользовался временем, чтобы продиктовать мне несколько распоряжений для герцога Бассано и для Варшавы. Он предписал герцогу ускорить производство наборов и вооружение герцогства Варшавского, предупредил его о тех суммах, которые он согласился предоставить полякам, и приказал ему послать нового курьера в Вену и к князю Шварценбергу. Он дал также несколько распоряжений Лористону, который должен был отправиться в Варшаву. Он предложил ему остаться там, взять на себя командование всеми войсками, укрепить варшавское предместье Прагу, Модлип и Серадзь. Генералу Тайи[288] , которого он видел в Варшаве, он письменно повторил приказы, данные ему устно, и предписал ему задержать там все войска, которые будут проходить через Варшаву, организовать и вооружить национальную гвардию и т. д.

Император нервничал по поводу того, что я пишу медленно (так как мои пальцы окоченели на морозе и еще не отошли), и хотел писать сам, пока я переписывал начисто то, что он мне уже продиктовал; но его пальцы тоже окоченели, а так как его обычный почерк был и без того весьма мало удобочитаем, то в результате, написав два письма, он сам не в состоянии был прочесть, что он написал, и должен был вместо них продиктовать мне два новых. Обед положил конец этим занятиям корреспонденцией. Пока император обедал, я занялся отправкой депеш, а два написанных его рукой исторических черновика сохранил у себя. Починка саней закончилась, император наспех поел, а я захватил кусок хлеба, чтобы поесть в санях. Император, очень тронутый оказанным ему приемом, велел мне по приезде в Париж сказать Дюроку, чтобы он послал жене супрефекта какой-нибудь подарок.

Во время переезда от Варшавы до Кутно император говорил об Англии — о том, как трудно принудить ее к миру, если только какой-нибудь кризис ее кредита или какие-нибудь внутренние затруднения не заставят английское министерство пойти на мир. В этот момент он, по-видимому, сожалел, что его планы восстановления Польши поссорили его с Россией. Он соглашался, что Россия имела большое значение в континентальной системе.

— Румянцев, — прибавил он, — хорошо понимал, как для меня выгоден этот союз. Он, конечно, не гений, но зато человек со здравым смыслом, хорошо понимающий европейскую проблему в том виде, как она была намечена в Тильзите и трактовалась нами в Эрфурте, Он так хорошо понимал, какие выгоды мы извлекаем из союза с Россией при взаимоотношениях, существовавших у Франции с Англией, что не хотел верить в возможность наших военных действий против России, пока мы не перешли через Неман. Он все сомневался, чтобы я действительно хотел напасть на Россию. Он думал, что я хочу только заставить их закрыть глаза на прошлое и вся цель моих враждебных демонстраций — принудить их не принимать нейтральных судов и считать для себя большим счастьем, что я ограничиваюсь угрозами. Я не мог потерпеть это допущение мнимых нейтральных, так как англичанам оно служило лазейкой для обхода континентальной блокады. Я, однако, махнул бы на это рукой, и можно было бы прийти к соглашению, если бы я в состоянии был надеяться уговорить императора Александра предпринять большую экспедицию в Индию. При том обороте, который приняла наша борьба с Англией, когда ее правительство играло ва-банк, это было единственным средством заставить лондонских торгашей дрожать. Нация принудила бы тогда министров вступить в переговоры. Но уже в Эрфурте я заметил некоторое недоверие со стороны Александра. Сам же я вмешался в испанские дела, и они в той или иной мере служили помехой для других моих планов. Так как Александр и Румянцев не увлеклись вопреки моим ожиданиям идеей раздела Турции, то все планы, которые я наметил в Тильзите, должны были, по меньшей мере, видоизмениться. Я должен был обратить взоры в другую сторону.

Так или иначе, надо отбросить рутину, которой мы придерживаемся, наметить способы принудить Англию к миру, ослабить Россию, отстранить ее от европейских дел путем создания большого буферного государства. Отнять у Англии всякую надежду на организацию новой коалиции, подорвав могущество единственного большого государства, которое еще могло бы быть ее пособником, — таков великий и благородный план.

Император сказал мне еще, что он долго считал Константинополь предметом русских вожделений. Потом он прибавил, что надеялся на экспедицию или по крайней мере на большую демонстрацию против Индии, а одновременно хотел сделать демонстрацию на море, быть может, независимо от действий на суше; демонстрацию на суше он мог бы подкрепить значительными силами, если бы удалось убедить русских допустить в свои ряды французский корпус; однако, принимая во внимание

взгляды императора Александра и Румянцева, этого, пожалуй, было бы трудно добиться[289].

Насколько я понял, император представлял эту экспедицию следующим образом. От морского ведомства он истребовал сведения обо всем, что могло для нее понадобиться. Самым большим препятствием он считал невозможность заходить по дороге в порты и запастись достаточным количеством пресной воды для 25 30 тысяч человек на весь продолжительный рейс. Что касается других препятствий, то все они могли быть легко преодолены. Экспедиция направилась бы к Сурату. Высадка была бы произведена в каком-нибудь пункте побережья, населенного махратами[290] , прирожденными врагами англичан, готовыми в любой момент взяться за оружие против них. В экспедиции должны были бы участвовать 30 тысяч человек. Единственную остановку экспедиция сделала бы у острова Маврикия, чтобы запастись продовольствием, взять воду и оставить там своих больных. Их заменили бы 2 — 3 тысячи негров, за которых колонистам заплатили бы наличными деньгами.

Кроме этих тем, постоянными темами наших ежедневных разговоров были Франция, императрица и Римский король. Император без устали твердил, как он будет рад снова их увидеть; он говорил о них с чувством самой нежной привязанности. Императрицу он превозносил по всякому поводу. Он говорил о ее привычках в повседневной жизни с таким чувством и таким добродушием, что становилось хорошо на душе, а о Франции и французах он говорил с большим энтузиазмом, который так отрадно было наблюдать после всех перенесенных испытаний.

— Я притворяюсь более злым, чем это есть на самом деле, — как-то сказал он мне шутя, — потому что я заметил, что французы всегда готовы фамильярничать. Им недостает серьезности, и именно поэтому серьезность импонирует им больше всего. Меня считают строгим и даже жестоким. Тем лучше: это избавляет меня от необходимости быть таким на самом деле. Мою твердость принимают за безжалостность; я не обижаюсь на это, так как такому мнению мы отчасти обязаны господствующим у нас порядкам, и нам нет необходимости прибегать к репрессиям, хотя мы еще не забыли революцию и жили в одно время с поколениями, выросшими среди смут, без всяких моральных и религиозных идей. Да, да, Коленкур, я — человек. Что бы ни говорили иные, у меня тоже есть кое-что внутри, есть сердце, но это — сердце монарха. Меня не могут разжалобить слезы какой-нибудь герцогини, но меня трогают горести народов. Я хочу, чтобы они были счастливы, и французы будут счастливыми. Если я проживу еще

десять лет, благосостояние будет у нас всеобщим. Неужели вы думаете, что я не люблю доставлять людям радость? Мне приятно видеть довольные лица, но я вынужден подавлять в себе эту естественную склонность, так как иначе ею стали бы злоупотреблять. Я не раз испытал это с Жозефиной, которая постоянно обращалась ко мне с разными просьбами и даже ловила меня врасплох своими слезами, при виде которых я Соглашался на многое, в чем должен был бы отказать.

Император часто спрашивал меня, буду ли я в такой же мере счастлив вновь увидать дорогих мне людей. Проявление таких естественных, таких добрых подлинных чувств императора было мне невыразимо приятно. Я хотел бы, чтобы вся Европа могла слышать его слова и чтобы их эхо разнеслось повсюду. Я уверен, что в своих записях не упустил ни одного слова из этого разговора, который мне хотелось тогда продолжать до бесконечности.

Императору не терпелось поскорее получить эстафеты, чтобы прочесть письма из Франции, по которым он так скучал; это были бы первые письма, полученные после Сморгони. Он всячески торопил поэтому нашу поездку. В Познани мы пересекли дорогу, по которой армия шла через Кенигсберг.

В ожидании писем император по очереди перебирал всех своих министров. Он очень расхваливал великого канцлера Камбасереса, говоря, что это — человек, всегда дающий дельные советы, и выдающийся юрист. Его светлый и справедливый ум внес большую ясность в различные статьи наших кодексов, в частности в наиболее трудные статьи. Намекая на казнь короля, император сказал:

— Только из страха он не высказался за полное оправдание. Он далеко не был революционером. Это — человек, заслуживающий доверия и неспособный злоупотребить им; он всегда оправдывал оказываемое ему мною доверие. Это один из людей, наиболее заслуживающих уважения, которым они пользуются.

Что касается герцога Ровиго, то император говорил о нем, как о преданном ему человеке, с характером и самостоятельными взглядами. У него доброе сердце, говорил император; в сущности, он человек мягкий и всегда готовый оказать услугу. Его часто надували бы, если бы император его не останавливал; но он слишком корыстолюбив, что не понравилось императору и побудило его отнять у него откупную монополию на игорные дома; он постоянно просил у императора денег, хотя имел их более чем достаточно и его состояние оценивалось в 5 — 6 миллионов; общественное мнение относится к нему несправедливо, но по другой

причине. Его забрасывали камнями потому, что он присутствовал при казни герцога Энгиенского.

— Но, — сказал император, — он ведь получил приказ присутствовать там и должен был это сделать в качестве командира отборной жандармерии. Всякий другой на его месте повиновался бы точно так же. Он гораздо лучший человек и не такой инквизитор, как Фуше. Сейчас над Савари издеваются. Правда, довольно глупо выглядит, когда сумасшедший, выбравшийся из больницы для умалишенных, захватывает врасплох дивизионного генерала, министра полиции и препровождает его в тюрьму в самом центре столицы. Это происшествие с полным основанием смешит весь Париж, а смешное убивает людей наповал гораздо вернее, чем их глупости.

Потом император заговорил о герцоге Отрантском[291]:

— Этот — просто-напросто интриган. Он замечательно остроумен и легко владеет пером. Это — вор, который загребает обеими руками. У него должно быть многомиллионное состояние. Он был видным революционером, "мужем крови". Он думает, что искупит свои ошибки и заставит забыть их, если будет ухаживать за родственниками своих жертв и разыгрывать для видимости роль покровителя Сен-Жерменского предместья. Этим человеком, пожалуй, выгодно пользоваться, потому что он до сих пор еще продолжает быть живым знаменем для многих революционеров и, кроме того, обладает большими способностями, но я никогда не смогу доверять ему.

О герцоге Гаэтском, когда до него дошла очередь в этом обозрении министров, император сказал, что он — хороший финансист, аккуратный и честный человек, принесший большую пользу в своей области. О следующем, г-не де Барбэ-Марбуа , император заявил, что это — интриган с наружностью квакера и обманчивыми манерами честного человека.

— Он долго дурачил меня, — сказал император, — потому что проявлял твердость принципов и строгость суждения, когда речь шла о других людях и о разных событиях; я решил, что и к самому себе он не более снисходителен. Это — человек, недовольный всем, который льстит власти и в то же время ненавидит ее и клевещет на нее. По существу это человек беспринципный, завистливый критикан и бездарность. В результате неправильного представления об его способностях я в течение некоторого времени питал к нему большое доверие; я слишком поздно заметил, что ошибался, и эта ошибка едва не обошлась мне слишком дорого. В счетной палате он на месте; там он не сможет прозевать что-нибудь, а так как он подчеркивает перед общественным мнением свою

честность, то ему поневоле придется проявлять ее на своей новой должности.

Когда я заметил, что его считают порядочным и, главное, честным человеком, император ответил:

— О! Что касается честности, то он честен. Но что касается порядочности, то он только играет роль по существу это — интриган.

О Фонтане[293] император говорил:

— Он слишком угодлив. Но он очень талантлив. Он служит мне с большим рвением и в настоящее время хорошо руководит народным образованием. Революция сделала нас в слишком большой степени греками или римлянами; надо внушить нашим детям монархические идеи, это вполне соответствует взглядам Фонтана: по крайней мере он выставляет такие взгляды напоказ. Если бы я ему позволил, он зашел бы даже слишком далеко. Он человек умный, но ум у него маленький. Если бы я его не придержал, то он ввел бы у нас воспитание в стиле Людовика XV. Он думал, что это мне понравится. Я остановил его. Знаете, я ему как-то сказал: "Г-н Фонтан, оставьте нам по крайней мере республику литературы". Эти слова вновь направили его на путь истины. Я не боюсь энергичных людей. Я умею пользоваться ими и руководить ими; кроме того, я ничем не нарушаю равенства, а молодежь, как и вся нация, дорожит только равенством. Пусть у вас будет талант, я вас выдвину; будут заслуги я буду вам покровительствовать. Все знают это, и общая уверенность в этом идет мне на пользу. А Фонтан хотел сделать мне маркизов. Но маркизы теперь хороши только в комедии, да и там наши теперешние нравы развенчали их после того, как Моле покинул сцену, а Флери[294] был уволен. Мне нужны члены государственного совета, префекты, офицеры, инженеры, профессора. Нужно, следовательно, способствовать широкому развитию народного просвещения и немного закалить эти юные греко-римские головы. Суть в том, чтобы придать монархический дух этим греко-римским образам. Только такой и должна быть история. Я еще займусь народным просвещением, и это будет моей первой заботой после заключения мира, так как в этом — гарантия будущего. Я хочу, чтобы народное образование и даже часть того образования, которое получит мой сын, было доступно для всех. У меня есть большой проект на этот счет.

К моему великому сожалению, этот разговор был прерван нашим прибытием в Познань. Мы приехали туда до рассвета и остановились в Саксонской гостинице. Первыми словами императора были:

— Дайте мне эстафеты.

Согласно отданному мною заранее распоряжению директор почты задержал две эстафеты, проходившие через Познань. Император был в таком нетерпении, что если бы у пего под рукой был нож, он вспорол бы почтовые сумки. Так как пальцы мои онемели от мороза, то я не мог достаточно быстро составить условную комбинацию из цифр секретного замка, и император нервничал от нетерпения. Наконец, я мог передать ему письмо императрицы и письмо мадам Монтескью[295] с бюллетенем о Римском короле. Это были первые сообщения из Франции, полученные после Вильно, так как нам не везло и мы не встретили эстафеты между Вильно и Мариамполем. В пути император все время рассуждал о том впечатлении, которое, вероятно, произвело во Франции отсутствие всяких сообщений из армии. Легко поэтому представить себе, с каким интересом он принялся за депеши великого канцлера и других министров. Ему казалось, что я вскрываю конверты недостаточно быстро, — так велико было его нетерпение. Он больше пробегал страницы, чем читал их, чтобы поскорее составить себе представление обо всем. Закончив этот просмотр, он снова взялся за те депеши, которые показались ему наиболее важными. Он оказал мне честь и прочитал мне письма императрицы и мадам Монтескью, а потом сказал:

— Хорошая у меня жена, не правда ли? Подробности, которые императрица сообщала ему о сыне и которые подтверждались воспитательницей Римского короля, привели его в восторг. В тот момент этот человек, которому дела причиняли такие заботы, был только добрым, образцовым мужем, самым нежным отцом семейства. Не могу выразить, как приятно мне было смотреть на него в этим моменты. Во всех его чертах светились радость и счастье, и это трогало меня до глубины души. Он дал мне прочесть письма великого канцлера, военного министра и министра полиции.

Пока император продолжал просматривать свою корреспонденцию, я воспользовался свободной минутой, чтобы отдать распоряжения по поводу нашего дальнейшего путешествия. Так как наш дормез не мог нас догнать, а император, когда мы пересаживались в сани, не дал мне времени взять оттуда шкатулку с деньгами, то мои средства были исчерпаны[296] . Я взял денег у директора почты. Я предупредил также о своем приезде генерала, состоявшего комендантом Глогау, зная, что тогда будут открыты городские ворота и приготовлен ужин; перед отъездом у меня осталось два часа свободного времени, и я потратил их на то, чтобы привести в порядок свои записи и пополнить те из них, которые относились к последним

разговорам, происходившим после нашего отъезда из Варшавы. Император отдыхал около часа. Он позавтракал, и мы снова двинулись в путь; теперь мы ехали навстречу почте, и время казалось нам короче, тем паче, что эстафеты приходили одна за другой по мере того, как мы продвигались вперед. Таким образом, за один день мы проводили много дней вместе с нашими друзьями, читая их письма. Каждое письмо приносило императору новую радость. Он давал мне читать большинство получаемых им депеш за исключением лишь присланных почтой перлюстрированных писем. Только один раз он дал мне прочесть несколько выдержек и сказал:

— Какое безрассудство! Ну, не глупы ли люди! Я не настолько уважаю их, чтобы быть злым, как говорят обо мне, и мстить за себя!

Слова императора были вполне справедливыми. Безрассудство и беззастенчивость авторов писем лучше всего доказывали, что император не был ни злым, ни мстительным, так как в данном случае он мог бы проявить строгость, не совершая никакой несправедливости; я видел в Париже двух лиц, к которым непосредственно относилось его замечание; они не имели ни малейшей неприятности, а между тем один из них был придворным!

Получаемые императором сведения о положении в Париже и во всей Франции доставляли ему большое удовольствие. Все так привыкли видеть, как он торжествует над препятствиями и извлекает выгоды даже из событий, кажущихся самыми неблагоприятными для него, что доверие мало пострадало от долгого молчания, на которое все жаловались. Перерыв корреспонденции не произвел в полной мере того впечатления, которого император опасался.

— При нынешнем положении, — сказал мне император, — эта уверенность досадное явление, так как бюллетень произведет ошеломляющее впечатление. Беспокойство было бы лучше. Оно подготовило бы людей к сообщению о несчастьях.

Император говорил затем о военном министре[297], которого назвал настоящим придворным льстецом и самым тщеславным человеком, какого он когда-либо видел.

— Ему посчастливилось убедить всех, что его дед вышел из Ноева ковчега. Он — человек честный, с посредственными способностями, бесхарактерный и до такой степени льстивый, что никогда не знаешь, в какой мере можно доверять высказываемым им мнениям. Он все еще не знает меня. Он думает, что я подобен Людовику XV, что надо меня обхаживать и угождать мне. Если бы у меня были любовницы, он был бы, наверное, самым ревностным их прислужником. Он по-прежнему видит в деле Мале большой заговор с многочисленными разветвлениями. Он хотел

бы арестовать многих якобинцев, в том числе и видных людей. Мне кажется, однако, что правы Паскье и Савари и что мысль об этом дерзком предприятии зародилась лишь в нескольких безумных головах. Хорошо, что не арестовали никого из видных лиц, так как строгости раздражают. Если есть виновные, то они не укроются от полиции, и не надо, чтобы правительство ошибочно предавалось неуместным подозрениям. Европа, как и Франция, тоже пусть лучше видит в этом заговоре только замысел сумасшедшего. В этом вопросе Савари правильно предугадал мои намерения.

Когда мы приехали в Глогау вечером, генерал был немало удивлен, увидев, что обер-шталмейстер — это сам император. Император много расспрашивал о положении в городе и в стране, отдал ряд распоряжений и едва успел поужинать, — до такой степени он спешил вновь двинуться в путь. Мы отправились в экипаже, который генерал предложил императору; император принял его предложение, так как невозможность устроиться в санях лежа очень утомляла его.

Будучи уверен, что снег помешает нам продвигаться на колесах, я из предосторожности приказал, чтобы наши верные сани следовали за нами, и хорошо сделал, так как в экипаже мы могли ехать только шагом, и поэтому вскоре же после Глогау вновь заняли свои места в санях, хотя там было менее удобно. Мы уселись в наши скромные сани полузамерзшими, и лучше бы мы совсем не покидали их; император не мог заснуть и говорил об армии, в частности о том, что при нашей быстрой езде мы не сможем получать сообщения от нее. Ему не терпелось доехать до Саксонии. Предстоящий переезд через Пруссию был ему не по душе, и между нами состоялся следующий разговор:

— Если нас арестуют, Коленкур, то что с нами сделают? Как вы думаете, узнают меня? И знают ли, что я здесь? К вам, Коленкур, в Германии относятся довольно хорошо; вы говорите по-немецки; вы оказывали покровительство смотрителям почтовых станций и забрали всех моих жандармов, чтобы дать им охрану. Они не допустят, чтобы вас арестовали и плохо обошлись с вами.

— Да, конечно, они немного помнят это покровительство, которое не помешало тому, чтобы их ограбили.

— Ба! Они страдали в течение 24 часов, но вы ведь заставили вернуть им лошадей. Бертье только и говорил со мной, что о ваших требованиях в их пользу. Бывали ли вы в Силезии?

— С вашим величеством.

— Значит, вас здесь не знают?

— Нет, государь.

— Я приехал в Глогау только после закрытия городских ворот. Если люди генерала или курьер не проболтались почтальону, то никто не может знать, что я нахожусь в Пруссии.

— Конечно. Да и никто не заподозрит, что в этих скверных санях так скромно путешествует император. Что же касается обер-шталмейстера, то он не настолько важная особа, чтобы пруссаки скомпрометировали себя, захватив его. Поездка вашего величества совершается так быстро, что на нашем пути о ней пока еще никто не знает. Чтобы попробовать выкинуть какой-нибудь фортель против нас, нужен был .бы какой-то сговор. Любой человек, решительный и полный ненависти, уже успел бы собрать трех или четырех таких же людей себе на подмогу.

— Если бы пруссаки нас арестовали, что бы они с нами сделали?

— Если бы это не было подготовлено заранее, то, не зная, что с нами делать, они бы нас убили. Надо, следовательно, защищаться до последней крайности. У нас могут быть хорошие шансы: нас четверо.

— Ну, хорошо, но если вас возьмут живым, то что с вами сделают, г-н герцог Виченцский? — шутливым тоном спросил император.

— Если меня захватят, то это будет из-за моего секретаря; мне придется тогда плохо.

— Если нас арестуют, — с живостью сказал император, — то нас сделают военнопленными, как Франциска I. Пруссия заставит вернуть ей ее миллионы и потребует вдобавок еще новые миллионы.

— Если бы они отважились на эту попытку, то мы не отделались бы так дешево, государь!

— Думаю, что вы правы. Они слишком боятся меня; они захотят держать меня в заточении!

— Это весьма вероятно.

— А боясь моего бегства или грозных репрессалий со стороны Франции с целью меня освободить, пруссаки выдали бы меня англичанам.

— Возможно!

— Вы только представьте себе, Коленкур, какая бы физиономия была у вас в железной клетке на площади в Лондоне?

— Если бы я тем самым разделял вашу участь, государь, то я бы не жаловался!

— Речь идет не о том, чтобы жаловаться, а о том, что может случиться в близком будущем, и о той физиономии, которую вы корчили бы в этой клетке, запертый там, как несчастный негр, которого обрекли на съедение мухам и обмазали для этого медом, — сказал император, надрываясь от

хохота.

В течение четверти часа он хохотал над этой шутовской мыслью, представляя себе такую физиономию в клетке.

Я никогда не видел, чтобы император смеялся так от всего сердца; его веселость заразила меня, и мы долго не в состоянии были произнести хоть какое-нибудь слово, которое не давало бы нового повода для нашего веселья. Император высказал весьма успокоительные соображения о том, что об его отъезде еще не могут знать, а тем более не могут знать о состоянии, в котором находится армия; пруссаки, помня, что их войска находятся среди наших, и учитывая предполагаемую силу нашей армии, не посмеют ничего предпринять против него, даже если они осведомлены о нашей поездке.

— Но тайное убийство или какая-нибудь ловушка — вещь легко возможная, сказал император, проявляя живейшее желание поскорее миновать Пруссию, которая наводила его на столь забавные и одновременно на столь серьезные размышления.

Эта мысль беспокоила его до такой степени, что он спросил меня, в порядке ли наши пистолеты, и проверил, находятся ли его пистолеты у него под рукой. Я осмотрел их в Познани, и мы были вполне готовы хорошенько угостить первого же, кто сунулся бы к нам. Любопытных, которые приблизились бы в эту ночь к нашим дверцам, ожидало плохое развлечение.

Наш разговор был прерван прибытием на перекладной пункт. Император не хотел, чтобы курьер выезжал из Глогау раньше чем за час до нас; так как курьер ехал медленнее нас, то он опередил нас лишь на очень короткое время. Лошади не были готовы. Император не знал, что думать об этой задержке. Он привык к тому, что к его услугам всегда весь мир, и не мог понять, что на приготовление лошадей можно потратить более получаса, то есть более того времени, на которое курьер опередил нас. Это был прусский перекладной пункт, и то, что я приписывал обычной медлительности прусских станционных смотрителей, казалось императору чем-то преднамеренным. Я отправился лично удостовериться в причинах задержки, но не мог расшевелить невозмутимо равнодушного смотрителя и его почтальонов, которые по своему обыкновению запрягали лошадей с максимальной медленностью, чтобы дать им время покормиться. Я все время ходил от конюшни к саням императора и обратно. Император сильно страдал от холода. Чтобы набраться терпения, он попросил меня достать ему чаю, который можно найти на всех почтовых станциях Германии. Две чашки чая немного согрели его, но не уменьшили его нетерпения, которое

росло с каждой секундой. Он спросил меня, прибыл ли за нами наш эскорт. Из шести жандармов, взятых нами в Глогау, оставалось только два, которые стояли на запятках саней и наполовину замерзли. Наконец, после часа ожидания мы вновь отправились в путь.

Эта ночь была одной из самых тяжких, какие нам пришлось провести. Из-за перемены экипажа мы просто замерзли. Что касается меня, то я не отогревался уже в течение 36 часов.

— А я уже думал, — шутливо сказал император, когда мы тронулись в путь, что сейчас начнется первый акт сцены в клетке. Каким образом можно потратить два часа на запряжку 4 или 6 лошадей, стоящих в конюшне?

Нам везло на неприятности. Наши сани сломались, и это замедлило наше передвижение. Мы все же доехали до Бунцлау, где нам пришлось остановиться для починки саней. Мы воспользовались этой задержкой, чтобы позавтракать. Император беседовал с хозяином постоялого двора, немцем. Я служил ему переводчиком. Он спрашивал хозяина о положении страны, о налогах, об администрации, о том, что он думает по поводу войны. Хозяин, принимая нас за простых путешественников, давал наивные ответы на все вопросы. Чем менее его ответы способны были доставить удовольствие императору, тем настойчивее он задавал свои вопросы и часто говорил мне с улыбкой:

— Он прав; у него больше здравого смысла, чем у многих людей, стоящих во главе управления; он не придворный льстец.

Добродушие и искренность хозяина постоялого двора развлекали императора. Потом он уступил настояниям торговки стеклянными побрякушками, которая насильно проникла в отведенное ему помещение. Императора сильно позабавило доверие этой женщины, которая, не зная нас, была готова сбыть ему все свои запасы даже без денег, причем мы не могли понять, на чем было основано ее доверие. Он накупил ожерелий, колец и т. д., а потом сказал мне:

— Я привезу это Марии-Луизе на память о моем путешествии. Будет справедливо, Коленкур, если мы с вами поделимся. Надо, чтобы вы тоже преподнесли кое-что из этого предмету вашей страсти. Никому еще не приходилось так долго находиться с глазу на глаз со своим государем. Это путешествие будет историческим воспоминанием в вашей семье. Император никогда не забудет ваших забот.

Он был так добр, что отдал мне половину своих покупок, поручив мне упаковать вторую половину для императрицы. Затем он бросился на дрянную кровать, сказав, чтобы я разбудил его, когда сани будут готовы.

Пока император отдыхал, я торопил починку саней и занимался продолжением своих записей за время после Познани.

Все рассуждения императора доказывали, что он по-прежнему очень озабочен положением армии, по упорно продолжает думать, что виленские склады вновь собрали ее в единое целое. Его мнение не изменилось, и он соответственным образом строил все свои планы и отдавал свои распоряжения.

— Дурное впечатление от наших бедствий, — сказал император, — будет нейтрализовано моим приездом в Париж.

Под влиянием этих утешительных размышлений мы ехали в довольно веселом настроении. Чем больше мы приближались к Франции, на которой сосредоточивались все упования императора, тем менее озабоченным он казался.

— Шварценберг — благородный человек, — говорил император, — и он не покинет нас со своим корпусом[298]. Он не пожелает быть изменником в тот момент, как судьба поворачивается к нам спиной. Пруссаки будут согласовывать свое поведение с поведением австрийцев. Я буду в Тюильри раньше, чем узнают о моих несчастьях, и раньше, чем осмелятся пожелать изменить мне. Мои когорты образуют армию численностью более чем в 100 тысяч солдат, хорошо обученных и находящихся под командой закаленных на войне офицеров. У меня есть деньги, оружие, есть из чего создать хорошие кадры. Не пройдет и трех месяцев, как я получу новобранцев и буду иметь под ружьем на берегах Рейна 500 тысяч человек. Чтобы собрать и обучить кавалерию, понадобится больше времени, но у меня есть то, с помощью чего всегда делаются такие вещи, а именно деньги в подвалах Тюильри.

Разговор перешел затем на другие темы — о его семье, его прежней службе, Директории и т. д.

ГЛАВА IX
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАРИЖ

Тюильри. — Коленкур у Камбасереса. — Впечатление, произведенное его приездом. — Бюллетень ? 29. — Отступление из России. — Характеристика Наполеона. — Сообщения из армии.

Почтальон, продолжая гнать лошадей галопом, промчался под Триумфальной аркой, хотя никто не говорил ему, чтобы он ехал там, и часовые не успели его задержать. — Это — доброе предзнаменование, — сказал мне император.

Он благополучно высадился из экипажа у среднего подъезда как раз в тот момент, когда часы били три четверти двенадцатого ночи[299]. Я расстегнул свою шинель, чтобы был заметен мой расшитый мундир. Часовые, принимая нас за офицеров, приехавших с депешами, пропустили нас, и мы направились ко входу в галерею, выходящую в сад. Швейцар уже спал и в одной рубашке, с фонарем в руке, пришел взглянуть, кто стучит. Наш облик показался ему настолько странным, что он позвал свою жену. Я должен был несколько раз назвать себя, пока уговорил их отпереть дверь. Не без труда швейцар и его жена, протирая себе глаза и поднося фонарь к самому моему носу узнали меня. Жена швейцара открыла дверь, а сам он пошел позвать одного из дежурных лакеев. Императрица только что легла спать. Я велел провести себя в помещение ее служанок якобы для того, чтобы передать ей известия об императоре, который едет следом за мной; так я условился с императором. Во время всех этих переговоров швейцар и другие слуги оглядывали императора с головы до ног. "Это — император!" — вскричал вдруг один из них. Трудно вообразить, как они все обрадовались. Они не в состоянии были сохранить спокойствие. Две служанки императрицы выходили из ее покоя, как раз тогда, когда я входил в их помещение. Моя отросшая за две недели щетина, мой костюм, мои сапоги на меховой подкладке — все это произвело на них отнюдь не более приятное впечатление, чем на швейцара, и я должен был долго ссылаться на привезенные мною добрые вести об императоре, чтобы они не бросились бежать прочь от привидения, которое предстало перед ними.

Имя императора в конце концов успокоило их и помогло им узнать меня. Одна из них доложила обо мне императрице. Тем временем император, с трудом скрывавший свое нетерпение, положил конец моей миссии, войдя сам к императрице. Мне он сказал:

— Спокойной ночи, Коленкур. Вы также нуждаетесь в отдыхе.

Я тотчас же, как заранее предписал мне император, отправился к великому канцлеру, который никак не ожидал, что депеша, которую он собирался отправить с сегодняшней ночной эстафетой, может так быстро дойти по назначению. И если бы я не приехал к нему в почтовой коляске, если бы меня не сопровождал дворцовый лакей в ливрее и если бы бич почтальона не послужил бы мне паспортом, то и у великого канцлера тоже не сразу решились бы впустить меня. Моя внешность не внушала доверия. Придворный лакей должен был служить мне своего рода поручителем, так как слуги Камбасереса глазели на меня, не зная, что думать об этой персоне; никто меня не узнавал и никто не хотел докладывать обо мне. Граф Жобер, управляющий французским банком, и несколько других лиц, сидевших тогда в салоне великого канцлера, словно окаменели, когда я появился. Все безмолвно уставились на меня. Они не знали, что думать о моем приезде и об этом человеке, наружность которого, как казалось им, не соответствовала доложенному имени. Вслед за этим впечатлением, произведенным в первый момент моим костюмом и моей небритой бородой, у всех тотчас же возник один и тот же вопрос:

— Где император? В чем дело? Не случилось ли несчастья?

Все задавали себе этот вопрос, но не в силах были произнести эти слова. Страшный бюллетень уже был опубликован; утреннее пробуждение было не сладким. Все были в грустном настроении. О том, что император в Париже, не знали. Почему же обер-шталмейстер оказался здесь? Почему он покинул императора? Ночной час, бледный свет лампы, всеобщая неизвестность, печальные сведения, которые уже знали, и сведения, которых ожидали, — все наводило на черные мысли и внушало грустные предчувствия. Таковы были переживания находившихся в салоне лиц, пока я ожидал возвращения лакея, который пошел в кабинет великого канцлера доложить обо мне. Невозможно описать эту немую сцену. Все уставились на меня, не будучи в состоянии произнести ни слова; казалось, что слова замирали на устах. Каждый искал приговора в моем взгляде, и на всех лицах было написано больше страха, чем надежды. Когда я обратился к Жоберу, он, немного оправившись от первого изумления, воскликнул:

— А император, г-н герцог?.. Ему не удалось окончить фразу. С ошеломленным видом все повторили вслед за ним:

— А император? Где он?

— В Париже, — ответил я.

При этих словах все лица просветлели. Я вошел к Камбасересу. Он начал с того же самого восклицания, и я не дожидался, пока он закончит фразу, чтобы успокоить его. Я передал ему распоряжения императора, поговорил с ним несколько минут и предложил ему объявить утром пушечным салютом о возвращении императора, а также предупредить министров и двор, что "леве" состоится в 11 часов, и т. п.

Возвратившись к себе домой, я отдал распоряжение. чтобы в 8 часов утра послали пажей к госпоже Матери и ко всем принцессам сообщить им о приезде императора. Я написал также обер-камергеру насчет необходимых мер во дворце. Граф Монтескью[301] немедленно приехал ко мне; приехал и министр полиции, которого я тоже уведомил.

На следующий день император приказал мне взять на себя портфель министерства иностранных дел на время отсутствия герцога Бассано и доставить ему некоторые папки венской корреспонденции, а также наши последние договоры с Австрией и Пруссией. Утомленный 14 ночами, которые я провел как бы на страже, не смыкая глаз, подавленный сознанием той ответственности, которую взваливало на меня подобное путешествие при подобных обстоятельствах, все время озабоченный, как бы не случилось чего-нибудь с императором, вверившим себя моим заботам и моей преданности, я все еще был полон тревожного возбуждения, и недавние переживания привели мои нервы в такое напряженное состояние, что я нуждался в отдыхе. Я просил поэтому императора освободить меня от этих обязанностей и поручить дела Бенардьеру[302]. Император согласился.

Я не могу выразить, какая тяжесть свалилась с моего сердца, когда я имел счастье подать руку императору, чтобы помочь ему выйти из почтовой коляски у подъезда Тюильри. Не думаю, чтобы я когда-нибудь был так доволен и удовлетворен собою, как в этот раз, когда я увидел, что он благополучно прибыл в свой дворец.

В 11 часов я приехал в Тюильри к "леве". Во дворце собрались министры и много придворных чинов, в частности камергеров. Меня окружили, словно я был фаворитом, приветствовали, как человека, пользующегося влиянием, человека, который только что провел 14 ночей и столько же дней с глазу на глаз с властелином…

Ужасный бюллетень появился в "Мониторе" 16 декабря. Мы знали об этом из последней эстафеты, полученной нами в пути. Бюллетень произвел

такое глубокое впечатление, даже на самых отъявленных придворных льстецов, что все ловили мои взгляды, чтобы прочесть в них вести о дорогих сердцу людях. Никто не решался прямо спросить меня. В Париж прибыл только бюллетень; частные письма не были разосланы. Я был счастлив успокоить многих, но, увы, многих -других я огорчил, хотя беспорядок и распад армии после Малоярославца не позволяли штабу главного командования дать точные сведения о многих офицерах, даже высших чинов, так как, лишившись лошадей и не имея ровно ничего, они должны были искать пропитания, следуя за бандами, блуждавшими на флангах колонны и оказывавшимися то в голове, то в хвосте у нее. Даже самые твердые люди вынуждены были покориться этой жестокой необходимости, так как еще до Березины хлеба нельзя было достать за целую пригоршню золота.

Эти несчастные отставшие люди большей частью питались кониной — мясом лошадей, павших на дороге. Животных разрубали на части прежде, чем убить их! Горе павшим! Все кидались на упавшую лошадь, и ее хозяину частенько трудно было ее отстоять. Подоспевшие первыми бросались на лошадиный круп, наиболее ловкий вскрывал бок и извлекал печень, которая была наименее жестким и наиболее лакомым кусочком. И при этом никто не думал о том, чтобы сначала убить несчастное животное, — до такой степени все спешили снова двинуться в путь. Наиболее счастливые из отставших варили похлебку, если можно назвать так грязную мучную жижу а еще чаще отруби, найденные в пыли чердаков и размешанные в воде. Как счастливы были те, у кого сохранилась какая-нибудь посудина, в которой можно было варить! В пути ее держали в руках и хранили более бережно, чем деньги. Несмотря на наши несчастья, мы сохранили любовь к шутке и к смеху, и бедняков, путешествовавших с котелком в руке, прозвали лакомками; даже те, кому приходилось поститься, забавлялись насчет предусмотрительных людей, сохранивших это "орудие питания". Когда люди подходили к костру, чтобы сварить себе похлебку то те, у кого не было посуды, становились в хвост за вами, надеясь, что вы одолжите им ваш котелок. Если кто-нибудь находил картофель, ему завидовали все. Как-то раз в Польше оказалось много картофеля в нескольких больших деревнях, но они находились далеко и от нас и друг от друга, а люди не хотели слишком далеко отходить от дороги. И господин, и слуга, и полковник, и солдат одинаково испытывали недостаток во всем.

Это бедствие одинаково постигло людей всех рангов, и так как оно привело все потребности к одному знаменателю, то самым несчастным был

именно тот, кто в силу своего ранга не мог подать дурного примера и пойти на грабеж. Честь и слава, тысячу раз честь и слава французским солдатам и благородному французскому национальному характеру. Сколько несчастных, которые ежедневно рисковали жизнью, чтобы добыть какую-нибудь плохонькую пищу, и отнюдь не надеялись найти что-нибудь завтра, когда им снова придется для этого идти на риск перед полчищами казаков и толпами крестьян, сколько их, этих несчастных, отдавали свою жалкую еду или делили ее с попавшимся навстречу ослабевшим или больным беднягой, лежащим на дороге в ожидании смерти! Сколько других останавливались, рискуя попасть в плен или расстаться с жизнью, чтобы помочь шагать несчастному отставшему! Сколько офицеров, ни за что не хотевших покинуть колонну, хотя их полки растаяли, предпочитали смерть под знаменами на дороге, по которой шла армия, поискам пищи в компании с отставшими или грабителями! А скольких офицеров кормили, скольким помогали эти самые отставшие! Солдат, добывший себе какую-нибудь еду, редко проходил мимо офицера, не предложив ему отведать ее, если ему казалось, что офицеру нечего есть, хотя он его вовсе не знал и офицер был из другого корпуса. Тысячу раз я был свидетелем этих добрых деяний.

Я сам шел пешком среди солдат в простой синей драповой куртке с шитьем, в треуголке, и мне часто приходилось присаживаться на несколько минут, чтобы отдохнуть.

Так вот, не проходило дня, чтобы солдаты, ковыляющие с жареной кониной или несколькими картофелинами в дырявой тряпке или с похлебкой в кастрюльке, не предлагали мне разделить с ними пищу и помочь мне идти, думая, что я изнурен или голоден. Как бы я хотел вновь встретить хотя бы нескольких из этих храбрецов! Честь и слава французам, подавляющее большинство которых сохранили в душе чувство сострадания во время величайшего из бедствий!

Я должен рассказать еще о последнем дне нашего путешествия, когда сообщения, полученные из армии, естественно навели разговор на тему о ее положении.

Император, прочитав письмо Неаполитанского короля, сказал мне, словно предчувствуя последующие события:

— Боюсь, что он не сделает всего необходимого для реорганизации армии. Быть может, лучше было бы взять его с собой в Париж или позволить ему возвратиться в Неаполь, но тогда он, пожалуй, не вернулся бы к началу новой кампании, а так как у меня будет молодая кавалерия, то мне бы его не хватало. Он привязан ко мне, но его претензии и тщеславие

доходят до смешного. Он думает, что у него необыкновенные политические таланты, а у него их нет совершенно. У королевы[303] в мизинце больше энергии, чем во всем короле. Они ревнуют меня к Евгению, потому что зарятся на всю Италию. Король хотел бы убедить итальянцев, что их страна может существовать и рассчитывать на будущее лишь при условии объединения всей Италии под одним скипетром.

Все французы, которых я сделал королями, слишком быстро забывают, что они родились в прекрасной Франции и что у них нет лучшего титула, чем титул французского гражданина.

Он привел в пример Бернадотта и своих братьев и стал перебирать разные подробности, которые подтверждали его слова. Потом император заговорил о необходимости вновь поднять дух армии и возвратить прежнюю энергию нашей пехоте, рассыпавшейся поодиночке, которая умирает от голода и, собираясь небольшими бандами, волочет по земле вдоль дороги свою нужду, свою славу и свою былую энергию.

— Надо, — прибавил он, — чтобы эти люди, которых не могли остановить никакие опасности, вновь поняли, что они могут сделать для своего спасения и для славы родины. В самом деле, физически они истощены, но морально эти люди, которые еле волочат ноги и бредут, как привидения, вновь почувствуют, что они могут сделать, если энергичный начальник заговорит с ними и скажет им: "Остановись, француз! Казаки не должны пройти дальше. Вот здесь надо победить или умереть!"

В связи с этим. император высказал мысль, что этой моральной силой, этой энергией, закаляющей против всяких трудностей, обладают далеко не все начальники.

— Нет, — сказал он, — более отважных людей на поле сражения, чем Мюрат и Ней, и нет менее решительных людей, чем они, когда надо принять какое-нибудь решение у себя в кабинете. Вообще существует очень мало государственных людей. У меня, бесспорно, самые способные министры в Европе, а в то же время, если бы я не приводил в движение весь механизм, то очень скоро стало бы заметно, до какой степени они ниже своей репутации.

Прежде чем закончить рассказ о кампании и путешествии императора, возвращаюсь к рассказу о том, что происходило в дежурном дворцовом салоне.

Бюллетень произвел такое тягостное впечатление, что, как я уже сказал, никто не решался задать мне какой-нибудь вопрос. Единственный слуга, который нас сопровождал в поездке, отсыпался, а кроме того, ему было запрещено говорить о чем бы то ни было. Император говорил о

наших неудачах в таких же откровенных выражениях, как и бюллетень, но так как сообщений о прибытии армии в Вильно еще не было, то, следовательно, он как и все, не знал еще о самых тяжких наших бедствиях. У императора образовались небольшие отеки на ногах, глаза опухли, и цвет лица был, как у человека, кожа которого пострадала от мороза, но в остальном вид у него был вполне здоровый. Он был так счастлив, что находится снова в Париже, что ему не надо было притворяться, чтобы иметь вид довольного и нисколько не удрученного человека. Весь день и даже часть ночи он работал, рассылая всякие распоряжения, чтобы дать всем отраслям администрации то направление, которое он считал нужным. Как мне показалось, он был вполне удовлетворен общественными настроениями после опубликования бюллетеня. Его приезд успокоил много страхов и смягчил наиболее тревожные опасения, но, увы, не мог осушить слез тех семей, которые оплакивали свои потери.

Император, словно посторонний человек, говорил о своих поражениях и о той ошибке, которую он совершил, оставаясь в Москве.

— Успех всего дела зависел от одной недели, — сказал он. — Так всегда бывает на свете. Момент, своевременность — это все.

Когда он принимал Декре и де Сессака[304] , его первые слова были:

— Так вот, господа, фортуна меня ослепила. Я позволил себе увлечься, вместо того чтобы следовать намеченному мною плану, о котором я вам говорил, г-н де Сессак. Я был в Москве. Я думал подписать там мир. Я оставался там слишком долго, я думал в один год достигнуть того, что должно было быть выполнено в течение двух кампаний. Я сделал большую ошибку, но у меня будет возможность исправить ее.

Облик Парижа с самого начала показался ему утешительным. Возвращение императора произвело чудотворное действие. Император заметил это и уже на следующий день был спокоен насчет последствий, к которым могли бы привести его неудачи. События в Вильно не изменили его мнения.

— Ужасный бюллетень произвел свое действие, — сказал он мне, — но я вижу, что радость, доставляемая моим присутствием, больше, чем горе, вызванное нашими поражениями. Люди скорее огорчены, чем обескуражены. В Вене будут знать об этих настроениях, и не пройдет трех месяцев, как все будет в порядке.

Если я пропускаю много подробностей при передаче моих разговоров с императором во время нашего долгого пребывания с глазу на глаз, то я могу по крайней мере ручаться за точность всего, что я сообщаю, и в большинстве случаев даже за точную передачу его слов. Моя совесть не

больше обманула меня, чем моя память. Я издавна привык откровенно высказывать императору свое мнение, не боясь задеть его, и я должен отдать ему справедливость и заявить, что во время нашего путешествия он вызывал меня скорее на резкость, чем на осторожность в выражениях. Он поощрял меня к этому откровенностью своих собственных разговоров и своими признаниями. Он вновь доказал мне то, что я думал и раньше: если он не всегда любил всякую правду, то во всяком случае он уважал тех, кто высказывал ее по совести.

При других обстоятельствах, если разговор касался вопроса, о котором император не хотел говорить, он обрывал его тем или иным способом; так, например, если это происходило у него, он вас покидал или отпускал, или, наконец, перебивал каким-нибудь распоряжением, не относящимся к теме разговора, а иногда и словами: "Вы ничего в этом не понимаете".

Наоборот, в санях император все время поощрял меня к разговорам. Чувствовал ли он себя уязвленным?

Он шутил, и прежде всего видно было, что он ощущает потребность излить свою душу. Если какие-нибудь рассуждения уж очень ему не нравились, то он на время менял тему разговора, но возвращался к тому же вопросу в тот же день или назавтра.

Император не был от природы резким. Никто не владел собою лучше, чем он, когда он этого хотел. Доказательство — в том, что за очень редкими исключениями, и даже в тех случаях, когда обстоятельства вывели бы всякого другого человека из себя, он обычно сохранял в разговоре с каждым спокойный тон, хотя бы у него и много было оснований для упреков. В таких случаях его топ был, конечно, очень сухим, но не невежливым, не оскорбительным. Если порою мне приходилось слышать из его уст выражения, которые можно назвать грубыми, то я не могу назвать больше пяти-шести таких примеров, и всякий раз это было с лицами, которые так вели себя, что с ними действительно не стоило стесняться. Что касается этих выражений, то он не придавал им такого значения и не был так чувствителен к ним, как другие. Быть может, ему недоставало городского лоска, той изысканной деликатности и особенно той снисходительности в мелочах, которая заменяет доброту у высокопоставленных людей. Наши нравы и наши традиции, пожалуй, делали обладание этими свойствами политической обязанностью нашего государя в его же собственных интересах, но то, что в этом отношении было упущено в первые годы воспитания, когда создаются привычки детства, вполне искупалось тем, что эта добродетель доходила до высочайших пределов, когда речь шла о вещах, имевших какое-либо

значение. Некоторые выражения, шокировавшие нас, для императора имели иной смысл, чем для нас. У него были даже все претензии благовоспитанного человека, и он более, чем кто-либо другой, замечал в манерах своего ближнего то, чего не замечал в самом себе. Он часто называл (и даже с некоторым подчеркиванием) различных знакомых из высших слоев общества, с которыми встречался в молодости. Он любил говорить о своих успехах у женщин. Можно сказать, что если в этом великом и замечательно целостном характере была слабая сторона, то она выражалась в тщеславном отношении к своему прошлому, как будто при такой славе и при таком гении еще могут понадобиться ссылки на прошлое.

Некоторые немного нескромные выражения, которые он порою употреблял, объясняются, на мой взгляд, лагерными привычками первых лет революции. Да и притом такие слова вырывались у него лишь тогда, когда он намеренно этого хотел и когда ему было выгодно усвоить игривый тон, а в тех случаях, когда он действительно сердился, он лишь очень редко бросал какое-нибудь шокирующее слово.

Все приближенные императора напрасно жаловались на его манеры, на его обращение и тон с ними в повседневном обиходе. Отчасти по своему характеру, а отчасти из сознательного расчета, он редко показывал свою благосклонность, а если давал заметить, что он доволен, то можно было подумать, что он делает это против желания.

— Французы, — говорил он, — легкомысленны, фамильярны и склонны к бесцеремонности. Чтобы не оказаться в необходимости ставить их на место, надо держать себя с ними серьезно, в соответствии со своим положением. Царствовать — значит играть роль. Государи всегда должны быть на сцене.

И действительно, он всегда сохранял серьезность, даже когда хотел проявить благосклонность и, как он говорил, обласкать человека.

Если император хотел выразить кому-нибудь свое недовольство, то чаще всего он делал это через какое-либо третье лицо. Если по отношению к какому-нибудь видному лицу он брал эту задачу на самого себя и если дело было серьезным, то он все же частично скрывал свое недовольство; остаток должен был дойти до адресата через третьих лиц, перед которыми он любил изливать свое недовольство. Он относился со вниманием ко всякому человеку, с которым говорил, так как, по его собственному откровенному выражению, никогда не хотел лишить себя возможности пользоваться людьми, не хотел, чтобы кто бы то ни было считал его дверь наглухо закрытой для себя. В соответствии с этим он постоянно твердил,

что правительство принципиально должно не только никогда не отвергать никого, но и привлекать к себе тех, кто держится поодаль. Император называл мне маршалов, генералов и других весьма видных лиц, которых считал самыми верными и самыми преданными своими друзьями, а между тем они устраивали заговоры против него во время консульства, в частности, когда заключался конкордат с папой; он ограничивался тогда тем, что в течение нескольких месяцев держал их вдали от двора. В согласии с этим принципом примерные взыскания при императоре были редкостью. Всякий раз, говорил он, это делалось вопреки его собственному желанию и лишь в тех случаях, когда его принуждал к этому серьезный общественный интерес, но и тогда он избегал осуждений в судебном порядке.

— Я сам глубоко сожалел, когда сурово расправился с генералом Мареско, говорил мне император, — но его звание, его положение, его ум — все это во сто крат усугубляло его вину; действовать так меня вынудили интересы государства. Человека, который занимал бы менее высокое место в глазах общественного мнения, я простил бы.

Но что касается генерала Дюпона, то император не находил достаточно сильных выражений, чтобы высказать свое мнение о нем. Его главным упреком против Дюпона

была та статья капитуляции, которая спасала, по его выражению, фургоны и тем самым богатства генерала, но зато позволяла обесчестить армию, так как допускала публичный обыск солдатских ранцев с целью найти в них вещи, служащие уликой грабежа, причем было известно, что такие вещи действительно имеются в ранцах у солдат. Император не мог говорить об этом хладнокровно. Не сомневаясь, что военный суд осудит Дюпона, он ограничился производством расследования в особом порядке, так как не забыл, по его словам, доблестного поведения Дюпона под Ульмом. Но перед тем как начать большую войну с Россией, когда корпуса должны были находиться на больших расстояниях друг от друга, он был вынужден возобновить это дело, которое ему хотелось бы замять, чтобы создать суровый прецедент и произвести должное впечатление на тех, кто в щекотливой обстановке почувствовал бы искушение пройти подобно Дюпону через Кавдинское ущелье[305]. Тогда же и по тем же соображениям он издал правила об обороне крепостей и об ответственности коменданта.

Император не баловал ни офицеров, ни солдат, а в то же время не поддерживал дисциплины и закрывал глаза на беспорядки. Он даже не любил, чтобы ему говорили о них, если они не выходили за пределы продовольственных вопросов. Он сам соглашался, что его система ведения

войны не допускает строгой дисциплины, потому что люди живут без пайков. Но, закрывая глаза на недисциплинированность солдат, когда господствовало изобилие, он был требователен к ним, когда наступала нужда. Император не допускал жалоб и часто ссылался на пример римских легионов. Во время кампании под Эйлау эти великие примеры были постоянным предметом всех его разговоров в течение целой зимы. Он хотел доказать, что можно обходиться без всего, пытался переделать нас по образцу героических времен, вскружить головы благородными воспоминаниями и великими примерами. Французы храбро дерутся, не теряя головы; они умеют терпеть лишения, страдать и даже умирать от голода, пока рука об руку с опасностью шествует слава, но когда пушки больше не стреляют и когда при отступлении ноги важнее отваги, эти герои — всего только люди.

Император больше всякого другого осуждал преступления революции и самою революцию. В связи с этим он более или менее отрицательно относился к представителям старого двора, принимавшим участие в ней, и часто говорил мне о них, не очень стесняясь в выражениях. Он хотел учредить институт пэров и превратить прекрасное здание церкви Магдалины, которое должно было служить "храмом славы", в великий искупительный памятник, очищающий от деяний революции; таковы были две идеи, которые он постоянно выдвигал и которыми был очень занят. Он собирался воздвигнуть там памятники Людовику XVI, королеве и всем жертвам, погибшим во время революции.

Император не прощал людям, пользовавшимся своей должностью, чтобы составить состояние и выжимать соки из страны, в которой они занимали командные или административные посты, а еще менее он прощал тем, кто торговал своим мнимым влиянием. Он с презрением говорил о маршале Брюне и никогда не упоминал имени Бурьена[306], не сопроводив его эпитетом "этот плут". Они не были единственными, о которых он так говорил…

Можно сказать, что император принадлежал к типу тех людей, которых во время революции называли "аристократами". Его рассуждения наводили даже на мысль, что такие взгляды были у него еще до его прихода к власти, хотя не всегда они лежали в основе его поведения. Роялист из хартуэллского двора не мог бы говорить о Бурбонах, о революции и ее бедах с более ярко выраженным чувством и с более искренним сожалением, чем император, но он всегда дополнял эти рассуждения соображениями государственного человека и подчеркивал, что надо воспользоваться всем тем, что революция дала великого и

полезного.

— Это, — говорил он, — новая эра, она дала новую закалку Франции, страдавшей под владычеством временщиков, королевских любовниц и тех злоупотреблений, которые следуют за ними по пятам. Чтобы положить конец революции, надо сделать сплав из всех убеждений и пользоваться людьми самых противоположных взглядов. Это значит самым убедительным образом доказать, что правительство чувствует себя сильным. Тогда оно само дает направление, а не получает его.

В общем император мало уважал людей. Он редко хвалил кого-нибудь, даже тех, кто особенно отличился, если только это не было в тот момент, когда ему нужно было, чтобы они отличились еще больше. Но зато, очевидно из своего рода чувства справедливости, он слабо бранил или даже совсем не бранил тех, кто действовал плохо, если только дело не имело слишком серьезного значения. Известную роль в этой наружной снисходительности играла, бесспорно, мысль, что впоследствии эти люди смогут действовать лучше, ибо даже в тех редких случаях, когда император свирепствовал, это длилось недолго. Если он смещал кого-нибудь за серьезный проступок, то всегда только временно.

— Государи, — говорил он, — никогда не должны отнимать у человека всякую надежду на прощение.

Прегрешения против деликатности, отсутствие вежливости и хороших манер коробили его, хотя в этом отношении он не получил в детстве особенного воспитания, и сам он, выступая всегда на политической сцене, ничуть не заботился проявлять в этой области те качества, которых требовал от других. В частных разговорах он горько жаловался на свои неприятности, особенно любил жаловаться на своих приближенных, в том числе на князя Невшательского, Дюрока, на министров и начальников различных ведомств, будто они ему плохо служат. По тому, что император говорил мне о них, я часто мог судить, что именно он — с гораздо большим основанием — говорит им, вероятно, обо мне. Было бы, однако, неблагодарностью с моей стороны забывать те похвалы, которыми император в мое отсутствие часто осыпал вверенное мне ведомство. Строго говоря, это делалось для того, чтобы еще больше подогреть рвение и в то же время косвенно покритиковать кого-нибудь другого. Он любил противопоставлять друг другу начальников различных отраслей администрации. Император не был бы недоволен, если бы они плохо уживались между собой, и я часто мог заметить, как он делал все возможное для того, чтобы Дюрок и я чувствовали друг к другу зависть и даже вражду.

Мало уважая людей, император обычно не требовал от них больших достоинств и добродетелей, чем они, по его мнению, имели. Он ничего не забывал, но не был злопамятен. Никогда не преследовал кого-либо из личной ненависти. Он во всем руководствовался интересами своей политики. Можно сказать, что в нем не было ни ненависти, ни мелких страстей, и, судя по всему, его снисходительность или безразличное отношение к людям объяснялись его невысоким мнением о человеческом роде. Если политические соображения часто заставляли его быть милосердным, то некоторую роль в этом играло также и его чувство. А его чувства были лучше, чем он хотел показать. Впрочем, в его милосердии большую роль играло его убеждение в том, что людей толкают обстоятельства.

Мало было людей, о которых император не разговаривал бы со мною; он говорил со мною обо всех, начиная от его жены и европейских государей и вплоть до самых скромных частных лиц. И я часто мог заметить, что от него ничего не ускользало. В частной жизни он проявлял не больше благодушия, чем в политических делах. Все истолковывалось им против ближнего. Держась всегда, словно он на сцене в роли императора, он думал, что и другие разыгрывают с ним заученные ими роли. Поэтому его первым чувством всегда было недоверие, — правда, только на мгновение. Потом он менял отношение, но всегда надо было быть готовым к тому, что его первое представление о вас будет мало приятным, а может быть, даже и оскорбительным для вас. Всегда подозревая, что под вашими замечаниями или предложениями скрывается какой-нибудь личный или тайный интерес, независимо от того, друг вы или враг, он путал сначала друзей с врагами. Я часто испытывал это и могу говорить об этом с полным знанием дела. Император думал и по всякому поводу говорил, что честолюбие и интерес — движущие мотивы всех поступков. Он редко поэтому допускал, чтобы хороший поступок был совершен из чувства долга или из щепетильности. Он, однако, замечал людей, которыми, по-видимому, руководили щепетильность или сознание своего долга. В глубине души он учитывал это, но не показывал этого. Он часто заставлял меня усомниться в том, что государи верят в возможность иметь близких людей.

Рыцарство, присущее французскому характеру, изысканная вежливость и грациозный благосклонный тон, притворно усваиваемый государями даже при разговорах с теми министрами, отставку которых они только что подписали, все это совершенно отсутствовало у императора. Он притворялся только тогда, когда речь шла об очень важных делах.

Проникнутый, несомненно, сознанием своего могущества и своего превосходства, он не давал себе труда притворяться в обыденной жизни и часто даже в более серьезных делах. Часто также он был болтлив. Когда речь шла о делах, он обычно увлекался разговором и говорил больше, чем хотел и должен был бы сказать. Если бы в нем было немного той французской любезности, которая придает нашей стране ее особый колорит, то его обожали бы, и он вскружил бы все головы. Зато у него было прекрасное и редкое качество: он не любил перемен; он дорожил теми людьми, которых подбирал для себя, и предпочитал самый скверный инструмент наилучшему, лишь бы не менять его. Вас не баловали, но зато вы были уверены, что никакая интрига не может погубить вас в его мнении. Правительству было дано направление и твердые правила действия, и так как император правил сам, то судьба министров не могла зависеть от перемены системы. Чем больше на вас нападали перед императором, тем более тщательно он хотел удостовериться в правильности предъявляемых вам обвинений, и тем более упорно он хотел сохранить вас при себе.

— Я сам свой министр, — часто говорил он. — Я сам веду свои дела, а следовательно, я достаточно силен, чтобы извлекать пользу из посредственных людей. Честность, отсутствие болтливости и работоспособность — вот все, чего я требую.

В своем домашнем быту император был чрезвычайно добродушен. С императрицей он обращался, как нежный и любящий супруг. Он довольно долго был очень влюблен в императрицу Жозефину, уже когда женился на ней, и навсегда сохранил привязанность к ней. Он любил превозносить ее изящество и доброту даже после того, как уже давно перестал с ней встречаться. Ни одна женщина не оставила в нем такого глубокого впечатления. По словам императора, она была воплощенной грацией.

Напрасно думают, что у него было много фавориток[307]. Конечно, порою кто-нибудь кружил ему голову, но любовь редко была для него потребностью и, пожалуй, даже редко была для него удовольствием. Он жил слишком на виду у всех, чтобы предаваться удовольствиям, которые, в сущности, мало развлекали его, а к тому же длились не больше мгновения. Впрочем, он был по-настоящему влюблен в течение нескольких дней в мадам Дюшатель. В промежутке между разводом и прибытием эрцгерцогини, чтобы отвлечься от императрицы Жозефины, он для препровождения времени развлекался с мадам Гадзани и мадам Матис. В последние годы жизни с императрицей Жозефиной он заводил связи с мадемуазель Жорж и несколькими другими женщинами отчасти из

любопытства, а отчасти, чтобы отомстить за сцены ревности, вызванные его изменами. В Варшаве ему понравилась мадемуазель Валевская. Он имел от нее ребенка и сохранил к ней больше привязанности, чем к какой-либо другой женщине. Но все эти преходящие увлечения никогда не занимали его настолько, чтобы хотя бы на один момент отвлечь от государственных дел.

Он всегда так спешил рассказать о своих успехах, что можно было подумать, будто он гнался за ними только для того, чтобы их разгласить. О своих похождениях он прежде всего рассказывал императрице. Горе красавице, которая уступила ему, не будучи при этом сложена, как Венера Медицейская, ибо его критика не щадила ни одной детали ее фигуры, и он с удовольствием занимался этой критикой в беседах с теми лицами, перед которыми любил хвастать своими успехами. Императрица Жозефина в тот же вечер знала все подробности его победы над мадам***. А на следующий день после первого свидания император рассказывал все подробности мне, не упуская ничего, что могло польстить красавице или задеть ее самолюбие.

Император нуждался в продолжительном сне, но спал только, когда хотел, и притом безразлично — днем или ночью. Предстоявшая назавтра битва никогда не нарушала его сон, и даже во время сражения, если он считал, что оно не может решиться раньше, чем через час или два, он укладывался на своей медвежьей шкуре прямо на земле и спал крепким сном, пока его не будили. Я был свидетелем такого сна во время битвы под Бауценом[308] он спал тогда от 11 1/2 до 1 часа дня. Объехав все позиции, он сказал:

— Надо предоставить делу идти своим ходом. Я смогу нанести решающие удары лишь часа через два.

И он спал больше часа. На войне его будили по всякому поводу. Князь Невшательский, который принимал получаемые донесения, тоже не жалел его, хотя знал всегда его планы. Император вставал всегда в 11 часов вечера или, самое позднее, в полночь, то есть в час, когда прибывали первые донесения армейских корпусов. Он работал 2 — 3 часа, а часто и больше, сопоставлял донесения, изучил по картам передвижения войск и отдавал приказания. Он диктовал все приказания начальнику штаба или секретарю, а князь Невшательский отправлял их по назначению. Иногда, если дело шло об особенно важных вопросах, он сам писал командирам армейских корпусов, чтобы обратить на это их внимание, но официальная часть переписки шла своим чередом через штаб главного командования.

Император входил в мельчайшие подробности. Он хотел на все

наложить печать своего гения. Он вызывал меня, чтобы отдать распоряжения по ставке или относительно офицеров для поручений и офицеров штаба главного командования по поводу корреспонденции, эстафет, почтовых сообщений и т. д. Гвардейские командиры, армейский интендант, главный хирург — славный Ларрей, — все получали вызов к нему по крайней мере один раз в день. Ничто не ускользало от его попечений, ни одна деталь не казалась ему недостойной его внимания. Все, что могло способствовать успеху дела или благополучию солдата, заслуживало с его точки зрения ежедневного пристального внимания. Никогда нельзя было сказать об императоре, что он почивает на лаврах, ибо величайшие успехи заставали его в тот момент, когда он подготовлял все меры предосторожности, которые были бы приняты им, если бы вместо успеха его постигла неудача.

Как бы ни был утомлен император, он всегда — даже в разгаре самого ожесточенного преследования неприятеля и самых выдающихся успехов производил рекогносцировку тех мест, которые могли бы послужить подходящей позицией в случае неудачи.

В этом отношении у императора была изумительная память на всякие местности. Топография страны, казалось, была рельефно отпечатана у него в голове. Никогда человек не сочетал такой памяти с таким творческим гением. Он извлек бы людей, лошадей и пушки из самых недр земли. Он держал в голове в изумительном порядке номера своих кадровых частей, своих полков, своих обозных команд и батальонов. У него хватало памяти на все. Он знал обо всех, где кто находится, когда выступит, когда прибудет. Его память часто ставила в тупик штабы и командиров частей, но этот дух порядка, стремящийся поставить все на службу своей цели, все создать, организовать и заставить прибыть в назначенный пункт, не шел дальше этого. Императору нужно было, чтобы все вопросы кампании разрешались выигрышем нескольких сражений. Он в такой мере владел своей шахматной доской, что наверняка мог их выиграть. Но этот творческий гений не умел сохранять сотворенное. Всегда импровизируя, он быстротою своих переходов в короткое время расходовал, исчерпывал и дезорганизовывал все то, что его гений только что создал. Если кампания в 30 дней не давала ему результатов целого года, то большая часть его расчетов нарушалась теми потерями, причиной которых был он сам, ибо все делалось так быстро и так непредвиденно, а у его командиров было так мало опыта и предусмотрительности, да к тому же они были так избалованы прежними успехами, что все оказывалось дезорганизованным, рассеянным, раскиданным повсюду.

Гений императора всегда творил такие чудеса, что каждый возлагал на него все заботы об успехе. Казалось, что прибыть на место ко дню битвы — это все. Все были уверены, что потом у них будет время отдохнуть и реорганизовать свою часть, а потому все мало беспокоились о тех потерях, которые они несли, и обо всем брошенном по дороге, так как император редко требовал в этом отчета. Быстрые результаты итальянской и германской кампаний и ресурсы, которые имелись в этих странах, избаловали всех начальников, даже низших. Эта привычка к успеху дорого обошлась нам в России, а потом при наших неудачах. Славная привычка всегда идти вперед превратила нас в неопытных школьников, когда дело дошло до отступления. Привычка всегда иметь свои войска под рукой и постоянное стремление императора продолжать наступление приводили к тому, что дороги загромождались, и колонны скоплялись вместе. Таким путем изнуряли и людей и лошадей.

Никогда отступление не было организовано так плохо и не совершалось в худшем порядке. Никогда обозы не двигались так скверно. Задача сохранения военного имущества, совершенно не принималась в расчет при отдаче распоряжений, и именно этой непредусмотрительности надо приписать часть наших бедствий. Если речь шла об отступательном движении, то император решался отдать приказ только в последний момент и всегда слишком поздно. Доводы рассудка не могли победить его отвращение к отступлению, а штаб командования, слишком привыкший получать даже малейшие указания от того, кто всегда предвидел все, сам не принимал никаких мер.

Приученный быть только послушным инструментом, он не мог сам ничего сделать для общего спасения.

Император не соглашался даже на самые необходимые жертвы, которые могли спасти то, что было для него наиболее важным. В течение нашего долгого отступления из России он и в последний день был так же неуверен и нерешителен, как и в первый, хотя в необходимости отступления он сомневался не более, чем другие. Все время он тешил себя надеждой остановиться и занять позиции, а потому упорно сохранял огромное количество военного материала, и из-за этого мы потеряли все. Можно сказать, что он больше чем кто бы то ни было не любил думать о том, что ему было неприятно. Судьба так часто ему улыбалась, что он никак не мог поверить, чтобы она совершенно ему изменила.

Император ел быстро и глотал все с такой стремительностью, что можно было подумать, будто он вовсе не пережевывает пищу. Об его образе жизни рассказывали много сказок. В действительности он ел только

два раза в день. Всему прочему он предпочитал говядину или баранину, бобы, чечевицу или картофель, по большей части в виде салата. Он редко прикасался к своей бутылке вина до обеда. Из вин он предпочитал шамбертен. После завтрака и обеда он выпивал чашку кофе, приготовленного на воде. Вся его изысканность в еде сводилась к этой чашке кофе. Он очень полюбил его после кампании в Египте и предпочитал мокко. Во время русского похода, даже при отступлении, он имел каждый день свое вино и кофе, а в качестве еды — блюда, к которым он привык.

Я не могу закончить рассказ об этой кампании, не коснувшись Неаполитанского короля, который играл такую большую роль в наших успехах и наших неудачах. Воинственный пыл короля часто заставлял его даже помимо собственной воли подогревать главную страсть императора, то есть страсть к войне. Он, однако, видел трудности русской кампании и в разговорах с некоторыми лицами заранее скорбел об их последствиях. Генерал Бельяр, его начальник штаба, не строил себе иллюзий; человек благородной души, он не скрывал от короля своих мнений и тех несчастий, которые предвидела его прозорливость. Но наилучшие намерения короля рассеивались, как только он видел неприятеля или слышал пушечные выстрелы. Он не мог тогда совладать больше со своим пылом. Он мечтал обо всех тех успехах, которых способно было добиться его мужество, и иллюзия его отваги дополняли в ставке иллюзии наполеоновского гения. Он не боялся рассердить императора каким-нибудь правдивым словом или непрошенной услугой, но как только император отвергал его предложения, король замолкал. Угождать императору — вот что было для него главным.

Не было более услужливого человека, чем он, даже по отношению к тем, на кого он считал себе в праве жаловаться. Он любил императора, видел его недостатки, понимал, к каким они приведут последствиям, но у него в характере была склонность к лести, всосанная им несомненно на своей родине с молоком матери; эта склонность почти в такой же мере парализовала все его добрые намерения, как и то влияние, которое император издавна имел на него. Его злополучная страсть к пышным костюмам приводила к тому, что этот храбрейший из королей, этот король храбрецов имел вид короля с бульварных подмостков. Император находил его смешным, говорил ему это и повторял это во всеуслышание, но не сердился на эту причуду, которая нравилась солдатам, тем паче что она привлекала внимание неприятеля к королю и, следовательно, подвергала его большим опасностям, чем их.

Возвращаюсь к рассказу о том, что происходило в Париже, и о

сообщениях, полученных из армии после нашего приезда. Обергофмаршал и граф Лобо приехали через двое суток после императора; тогда же приехал и барон Фэн. Один за другим приехали и другие офицеры, а также адъютанты императора, на которых были возложены разные поручения. Каждый день эстафеты приносили сообщения об армии, и император узнал о катастрофе в Вильно: 10 декабря наши войска скорее бросили, чем эвакуировали этот город. Нельзя представить себе, какой беспорядок царил в Вильно после вступления в город армии. Император был подавлен этим известием. Он тотчас же послал за мной.

— Ну-с, Коленкур, — сказал он, как только завидел меня, — король покинул Вильно. Он не принял никаких мер. Армия и гвардия бежали от нескольких казаков. Из-за морозов все потеряли голову; беспорядок был такой, что, хотя их не преследовали, они бросили на высотах за Вильно всю артиллерию и все обозы. Еще не было примера подобного "спасайся, кто может", не было примера такой глупости. То, что спасла бы сотня отважных людей, погибло под носом у десятка тысяч храбрецов по вине Мюрата. Капитан волтижеров лучше командовал бы армией, чем он.

Я передал императору письмо де Салюса[309], и он перечитал его несколько раз, не будучи в состоянии, по его словам, верить тому, что ему сообщали король и начальник штаба, на которых он изливал все свое недовольство. Когда император читал мне полученные им сообщения или излагал их содержание, он был так изумлен и потрясен, что мне стало ясно одно: он был искренен, когда уверял меня (в дороге и даже после нашего приезда), что мы удержим Вильно. Чем больше он действительно верил в это, тем более чувствительной для него была эта потеря. В первый момент известие о ней подействовало на него более удручающе, чем в свое время сообщение о потере Минска и Борисова, хотя ему приходилось тогда отступать, причем он оказался между тремя неприятельскими армиями[310]. Но так как он должен был притворяться уверенным в себе перед внимательно наблюдавшими за ним придворными и мужественно встретить грозу, то он быстро оправился и с еще большим пылом занялся изысканием способов исправить все случившееся. Так как из армии один за другим приезжали различные лица, что не позволяло скрывать долее грустные вести, то император разрешил разослать на следующий же день все частные письма, прибывшие вместе с эстафетами.

Расскажу те подробности об этом событии, которые сообщил мне тогда император.

По прибытии в Вильно начальники поспешили устроиться на

квартирах, отдохнуть и обогреться. Младшие офицеры и солдаты, предоставленные самим себе и очень страдавшие от морозов, дошедших до необычайной силы (в течение трех дней было больше 20? мороза), также укрылись в домах и покинули большинство постов. Король, который должен был бы находиться в авангарде в нескольких лье от Вильно, был в городе, и все укрылись там по его примеру. В результате казаки могли дойти до застав в городских предместьях. Мороз мешал нашим солдатам, укрывшимся в домах или собравшимся возле костров, воспользоваться своим оружием, и они отступали перед казаками. Неприятель, ободренный этими первыми успехами, осмелел, стал нападать на наши тылы и прощупывать посты в предместьях. Почти не встретив сопротивления, он непрестанно тревожил их и тем самым увеличивал беспорядок в наших рядах. Русская пехота, видя успехи казаков, также подошла к городу. Несколько орудий, поставленных на полозья, причинили не столько зла нескольким нашим постам, сколько напугали их. В конце концов беспорядок дошел до того, что было решено эвакуировать Вильно.

Непредусмотрительность, царившая повсюду после отъезда императора, окончательно погубила все. Артиллерия, обозы, — словом, все скучилось на возвышенности в двух лье от Вильно. Неподкованные, да к тому же еще и изнуренные лошади не в состоянии были перебраться через эту возвышенность. Первые же повозки загородили проход. Достаточно было бы 50 смелых людей и нескольких хорошо составленных упряжек для помощи повозкам с наиболее плохими лошадьми, чтобы спасти все, так как неприятель еще не вошел в город, а к тому же располагал лишь небольшими силами. Но все начальники действовали по своему произволу; штаб командования не предусмотрел ничего. Беспорядок рос с каждой минутой, каждый думал только о себе и старался обходным путем выбраться отсюда, надеясь перевалить через гору; вскоре возвышенность была загромождена первыми же частями, которые, не будучи в состоянии перебраться через нее, забили все проходы, так что все остальные, следовавшие за ними, должны были остановиться. Тем временем король, который думал, что в его распоряжении есть еще 48 часов для эвакуации, видя, что появилась кое-какая русская пехота, а наша мало расположена удерживать позиции, забил тревогу и поспешно покинул город[311] . С этого момента эвакуация превратилась в "спасайся, кто может".

Трудно представить себе царствовавший там беспорядок, а между тем не было никакого действительного основания так спешить и тревожиться, ибо небольшой пехотный отряд, забытый в городе, спустя полтора часа после этого стремительного отхода смело прошел через город, пробираясь

между немногочисленными неприятельскими силами, вступившими в Вильно, и догнал армию, причем русские не препятствовали движению этого отряда. Императорский обоз, благополучно прибывший в Вильно вслед за артиллерией, разделил потом общую участь. Так как де Салюсу при всей его энергии и заботливости не удалось очистить проход, то пришлось все бросить. Удалось спасти только лошадей и мулов с их кладью, да и то стоило большого труда протащить их среди этой толчеи. Казенные деньги нагрузили на лошадей; не была потеряна ни одна монета . Так как король и генералы поспешили вперед, то никто не подумал собрать сотню молодцов, которой было бы достаточно, чтобы спасти все, ибо она остановила бы немногочисленных казаков, преследовавших нас, и у нас было бы время очистить гору от образовавшейся там пробки. Мороз был очень жестокий. В этот день он заморозил и сообразительность и мужество наших солдат, которые в других случаях не останавливались перед такими трудностями. Горе тем, у кого не было перчаток: они подвергались риску лишиться нескольких пальцев!

Император был глубоко потрясен всей обстановкой ухода из Вильно. Он не в состоянии был поверить в это событие, которое с его точки зрения выходило за пределы всякой вероятности и опрокидывало все его расчеты. Не меньше, если не больше, он был потрясен два дня спустя, когда узнал, что происходило в Ковно и как держала себя там гвардия. Он несколько раз с искренней скорбью говорил мне об этом. Его скорбь усугублялась тем, что до этих пор он любил вспоминать образцовое поведение гвардейского корпуса во время отступления и сохранившиеся в гвардии дисциплину и выправку.

Наступил момент самых тяжких испытаний, момент, когда все иллюзии должны были рухнуть разом. Князь Невшательский, удрученный этим событием, заболел от огорчения и усталости. Неспособность короля, по словам императора, поразила всех. Каждая депеша приносила сообщение о каком-нибудь новом несчастье. Во всех письмах короля обвиняли в непредусмотрительности. Все говорили, что при теперешних затруднениях нужен человек с характером, которого не могут одолеть никакие бедствия, а король, который был королем храбрецов на поле сражения, оказался самым слабохарактерным, самым нерешительным из всех людей.

Князь Невшательский приходил в отчаяние и упрекал себя в том, что он способствовал этому назначению, но его сожаления не могли ничему помочь. У самых энергичных людей сила воли и даже простой здравый смысл, которые при других обстоятельствах исцелили бы целую кучу

недугов, были, по-видимому, как говорил император, отморожены или по крайней мере закоченели. Усталость, упадок духа, действие морозов, страх замерзнуть дошли до такой степени, что императору было прислано много жалоб на офицеров, даже гвардейских и артиллерийских, которые до Вильно проявляли особенную энергию и особенное рвение и привели в Вильно свои роты и батареи в почти неприкосновенном виде, заслужив похвалу начальства. Согласно донесениям, эти офицеры, когда надо было покидать Вильно, громко заявляли, что они дальше не пойдут, что у них нет больше сил и что они предпочитают попасть здесь в плен, чем погибнуть от холода и голода на дороге. Эти подробности произвели на императора большее впечатление, чем размеры наших потерь. Я не могу описать, с каким нетерпением он ждал сообщений от герцога Бассано, а еще больше его приезда, чтобы узнать, действительно ли он уничтожил фальшивые русские ассигнации[313] , которые имелись у него в Вильно.

— Они были способны забыть их там, — сказал мне император, — или поручить кому-нибудь их уничтожение. Но то лицо, которому дадут такое поручение, постарается воспользоваться этим, и будет более чем неприятно, если русские обнаружат эти ассигнации.

По словам императора, он знал из частного донесения, что после его проезда через Вильно эти деньги были пущены в оборот; это сообщение и было главной причиной его беспокойства. Должен сказать, что это признание в первый момент оглушило меня до такой степени, что я не совсем понял слова императора, и он должен был повторить их мне.

Узнав об эвакуации Вильно, император тотчас же понял все последствия, к которым она могла привести. Герцогство Варшавское оказалось под угрозой; где будет конец беспорядку? Трудно было предсказать это, так как депеши короля и штаба не сообщали ничего успокоительного о принятых мерах. Тем не менее император, быстро принимавший решения, как только он видел, что делу помочь нельзя, сказал мне:

— Это — поток; надо предоставить ему свободу. Он остановится сам собой через несколько дней.

Император высказал также мысль, что в этом отступлении есть положительная сторона, так как там много болезней, и, отступая, солдаты отдаляются от источника заразы. Возможно даже, что чума произведет впечатление на русских и не позволит им двигать свою армию вперед. К тому же положение нашей армии на 31 декабря, несмотря на наши бедствия, могло внушить некоторую надежду на то, что беспорядок и дезорганизация приближаются к концу, так как у армии были опорные

пункты, а морозы, которые причиняли нам столько зла, действовали, конечно, также и на неприятеля и отнюдь не могли благоприятствовать его наступательным маневрам.

Ставка и гвардия находились в Кенигсберге. Их прикрывал 10-й корпус, стоявший в Тильзите. 1-й корпус (князя Экмюльского) был в Торне, 2-й — в Мариенбурге, 3-й (герцога Эльхингенского) — в Эльбинге, 4-й (вице-короля) в Мариенвердере, 5-й — в Варшаве, 6-й — в Плоцке, 7-й — в Венгрове, 9-й — в Данциге.

Австрийцы занимали Остроленку и Броки.

Как я уже сказал, наступил час самых жестоких испытаний. Виленские потери и отступление в Пруссию были только прологом. Наши последние бедствия послужили сигналом, которого ждала измена, чтобы проникнуть в ряды храбрецов. 30 декабря прусский генерал Йорк[314] заключил соглашение с русскими и предательски покинул герцога Тарентского. Эта беспримерная измена открывала наш левый фланг и подвергала риску 10-й корпус, а этому корпусу угрожали в тот момент намного превосходящие его силы, так как Витгенштейн только что соединился с дивизиями, действовавшими уже против герцога Тарентского, который 19-го вышел из Митавы и должен был 29-го перейти через Неман. При такой обстановке Неаполитанский король дал армии приказ перейти через Вислу и перенес ставку в Познань. Именно тогда он и бросил командование армией. Император передал командование вице-королю. Сообщение, напечатанное по этому поводу в "Мониторе", не оставляло сомнений насчет того, что думал император о дезертирстве своего шурина при таких критических обстоятельствах. Король, переодетый, проехал через Германию и отправился в Неаполь.

Присутствие императора в Париже успокаивало, однако, даже самые острые опасения. Его энергичные мероприятия служили как бы диверсией. Уже замечалась повсюду изумительная активность.

Все организовывалось, все создавалось как бы по волшебству. Миллионы собственной казны императора и особого фонда были извлечены из погребов Тюильри и заимообразно предоставлены государственному казначейству[315].

Император делал вид, что он руководствуется мирными намерениями. Многие склонялись к мнению, что для достижения мира надо усвоить те взгляды, которых, по-видимому, держится сейчас Австрия. Мир считали настолько необходимым для всех, что не сомневались в возможности заключить его, если только император будет проявлять умеренность, а

настоящий момент считали самым благоприятным для того, чтобы уговорить императора согласиться на некоторые жертвы. При этом надо отметить одно обстоятельство, которое не ускользнет, конечно, от истории, ибо ничто не может дать более правильное понятие о всем известной твердости характера и упорстве императора: несмотря на наши неудачи и наши бедствия, несмотря на успехи русских и предательство пруссаков, представление о закаленном характере императора, о его железной воле и о его планах расширения Франции было таково, что, по общему мнению, препятствия к умеренному миру могли возникнуть скорее с его стороны, чем со стороны России, а между тем, после того как русская армия переступила границы своей страны и не была больше ей в тягость, требования России и ее планы мщения должны были расти и побуждать ее не так спешить с переговорами.

---

notes

1

Сын Наполеона и Марии-Луизы — Франсуа Шарль Жозеф (1811-1832); Наполеон дал ему при рождении титул "Римский король"; после падения Наполеона он должен был жить при австрийском дворе под австрийским титулом герцога Рейхштадтского. Коленкур собирался посвятить ему свои мемуары.

2

Тильзитские переговоры происходили в конце июня и начале июля 1807 г.

3

Савари, герцог Ровиго (1774-1834) — генерал. В 1802г. глава тайной полиции. После Тильзитского мира уполномоченный при российском дворе. В 1810-1814 гг. министр полиции. Неутомимый исполнитель приказаний Наполеона, которому был всецело предан.

4

Наполеон объявил Савари о его назначении письмом от 13 июля. Савари тотчас же отправился в Петербург, куда прибыл 23 июля.

5

Коленкур хотел жениться на г-же де Канизи, разошедшейся с мужем: в тексте он ее все время называет г-жа де К… Наполеон был против браков с разведенными.

6

Дюрок, герцог Фриульский (1772-1813) — гоф маршал Франции. С 1804 г. обергофмаршал. Был необычайно предан Наполеону, которого сопровождал во всех походах. Один из немногих к кому был искренно привязан и Наполеон. С 1807 г. — герцог Фриульский. Убит под Бауценом в 1813 г.

7

Ла Форе был назначен послом в Петербург в августе 1807 г., но не выехал к месту назначения; с 1808 по 1813 г. был французским послом с Мадриде; в 1814 г. в течение месяца был министром иностранных дел.

8

Толстой Петр Александрович (1761-1844) — граф, сподвижник Суворова в польской кампании. В 1807-1808 гг. посол в Париже. Разгадал замысел Наполеона и предостерегал русское правительство. Отозван после эрфуртского свидания.

9

Монтескье доставил Наполеону доклад Савари от 9 октября.

10

См. примечание 5.

11

2 ноября 1807 г.

12

3 ноября 1807г.

13

Наполеон выехал только 16 ноября.

14

Коленкур состоял обер-шталмейстером двора Наполеона.

15

Толстой вручил свои верительные грамоты Наполеону 6 ноября в Фонтенбло и был принят 7 ноября в частной аудиенции, при которой вручил Наполеону личное письмо Александра I.

16

Морков Аркадий Иванович (1747-1827) — граф, известный дипломат екатерининского царствования; при Александре I с 1802 по 1803 г. был российским послом в Париже, "непочтительно" относился к Наполеону и был отозван по его настояниям.

17

Коленкур прибыл в Петербург 17 декабря 1807 г.

18

Румянцев Николай Петрович (1754-1826) — граф, старший сын известного екатерининского фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского. Министр иностранных дел в 1807 г., канцлер в 1809 г., известный библиофил. Его книжное собрание вошло в состав нынешней Российской государственной библиотеки в Москве.

19

См. примечание 270 об испанских делах.

20

Раздел был произведен Гаагским договором от 11 октября 1698 г.

21

Наполеон имеет в виду сражение при Денене 24 июля 1712г. в войне за испанское наследство.

22

Один из титулов маршала Иоахима Мюрата (1771-1815), который 2 мая 1808 г. был назначен французским наместником в Испании. Мюрат, король Неаполитанский, непременный начальник кавалерийского авангарда в наполеоновских походах.

23

Барон Винцент прибыл в Эрфурт 28 сентября с письмом от австрийского императора к Наполеону и Александру.

24

Эрфуртская конвенция была подписана 12 октября; Наполеон и Александр покинули Эрфурт 14 октября; разговор, о котором пишет Коленкур, происходил, очевидно, 13 октября.

25

Коленкур считает тильзитскос и эрфуртское свидания началом международных конгрессов XIX века.

26

По статье 4 Тильзитского договора Наполеон обязался возвратить Пруссии "области, города и территории", перечисленные в тексте договора, "во внимание к его величеству императору всероссийскому".

27

Статьи 22 и 24 договора.

28

Статьи 8 и 9 Эрфуртской конвенции.

29

Статьи 1 и 3 конвенции.

30

Статья 5 в качестве непременного условия возможного мира с Англией предусматривала признание присоединения Финляндии к России.

31

Отречение Наполеона от императорской власти, подписанное в Фонтенбло.

32

Стефания Богарнэ — племянница первого мужа Жозефины (первой жены Наполеона), удочеренная Наполеоном; в 1806 г. она вышла замуж за наследного принца Баденского, брата императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I.

33

Это было на представлении "Эдипа" Вольтера.

34

Министр иностранных дел Шампаньи, герцог Кадорский (1756-1834).

35

Это было сделано Шварценбергом во время его миссии в Петербург в феврале 1809 г.

36

Талейран-Перигор Шарль Морис, князь Беневентский, герцог Дино (1754 1838), происходил из старого дворянского рода, сперва был епископом Отенским; избранный депутатом в Генеральные штаты, поддерживал в Национальном собрании интересы крупной буржуазии. Сумел под благовидным предлогом уехать за границу, где пробыл все время якобинской диктатуры; вернувшись во Францию, был министром иностранных дел Директории, министром иностранных дел и обер-камергером императора Наполеона. Постепенно отходит от Наполеона и входит в тайные сношения с его врагами и Бурбонами. После поражения Наполеона в 1813г. окончательно перешел на сторону Бурбонов, блестяще защищал их интересы на Венском конгрессе. Совершенно аморальный, подкупный мастер закулисной интриги, хитрый, беззастенчивый, ловко игравший на человеческих слабостях. Сумел без труда войти в доверие к Коленкуру своим участием к его личной драме (любовь к г-же Канизи) и сделал его одним из своих осведомителей. Изворотливость и хитрость его как дипломата вошли в поговорку.

37

Жозефина (1763-1814) — императрица Франции, креолка из дворянской семьи Таше де ла Пажери острова Мартиники, сперва замужем за генералом Александром Богарнэ; после его казни, оставшись с двумя детьми, Евгением и Гортензией, делается фавориткой всесильного члена Директории Барраса; выходит замуж за генерала Наполеона Бонапарта в 1796 г.; императрица Франции с 1804 г.; получила развод в 1809 г.

38

Фуше Жозеф, герцог Отрантский (1759-1820), происходил из зажиточной буржуазной семьи, сперва был священником и преподавателем, потом примкнул к революции, сложил священнический сан, был членом Конвента и комиссаром его, выказывал себя атеистом и проводил политику революционного террора в центральных и западных департаментах, потом участник контрреволюционного переворота 9 термидора. В эпоху Директории сближается с крупными спекулянтами и закладывает основу своего богатства. При Наполеоне — министр полиции и министр внутренних дел. Холодный, цинично расчетливый, организатор гигантской системы политического шпионажа. После сдачи Парижа перешел на сторону Бурбонов, вновь перешел на сторону Наполеона, вернувшегося с Эльбы, и был его министром полиции. После Ватерлоо вновь переходит на сторону Бурбонов, прокладывая дорогу для второй реставрации. Изгнанный из Франции в числе голосовавших за казнь короля Людовика XVI, умер в Триесте под надзором австрийской полиции. Оставил многомиллионное состояние.

39

Евгений Богарнэ — вице-король Италии (1781-1824), сын Жозефины от первого мужа. Талантливый генерал, участвовал во многих наполеоновских походах.

40

Речь идет о несостоявшемся браке между сестрой Александра I Марией Павловной и шведским королем Густавом IV Адольфом. Мария Павловна в 1804 г. вышла замуж за великого герцога Саксен-Веймарского.

41

С этого времени начинается переход Талейрана на сторону врагов Наполеона.

42

Талейран-Перигор Эдмонд де — племянник знаменитого французского дипломата Шарля Мориса Талейраиа; он сопровождал Коленкура в Россию в качестве атташе посольства и во Франкфурте-на-Майне женился на Доротее Бирон, дочери герцога Курляндского.

43

Война с Австрией была закончена перемирием в Цнайме 12 июля 1809 г., за которым последовал Венский (Шенбруннский) мирный договор 14 октября того же года.

44

Сенатус-консультом (т. е. постановлением сената) от 13 декабря 1810 г. германское побережье Северного моря до Эльбы было объявлено присоединенным к Франции; Наполеон предложил герцогу Гольштейн-Эйтенскому, дяде Александра I и опекуну великого герцога Ольденбургского (женатого на сестре Александра I, Екатерине Павловне), чтобы герцог либо оставался в Ольденбурге, подчинившись ограничениям, связанным с введением французских таможен, либо покинул Ольденбург, взамен чего он должен был получить в виде компенсации Эрфурт. Правительство великого герцога предпочло оставаться в Ольденбурге, но Наполеон декретом от 22 января 1811 г. приказал французской администрации принять на себя управление Ольденбургом. Это являлось нарушением статьи 12 Тильзитского договора; российское правительство заявило протест перед всеми европейскими монархами; Шампаньи отказался принять ноту протеста.

45

Яркое доказательство двойной политики Наполеона (тайная, личная, наряду с официальной) и его обдуманного заранее плана войны с Россией.

46

Г-же де Канизи, разошедшейся с мужем, в конце 1810г. было предложено проживать в Нормандии у своего отца.

47

Лористон (1768-1828) — маркиз, генерал. Наполеон пользовался им для дипломатических поручений.

48

Лористон приехал а Петербург 9 мая 1811 г.

49

Коленкур вручил свои отзывные грамоты Александру I 11 мая и выехал из Петербурга 19 мая 1811 г.

50

Коленкур явился к Наполеону 5 июня 1811 г.

51

Тариф 31 декабря 1810 г. частью запрещал ввоз предметов роскоши, частью повышал пошлины на них и одновременно снижал пошлины на колониальные продукты.

52

Продававшиеся французским правительством лицензии давали торговым судам право заходить в Англию при условии перевозки только тех товаров, которые разрешалось завозить в континентальные порты.

53

Корабль "Вильям Густав" принадлежал Гийо, купцу из Бордо, прибыл в Россию в 1810 г. под флагом нейтрального государства. Перед тем заходил в Англию и, естественно, возбудил подозрение, что везет груз от лондонской фирмы Фавенн. Был секвестрирован согласно положению о континентальной блокаде русскими властями. Но так как он представил французские лицензии, то Коленкуру удалось добиться освобождения этого корабля. Яркий пример использования лицензий и флага нейтрального государства для обхода континентальной блокады.

54

Россия признала Жозефа Бонапарта, брата Наполеона I, испанским королем в июле 1808 г.

55

По Венскому (Шенбруннскому) договору 14 октября 1809 г. Австрия обязывалась уступить России восточную часть Галиции; численность населения этой территории определялась договором в 400 тысяч человек.

56

Конвенция была подписана Коленкуром и Румянцевым в Петербурге 4 января 1810г. Статья 1 конвенции гласила: "Королевство Польша никогда не будет восстановлено". Наполеон отказался ратифицировать конвенцию в этой редакции, и по его приказанию 10 февраля Коленкуру был послан другой проект, где это текст был заменен другим: "Император Наполеон обязывается не благоприятствовать какому бы то ни было предприятию, клонящемуся к восстановлению королевства Польши". Российское правительство не подписало конвенции в новой редакции.

57

Маршал Луи Николай Даву, князь Экмюльский (1770-1823) — один из самых талантливых маршалов Наполеона, победитель при Ауэрштедте, был назначен генерал-губернатором Гамбурга 1 декабря 1810 г. Генерал Рапп (1772-1821) был назначен губернатором Данцига 2 июня 1807 г. Впоследствии герцог Данцигский (генерал Рапп действительно начальствовал над Данцигом, но герцогом Данцигским был маршал Лефевр).

58

См. примечание 44.

59

При Людовике XV попытка вернуть его тестя Станислава Лещинского на польский трон благодаря России окончилась неудачей.

60

Амьенский мир с Англией был заключен в 1802 г.

61

Гвардейский полковник, впоследствии генерал-от-кавалерии князь Александр Иванович Чернышев (1785-1857) — флигель-адъютант Александра; в бытность свою русским атташе в Париже искусно организовал политический шпионаж. При Николае I с 1827 по 1852 с. Чернышев был военным министром.

62

После отречения голландского короля Людовика Бонапарта (1778-1846) (брата Наполеона) Наполеон декретом от 9 июля 1810 г. присоединил Голландию к Французской империи.

63

Присоединение ганзейских городов было произведено сенатус-консультом 13 декабря 1810 г. Великим герцогом Франкфуртским был назначен курфюрст Майнца Дальберг. 1 марта 1810 г. Наполеон назначил Евгения Богарнэ наследным великим герцогом Франкфуртским, обеспечивая ему это герцогство по смерти Дальберга. Ганновер, переданный в 1806г. Пруссии, был 14 января 1810г. присоединен к Вестфалии.

64

Лабушер, крупный французский коммерсант и финансист, зять и компаньон английского банкира Бэринга, ездил в Лондон в феврале 1810 г. и вел переговоры с английским министерством иностранных дел.

65

Маре, герцог Бассано (1763-1839) — один из преданнейших Наполеону министров его империи. Был тогда министром иностранных дел.

66

Князь Александр Борисович Куракин был российским послом в Париже с 1808 по 1812 г., старый екатерининский вельможа, "парадный" посол. Нити событий были в руках советника посольства Нессельроде и военного атташе Чернышева.

67

См. примечание 3.

68

В подвалах Тюильри хранилось в это время около 380 миллионов франков золотом. Министр, с которым, по словам Коленкура, беседовал Наполеон, был, по-видимому, министр военного снабжения Лакюэ де Сессак.

69

Речь идет о Гаагском орудийном заводе.

70

Разговор в Лоо происходил, по-видимому, 27 или 28 октября, а разговор в Париже — за два дня до описываемой беседы Коленкура с Дюроком.

71

Наполеон, как видно из предшествующего изложения и примечаний, имел основание подозревать Талейрана в переходе на сторону его врагов. Коленкур был под сильным влиянием Талейрана.

72

Результатом переговоров был договор с Пруссией 24 февраля 1812 г. и с Австрией 14 марта 1812 г.

73

Разговор с князем Куракиным имел место 15 августа 1811 г.

74

На основании декрета от 5 августа 1810 г. колониальные продукты, ввезенные на нейтральных или на имеющих лицензию судах, могли продаваться "свободно" по оплате пошлины в размере 50% их стоимости.

75

Наполеон имеет в виду герцогиню Курляндскую. См. примечание 42.

76

Аббат де Прадт (1759-1837) — архиепископ Малинский, был назначен послом в Варшаву 24 мая 1812 г.

77

Т.е. Бернадота. Шарль Бернадот (1764-1844) — наполеоновский маршал, в 1810 г. был усыновлен шведским королем и в 1818 г вступил на шведский престол под именем Карла XIV.

78

Генерал Антуан Франсуа, граф Андрсосси, был назначен французским послом в Турцию в апреле 1812г. Наполеон притворялся недовольным тем, что отправка графа Андреосси в Константинополь задерживается, так как не хотел преждевременно разоблачить свои намерения перед русским двором; поэтому он распорядился о выполнении последних формальностей для Андрсосси лишь в момент своего собственного отъезда, причем предписал Андреосси остановиться в Лайбахе, куда сам приехал 8 июня. Император считал, что он дал намек Порте и достаточно показал ей свои намерения в той статье договора с Австрией, которая касалась Турции. Русско-турецкий мирный договор был подписан 28 мая 1812 г. в Бухаресте. (См. примеч. 136). Россия ратифицировала его 23 июня, а Порта — только 14 июля. Андреосси получил распоряжение продолжать путь только в конце июня. Он спешил, но не мог приехать в Константинополь раньше 25 июля. Русский кабинет стал действовать решительно: 20 июля он заключил в Великих Луках оборонительный и наступательный союзный договор с испанскими кортесами, которые возглавили восстание испанского народа против французской оккупации.

79

Великий герцог Саксен-Веймарский был шурином Александра.

80

Меттерних Климентий Венцеслав (1773-1859) — князь, крупнейший австрийский дипломат. С 1809 г. стоял бессменно в течение 38 лет во главе министерства иностранных дел. Канцлер. Играл большую роль в переговорах коалиции с Наполеоном в 1813-1814 гг. Душа "Священного союза" и один из столпов европейской реакции после Венского конгресса. После революции 1848 г. принужден был бежать в Англию. После возвращения в Австрию не играл политической роли.

81

Бессьер, герцог Истрийский (1768-1813) — маршал Франции, убит в сражении при Люцене.

82

Нарбонн Луи (1755-1813) — граф, бывший министр Людовика XVI, генерал-адъютант Наполеона.

83

Шварценберг Карл Филипп (1771-1820) — князь, австрийский фельдмаршал. Командовал австрийским вспомогательным корпусом в 1812 г. Как главнокомандующий коалиции против Наполеона в 1813-1814 гг. действовал вяло и нерешительно; занял Париж после капитуляции Мармона. Видный представитель австрийской придворной камарильи.

84

Речь идет о декларации, которую князь Куракин передал французскому правительству 30 апреля; в ней министр иностранных дел Румянцев подчеркивал правоту России и указывал, что требовать от русского правительства объяснений было бы насмешкой.

85

Т. е. маршал Мюрат.

86

Коленкур намекает на интимные отношения между Меттернихом и женой Мюрата Каролиной Бонапарт (сестрой Наполеона).

87

Бертье, князь Невшатсльский (1753-1815) — начальник штаба наполеоновской армии, маршал; точный и неутомимый исполнитель предписаний Наполеона.

88

Панталоне — персонаж итальянской комедии масок.

89

Жером Бонапарт (1784-1860) — младший брат Наполеона I. После Тильзитского мира до 1813 г. — король Вестфалии.

90

Т. е. Даву.

91

Наполеон прибыл в штаб командования в ночь с 22 на 23 июня 1812г.

92

Переход через Неман состоялся в ночь с 23 на 24 июня.

93

24 июня.

94

Полковник Геенэк командовал 13-м пехотным полком, которому было поручено найти брод через Вилию. Так как поиски брода затянулись, то Геенек вызвал охотников, которые должны были переплыть реку и произвести разведку на противоположном берегу. Охотников в его полку нашлось много, а за ними последовало еще больше французских и польских кавалеристов. Течение было очень быстрое, и многие начали тонуть. Геенек бросился тогда в воду верхом на лошади, и ему удалось спасти одного из тонувших. Этот эпизод в несколько измененном виде рассказан в "Войне и мире" Л. Толстого.

95

Багратион Петр Иванович (1765-1812) — генерал, участвовал со славой в войнах на Кавказе, с Турцией, с Польшей, в итальянском походе Суворова, в походах 1805, 1806-1807 гг. Один из лучших "птенцов" Суворова. Блестящий стратег, горячий сторонник наступательной войны в 1812 г., возненавидел Барклая за его отступление. Умер от раны, полученной под Бородиным.

96

Генерал-адъютант Александр Дмитриевич Балашев (1770-1837) прибыл в штаб Даву 28 июня.

97

Речь идет о капитане Октаве Габриеле Анри, графе де Сегюр. Его двоюродный брат, граф Филипп Поль де Сегюр, был в свите Наполеона во время похода 1812 г. и написал известную историю этого похода.

98

В начале кампании русские силы состояли из трех армий. Первая армия под начальством Барклая-де-Толли была расположена от Россиен до Лиды; штаб находился в Вильно. Вторая армия под начальством Багратиона располагалась между Неманом и Бугом; штаб ее был в Волковыске. Резервная обсервационная армия под начальством Тормасова была расположена за Волынскими болотами со штабом в Луцке. Против этих армий стоял центр наполеоновской армии, делившийся на две части. Одна из них, состоявшая из корпусов Даву, Удино, Нея, Евгения Богарнэ, Сен-Сира, гвардии под начальством Мортье (маршалов Лефевра, Мортье и Бессьера) и кавалерии Мюрата, находилась под непосредственным командованием Наполеона. Другая часть, состоявшая из корпусов Понятовского, Рейнье, Вандамма и кавалерии Латур-Мобура, была подчинена Жерому Бонапарту (Вестфальскому королю). Левое крыло (под начальством Макдональда) должно было действовать против Риги; правое крыло (под начальством Шварценберга) стояло на Буге. 26 июня первая русская армия начала отступление по направлению от Вильно на Дриссу и далее к Смоленску. Второй армии был дан приказ отступать к Смоленску для соединения с первой. Тотчас же после перехода через Неман Наполеон поручил Удино и Нею преследовать Барклая-де-Толли, а Даву — двигаться по направлению на Минск, чтобы отрезать Багратиона от Барклая.

99

Князь Сапега-Коденский (1773-1812) — член литовской правительственной комиссии, назначенной Наполеоном.

100

Лористону, находившемуся еще в Петербурге, письмом от 20 мая 1812 г. было приказано отправиться в ставку Александра, чтобы затребовать объяснения. Александр отказался принять его и не позволил приехать в Вильно.

101

Во время этого обеда Балашев, отвечая на вопрос Наполеона о дороге, ведущей в Москву, будто бы сказал свою знаменитую фразу, о которой упоминает в "Войне и мире" Толстой: "Русские, как и французы, говорят, что все дороги ведут в Рим. Можно выбрать любую дорогу на Москву. Карл XII выбрал дорогу через Полтаву".

102

Председателем сейма был князь Адам Казимир Чартторыйский, отец Адама Юрия Чарторыйского, бывшего приближенного Александра I.

103

Речь идет о столкновении французских аванпостов с частями корпуса Витгенштейна; французские аванпосты были захвачены врасплох и попали в плен.

104

Лагерь в Дриссе был устроен по плану прусского стратега генерала Фуля, предлагавшего, чтобы одна русская армия, укрепившись в лагере, задержала Наполеона на Двине, а другая ударила на его коммуникационные линии. План был оставлен вследствие его несостоятельности.

105

Наполеон приехал в Глубокое 11 июля.

106

Бой под Салтановкой происходил 23 июля. Там геройски сражался генерал Н. Н. Раевский.

107

Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1761-1818) — князь, генерал-фельдмаршал. Блестяще закончил войну с Швецией в 1809 г. переходом по льду через Ботнический залив. В начале войны 1812 г. командовал первой армией, но как военный министр руководил общими действиями обеих армий. Сторонник завлечения Наполеона в глубь страны путем отхода перед его армией. Должен был уступить главное командование Кутузову, вскоре после Бородинского сражения был отставлен и от должности военного министра. В походах 1813-1814гг. командовал объединенной русской и прусской армией.

108

Бой у Бешенковичей происходил 25 июля. В этом бою против войск Мюрата сражались русские войска, прикрывавшие правое крыло Барклая-де-Толли.

109

Бой под Островным происходил 26 июля.

110

29 июля.

111

Т. е. Жером Бонапарт.

112

Понятовский Иосиф Антоний, князь (1762-1813). Примкнул к Наполеону, прельщенный его обещанием восстановить политическую независимость Польши; организовал большую вспомогательную армию из поляков. Утонул после сражения под Лейпцигом.

113

Речь идет о сражении под Салтановкой 23 июля. Коленкур, пристрастный, как всегда, к своим, стремится превознести французов и умалить значение русских.

114

Генерал Огюст Жан Габриэль де Коленкур (1777-1812) — младший брат автора, отличился в сражении при Арсобиспо в Испании (1809), убит в сражении при Бородине.

115

Витгенштейн Петр Христианович (1768-1842) — князь, фельдмаршал. Командуя первым русским корпусом, прикрывал дорогу на Петербург, успешно сражался с генералом Удино, с маршалом Виктором и генералом Сен-Сиром. Нерешительность его и неудачные действия Чичагова позволили Наполеону благополучно переправиться через Березину.

116

Витгенштейн 31 июля атаковал Удино и нанес ему поражение под Клястицами, а затем расположился между г. Друей и Дриссой.

117

Т.е. письма от министра иностранных дел Маре, герцога Бассано.

118

Бальи де Монтион (1776-1850) — граф, дивизионный генерал. Дюма Матье (1753-1837) — граф, генерал-интендант великой армии. Жуанвилль Луи (1773-1849) — граф, главный комиссар-ордонатор великой армии.

119

Мутон, граф Лобо (1770-1838) — генерал-адъютант императора. Тюренн (1776-1852) — граф, камергер и обер-гардеробмейстер Наполеона. Лебрен, второй герцог Пьяченцский (1772-1859) — генерал-адъютант Наполеона.

120

Себастиани, впоследствии маршал Франции (1775-1851) — генерал и дипломат Наполеона, министр иностранных дел во время "ста дней".

121

Это был бой между кавалерией Груши и дивизией Неверовского, переброшенной Багратионом на левый берег Днепра: Неверовский Дмитрий Петрович (1771-1813), один из самых талантливых русских генералов, очень любимый солдатами, отступил после героического сопротивления к Смоленску.

122

Генерал Дальтон командовал первой бригадой дивизии Морана. И здесь автор превозносит французов, умаляя силу и упорство русских, стойко защищавших Смоленск.

123

Ней, герцог Эльхингснский, после Бородина получил титул князя Московского (1769-1815) — маршал Наполеона, пользовался славой "храбрейшего из храбрых". Блестяще вел себя во время отступления от Москвы, спас остатки французской армии после дезертирства Мюрата. Расстрелян после второй реставрации Бурбонов.

124

Жюно, герцог д'Абрантес (1771-1813) — лично храбрый, но бездарный генерал. После капитуляции его при Синтре англичане оккупировали Португалию. Неудачно сражался и в 1812 г.

125

Граф Бруно Дарю занимал должность государственного секретаря.

126

20 августа.

127

Речь идет о гвардейском офицере графе Орлове, который прибыл в качестве парламентера, чтобы справиться о генерале Павле Алексеевиче Тучкове, взятом в плен под Валутиной горой. Его задержали, чтобы скрыть от него передвижения французской армии. Тучков командовал войсками, удачно прикрывавшими отступление из Смоленска.

128

Милорадович Михаил Андреевич, граф (1771-1825) — блестящий кавалерийский генерал с огромным боевым опытом. Командовал арьергардом русской армии после Бородина и авангардом во время преследования французской армии после отступления из Москвы. Военный губернатор Петербурга. Убит Каховским во время восстания декабристов. Подкрепления под командой. Милорадовича численностью в 15 тысяч человек прибыли в русскую армию 27 августа.

129

В ночь с 24 на 25 августа.

130

Барон Луи Биньон был императорским комиссаром при правительственной комиссии Литвы.

131

Австрийский корпус Шварценберга атаковал 12 августа под Городечной армию генерала Тормасова. Ночью Тормасов отступил на Кобрин. Шварценберг преследовал его до 29 августа. Войска Шварценберга и Тормасова остановились и заняли позиции на противоположных берегах Стыри, в районе Луцка. Противники оставались там до сентября. В сентябре, соединившись с подошедшей армией Чичагова, Тормасов отбросил Шварценберга к Бресту.

132

Виктор, герцог Беллюнский (1764-1841) — маршал. Подобно Даву и Нею участвовал в революционных войнах, потом принимал участие в ряде наполеоновских войн. Неудачно сражался на двинском фронте против русских в 1812г.

133

Тучков Павел Алексеевич (1776-1864) был ранен в голову и доставлен в ставку Наполеона 19 августа.

134

Обмен ратификациями Бухарестского договора был произведен 20 июля 1812 г.

135

Швеция и Россия заключили договор 5 апреля 1812 г.; шведско-русские отношения еще более укрепились после заключения англошведского мирного договора 12 июля и англо-русского союзного договора 18 июля того же года. "Император угадал, так как 28 августа в Або состоялась встреча между императором Александром и шведским королем" (примечание Коленкура).

136

Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович, князь Смоленский (1745-1813) — генерал-фельдмаршал, один из самых талантливых учеников Суворова. Успешно участвовал в турецкой войне 1811-1812 гг., командуя дунайской армией. Выявил себя как гениальный стратег. С малочисленной армией разбил наголову армию турецкого визиря и благодаря выдающемуся дипломатическому искусству заключил выгодный для России мир. Прекрасно понимал желание союзников воспользоваться русскими войсками для своих целей и потому противился переходу через русскую границу после поражения Наполеона. Наполеон необычайно резко и несправедливо судил о Кутузове. После прибытия Кутузова Барклай-де-Толли сохранил командование первой, а Багратион — второй армией.

137

Граф Матвей Иванович Платов (1751-1818) — генерал-от-кавалерии, был наказным атаманом Войска Донского. Во время войны 1812 г. командовал казачьими войсками.

138

В действительности у Милорадовича было только 15 тысяч человек. См. примечание 128.

139

Луи Франсуа Жозеф де Боссе — один из дворцовых префектов.

140

Об этом несколько иначе рассказывает Толстой в "Войне и мире".

141

Герцог Рагузский, маршал Мармон (1774-1852); 22 июля 1812 г. он потерпел тяжелое поражение в Испании при Арапилах.

142

Речь идет о штурме Шевардинского редута дивизией Компана 5 сентября. Вопреки сообщению Коленкура, русские войска, бывшие вдвое слабее атакующего противника, упорно сопротивлялись и отступили лишь по приказанию Кутузова.

143

Бой происходил между русскими кирасирами и 111-м пехотным полком французской армии.

144

6 сентября.

145

Корпус Понятовского поддержал 5 сентября действия дивизии Компана.

146

Князь Экмюльский, т. е. маршал Даву, собственно не был ранен; под ним была убита лошадь; он упал и от сильного ушиба потерял сознание на некоторое время.

147

Эта деревня — Бородино.

148

Действительная фамилия этого генерала не Белычев, а Лихачев.

149

8 сентября.

150

Дивизия Фриана вступила в Можайск 9 сентября.

151

Наполеон почти потерял голос, что не позволяло ему ни говорить, ни диктовать.

152

Камбасерес, князь Пармский (1753-1824), был членом Конвента во время французской революции, после 18 брюмера — второй консул, впоследствии великий канцлер империи.

153

Мюрат вступил в Москву в 12 часов 14 сентября 1812 г.

154

Гурго (1783-1852) — генерал с 1815г. Горячо преданный императору, сопровождал его на остров св. Елены.

155

Мортье Эдуар Адольф герцог Тревизский (1768-1835) — маршал Франции, командовал молодой гвардией, размещенной в Кремле и его окрестностях. Наполеон назначил его губернатором Москвы. Уходя из Москвы, он, по приказанию Наполеона, должен был взорвать Кремль.

156

Ростопчин Федор Васильевич (1763-1826) — граф, любимец Павла I, позднее впал в немилость. При Александре 1с 1812 г. московский главнокомандующий. Ему приписывается организация пожара Москвы.

157

Дорогомилово.

158

15 сентября.

159

Бороздин Н. М. (1777-1830) — генерал-адъютант императора Александра I.

160

16 сентября.

161

Туаз=1,95 метра.

162

Лелорнь, барон Идевиль (1780-1852) — аудитор государственного совета, секретарь-переводчик при императоре Наполеоне, жил раньше в Москве и прекрасно ее знал.

163

Ларрей (1766-1842) — главный хирург наполеоновской армии, пишет в своих записках, что провизии, найденной в Москве, хватило бы для того, чтобы прокормить всю армию в течение 6 месяцев.

164

Тутолмин И. А. (1752-1815) — генерал-майор, директор Воспитательного дома.

165

Загряжский Н. А. (1743-1821) — камергер Павла I.

166

Лаваллет (1769-1830) — граф, был тогда генерал-почт-директором империи, известен был своей преданностью Наполеону; арестованный после второй реставрации и приговоренный к смертной казни, был спасен женой, помогшей ему бежать из тюрьмы переодетым в ее платье.

167

Эстафеты двигались исправно для того времени: парижская эстафета от 28 сентября прибыла в Москву 14 октября (через 15 дней 16 часов 45 минут); от 29 сентября — 15 октября (через 16 дней 12 часов 20 минут); от 30 сентября — 16 октября (через 15 дней 20 часов); от 1 октября — 17 октября (через 15 дней 21 час 50 минут); от 2 октября — 17 октября (через 15 дней 11 часов). Однако Д. Давыдов в своих "Записках" указывает на неоднократный захват партизанами французской почты.

168

Казаки захватили артиллерийский парк с 2 эскадронами 22 сентября, а 25-го взяли в плен 80 гвардейских драгун.

169

Речь идет о зиме в Польше во время кампании 1806 г.

170

Ерминье, Жуан и Риб — лейб-медики императора.

171

Веллингтон вступил в Мадрид 12 августа 1812 г., а Сульт снял осаду Кадикса 25 августа. Англия поддерживала своими войсками борьбу испанского народа против оккупантов.

172

Яковлев Иван Алексеевич, отец А, И. Герцена, отправился из Москвы 2 сентября 1812г. с письмом Наполеона к Александру I (см. Герцен А. И. Былое и думы, т. I).

173

Кутузов 29-го сентября расположился лагерем у Тарутина, прикрывая Калужскую дорогу.

174

Бельяр, генерал-майор кавалерии, был в это время в Москве, где лечился от раны.

175

В Москве находилась французская драматическая труппа, директором которой была Аврора Бюрсэ. Боссе раздобыл им костюмы из склада в Ивановском соборе, где было собрано то, что уцелело от пламени. Спектакли давали в доме Познякова. Всего дано было 11 спектаклей.

176

Красинский В. И. (1783-1858) — граф, камергер и командир 1-го полка польской л°гкой кавалерии.

177

Двинувшись из Бухареста с армией 31 июля, адмирал, командовавший Черноморским флотом и дунайской армией, Чичагов Павел Васильевич (1767 1849) перешел Днестр 4 сентября, соединился с корпусом генерала Тормасова в окрестностях Луцка. Шварценберг с австрийским корпусом отступил к Брест-Литовску. Но Чичагов принудил 9 октября своего противника перейти Буг и преследовал его по направлению к Венгрову и Белостоку. На Березине он должен был отрезать отступление Наполеону, однако был обманут его маневрами и потерпел неудачу. Наполеон сумел переправиться через Березину с остатками своей армии. Вина падала одинаково и на Витгенштейна, действовавшего вяло, и на Чичагова, но обвинили во всем последнего. Он был отставлен, уехал из России и прожил остальную жизнь за границей.

178

Гувион Сен-Сир (1764-1830) — маршал Франции. Подобно Нею, Даву и Макдональду отличился в революционных войнах и сохранял некоторую республиканскую независимость. Талантливый стратег. Под Полоцком сперва одержал победу, потом потерпел поражение.

179

Макдональд Жак Этьен, герцог Тарентский (1765-1840) — маршал Франции. В эпоху революционных войн выделился как способный полководец, был разбит, однако, Суворовым при Треббии. В 1812 г. действовал нерешительно на правом (рижском) фланге наполеоновской армии; командуя сборным 10-м корпусом, он не мог быть уверен в надежности своего корпуса, в который входили и прусские войска под начальством Йорка.

180

Генерал Штейнгель с 12-тысячным шведским корпусом атаковал прусский корпус Йорка, но был разбит, соединился с Витгенштейном и участвовал в битве под Полоцком, окончившейся победой русской армии.

181

Иорк (1759-1830) — прусский фельдмаршал. В 1812 г. назначен командиром 37-й прусской дивизии, входившей в состав армии Макдональда (10-й корпус великой армии); вступив в сепаратное соглашение с русской армией в 1813 г., способствовал разрыву Пруссии с Наполеоном.

182

Наполеон был прекрасно осведомлен о панике в Петербурге. Часть драгоценностей короны была погружена на русскую эскадру, которая должна была по первому сигналу плыть в Англию.

183

Вопреки сообщению Коленкура, Лористон не имел при себе никакого письма Наполеона. Кутузов отказался заключить перемирие, но согласился приостановить перестрелку па аванпостах.

184

Миссия графа Орлова.

185

Грубый намек на фаворитку Бертье Жозефину Висконти.

186

Генерал-интендант, граф Матье Дюма.

187

Это произошло в ночь с 25-го на 26-е близ Малых Вязем.

188

Коленкур здесь предваряет события. Удино, герцог Реджио, раненный в первом бою под Полоцком (16-17 октября), передал командование Гувиону Сен-Сиру, который оттеснил Витгенштейна за Дриссу, но 18-19 ноября Внтгенштейн, соединившись со Штейнгелем, дал второй бой под Полоцком и заставил 6-й корпус отступить для соединения с маршалом Виктором.

189

Домбровский Ян Генрих (1755-1818) — польский генерал, командир 17-й дивизии (5-й корпус Понятовского).

190

31 октября Виктор атаковал Витгенштейна, но был вынужден отступить на Сенно и Черею.

191

Сульт Никола Жан де Дь°, герцог Далматский (1769-1851) — маршал Франции, отличился при Аустерлице и сравнительно успешно сражался в Испании.

192

Иначе под Тарутином (18 октября).

193

Багговут Карл Федорович (1761-1812) — генерал-лейтенант; участвовал в битвах под Смоленском и Бородином, убит под Тарутином (Винковом). Командовал 2-м корпусом. Остерман-Толстой Александр Иванович (1770-1857) — граф, генерал, командовал 4-м корпусом.

194

Очень интересные факты: Наполеон, подавивший французскую революцию, разумеется, не хотел освободить русских крестьян. Как всегда, он стремится в разговоре свалить это свое нежелание на других: на советы Дюрока и Лессепса.

195

Т. е. под Винковом (Тарутином), после чего Мюрат отступил к Воронову.

196

Жюно, герцог д'Абрантес, с 8-м корпусом охранял в Можайске коммуникационную линию.

197

Полковником Бертеми, который передал Кутузову письмо от Бертье и вернулся в императорскую ставку 22-го.

198

Скудное, но чрезвычайно важное свидетельство о разгоревшейся народной войне.

199

Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1761-1816) — генерал; талантливый стратег, отличился в сражениях под Смоленском, Бородином, при Тарутине, Малоярославце и в походе 1813-1814 гг. Сражение при Малоярославце произошло 24 октября. Малоярославец восемь раз переходил из рук в руки и остался, в конце концов, в руках французов, но Кутузов занял такую грозную позицию, что Наполеон не решился вновь атаковать его и пошел по старой Смоленской дороге.

200

Непонимание глубокой маневренной тактики Кутузова. Впрочем, Наполеон начинает смутно прозревать неладное. Последующий эпизод (налет казаков) произвел на Наполеона сильное впечатление. С этих пор он всегда носил при себе яд. Он пытался им отравиться после отречения в Фонтебло, но яд не подействовал.

201

Генерал-полковников было четверо: Гувион Сен-Сир (кирасиры), Евгений Богарнэ (егери), Барагэ д'Илье (драгуны), Жюно (гусары).

202

Винценгероде Ф. Ф. барон (1770-1818), служил то в австрийской, то в русской армии. Командовал партизанским отрядом, был взят в плен, отправлен во Францию, но выручен позже отрядом Чернышева. Генерал-адъютант Александра I.

203

Нарышкин Лев Александрович (1785-1845) — гусарский капитан в 1812 г.

204

Шарль Лебрен, будущий второй герцог Пьяченцский — генерал-адъютант Наполеона.

205

Шварценберг и Рейнье, командовавшие 7-м корпусом, находились тогда в Белостоке и Венгрове.

206

После малоярославецкого сражения Кутузов отошел к Гончарову. 28-го по его приказанию Милорадович предпринял фланговое движение, а сам Кутузов двинулся на Смоленск параллельно отступлению наполеоновской армии, грозя отрезать коммуникацию.

207

Дело при Цареве-Займище (1 ноября). Сражение при Вязьме произошло 3 ноября 1812 г. Коленкур старается смягчить поражение французской армии.

208

Мале, генерал республики, убежденный республиканец, еще в 1807 г. пытался организовать республиканский переворот и был заключен в тюрьму Сен-Пелажи как политический преступник, позже, был оттуда переведен в лечебницу для душевнобольных д-ра Дюбюиссона. Здесь, он при содействии заключенного вместе с ним агента Бурбонов аббата Лафона составил несколько фальшивых декретов: прокламацию сената о смерти Наполеона в России, об устранении его семьи от престолонаследия и об учреждении временного правительства из пяти человек (в том числе Матье де Монморанси, Алексиса де Ноайль, Моро, префекта Сенского департамента Фрошо), декрет о назначении самого Мале комендантом Парижа и дивизионным генералом, декреты об отставке некоторых чиновников и замене их другими. В ночь с 22 на 23 октября 1812г. Мале и Лафон бежали из лечебницы. Последний скрылся в надежном месте, ожидая окончания переворота, чтобы воспользоваться им для Бурбонов (об этом говорит имя де Монморанси, впоследствии министра Людовика XVIII). Мале отправился со своими фальшивками к полковнику Сулье, начальнику 10-й когорты национальной гвардии, в Попенкурские казармы; тот поверил ему и дал отряд солдат, с помощью которых Мале освободил из тюрьмы де ля Форс генералов Гидаля и Лаори (бывшего начальника штаба Моро). Последний в сопровождении Гидаля арестовал министра полиции Савари и префекта полиции Паскье. Командир 2-го пехотного полка Рабб, получив от Мале приказ занять сенат, дворец, казначейство, банк, заставы, отправил туда отряды. Сам Мале тяжело ранил парижского коменданта Юлена. Генерал-инспектор полиции Пак и адъютант Лаборд обезоружили и арестовали Мале. К 9 часам утра заговор был ликвидирован. 25 человек было предано военному суду, 13 расстреляно, в том числе Мале, Лаори и Гидаль.

209

Камбасерес.

210

Ожеро Ж. П. (1772-1836) — брат маршала Ожеро, герцога Кастильоне, бригадный генерал.

211

Витебск был взят отрядом Гарте 7 ноября. Сражение при Духовщине, где Евгений понес большие потери, Коленкур считает победой французов, хотя 3-й корпус потерял 90 пушек и был почти уничтожен. Сражение при Дорогобуже было 8 ноября и кончилось победой русской армии.

212

Капитуляция генерала Дюпона под Байленом в Испании.

213

Минск был взят адмиралом Чичаговым 16 ноября до прихода туда Домбровского.

214

Ожаровский Адам Петрович (1776-1855) — генерал, командовал отрядом в корпусе Милорадовнча.

215

Сражение под Красным 15 ноября.

216

Даву и Ней были еще в Смоленске.

217

В ночь с 15 на 16 ноября Евгений достиг Красного лишь с остатками своего корпуса, после боя с Милорадовичем.

218

Они находились все еще между Смоленском и Корытней.

219

Жюно, двигаясь на Оршу, был в авангарде колонны.

220

Арьергардный бой с генералом Харковским.

221

Это было сражение под Красным.

222

Ней перешел Днепр у деревни Сырокоренье и двинулся с уцелевшими остатками арьергарда через Гусиное на Оршу. При переправе погибла большая часть арьергарда.

223

Виктор с 2-м и 6-м корпусами после боя с Витгенштейном под Смолянами 14-го отошел к Черее. 21-го Удино с 2-м корпусом двинулся на Бобр. Виктор с 6-м корпусом остался в Черее.

224

Рейнье и Шварценберг в это время сражались с корпусом Сакена, который побил Рейнье у Волковыска 15 ноября, но под давлением подоспевшего на помощь к Рейнье Шварценбсрга был вынужден отступить к Брест-Литовску.

225

Новое доказательство полного непонимания Наполеоном маневренной тактики Кутузова. Старый фельдмаршал берег свою армию, которая тоже страдала от морозов и бездорожья, и искусно способствовал "исходу" Наполеона из России с наименьшей затратой человеческих жизней для русского народа.

226

Коленкур, хотя и не может скрыть страданий великой армии, но сравнительно мало останавливается на ужасах отступления, смягчая рассказ о них. Мишле со слов современников, переживших 1812 год, наоборот, утверждает, что ропот был частым явлением, особенно среди входивших в "великую армию" нефранцузских войск, которые по большей части ненавидели Наполеона как угнетателя их родных стран.

227

21 ноября дивизия Домбровского была сбита авангардом Чичагова и оттеснена к Неманице.

228

Ошибочная датировка. Чичагов после двухнедельной передышки двинулся 27 октября и взял Слоним 6 ноября; 8-го он двинулся на Минск и овладел им 16-го.

229

См. примечание 224.

230

23 ноября. В этот день Чичагов двинулся из Борисова на Бобр, думая, что перед ним только одна дивизия Домбровского. Авангард Чичагова под командой графа Палена близ Лошницы натолкнулся на корпус Удино и был разбит и отброшен на правый берег Березины. Борисов был занят французами (4-я кирасирская дивизия Беркейма).

231

Витгенштейн достиг этого пункта 24 ноября, 26-го был в Кострице и 27-го в Старом Борисове.

232

К северу от Борисова.

233

26 ноября.

234

Старая гвардия перешла Березину 27 ноября.

235

В 7 часов утра. Сражение на Березине.

236

Мосты были сожжены. Элбе получил приказ поджечь их 29-го в 7 часов утра, но решился выполнить приказ лишь в 9 часов.

237

Наполеон, чувствуя себя абсолютным государем, ссылается на легендарный подвиг капитана д'Асса, который в 1760 г., захваченный неприятелем, несмотря на угрозы, предупредил своим криком французскую армию и был убит. Во время революции были десятки подобных героических подвигов (например, Бара, Виала), но Наполеон предпочитает факт из эпохи королевского абсолютизма.

238

Ошибка Коленкура. Это произошло в Плещаницах.

239

Корпуса Виктора и Удино.

240

Шварценберг оставался в Слониме до 14 декабря.

241

Знаменитый 29-й бюллетень, сообщавший об исходе похода в Россию.

242

Фэн, барон (1778-1837) — секретарь кабинета императора.

243

Макдональд стоял со своим смешанным корпусом перед Ригой.

244

5 декабря 1812 г.

245

Налет был совершен Сеславиным ночью 5 декабря. Сеславин Александр Никитич (1780-1858) — впоследствии генерал-майор, прославился своими партизанскими действиями против Наполеона.

246

Генерал Лефевр Денуетт — полковник егерей конной гвардии.

247

Даву — главнокомандующий германской армией с 1 января 1810г.; с 1811 г. армия перешла в Эльбский обсервационный корпус. Даву был в то время губернатором Гамбурга.

248

Доказательство ослепления Наполеона своими честолюбивыми планами и его презрения к интересам других народов, кроме интересов французской буржуазии.

249

Сенатус-консульт 13 декабря 1810г. регулировал аннексию Голландии, ганзейских городов и большой территории, доходившей до Любека. Из них составлено было 10 департаментов.

250

Весь этот и последующие абзацы говорят о полном непонимании Наполеоном причин своего поражения и тактики Кутузова, а также о замалчивании побед русских генералов над его маршалами.

251

Наполеон, по-видимому, был прекрасно осведомлен своими шпионами о состоянии русской армии накануне похода 1812 г. О том же говорит и Клаузевиц.

252

По декрету 22 января 1811 г. Наполеон аннексировал герцогство Ольденбургское.

253

14 октября 1809 г.

254

Это обещано было Австрии парижским договором от 14 марта 1812г. как вознаграждение взамен Галиции в случае восстановления Польши.

255

Коленкур совершенно верно определяет истинные намерения Наполеона.

256

Констанция Понятовская (1759-1830) — племянница короля Станислава, была замужем за графом Л. Тышкевичем, гетманом литовским.

257

Тарифа — порт на юге Испании.

258

Все это рассуждение о революции в Испании показывает, что Наполеон не понимал характера испанской революции и замышлял подчинить испанский народ суровой полицейской диктатуре.

259

Сульт командовал тогда южной армией в Испании.

260

Веллингтон Артур Уеллеслей (1762-1852) — герцог, знаменитый английский полководец, победитель наполеоновских маршалов в Испании и победитель самого Наполеона при Ватерлоо в 1815 г.

261

Мармон с 7 мая 1811 г. командовал армией в Португалии.

262

Наполеон говорит о революции в Средней и Южной Америке, имевшей следствием образование из испанских колоний независимых республик Мексики, Венесуэлы, Чили, Аргентины, Парагвая и др. — с 1810 по 1811 г. Чили окончательно освободилась в 1818, а Боливия — в 1819 г. Бонапарт предвидел и метко оценивал мировое значение этой революции.

263

Наполеон не говорит всей правды. Испанские события он излагает пристрастно: Наполеон воспользовался дрязгами в испанской королевской семье, чтобы, захватив в Байонне королевскую чету, их сыновей, в том числе Фердинанда, наследного принца Астурийского, и навязав через посредство подкупленных грандов Испании в короли своего брата Иосифа (Жозефа), подчинить себе Испанию. Подчинение Испании и Португалии было неизменным условием полной блокады Англии и входило, естественно, в план континентальной системы Наполеона. Он не учел одного — храброго и свободолюбивого испанского народа, который восстал против завоевателей. Наполеон довольно точно излагает всю дипломатическую возню, объясняя ее, конечно, со своей точки зрения.

264

Годой (дон Мануэль), князь Мира — любимец короля Испании Карла IV, фаворит его жены Марии Луизы (ум. в 1851 г.).

265

Первое восстание вспыхнуло в Аранхуесе в ночь на 18 марта 1808 г. 19 мая Годой, всесильный фаворит, был низвержен. Карл IV отрекся от трона в пользу своего сына Фердинанда, но 21-го взял назад отречение. Мюрат, вступив 23-го в Мадрид, подавил восстание, вспыхнувшее в Мадриде 2 мая 1808 г. при известии об отъезде в Байонну к Наполеону последних членов династии.

266

Годой призывал в этой прокламации испанцев к оружию, не говоря против кого. Прокламация была расклеена в Мадриде 15 октября, на другой день после победы Наполеона над Пруссией при Иене.

267

Де ля Форта Богарнэ (1756-1846) — маркиз, шурин Жозефины.

268

Намек на переговоры Цастрова и Луккезини в Берлине с Дюроком в ноябре 1806 г.

269

Тогда министр иностранных дел империи.

270

По договору в Фонтенбло 27 октября 1807 г. из Португалии для королевы Этрурии выкраивалась часть под названием королевства Лузитании. Годою доставалась другая часть, под названием княжества Альгарвского, центральную часть Португалии оккупировал Наполеон.

271

Австрия подписала договор в Фонтенбло 10 октября 1807 г.

272

Карл IV по этому договору получал титул императора Америки и короля Испании.

273

Стефания Ташер де ла Пажери.

274

Годой думал выдать за Фердинанда, принца Астурийского, свою свояченицу Марию Терезу Бурбонскую, племянницу Карла IV.

275

Педро ди Толедо, герцог Инфантадо (1771-1841), интимный друг Фединанда.

276

Капитуляция генерала Дюпона под Байленом 22 июля 1808 г., сдавшегося испанскому генералу Кастаньосу.

277

Мареско А. С. (1758-1832) — бывший революционный генерал, потом генерал империи, участвовал в Байленской капитуляции.

278

Граф Григорий Александрович Строганов (1770-1857).

279

Официальное признание состоялось в июне 1808 г

280

Альтон Шэ А. (1739-1820) — граф, префект департамента Нижнего Рейна.

281

Дрэк Френсис — английский агент в Мюнхене.

282

Монсей (1754-1842) — маршал империи, в то время генерал-инспектор жандармерии.

283

Вероятно, общее название роялистов-заговорщиков, от имени "Жоржа" Кадудаля, участника роялистского заговора против первого консула; казнен в 1804 г. Арман и Жюль Полиньяки и де Ривьер были арестованы как участники этого заговора.

284

Есть основание думать, что Коленкур переработал это место разговоров с Наполеоном, чтобы обелить свое участие в деле герцога Энгиенского.

285

Биньон Л. П. Э. (1771-1841) — барон, уполномоченный императора при правительственной комиссии Литвы. Резидент Франции в Варшаве.

286

Потоцкий Костка Станислав (1.757-1821) — председатель генерального совета польской конфедерации.

287

При Маренго Наполеон одержал блестящую победу над австрийской армией 14 июня 1800 г. в Италии, а при Эсслинге — победу над австрийской армией в 1809 г. в Австрии.

288

Губернатор Варшавы в 1812 г.

289

Любопытно, как Наполеон объясняет мотивы эрфуртского свидания и наивно удивляется тому, что русская политика не согласовалась с его планами и не поддалась на его приманки. Этот абзац очень важен для выяснения основных мотивов политики Наполеона и причины войны 1812 г.

290

Суарт — порт в Индостане, принадлежал Англии с 1800 г. Махраты — племя, все время боровшееся против англичан в Индии.

291

Фуше, герцог Отрантский.

292

Годен М. М. Ш., герцог Гаэтский (1756-1841) — министр финансов империи с 1799 по 1814 г. и во время "ста дней". Барбэ-Марбуа (1745-1837) — маркиз, с 1808 г. президент счетной палаты.

293

Фонтан (1757-1821) — глава университета при Наполеоне, необычайный льстец и подхалим. В 1806 г., будучи президентом законодательного корпуса, напечатал в "Французском Меркурии" статью, безмерно восхваляющую абсолютную власть.

294

Моле и Флери — знаменитые артисты-комики.

295

Воспитательница Римского короля, сына Наполеона I.

296

При отъезде из Сморгони Пейрюс, казначей императора, вручил по приказу Дюрока 50 тысяч франков Коленкуру.

297

Кларк, герцог Фельтрский (1765-1818) — маршал империи, военный министр с 9 августа 1807г., был сыном незначительного офицера, смотрителя продовольственного магазина в Ландреси.

298

В этих словах сквозит явная боязнь отпадения Австрии и Пруссии.

299

17 декабря.

300

Мать Наполеона, Летиция Бонапарт.

301

Монтескью-Фезанзак (1764-1834) — обер-камергер, муж воспитательницы Римского короля.

302

Де ла Бенардьер (1765-1843) — с 1807 г. директор департамента политических дел в министерстве иностранных дел империи.

303

Жена Мюрата, сестра Наполеона, Каролина Бонапарт.

304

Декре — контр-адмирал, морской министр империи с 1801 по 1814 г. и в эпоху "ста дней". Лакюэ, граф де Сессак — министр военного снабжения с 1810 по 1813 г., когда его сменил граф Дарю.

305

Знаменитое позорное поражение римлян во время самнитской войны вошло в пословицу.

306

Брюн, впоследствии маршал империи, убит во время белого террора 1815 г.; Бурьен долго был секретарем первого консула, уволен вследствие мошеннических проделок и взяточничества. Оставил интересные мемуары.

307

Фаворитками Наполеона были: Дюшатель М. А. (1782-1860) — жена главного директора таможен; Гадзани Карлотта — лектриса императрицы Жозефины; Матис — фрейлина Полины Бонапарт; Веймер М. Ж., по сцене Жорж, знаменитая драматическая актриса; Валевская — полька. Наполеон имел от нее сына, который был впоследствии министром второй империи.

308

При Бауцене в Саксонии Наполеон одержал победу над войсками коалиции в 1813 г.

309

Салюс (Салюццо) (1776-1852) — граф, шталмейстер императора, после отъезда Коленкура замещал его при императорской ставке.

310

Чичагов овладел Минском 17 ноября и предмостным укреплением Борисова 21 ноября. Три армии: Витгенштейна, Чичагова и Кутузова.

311

Мюрат прибыл в Вильно 8 декабря и выехал из него 9-го. Он спешил в Италию, поглощенный мыслью сохранить за собой Неаполитанское королевство.

312

Существуют сведения о том, что казна была разграблена.

313

Наполеон хотел подорвать русские финансы выпуском фальшивых ассигнаций.

314

Таурогенская конвенция, подписанная на Пошерунской мельнице Йорком. На другой же день прусские войска отступили за Неман. Это было предвестием отпадения Пруссии.

315

В распоряжении Наполеона было 58 миллионов чрезвычайного фонда и 100 миллионов его личной казны, итого 158 миллионов франков золотом.